Изданіе С. Гринберга.

Критическія статьи
о произведеніяхъ
Максима Горькаго.

Михайловскій. Оболенскій.
Скабичевскій. Боцяновскій.
Меньшиковъ. Игнатовъ.
Минскій. Геккеръ.
Поссе. А. Б.
С. М.

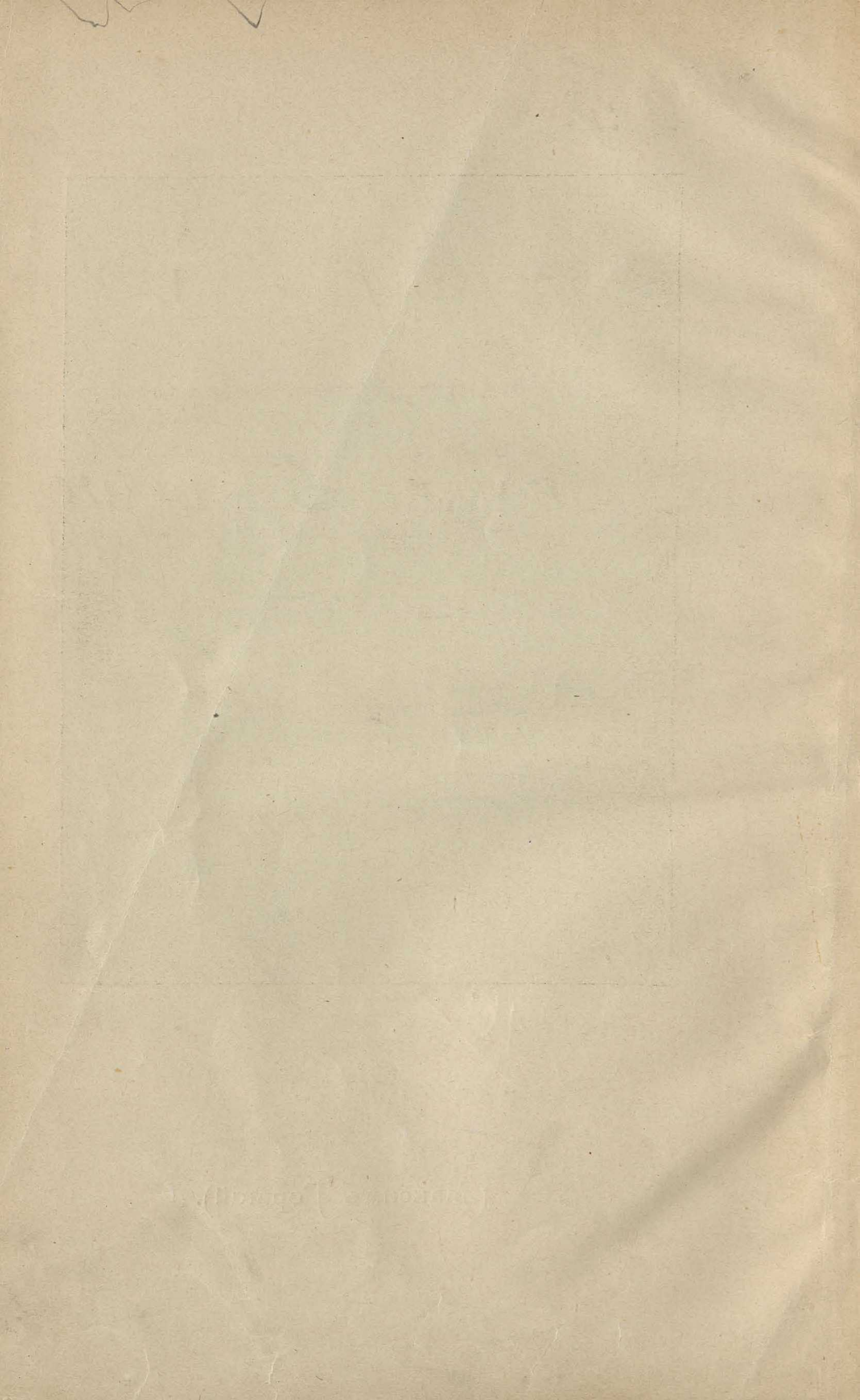
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ
Склады изданія у Стасюлевича, Карбасникова, Поповой и Залшупина.
1901.



(Максимъ Горькій).



(Максимъ Горькій).



Изданіе С. Гринберга.

Критическія статьи

о произведеніяхъ

Максима Горькаго.

Михайловскій. Оболенскій.
Скабичевскій. Боцяновскій.
Меньшиковъ. Игнатовъ.
Минскій. Геккеръ.
Поссе. А. Б.
С. М.



ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ
Склады изданія у Стасюлевича, Карбасникова, Поповой и Залшупина.
1901.

Дозволено цензурою. Кіевъ, 26 Ноября 1900 года.

Типографія А. Г. Александрова въ Бендерахъ.

1/3

КНИГА ИМЕЕТ

печатных	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый	197 г. 95
					1	4	21 [illegible] / 53	



ОГЛАВЛЕНІЕ I.

ОГЛАВЛЕНІЕ II.

Критика 1898-го года.

Критика 1899-го года.

Критика 1900-го года.

Отъ издателя.

При расположеніи статей я хотѣлъ держаться строго хронологическаго порядка. Но по причинамъ чисто техническаго характера мнѣ пришлось отступить отъ этого плана и расположить статьи только по годамъ. Вслѣдствіе этого я въ началѣ книги приложилъ два оглавленія: одно указываетъ статьи въ томъ порядкѣ, въ которомъ онѣ помѣщены въ предлагаемой книгѣ, другое указываетъ постепенность появленія статей въ печати. Такимъ образомъ отъ читателя будетъ зависѣть знакомиться съ предлагаемымъ матеріаломъ въ томъ или другомъ порядкѣ.

Статьи г.г. Минскаго, А. Б., А. М. Скабичевскаго, Н. Геккера и И. Игнатова были помѣщены въ свое время въ газетахъ и журналахъ безъ заглавій, каждая подъ общей рубрикой: „Новости литературы и журналистики", „Критическія замѣтки", „Журнальное обозрѣніе" и т. д. Считая неудобнымъ помѣстить эти статьи въ предлагаемой книгѣ подъ названными рубриками, я присоединилъ каждой статьѣ заглавіе. Спѣшу поэтому извиниться передъ авторами за прибавленіе заглавій къ ихъ статьямъ и предупредить читателей, чтобъ они не приписывали авторамъ заглавій, которыя тѣ, быть можетъ, съ своей точки зрѣнія, нашли бы неподходящими.

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить свою благодарность Д. М. Шаргородскому, которому принадлежитъ идея изданія настоящей книги.

Всѣ цитаты приведены по изданію Товарищ. **„Знаніе".**

Максимъ Горькій

I.

Для того, чтобы понять дѣятельность писателя, силу его таланта, его направленіе, пользуются обыкновенно не только его сочиненіями, но также часто его біографіей, перепиской, воспоминаніями близкихъ объ его личности и т. п. Для изученія писателя, уже сошедшаго со сцены или, по крайней мѣрѣ, долгое время уже работающаго, прибѣгаютъ помимо всего этого къ изученію посвященной ему критической литературы. Примѣнимо ли все это къ г. Максиму Горькому?

О перепискѣ и чьихъ-либо личныхъ воспоминаніяхъ теперь еще и рѣчи быть не можетъ вслѣдствіе литературной молодости г. Горькаго. Остается, помимо изученія его произведеній, говорить о біографіи и посвященной ему критической литературѣ.

Біографія этого писателя, которая вкратцѣ теперь почти всѣмъ извѣстна, настолько еще не обработана, свѣдѣнія о духовной сторонѣ его жизни настолько еще скудны, что она-то, эта біографія, и послужила больше всего къ затемненію вопроса о степени таланта и о духовной личности Горькаго. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите, сколько старанія прилагаетъ, напр., М. О. Меньшиковъ къ тому („Недѣля", 900, 9), чтобъ доказать, что Горькій обязанъ своей славой преимущественно надѣлавшей много шуму автобіографіи, *хотя у него есть и талантъ*. Другой критикъ г. Пл. Красновъ, идетъ еще дальше: онъ увѣряетъ, что Горькій совсѣмъ не обладаетъ талантомъ и что вся его популярность основана *исключительно* на „легендѣ о его литературномъ происхожденіи чуть-ли не изъ той самой босяцкой среды, которую онъ такъ мудрено описываетъ" („Самородокъ и культурный писатель", очеркъ Пл. Краснова, „Новый Міръ"—1900 г., 10).

Прежде всего обратимъ вниманіе на то, о какомъ „шумѣ" идетъ здѣсь рѣчь. Если подъ „шумомъ" разумѣется дѣйствительно сильное увлеченіе публики сочиненіями г. Горькаго, то незачѣмъ искать искусственныхъ объясненій этому. Мы знаемъ, что публика часто сразу набрасывается на произведенія авторовъ,

стоящихъ по своему таланту далеко ниже Максима Горькаго. Чтобы не ходить далеко за примѣрами, вспомнимъ, въ какомъ громадномъ количествѣ расходились (особенно въ провинціи) романы недавно умершаго Михайлова (Шеллера). Я живо помню, что еще лѣтъ десять тому назадъ ни одинъ молодой человѣкъ въ стремленіи къ саморазвитію не могъ обойти романовъ покойнаго писателя, который и дѣйствительно будилъ въ молодыхъ сердцахъ лучшія чувства, хотя ему было далеко до обладанія художественнымъ талантомъ. Та самая „масса", которую любятъ часто упрекать въ увлеченіяхъ и прямолинейныхъ сужденіяхъ, гораздо раньше критики почувствовала и оцѣнила просвѣтительную сторону романовъ Шеллера. Въ то время, какъ въ семидесятые годы критика отнеслась отрицательно къ дѣятельности Шеллера („Отеч. Зап." 73 г. „Сантиментальное прекраснодушіе въ мундирѣ реализма", А. М. Скабичевскаго), желая направить его на лучшій путь, вся молодежь съ увлеченіемъ перечитывала „Гнилыя болота", „Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ", „Голь", „Засоренныя дороги", „Жизнь Шупова" и проч., признавая въ авторѣ этихъ произведеній „учителя жизни". А между тѣмъ, теперь уже всѣ признаютъ, что никакой художественной силы въ талантѣ Шеллера не было, что все обаяніе его произведеній вызывалось оптимистическимъ воззрѣніемъ автора на жизнь, утѣшавшаго и ободрявшаго читателя по случаю всякихъ не сбывшихся надеждъ и упованій. Этотъ оптимизмъ автора поддерживалъ духъ читателя въ разныя эпохи сомнѣній и разочарованій, наступившія послѣ сильно пульсировавшаго періода шестидесятыхъ годовъ.

Все это я говорю къ тому, что увлеченіе публики можетъ служить только показателемъ воздѣйствія на нее писателя, а не таланта его. Гораздо лучшимъ показателемъ послѣдняго можетъ служить посвященная данному писателю критическая литература. Въ разнородныхъ отзывахъ критиковъ всѣхъ лагерей и направленій, отзывахъ, въ которыхъ въ самомъ крайнемъ случаѣ въ каждомъ всегда имѣется крупица правды, можно почерпнуть наилучшія указанія о степени таланта, направленіи и духовной личности писателя.

Казалось бы, что по отношенію къ г. Горькому этотъ источникъ долженъ быть самый слабый: г. Горькій всего лѣтъ пять тому назадъ попалъ въ „большую литературу". Несмотря на это однако ему посвящено гораздо больше критическихъ статей, чѣмъ иному изъ старыхъ писателей за все время его литературной дѣятельности.

А если произведенія автора, недавно выступившаго на литературную арену, сразу обратили на себя вниманіе критики и

раздѣлили ее на лагери; если всѣ какъ столичные, такъ и провинціальные органы печати считаютъ нужнымъ непремѣнно посвятить произведеніямъ новаго писателя критическую статью, то это обстоятельство гораздо больше ручается за талантъ автора, чѣмъ поклоненіе публики.

Если посмотрѣть на дѣло съ этой стороны, то мнѣніе гг. Меньшикова и Краснова, что несовсѣмъ обычная біографія г. Горькаго вызвала успѣхъ его произведеній, окажется фактически невѣрнымъ. Дѣло въ томъ, что автобіографія г. Горькаго появилась въ „Семьѣ" 1899 г. № 35. Между тѣмъ вотъ далеко неполный списокъ статей, посвященныхъ толкованію сочиненій г. Горькаго *до* появленія въ печати его автобіографіи:

Русск. Мысль—1895 г.—8, стр. 410—412.

Русск. Бог.—98 г.—9. 10 (Н. К. Михайловскій: О г. Горькомъ и его герояхъ).

Русск. Мысль—98 г.—5, стр. 146—165.

Русск. Мысль—98—6, стр. 187—204.

Міръ Божій—98—7 (А. Б.—„Критическія замѣтки").

Нов. Вр.—98 г.—№ 8075 (фельетонъ В. П. Буренина).

Моск. Вѣдом.—98—ноябрь (А. Басаргинъ: „Тоскующій талантъ").

Русск. Вѣдом.—98—№ 170 (фельетонъ г. И—т)

Образованіе—98—11 (В. А. Поссе: „Пѣвецъ протестующей тоски").

Новости—98—№ 138 (фельетонъ Н. Минскаго).

Сынъ Отечества—98—№№ 116, 123 и 219 (фельетоны А. М. Скабичевскаго).

Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ подъ рукою болѣе подробнаго списка, хотя я знаю, что въ печати были еще статьи о произведеніяхъ Горькаго до 1899 г. Если еще принять во вниманіе, что „Семья" врядъ-ли читается сильно тѣми, кто увлекается Горькимъ, то ясно, что объясненіе его успѣха, приводимое гг. Меньшиковымъ и Красновымъ, является искусственнымъ. И вмѣсто того, чтобы искать искусственныхъ объясненій успѣха произведеній г. Горькаго, познакомимся съ собранной въ этой книгѣ критической литературой, посвященной этому писателю.*)

Что касается біографіи, то мы приводимъ ее вкратцѣ для того, чтобы можно было судить хоть въ нѣкоторой степени, подъ какими условіями и вліяніями развивался этотъ своеобразный талантъ. Матеріаломъ для этого будетъ служить намъ автобіографія

---

*) По причинамъ, отъ меня не зависящимъ, въ предлагаемую книгу не могли войти *всѣ* появившіяся статьи о произведеніяхъ Горькаго

Изд.

и біографическія свѣдѣнія, имѣющіяся въ изданной недавно книгѣ В. Ѳ. Боцяновскаго („Максимъ Горькій“, критико-біографическій очеркъ, С.-Петербургъ, 1901 г.).

II.

Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ (таково настоящее имя писателя, пишущаго подъ псевдонимомъ: Максимъ Горькій) родился 14-го марта 1869 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ семьѣ красильщика Василія Каширина, отъ дочери его Варвары и пермскаго мѣщанина Максима Савватіева Пѣшкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. Максимъ Пѣшковъ былъ человѣкъ добрый, умный, грамотный и, повидимому, способный. На это указываютъ слѣдующія обстоятельства. Дѣдъ Горькаго со стороны отца былъ разжалованъ императоромъ Николаемъ I изъ офицеровъ за жестокое обращеніе съ нижними чинами. Это былъ человѣкъ настолько крутого характера, что сынъ его, отецъ Горькаго, въ теченіе семи лѣтъ пять разъ убѣгалъ изъ дому и въ послѣдній разъ разстался съ семьей своей навсегда, придя пѣшкомъ семнадцати лѣтъ изъ Тобольска въ Нижній, гдѣ поступилъ въ ученики къ драпировщику. Черезъ пять лѣтъ послѣ этого онъ уже занимаетъ должность управляющаго конторой одного пароходства въ Астрахани.

Мать Горькаго была также дочь человѣка, лично составившаго себѣ имя и состояніе. Начавъ свою карьеру бурлакомъ на Волгѣ, дѣдъ Горькаго со стороны матери черезъ нѣкоторое время занялся окраской пряжи, разжился и открылъ въ Нижнемъ-Новгородѣ красильное заведеніе. Дѣловитость и практичность его вскорѣ уже сдѣлали его обладателемъ нѣскольких домовъ въ городѣ и трехъ мастерскихъ для набойки и окраски матеріи; онъ былъ также избранъ въ цеховые старшины и даже хотѣлъ попасть въ ремесленные головы, что ему, впрочемъ, не удалось. Человѣкъ онъ былъ гордый и очень деспотичный. Естественно поэтому, что такой человѣкъ,—самъ благодаря собственнымъ трудамъ достигшій виднаго положенія и богатства, не могъ выдать свою дочь за какого-то Пѣшкова, безроднаго и небогатаго, и молодые повѣнчались „самокруткой“.

Первые годы дѣтства Горькаго протекли очень неважно: въ 1873-мъ году, когда Горькому было всего 4 года, отецъ его умеръ въ Астрахани отъ холеры. Мать его вскорѣ вышла вторично замужъ и передала его на руки дѣду, который научилъ его чтенію по Псалтири и Часослову и затѣмъ опредѣлилъ его въ

школу, гдѣ онъ пробылъ всего пять мѣсяцевъ, послѣ чего, заразившись оспой, онъ кончилъ ученіе и уже больше не возобновлялъ его. Въ это время мать его умерла отъ скоротечной чахотки въ Канавинѣ-слободѣ, а дѣдъ разорился, и потому Горькій, всего девяти лѣтъ отъ роду, попадаетъ въ „мальчики" въ магазинъ обуви. Пробывъ тамъ мѣсяца два, онъ сварилъ себѣ руки кипящими щами и былъ отосланъ хозяиномъ вновь къ дѣду.

Родственники относились къ нему либо враждебно, либо равнодушно, и потому по выздоровленіи его отдали въ ученики къ чертежнику, отъ котораго вслѣдствіе тяжелыхъ условій жизни онъ сбѣжалъ и поступилъ въ иконописную мастерскую, а потомъ на пароходъ въ ученики къ повару. „На пароходѣ—пишетъ Горькій въ автобіографіи—когда былъ поваренкомъ, на образованіе мое сильно вліялъ поваръ Смурый, который заставлялъ меня читать житія святыхъ, Эккартгаузена, Гоголя, Глѣба Успенскаго, Дюма-отца и многія книжки франкъ-масоновъ. До повара терпѣть не могъ книгъ и всякой печатной бумаги, до паспорта включительно". Еще до того Горькому случилось усердно читать „классическія произведенія неизвѣстныхъ авторовъ, какъ-то: „Гуакъ или непреоборимая вѣрность", „Андрей Безстрашный", „Япанча", „Яшка Смертенскій" и т. п.—Мы знаемъ, что чтеніе романовъ, въ которыхъ описываются выдающіеся подвиги прекраснодушныхъ героевъ, возбуждало всегда фантазію и у людей съ нѣкоторой подготовкой къ чтенію. Тѣмъ болѣе въ этомъ направленіи должно было повліять чтеніе книгъ сказочнаго содержанія на Горькаго, съ самаго ранняго дѣтства видѣвшаго на каждомъ шагу несправедливость, притѣсненія и жестокости обращенія хозяевъ съ „учениками". Жажда героическихъ подвиговъ должна была впервые тогда у него появиться.

Побывавъ еще послѣ того помощникомъ садовника, Горькій серьезно задумываетъ учиться. „Послѣ 15 лѣтъ—пишетъ онъ—возымѣлъ я свирѣпое желаніе учиться, съ какою цѣлью поѣхалъ въ Казань, предполагая, что науки желающимъ даромъ преподаются. Оказалось, что оное не принято, вслѣдствіе чего я поступилъ въ крендельное заведеніе, по 3 руб. въ мѣсяцъ. Это—самая тяжкая работа изъ всѣхъ опробованныхъ мною".

Тутъ мы обратимъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Девяти лѣтъ Горькій прекратилъ уже ученіе въ школѣ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ онъ переходитъ отъ одной нелегкой должности къ другой и все къ должностямъ такого характера, гдѣ учиться не очень-то легко. Между тѣмъ, въ пятнадцать лѣтъ, по поступленіи въ крендельное заведеніе, онъ ужъ очевидно столько прочелъ, что былъ въ состояніи говорить Коновалову объ условіяхъ и

средѣ, о неравенствѣ вообще, о людяхъ—жертвахъ жизни и о людяхъ—жрецахъ ея. Онъ также могъ разсказывать Коновалову о томъ, „что онъ, какъ фактъ, вполнѣ логиченъ и совершенно правильно обоснованъ цѣлымъ рядомъ посылокъ изъ далекаго прошлаго. Онъ—печальная жертва условій, существо, по природѣ своей, со всѣми равноправное и длиннымъ рядомъ историческихъ несправедливостей сведенное на степень соціальнаго нуля (II, 21)“. Затѣмъ, нужно обратить вниманіе на выборъ чтенія, который дѣлаетъ „самоучка“ въ 15—17 лѣтъ. Онъ читаетъ неграмотному рабочему „Подлиповцевъ“, „Бунтъ Стеньки Разина“, Костомарова, „Тараса Бульбу“ и „Бѣдныхъ людей“.—Встрѣчаясь часто съ разными оборванцами въ „стеклянномъ заводѣ“ (см. „Коноваловъ“ II, 30—31), Горькій убѣдился, что „каждый человѣкъ, боровшійся съ жизнью, побѣжденный ею и страдающій въ безжалостномъ плѣну ея грязи, болѣе философъ, чѣмъ самъ Шопенгауеръ, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется въ такую точную и образную форму, въ какую выльется мысль непосредственно выдавленная изъ человѣка страданіемъ. Знаніе жизни у этихъ людей, вышвырнутыхъ за бортъ ея, поражало меня своей глубиной“.

Въ это же время Горькій часто сходится съ „бывшими людьми“.—„Я работалъ—пишетъ онъ—на Устьѣ, пилилъ дрова, таскалъ грузы“. Почитывая книги, конечно, урывками, между нелегкимъ дѣломъ, Горькій все болѣе и болѣе знакомится съ грызущими всякаго мыслящаго человѣка „проклятыми“ вопросами. Вообще разсказъ „Бывшіе люди“, какъ намъ кажется, является, какъ и „Коноваловъ“, отраженіемъ личнаго житья автора. Метеоромъ явился онъ среди этихъ людей, когда-то разныхъ положеній и состояній, теперь „отверженныхъ“ отъ общества. Но, какъ метеоръ, онъ скоро исчезаетъ изъ ихъ среды.

Въ Казани же Горькій сближается со студентами, начинаетъ бывать въ кружкахъ самообразованія, и тутъ-то еще болѣе начинаетъ у него чередоваться настроеніе оптимистическое, когда онъ надѣется вскорѣ выработать изъ себя „крупную общественно-активную силу“, съ глубокими, грызущими сердце сомнѣніями. Результатомъ этой борьбы между подъемомъ и упадкомъ духа является въ 1888-мъ году покушеніе на самоубійство. Но судьба сохранила намъ, къ счастью, талантливаго писателя: пуля не имѣла смертельнаго исхода. „Прохворавъ, сколько требовалось—пишетъ Горькій—я ожилъ, дабы приняться за торговлю яблоками“.

Послѣ Казани Горькій появляется въ Царицынѣ въ качествѣ желѣзно-дорожнаго сторожа и затѣмъ опять въ Нижнемъ,

по случаю призыва къ отбыванію воинской повинности. Въ солдаты Горькій, впрочемъ, не попадаетъ: „дырявыхъ не берутъ", и онъ становится продавцомъ баварскаго кваса, а затѣмъ попадаетъ въ письмоводители къ присяжному повѣренному А. И. Ланину.

По признанію самого г. Горькаго, адвокатъ Ланинъ имѣлъ большое вліяніе на его образованіе. Однако, Горькій скоро „чувствуетъ себя не на мѣстѣ среди интеллингенціи", и въ 1890 году онъ уходитъ изъ Нижняго опять въ Царицынъ, затѣмъ исходилъ Донскую Область, Украйну, былъ въ Бессарабіи, вдоль южнаго берега Крыма прошелъ на Кубань и затѣмъ на Кавказъ.

Въ Тифлисѣ, гдѣ Горькій работалъ въ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ, онъ 1892 году напечаталъ свой первый разсказъ „Макаръ Чудра" въ мѣстной газетѣ „Кавказъ". Какими бы недостаткими ни обладалъ этотъ разсказъ, онъ все же обнаруживаетъ въ авторѣ несомнѣнное дарованіе. Вернувшись затѣмъ на Волгу, Горькій началъ писать разсказы для „Волжскаго Вѣстника", но помимо этого, помѣстилъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ" разсказъ „Емельянъ Пиляй" (1893 г.). Въ это время Горькій вообще еще пишетъ довольно мало: ежегодно по небольшому разсказу, не считая мелкихъ работъ для провинціальныхъ газетъ. Черезъ годъ (1894 г.) появляется разсказъ „Дѣдъ Архипъ и Ленька".

„Въ 1893—1894 г.—пишетъ Горькій—я познакомился въ Нижнемъ-Новгородѣ съ В. Г. Короленко, которому обязанъ тѣмъ, что попалъ въ большую литературу. Онъ очень много сдѣлалъ для меня, многое указалъ, многому научилъ". Результатомъ этого знакомства является помѣщеніе въ „Русск. Бог." 95 г. разсказа „Челкашъ". Этотъ разсказъ рѣшаетъ судьбу писателя: имъ начинаютъ зачитываться, и всѣ его произведенія съ того времени помѣщаются въ „толстыхъ" журналахъ.

Здѣсь мы обратимся къ книгѣ г. Боцяновскаго, по которой будемъ продолжать: Въ томъ же году появляется его очеркъ „Ошибка" въ „Русской Мысли". Въ 1896 году въ „Новомъ Словѣ" печатаются его разсказы „Тоска" и „Коноваловъ", въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ" разсказъ „Мальва" и др. Въ то же время, однако, Горькій не оставляетъ и провинціальной прессы. Въ 1895 г. имъ напечатанъ въ „Самарской Газетѣ" цѣлый рядъ разсказовъ, подъ общимъ заглавіемъ „Тѣневыя картинки". На страницахъ этой газеты появились „Старуха Изергиль", „Пѣсня о Соколѣ", „На плотахъ", „Скуки ради", „Однажды осенью", а также не вошедшіе въ отдѣльно изданныя книжки разсказы: „На соли", ‚Сказка" (1895 г. № 162, 168), большой разсказъ: „О ма-

ленькой феѣ и молодомъ чабанѣ" (1895 г. №№: 98, 100—105—107), стихотвореніе „На черноморьѣ" (1895 г. № 71) и др. Кромѣ того, съ весны 1895 г. (съ № 159) и въ теченіе всего 1896 г. Горькій велъ въ этой же газетѣ маленькій фельетонъ, помѣщая ежедневно свои замѣтки на злобу дня въ рубрикѣ „Между прочимъ" подъ псевдонимомъ Іегудіилъ Хламида. Съ осени 1898 года произведенія Горькаго помѣщаются исключительно въ журналѣ „Жизнь". На страницахъ этого журнала была, между прочимъ, напечатана самая обширная по объему повѣсть Горькаго „Ѳома Гордѣевъ", а въ первыхъ книжкахъ 1900 г. помѣщено начало большого романа „Мужикъ" (стр. 21—22).

Добавимъ отъ себя, что въ журналѣ „Жизнь" (1900—11 и 12; 1901—1) напечатано начало новой повѣсти „Трое" и что въ текущемъ году, кромѣ „Жизни", и нѣкоторые другіе органы печати обѣщаютъ дать на своихъ столбцахъ произведенія Горькаго.

III.

Какіе же выводы мы можемъ пока сдѣлать, ознакомившись съ біографіей Горькаго?

Конечно, біографія его „не совсѣмъ обычна". Но это только со стороны внѣшнихъ фактовъ. Мы не привыкли къ тому, чтобы у насъ образовался писатель изъ человѣка, работавшаго въ хлѣбопекарнѣ, изъ бывшаго желѣзнодорожнаго сторожа и т. д. О періодѣ литературы до 19-го столѣтія говорить, конечно, нечего: вся она исходила или изъ духовныхъ или изъ придворныхъ сферъ. Представители литературы первой половины 19-го столѣтія всѣ или изъ дворянскихъ родовъ или изъ круга если и не дворянскаго, то получившаго европейское воспитаніе въ средней и высшей школѣ. Во 2-й половинѣ заговорили „разночинцы", но все же каждый представлялъ собою человѣка, дѣтство и отрочество котораго прошли въ школѣ, въ спеціальной подготовкѣ къ литературнымъ занятіямъ или, по крайней мѣрѣ, въ постоянномъ чтеніи книгъ. То, къ чему давно привыкли въ Зап. Европѣ и Америкѣ, гдѣ занятіе литературой идетъ независимо отъ „хлѣбнаго" дѣла, составляетъ для насъ новость. Примѣръ Горькаго есть просто своего рода „знаменіе времени". Мы никакъ не можемъ еще переварить мысли, что такой-то геніальный у насъ человѣкъ—сынъ „простого" сапожника. Гдѣ-же въ самомъ дѣлѣ какому-нибудь сапожнику имѣть геніальныхъ дѣтей? Условія нашей жизни дѣйствительно таковы, что если у желѣзнодорожнаго сторожа или его сына и обнаружится талантъ, то онъ заглохнетъ, не имѣя почвы для произрастанія. Вотъ почему всѣ

такъ изумлены были, когда выяснилось, при какихъ условіяхъ протекли дѣтство и отрочество Горькаго. Въ дѣйствительности же удивляться было нечему: при отсутствіи нѣкоторыхъ случайныхъ условій, сыгравшихъ роль въ жизни Горькаго, природный талантъ его, какъ бы онъ ни былъ великъ, заглохъ бы, какъ, вѣроятно, погибаютъ многіе таланты, можетъ быть, правда, менѣе сильные, но все же по причинѣ того, что не было случая, который помогъ бы имъ выбраться изъ всякихъ „ямъ".

Что же сыграло такую великую роль въ жизни Горькаго? По автобіографіи выходитъ, что самъ Горькій приписываетъ свои знанія и развитіе вліянію четырехъ учителей—просвѣтителей его. „Напишите объ этомъ,—говоритъ самъ Горькій,—непремѣнно напишите: его, Горькаго, училъ писать Короленко, а если Горькій мало усвоилъ отъ Короленко—въ этомъ виноватъ онъ, Горькій. Пишите: первымъ учителемъ Горькаго былъ солдатъ—поваръ Смурый, вторымъ—адвокатъ Ланинъ, третьимъ—Александръ Меѳодіевичъ Калюжный, человѣкъ „внѣ общества", четвертымъ—Короленко.

Къ сожалѣнію, въ этомъ мѣстѣ обрывается автобіографія Горькаго. „Больше—пишетъ онъ—не хочу писать. Я разстроился и растрогался при воспоминаніи объ этихъ великолѣпныхъ людяхъ".

Повидимому, самъ Горькій съ благодарностью называетъ „великолѣпными людьми" и повара-солдата Смураго и г. Короленко. Однако про Смураго что-то не слыхать больше: это либо тоже какой-нибудь заглохшій талантъ либо, заставляя всѣхъ своихъ поварятъ непремѣнно читать книжки, онъ больше не натыкался ни на одного одареннаго отъ природы человѣка. Вспомнимъ, что Горькій до Смураго „ненавидѣлъ печатную бумагу". Значитъ, Смурый дѣйствительно сыгралъ роль въ его жизни, обративъ его ненависть къ книгамъ въ любовь къ нимъ.

Кромѣ вліянія этихъ 4-хъ учителей, нужно придти къ заключенію, что на Горькаго, какъ на человѣка, высокоодареннаго отъ природы, вліяло все, вліяла вся жизнь, въ ея безконечномъ разнообразіи. Всякая непріятность, которую онъ переживаетъ, не возбуждаетъ въ немъ только желчи, но служитъ урокомъ, изъ котораго онъ почерпаетъ знаніе. Всякое невольное путешествіе, которое онъ дѣлаетъ въ поискахъ за заработкомъ, обогащаетъ его впечатлѣніями новой природы и новой обстановки. Онъ часто видитъ море и глубоко „чувствуетъ" его прелести, шумъ его волнъ, „смѣхъ" ихъ, улыбку солнца, отражающагося въ нихъ. Онъ видитъ безконечную степь, и это его наполняетъ глубокими порывами въ ширь и высь, далеко отъ мрачной дѣйствительно-

сти. Онъ сталкивается съ цыганами, и вотъ вамъ готовъ образъ Макара Чудры, разсказывающаго дивную исторію про Лойку Зобара и Радду. Онъ посѣщаетъ Одессу и оттуда идетъ дальше „на соль", и вотъ вамъ готовы „Челкашъ", „Емельянъ Пиляй" и „Старуха Изергиль".—Онъ случайно сталкивается съ равнодушной фигурой грузина въ гавани, и вотъ они вмѣстѣ путешествуютъ пѣшкомъ въ Тифлисъ, и у насъ готова фигура „кнэзя Шакро". И т. д. и т. д. Ни одно мимолетное явленіе, ни одинъ человѣкъ не ускользаетъ отъ внимательнаго взора и чуткой души Горькаго. Онъ знакомится въ Казани и въ Нижнемъ съ кружками самообразованія, и въ нихъ обращаетъ на себя вниманіе молодежи, какъ „душа живая и умница" (В. Ѳ. Боцяновскій, стр. 19). Всѣ его мытарства сослужили ему при его воспріимчивости прекрасную службу и—кто знаетъ?—этотъ самый талантливый Горькій, проведи онъ „правильно" свое дѣтство и отрочество, воспитываясь въ школѣ и обучаясь въ ней древнимъ языкамъ, изучая въ теоріи словесности разныя „фигуры" и „тропы" и пріучаясь при помощи учителя словесности писать „сочиненія" по „хріи", быть можетъ, вышелъ бы самымъ зауряднымъ литературнымъ подмастерьемъ не безъ таланта, но безъ всякой оригинальности. Я вовсе не хочу утверждать, что такими оригинальными талантами могутъ быть только самоучки. Наоборотъ, вѣроятно, слишкомъ много энергіи было потрачено Горькимъ на испеченіе вкупѣ съ Коноваловымъ „красавцевъ" и на исполненіе другихъ своихъ нелегкихъ обязанностей, энергіи, которая могла бы пойти на развитіе его таланта. Я хочу только сказать, что пора отрѣшиться отъ взгляда, что только школа, которая „сама себя высѣкла" недавно, воспитываетъ и поддерживаетъ таланты. Самое лучшее воспитаніе даетъ *жизнь*, и кто отъ природы умѣетъ черпать изъ ея разнообразныхъ богатствъ, благо тому...

Слѣдовательно, отвѣтомъ на вопросъ, постановленный въ началѣ, чему обязанъ Горькій своимъ успѣхомъ, можетъ служить только слѣдующее: *онъ обладаетъ громаднымъ художественнымъ талантомъ, глубокимъ художественнымъ чувствомъ,* которое производитъ сильное вліяніе на каждаго читателя.

Для подтвержденія этой мысли познакомимся съ приведенной въ этой книгѣ критической литературой 1898—1900 годовъ.

С. М.

Критика 1898-го года.

Пѣвецъ протестующей тоски.

(М. Горькій. Очерки и разсказы. 2 тома. 1898 г.).

I.

Въ художественномъ произведеніи мы воспринимаемъ дѣйствительность, преломленную сознаніемъ художника. Художникъ обогащаетъ и расширяетъ жизнь своимъ творческимъ талантомъ. Многое, непосредственно недоступное нашимъ чувствамъ, становится доступнымъ черезъ посредство художественныхъ произведеній. Ихъ можно сравнить съ физическими приборами Рентгена, при посредствѣ которыхъ дѣлаются для нашихъ чувствъ доступными невидимые свѣтовые лучи.

Чѣмъ сильнѣе талантъ художника, тѣмъ больше невидимыхъ жизненныхъ лучей, преломившись черезъ его творческую призму, дѣлаются видимыми, тѣмъ больше обогащается имъ дѣйствительность, доступная обычному взору.

Художникъ открываетъ намъ новые звуки, новыя краски въ окружающей природѣ; онъ открываетъ намъ новыя черты, новыя душевныя движенія въ окружающихъ насъ людяхъ и въ насъ самихъ. Взглянувъ на картину или статую, прослушавъ музыкальную вещь, прочитавъ повѣсть, мы нерѣдко чувствуемъ, что въ нашей душѣ начинаютъ звенѣть новыя незнакомыя намъ доселѣ струны, что наша духовная жизнь обогащается, расширяется.

Человѣчество обладаетъ уже многими истинно художественными произведеніями, многое невидимое стало видимымъ, но было-бы слишкомъ смѣло утверждать, что этимъ сужены задачи художественнаго творчества, что художникамъ придется вскорѣ лишь повторять созданное ихъ великими предшественниками. Предѣлы художественнаго творчества такъ же широки, какъ предѣлы научныхъ изысканій. И въ томъ и въ другомъ случаѣ жизнь и природа, повидимому, неисчерпаемы. Но, конечно, ни новыя научныя открытія, ни новыя произведенія художественнаго творчества не являются изолированными отъ ранѣе созданнаго или открытаго. Какъ бы ни былъ оригиналенъ современный художникъ, онъ все же связанъ съ своими предшественниками, онъ продолжаетъ ихъ творчество, въ его созданіи преломляется дѣйствительность, въ той или другой степени обогащенная и расширенная ихъ художественнымъ творчествомъ.

Могучъ и оригиналенъ художественный талантъ Максима Горькаго, нова и оригинальна та дѣйствительность, которая, преломившись въ его сознаніи, переливается передъ нашими глазами такимъ поразительнымъ разнообразіемъ красокъ; и все же многіе основные тоны этихъ красокъ уже знакомы намъ изъ другихъ произведеній, что, впрочемъ, отнюдь не ослабляетъ значенія и интереса его произведеній.

Многія черты и душевныя настроенія героевъ Горькаго встрѣчались не разъ въ произведеніяхъ лучшихъ русскихъ писателей, но сами герои тѣмъ не менѣе новы и оригинальны. Ново и оригинально, что черты и настроенія людей изъ среды привилегированной, среды барской и интеллигентно-разночинной, среды, художественными выразителями которой являются Гоголь, Щедринъ, Тургеневъ, Толстой и др., въ нѣсколько иномъ видѣ свойственны и героямъ М. Горькаго, перваго талантливаго художника-представителя рабочаго пролетаріата.

Ново и оригинально, что творческая призма Горькаго, вылитая изъ совершенно своеобразной массы, собирая лучи совершенно новой среды, даетъ тѣ же основные тоны, какіе давали творческія призмы писателей привилегированныхъ, интеллигентныхъ слоевъ.

До сихъ поръ у насъ были писатели, въ произведеніяхъ которыхъ отражалось русское барство, русское чиновничество, русская интеллигенція, были у насъ и писатели, которые писали о народѣ, писали о немъ, такъ сказать, *со стороны.*

Горькій же является едва-ли не первымъ талантливымъ писателемъ-художникомъ, въ которомъ непосредственно отразилась душа рабочей массы, душа русскаго бродячаго пролетаріата.

Многіе наши лучшіе писатели являются представителями дворянской, буржуазной и интеллигентной Россіи даже тогда, когда они изображаютъ народъ; Горькій остается писателемъ-пролетаріемъ, писателемъ-босякомъ даже тогда, когда онъ рисуетъ купцовъ, разночинцевъ и интеллигентовъ.

Произведенія Горькаго слѣдуетъ сравнивать, по нашему мнѣнію, не съ произведеніями о „народѣ“, понимая подъ нимъ крестьянскую и рабочую массу, а съ произведеніями, гдѣ привилегированная и интеллигентная среда изображается ея собственными представителями. „Босяцкіе“ разсказы Горькаго, вродѣ „Коновалова“, слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, сопоставлять не со слащавыми „народными“ повѣстями Григоровича, даже не съ народными очерками интеллигентовъ Успенскаго и Златовратскаго, а съ „барскими“ произведеніями Гоголя, Тургенева и Щедрина.

Творческій талантъ Горькаго призванъ открывать общечеловѣческія стремленія и настроенія въ низшихъ, обездоленныхъ народныхъ слояхъ, какъ это сдѣлали художественные таланты Гоголя, Тургенева, Толстого и Щедрина въ родственной имъ привилегированной средѣ.

Но какъ эти великіе дворянскіе и буржуазные писатели стремились подчинить своему художественному творчеству не только свою буржуазно-дворянскую, но и крестьянско-рабочую среду, такъ и Горькій пытается охватить своимъ пролетарскимъ сознаніемъ не только рабочую среду, но по возможности всѣ общественные слои.

Его настоящими героями являются босяки. Въ моментъ художественнаго творчества онъ сливается съ ними, его душа *проникается* ихъ чувствами, ихъ стремленіями, ихъ любовью и ненавистью. На всѣхъ остальныхъ, на купцовъ, разночинцевъ, интеллигентовъ и даже крестьянъ онъ смотритъ *со стороны*, но смотритъ пытливо и проникновенно.

II.

Основное душевное настроеніе, воспринятое Горькимъ изъ окружающей дѣйствительности, можетъ быть охарактеризовано словомъ *тоска,* какъ и называется одинъ изъ лучшихъ его разсказовъ. Тоска—понятіе широкое; подъ него подойдутъ довольно различныя душевныя состоянія, *отчасти* представляющіе развитіе одного и того-же настроенія.

Самую низшую ступень тоски, самое грубое ея прявленіе представляетъ изъ себя *скука*. Скука чрезвычайно характерна для русской жизни, какъ въ современномъ, такъ въ особенности въ дореформенномъ періодѣ. Вы помните потрясающее по своей простотѣ и искренности восклицаніе, вырвавшееся у Гоголя въ концѣ его „смѣшной“ повѣсти о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ? . . „Скучно жить на этомъ свѣтѣ, господа! . .“

Въ сущности эти слова могутъ вырваться по прочтеніи большинства бытовыхъ произведеній Гоголя.

Развѣ не убійственно скучна жизнь всѣхъ героевъ „Мертвыхъ душъ“, „Ревизора“ и „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“? Скука, *внутренняя* скука, сочится сквозь внѣшнее веселье, которымъ съ такимъ искусствомъ прикрылъ ее великій сатирикъ крѣпостной Россіи. Если вѣрно, что сквозь видимый смѣхъ Гоголя звучатъ незримыя слезы, то еще вѣрнѣе, что сквозь его веселье глядятъ мертвые глаза скуки дореформенной русской жизни съ ея пошлостью, мелкими мошенничествами и сплетнями, замѣняющими крупные общечеловѣческіе интересы.

Эти мертвые глаза глядятъ еще неизмѣримо страшнѣе въ глубоко-ужасныхъ произведеніяхъ великаго Щедрина—въ „Господахъ Головлевыхъ“ и „Пошехонской Старинѣ“.

Прочитавъ эти произведенія, поймешь, какъ убійственна, какъ *жестока* можетъ быть скука.

Эту жестокую, грубую скуку отчасти воспринялъ въ свое творческое созваніе и М. Горькій, пѣвецъ по преимуществу высшихъ стадій тоски,—именно *грусти* и *протестующаго довольства*.

Жестокость обычной, съ виду вполнѣ невинной скуки ярко выступаетъ въ его небольшомъ очеркѣ „Скуки ради“. Очеркъ чрезвычайно характеренъ и интересенъ, но мы не рѣшаемся пересказывать его содержанія. Пересказывать произведенія Горькаго не то что трудно, а какъ то жалко. Они—не разсказы о жизни, они—сама жизнь, которая тотчасъ замираетъ отъ грубаго прикосновенія пересказчика. Ограничимся указаніемъ на сущность фабулы.

Кучка служащихъ на брошенномъ въ степи желѣзнодорожномъ полустанкѣ „скуки ради“ до смерти засмѣиваютъ тихую пожилую женщину—кухарку Арину за ея связь съ желѣзнодорожнымъ стрѣлочникомъ. Очеркъ написанъ безъ всякихъ подчеркиваній, но тѣмъ не менѣе, прочитавъ его, трудно удержаться, чтобъ не воскликнуть: „Страшно жить на этомъ свѣтѣ, господа!“.

Та же скука, но скука другой среды схвачена Горькимъ въ очеркѣ „Зазубрина“.

Въ разсказѣ „Скуки ради“ скучаютъ мелкіе желѣзнодорожные чиновники, полуинтеллигенты, одинъ изъ которыхъ постоянно говоритъ цитатами изъ Шопенгауера. Въ „Зазубринѣ“ скучаютъ арестанты, скучаетъ „міръ отверженныхъ“.

Для ихъ увеселенія тщеславный арестантъ „Зазубрина“ замучиваетъ котенка, опуская его въ ведро съ зеленой краской.

Желѣзнодорожные философы ничуть не жалѣютъ повѣсившейся отъ срама несчастной Арины. „Отверженные“ сначала смѣются надъ крашенымъ котенкомъ, но затѣмъ, видя его страданія, чуть не плачутъ, жалѣютъ его и жестоко избиваютъ мучителя Зазубрину.

Въ сознаніи Горькаго „міръ отверженныхъ“ отражается болѣе человѣчнымъ, менѣе равнодушно-жестокимъ, чѣмъ среда полуинтеллигентныхъ желѣзнодорожныхъ чиновниковъ. Спеціально арестантовъ Горькій касается лишь вскользъ, но онъ даетъ глубоко-почувствованную и придуманную картину жизни другой категоріи „отверженныхъ“, а именно „бывшихъ людей“. „Бывшими людьми“ Горькій называетъ обытателей „ночлежки“ (ночлежнаго дома), выбитыхъ изъ жизненной колеи, лишившихся постояннаго заработка и крова. Мы видимъ среди нихъ людей когда-то разныхъ положеній, разныхъ профессій: ротмистра, учителя, лѣсничаго, дьякона, тюремщика и т. д., но всѣ они *бывшіе,* всѣхъ ихъ уравняла „ночлежка“, которая въ этомъ отношеніи значительно превосходитъ каторжную тюрьму.

И они стали *бывшими людьми* не потому, чтобы были хуже и глупѣе тѣхъ, которые ровно и спокойно катятся по жизненнымъ рельсамъ, а потому, что они съ одной стороны слишкомъ индивидуальны, чтобы спокойно брести съ людскимъ стадомъ, съ другой недостачно сильны и развиты чтобы подняться надъ нимъ и примкнуть къ людямъ будущаго.

Надъ „бывшими людьми“ тяготѣетъ уже не тоска-скука, а *тоска-злоба*. . .

„И вдругъ среди нихъ вспыхивала звѣрская злоба, пробуждалось ожесточеніе людей загнанныхъ, измученныхъ своей суровой судьбой. Ими ощущалась близость того неумолимаго врага, который всю жизнь ихъ превратилъ въ одну жестокую нелѣпость. Но этотъ врагъ былъ неумолимъ, ибо невѣдомъ.

„И тогда они били другъ друга; били жестоко, звѣрски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что могъ принять въ закладъ нетребовательный Вавиловъ. Такъ въ тупой злобѣ, въ тоскѣ, сжимавшей имъ сердца, въ невѣдѣніи исхода изъ этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще болѣе суровыхъ дней зимы“. (II, 186—187).

Проявленія этой злобной тоски, этой тоски-злобы, какъ видите, отвратительны, но она все же выше барской скуки, хотя бы и прикрытой гоголевскимъ смѣхомъ.

Скука—неподвижна, безжизненна, мертва.

Тоска-злоба скрываетъ въ себѣ недовольство окружающими условіями, скрываетъ въ себѣ полусознательный протестъ противъ „подлой жизни“. Злоба толкаетъ „бывшихъ людей“ на борьбу, мелкую, почти безплодную, но все же борьбу. Борьба приноситъ бодрость и жизнь. Осенняя тупая злоба смѣняется по-временамъ злобой протестующей, злобой бодрящей и будящей тѣхъ несчастныхъ, которые никогда не были людьми.

Бывшіе люди вносили съ собой въ среду забитыхъ бѣдностью и горемъ обывателей улицы свой духъ, въ которомъ было что-то облегчавшее жизнь людей, истомленныхъ и растерявшихся въ погонѣ за кускомъ хлѣба, такихъ же пьяницъ, какъ обитатели убѣжища Кувалды („ночлежки“), и такъ же сброшенныхъ изъ города, какъ и они. Умѣнье все говорить и все осмѣивать, безбоязненность мнѣній, рѣзкость рѣчи, отсутствіе страха передъ тѣмъ, чего вся улица боялась, безшабашная, бравирующая удаль этихъ людей не могла не нравиться улицѣ. Затѣмъ почти всѣ они узнали законы, могли дать любой совѣтъ, написать прошеніе, помочь немножко, безнаказанно смошенничать.

На ряду съ злобной тоской „бывшихъ людей“, людей голодныхъ, людей-неудачниковъ, Горькій рисуетъ *тоску боязливую*, тоску сытыхъ людей, людей-удачниковъ, катящихся безпрепятственно по уготовленной для нихъ жизненной колеѣ. Въ этой тоскѣ страхъ смерти смѣшивается съ недовольствомъ, вытекающимъ изъ внезапнаго сознанія полной пустоты прожитой жизни. Это—та тоска, которая гложетъ передъ смертью толстовскаго Ивана Ильича.

У Горькаго этою тоскою заболѣваетъ зажиточный мельникъ Тихонъ Павловичъ, герой разсказа: „Тоска“. Тихонъ Павловичъ до старости проживъ сытымъ, довольнымъ человѣкомъ, проникнутымъ „стойкимъ

жизнерадостнымъ чувствомъ". И вдругъ это чувство „куда-то провалилось, улетѣло, погасло, и на мѣсто его явилось нѣчто новое, тяжелое, непонятное и темное". (I, 269—270).

Перемѣна въ Тихонѣ Павловичѣ, какъ и въ Иванѣ Ильичѣ, произошла передъ лицомъ смерти, но у Ивана Ильича это была его собственная смерть, у Тихона Павловича—смерть неизвѣстнаго ему писателя, на похороны котораго онъ попалъ случайно. Разница въ данномъ случаѣ не существенная, такъ какъ смерть писателя вызвала въ Тихонѣ Павловичѣ представленіе о приближеніи его собственнаго расчета съ жизнью.

Иванъ Ильичъ—высокопоставленный и образованный чиновникъ, Тихонъ Павловичъ—полуграмотный мельникъ, но тѣмъ не менѣе основа ихъ тоски, ихъ ноющаго и гложущаго душу недовольства жизнью—одна и та же. Приближаясь къ смерти, они оба тоскуютъ, что всю жизнь угнетали живую душу мелкими, мертвыми дѣлами.

„Не живетъ душа-то"—размышляетъ затосковавшій мельникъ—„Дѣти все—главная причина; о душѣ-то подумать некогда. А она вдругъ и того . . . и возстала, значитъ. Пустой часъ улучила да и воспряла . . . Вотъ-те и дѣла! И къ чему очень ужъ много дѣловъ затѣвать, коли все равно умирать? Для чего готовимъ себя, ежели гольемъ жизнь-то взять? Для . . . смерти. Съ чѣмъ пойдемъ предъ лицо Господа? Вотъ душа-то и напоминаетъ: встрепыхнись, дескать, человѣкъ, потому что часъ твой тебѣ невѣдомъ" . . . (I, 277).

„И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгахъ",—думаетъ умирающій Иванъ Ильичъ—„и такъ годъ, и два, и десять, и двадцать—и все то-же. И что дальше, то мертвѣе. Точно равномѣрно я шелъ подъ гору, воображая, что иду на гору, Такъ и было. Въ общественномъ мнѣніи я шелъ на гору, и ровно настолько отъ меня уходила жизнь . . . И вотъ готово—умирай!".

Развѣ эти настроенія въ сущности не одинаковы?

III.

Предсмертная тоска Ивана Ильича и Тихона Павлыча родственна *тоскѣ-грусти тоскѣ-скорби*, стоящей однако несомнѣнно выше ея и встрѣчающейся у натуръ несравненно болѣе сложныхъ и тонкихъ. Этой скорбной или грустной тоской въ различныхъ ея проявленіяхъ надѣлены почти всѣ наиболѣе характерные герои Тургенева, созданные имъ въ большей или меньшей степени по образу и подобію своему. Рудинъ, Неждановъ, „Лишній человѣкъ", „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда"—всѣ они болѣютъ скорбною тоскою и всѣ они родственны другъ другу, несмотря на громадное внѣшнее различіе.

Къ ихъ же скорбно-тоскливой семьѣ принадлежитъ и неграмотный босякъ Коноваловъ, одинъ изъ наиболѣе любопытныхъ героевъ Горькаго.

Въ скорбной тоскѣ, періодически нападавшей на Коновалова, нѣтъ ни капли злобы. Въ своихъ неудачахъ и несчастьяхъ онъ винитъ исключительно самого себя, не ссылаясь ни на злыхъ людей, ни на злую судьбу.

Онъ винилъ себя, что не нашелъ точки, на которую могъ бы упереться, когда на него со всѣхъ сторонъ валила разная темная сила, толкая въ безпутную пьяную босяцкую жизнь.

„. . . Я самъ виноватъ въ своей долѣ! . .“—говоритъ Коноваловъ—„Не нашелъ я точки моей! ищу, тоскую—не нахожу“.

„. . . И не одинъ я—много насъ этакихъ. Особливые мы будемъ люди . . . и ни въ какой порядокъ не включаемся. Особый намъ и счетъ нуженъ . . . и законы особые . . . очень строгіе законы—чтобы насъ искоренить изъ жизни! Потому пользы отъ насъ нѣтъ, а мѣсто мы въ ней занимаемъ и у другихъ на тропѣ стоимъ. . . Кто передъ нами виноватъ? Сами мы передъ собою и жизнью виноваты! Потому у насъ охоты къ жизни нѣтъ и мы чувствъ не имѣемъ. . .“ (II, 22).

„Несчастный, этакій ядовитый духъ отъ меня исходитъ. И какъ я близко къ человѣку подойду, такъ сейчасъ онъ отъ меня заражается. И для всякаго я могу съ собой принести только горе. . . Вѣдь ежели подумать—кому я всей моей жизнью удовольствіе принесъ? Никому! Я тоже со многими людьми имѣлъ дѣло. . . Тлѣющій я человѣкъ. . .“ (II, 45).

Какъ во всякомъ самобичеваніи, такъ и въ этомъ, коноваловскомъ, много болѣзненнаго преувеличенія, но есть и значительная доля правды.

Коноваловъ добръ и отзывчивъ, *сознательно* онъ никому не причинитъ зла, но безсознательно онъ многимъ приноситъ горе, страданіе, и оно тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ближе ему человѣкъ.

Особенно характерно его отношеніе къ женщинамъ. Онъ понимаетъ женскую душу и сердце, онъ относится къ женщинамъ *просто*, по-человѣчески, и женщина оцѣниваетъ его безпристрастную дѣтскую душу, быстро и крѣпко привязывается, привыкаетъ къ нему, но тутъ-то и начинается ея горе, ея страданіе.

Коноваловъ, которому не справиться съ самимъ собою, со своими сомнѣніями, со своей тоской, окончательно теряетъ равновѣсіе, когда съ его душой стремится слиться душа беззавѣтно полюбившей его женщины. Эта душа тоже истерзана сомнѣніями, тоже полна горемъ и грустной тоской, потому что Коноваловыхъ любятъ вѣдь только изстрадавшіяся, несчастныя женщины. Въ любовь къ нему онѣ кладутъ весь остатокъ своихъ силъ, весь остатокъ своей жизни, но, увы, тоскующая душа Коновалова—невѣрное хранилище. Еще сильнѣе поднимаются въ ней сомнѣнія, еще меньше остается вѣры въ свои силы, еще больше растетъ недовольство и ноющая тоска. Измученный, изстрадавшійся, въ отчаяніи онъ бѣжитъ, наконецъ, отъ полюбившаго его человѣка, нанося ему этимъ нерѣдко послѣдній ударъ.

Этотъ неграмотный босякъ страшно въ сущности близокъ турге-

невскому Рудину. Оба скитаются по міру одинокіе, бездомные, съ разладомъ и безплодными порывами въ своихъ тоскующихъ душахъ. Оба ищутъ любви и боятся ея, оба влекутъ къ себѣ и отталкиваютъ отъ себя, обоимъ „суждены благіе порывы, но ничего совершить не дано“.

У обоихъ, какъ говоритъ про себя Коноваловъ, нѣтъ въ душѣ „искорки“, нѣтъ въ душѣ „силы“,—обоимъ „некуда дѣться“, обоимъ „не къ чему присунуться“. Оба стоятъ выше окружающей ихъ среды, оба чувствуютъ „безпорядокъ жизни“, но обоимъ не хватаетъ сосредоточенности, любви, а еще больше ненависти, чтобы начать съ этимъ „безпорядкомъ“ разумную, послѣдовательную борьбу. . .

Коноваловы гибнутъ, не совершивъ ничего, но ихъ тоска имѣетъ свое значеніе, въ ней—первый проблескъ протеста противъ царства мертвящей скуки, прикрытой или не прикрытой гоголевскимъ весельемъ.

Еще болѣе этого протеста въ душевныхъ состояніяхъ героевъ Горькаго, героевъ, для него наиболѣе характерныхъ: Григорія Орлова, „Озорника“, Челкаша, Пиляя и другихъ настоящихъ или будущихъ „босяковъ“.

Всѣ они тоже тоскуютъ, но ихъ тоска болѣе подходитъ на злобу „бывшихъ“ людей, чѣмъ на грусть Коновалова.

Ихъ недовольство направляется не внутрь, а наружу, не на самихъ себя, а на окружающую обстановку, на условія жизни и на людей иного общественнаго положенія.

Въ нихъ уже чувствуется сознаніе группового, „босяцкаго“ интереса, они уже пытаются оріентироваться среди другихъ общественныхъ группъ и ихъ интересовъ.

Прежде всего они сознательно противопоставляютъ себя кретьянству, которое, такъ сказать, выдѣлило ихъ, какъ элементъ, не подходящій къ деревенскому порядку. Но босяки отнюдь не считаютъ себя крестьянскимъ отбросомъ, напротивъ они чувствуютъ себя выше, сильнѣе и развитѣе мужиковъ, къ которымъ относятся полу-злобно, полу-презрительно. Босяцкую безпокйную и протестующую душу возмущаетъ мужицкая неподвижность и въ особенности мужицкая покорность, мужицкое спокойствіе.

Босякъ Сережка (въ „Мальвѣ“) презрительно называетъ мужиковъ „землеѣдами тупорылыми, которые ни черта въ жизни понимать не могутъ“. Онъ ненавидитъ молодого крестьянина Якова за то, что отъ того „деревней воняетъ“, „а я“—говоритъ онъ—„запаха этого не терплю“. Но къ презрѣнію у Сережки примѣшивается и нѣчто въ родѣ зависти.

„Я, видишь ты“,—говоритъ онъ Мальвѣ—„всѣхъ мужиковъ не люблю . . . они сволочи! Они прикинутся сиротами, имъ и хлѣба даютъ и . . . все! У нихъ вонъ есть земство, и оно все для нихъ дѣлаетъ . . . хозяйство у нихъ, земля, скотъ . . . Они ноютъ да притворяются, но жить могутъ, у нихъ есть зацѣпка-земля. А я что противъ нихъ?“ (III, 63).

Но, разумѣется, Сережка за эту „зацѣпку“ не отдалъ бы своей вольной босяцкой жизни, какъ не пожелалъ бы, подобно деревенскому парню Якову, чтобы Черное море превратилось въ черноземную равнину.

Сережкѣ нѣтъ возврата въ деревню, земля потеряла надъ нимъ свою власть, слабый отголосокъ которой, впрочемъ, еще слышится въ завистливомъ расписываніи мужицкаго благополучія.

Этотъ отголосокъ звучитъ еще сильнѣе въ словахъ босяка и вора Челкаша, бесѣдующаго съ крестьянскимъ парнемъ Гаврилой о деревенскомъ житьѣ.

„Сначала онъ говорилъ, скептически посмѣиваясь себѣ въ усы, но потомъ подавая реплики собесѣднику и напоминая ему о радостяхъ крестьянской жизни, въ которыхъ самъ онъ давно разочаровался, о которыхъ забылъ и вспомнилъ только теперь,—онъ постепенно увлекся и вмѣсто того, чтобы разспрашивать парня о деревнѣ и ея дѣлахъ, незамѣтно для себя сталъ самъ разсказывать ему:

—Главное въ крестьянской жизни, братъ, свобода! Хозяинъ есть ты самъ себѣ. У тебя твой домъ,—грошъ ему цѣна,—да онъ твой. У тебя земля своя,—всего итого ея горсть,—да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на свой землѣ! . . . И потомъ порядокъ . . . Утромъ всталъ,—работа, весной одна, лѣтомъ другая, осенью, зимою—опять иная. Куда ни пойди, воротишься въ свой домъ. Тепло! . . Покой! . . Король вѣдь? Такъ ли?—воодушевленно закончилъ Челкашъ длинный перечень крестьянскихъ преимуществъ и правъ, и почему-то запамятовалъ объ обязанностяхъ“. (I, 90—91).

Но воодушевленіе Челкаша немедленно смѣняется раздраженіемъ и презрѣніемъ, какъ только очарованный Гаврило начинаетъ вторить ему:

—„Это, братъ родимый, вѣрно! Ахъ, какъ вѣрно! Вотъ гляди-ка на себя, что ты теперь безъ земли? Ага!. землю, братъ, какъ мать, не забудешь надолго“.

„Челкашъ одумался. . . Онъ почувствовалъ это раздражающее жженіе въ груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбіе безшабашнаго удальца бывало задѣто кѣмъ-либо и особенно тѣмъ, кто не имѣлъ цѣны въ его глазахъ“.

—„Замололъ! . . .—сказалъ онъ свирѣпо,—ты, можетъ, думалъ, что я все это въ серьезъ. . . Держи карманъ шире!“ (I, 91).

И для Челкаша нѣтъ возврата къ землѣ, и Челкашъ не промѣняетъ свою безшабашную безпокойную жизнь на мужицкую „свободу“ „покой“ и „порядокъ“.

Въ немъ уже живетъ жажда другой свободы, непримиримой съ мужицкой, въ немъ уже нѣтъ жадности собственника, этой главной опоры „власти земли“.

Эта мужицкая жадность великолѣпно схвачена Горькимъ въ лицѣ добродушнаго Гаврилы. Челкашъ понимаетъ ее, но самъ онъ поднялся надъ ней.

Замѣчая, какъ глаза Гаврилы разгоряются при видѣ денегъ, Челкашъ задумчиво говоритъ:

—„А жаденъ ты. . . Нехорошо. . . Впрочемъ, что-же? . . Крестьянинъ. . . (I, 98). Челкашъ принадлежитъ къ той категоріи „босяковъ“, которые сами понимаютъ мужицкую душу, которые еще чувствуютъ въ себѣ нѣкоторую связь съ деревней, которые, если и презираютъ крестьянъ, то все же относятся къ нимъ по-человѣчески, безъ лютой ненависти. Но между „босяками“ есть такіе, которые сами не были крестьянами, въ душѣ которыхъ не осталось никакой связи съ деревней, которые не могутъ понять мужика, которые ненавидятъ его.

Таковъ Емельянъ Пиляй.

—„Я бы его (мужика), чорта тугопузаго, пронзилъ!—восклицаетъ Пиляй.

—Ну, что ужъ такъ жестоко! Смотри-ка вонъ, онъ голодаетъ, мужикъ-то, возражаетъ Пиляю разсказчикъ.

—Какъ-съ? Голодаетъ?. . . Хорошо-съ! Правильно-съ! А я не голодаю? Я, братецъ ты мой, со дня моего рожденія голодаю, а этого въ законѣ не писано. Нда-съ! Онъ голодаетъ почему? Неурожай? Сомнительно. У него сначала въ башкѣ неурожай, а потомъ уже на полѣ, вотъ что! Почему въ другихъ прочихъ имперіяхъ неурожая нѣтъ? Потому, что тамъ у людей головы не затѣмъ придѣланы, чтобъ можно было въ затылкѣ грести; тамъ думаютъ, вотъ что-съ!“. . . (I, 20).

Глядя на мужиковъ снизу вверхъ, на людей интеллигентныхъ босяки,—по крайней мѣрѣ, наиболѣе развитые изъ нихъ,—смотрятъ, какъ на своего брата, на брата ученаго, обязаннаго давать „указаніе пути жизни“. Этого указанія искалъ у интеллигенціи наборщикъ Гвоздевъ, прозванный за свои продѣлки „озорникомъ“, искалъ и не нашелъ. Онъ встрѣтилъ разсужденія на тему „почему“, встрѣтилъ разныя „точки зрѣнія“, а ему было нужно прямое непосредственное указаніе, какъ подняться лично ему, Николаю Гвоздеву, подняться оттуда, гдѣ онъ „гніетъ въ невѣжествѣ и озлобленіи своихъ чувствъ“. Онъ чувствовалъ, что между интеллигентнымъ редакторомъ либеральной газеты, пишущимъ о несчастіяхъ рабочаго люда, и имъ, наборщикомъ Гвоздевымъ, нѣтъ жизненной связи, что они чужіе другъ другу, что онъ, какъ человѣкъ, не имѣетъ для редактора никакой цѣны.

„Я чувствую обиду въ моемъ положеніи“—говоритъ Гвоздевъ—„Чѣмъ я хуже васъ? Только моимъ занятіемъ“. . . (II, 252).

„Какъ вы думаете“,—говоритъ онъ дальше,—„легко мнѣ теперь работать на моихъ товарищей, которымъ я въ старину носы расквашивалъ? Легко мнѣ съ господина судебнаго слѣдователя Хрулева, у котораго я съ годъ тому назадъ ватеръ-клозетъ установлялъ,—сорокъ копеекъ на чай получать? Вѣдь, онъ одного со мною ранга. . . И было его имя Мишка Сахарница. . . у него зубы гнилые и посейчасъ, какъ тогда были“. . . (II, 253).

Человѣческое достоинство Гвоздева возмущается различіемъ общественнаго положенія, возвышеніемъ одного человѣка надъ другимъ, разъ оно обусловливается *занятіемъ* и *знаніемъ*, но онъ примиряется съ этимъ, разъ оно обусловливаетя *происхожденіемъ*.

„Вы не настоящіе господа жизни, не дворяне“—говоритъ онъ редактору изъ разночинцевъ.

„Съ тѣхъ нашему брату взятки гладки. Тѣ скажутъ: „пшолъ къ чорту!“—и пойдешь. Потому—они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее“. . . (II, 253).

Эта разница въ отношеніи къ аристократамъ по происхожденію и къ аристократамъ по грамматикѣ очень характерна и совершенно понятна: съ общественнымъ превосходствомъ первыхъ Гвоздевымъ не приходится примиряться, оно для нихъ привычно; общественное же превосходство вторыхъ слагается на ихъ глазахъ и задѣваетъ проснувшееся въ нихъ человѣческое достоинство; превосходство первыхъ быстро вырождается, превосходство вторыхъ растетъ и развивается, ложась въ основу новой общественной структуры, при которой у Гвоздевыхъ пробуждается человѣческое достоинство, но которая все же оставляетъ ихъ „въ невѣжествѣ и озлобленіи чувствъ“.

Мы указали на нѣсколько общихъ, групповыхъ чертъ героевъ Горькаго—босяковъ. Этихъ чертъ немного, и онѣ выражены не достаточно опредѣленно. Босяки по самой своей сущности—индивидуальны. Ихъ, какъ и „бывшихъ людей“, создали столкновенія особенностей той или другой личности съ установившимся складомъ общественной жизни. Въ сущности единственнымъ свойствомъ, дѣйствительно общимъ для всѣхъ безъ исключенія босяковъ является ихъ неприсобленность къ жизни. Неприспособленные обыкновенно неустойчивы, измѣнчивы, порывисты.

Таковы, дѣйствительно, почти всѣ босяки Горькаго. Таковы въ особенности Григорій Орловъ и Емельянъ Пиляй. Про нихъ нельзя сказать, злы они или добры. Въ нихъ все неожиданно. Жестокость неожиданно смѣняется мягкостью, дикая злоба—рыцарскимъ великодушіемъ.

Пиляй собирается убить проѣзжаго купца и вмѣсто того съ женской нѣжностью утѣшаетъ купеческую дочку, спасая ее отъ самоубійства.

Орловъ послѣ самоотверженнаго ухода за холерными больными готовъ натравить на докторовъ толпу и разнести больницу, гдѣ онъ, казалось, только что обновился душой.

IV.

Горькій пишетъ кровью сердца своего. Онъ правдивъ, но не безстрастенъ. Когда онъ говоритъ, онъ страдаетъ, любитъ, ненавидитъ,

Читая его произведенія, чувствуешь, какъ бьется въ нихъ неспокойное, бурное сердце автора, и знаешь, что ему близко, что ему родственно, что онъ любитъ, что ненавидитъ.

Горькій тоскуетъ подобно своимъ любимымъ героямъ, но тоска его—дѣятельная, протестующая, тоска не отъ безсилья, а отъ избытка силъ, не находящихъ себѣ разумнаго выхода.

Горькій любитъ силу *за то, что она сила,* онъ любитъ могучіе порывы за то, что они нарушаютъ ненавистный ему самодовольный покой.

Нравственное и сильное для него почти синонимы. Подвига ради подвига жаждутъ его герои, и нѣтъ душевнаго состоянія, которое было бы болѣе близко самому автору. Его собственная душа бьется и тоскуетъ въ груди Орлова, когда тотъ хочетъ встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты. . . И сказать имъ: „ахъ вы, гады! Зачѣмъ живете? Какъ живете? Жулье вы лицемѣрное и больше ничего! И потомъ внизъ тормашками съ высоты и. . . и вдребезги! Н-да-а! Чортъ же возьми. . . скучно! И охъ, какъ скучно и тѣсно мнѣ жить“!. . . (II, 151).

Стремленіе къ подвигу ради подвига, поклоненіе силѣ, какъ силѣ, особенно ясно выражено въ поэмѣ: „Макаръ Чудра“ и въ двухъ стихотвореніяхъ въ прозѣ: „Пѣсня о соколѣ“ и „Сказка о чижѣ“.

Отважная пѣснь Чижа, „объявляющаго богамъ за право первенства войну“, это пѣснь самого Горькаго.

Горькій—это живительный протестъ противъ скуки и покоя общинно-деревенской русской жизни. Горькій—это реакція противъ славянской расплывчатости, мягкости и покорности.

И въ природѣ Горькій любитъ все сильное, порывистое, безпредѣльное. Онъ любитъ безпредѣльную ширь моря и степи, любитъ бездонное синее небо, любитъ то игривыя, то сердитыя волны, любитъ вихрь, любитъ грозу съ ея раскатистымъ грохотомъ, съ ея сверкающимъ блескомъ.

Ярко и неожиданно-ново изображаетъ онъ страстно любимую природу.

Здѣсь его творчество стихійно, какъ стихійно творчество народа въ поэтическую пору его молодости.

Какъ въ молодомъ народномъ сознаніи, такъ въ сознаніи Горькаго мертвая природа одухотворяется, очеловѣчивается, оживаетъ. Горькій сливаетъ съ ней,—съ безпредѣльной и безконечно измѣнчивой,—всѣ волненія, всѣ порывы своей человѣческой души. Природа подъ его творческимъ дуновеніемъ смѣется, плачетъ, тоскуетъ, рвется впередъ и протестуетъ.

У Горькаго одинаково сильны и непринужденны какъ зрительныя, такъ и слуховыя впечатлѣнія. Съ необычайной легкостью онъ превра-

щаетъ слуховыя представленія въ зрительныя и наоборотъ. Тонкія душевныя движенія онъ переливаетъ въ смѣлые матеріальные образы. Воспринятые читателемъ образы эти превращаются обратно въ душевныя движенія, заражая чуткія души тѣмъ же настроеніемъ, какое переживалъ авторъ.

Хотѣлось бы свой восторгъ передъ творческой, изобразительной способностью Горькаго подтвердить примѣромъ, подтвердить отрывкомъ изъ какого-нибудь его поэтическаго описанія природы, но что взять? Перелистываешь страницу за страницей, и все кажется одинаково прекраснымъ, все кажется *лучшимъ*.

Изъ 20 разсказовъ и очерковъ, вошедшихъ въ два томика сочиненій М. Горькаго, слабѣе всѣхъ, пожалуй, „Старуха Изергиль“ но посмотрите, какимъ чуднымъ описаніемъ южной бессарабской ночи начинается этотъ разсказъ!

„Однажды вечеромъ, кончивъ дневной сборъ винограда, партія молдованъ, съ которой я работалъ, вся ушла на берегъ моря, а я и старуха Изергиль—только двое остались подъ густой тѣнью виноградныхъ лозъ и, лежа на землѣ, молчали, глядя, какъ таютъ въ глубокой мглѣ ночи и темной зелени листвы силуэты тѣхъ людей, что пошли къ морю.

Они шли, пѣли и смѣялись; мужчины—бронзовые, съ пышными, черными усами и густыми кудрями до плечъ, въ короткихъ курткахъ и широкихъ шароварахъ; женщины и дѣвушки—веселыя, гибкія, какъ лозы, съ темносиними глазами,—тоже бронзовыя. Ихъ волосы, шелковые и черные, были распущены, и вѣтеръ, теплый и легкій, играя ими, звякалъ монетами, вплетенными въ нихъ. Вѣтеръ текъ широкой, ровной волной, но иногда онъ точно прыгалъ черезъ что-то невидимое и, рождая сильный порывъ, развѣвалъ волосы женщинъ въ фантастическія гривы, вздымавшіяся вокругъ ихъ головъ. Это дѣлало женщинъ странными и химеричными. Онѣ уходили все дальше отъ насъ, а ночь и фантазія одѣвали ихъ все прекраснѣй.

Кто-то игралъ на скрипкѣ... дѣвушка пѣла мягкимъ контральто, слышался смѣхъ... и воображеніе рисовало *всѣ звуки гирляндой разноцвѣтныхъ лентъ,* рѣявшихъ въ воздухѣ надъ темными фигурами людей, поглощаемыхъ мглой.

Воздухъ былъ пропитанъ острымъ запахомъ моря и жирными испареніями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождемъ. Еще и теперь по небу бродили обрывки тучъ, пышные, странныхъ очертаній и красокъ, тутъ—мягкіе, какъ клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, тамъ—рѣзкіе, какъ обломки скалъ, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестѣли темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звѣздъ.

И все это—звуки и запахи, тучи и люди—было волшебно красиво, но грустно, *казалось началомъ чудной сказки.* Все было дивно и гармонично, но казалось остановившимся въ своемъ ростѣ и умирающимъ, такъ какъ мало было шума, живого нервнаго шума, пылающаго отъ времени все ярче; шумъ же, который былъ бы слабъ, часто прерывался и все гасъ, удаляясь и перерождаясь въ печальные вздохи сожалѣнія о чемъ-то, можетъ быть, о счастьи, которое такъ неуловимо и случайно.

Я созерцалъ все это, и во мнѣ раждались фантастическія желанія: хотѣлость превратиться въ пыль и быть разнесеннымъ повсюду вѣтромъ, *хотѣлось разлиться теплой рѣкой по степи, вливаться въ море и дышать въ небо опаловымъ туманомъ,—хотѣлось пополнить собой весь этотъ чарующе-печальный вечеръ. . .* и было грустно почему-то". (I, 106).

Великолѣпно! Но найдутся навѣрное критики, которые, прочитавъ эту страницу, пожмутъ плечами, посмѣются надъ подчеркнутыми нами мѣстами и торжественно изрекутъ модное слово: „декаденство". Найдутся, вѣроятно, даже и такіе критики, которые, перелиставъ всѣ произведенія Горькаго, опять-таки изрекутъ: „декаденство". Да, господа, декаденство, но только декаденство вашего художественнаго чутья!

Вы назвали бы декаденскими и произведенія Гете, если-бы только не сказали, кто ихъ авторъ.

Въ этомъ небольшомъ очеркѣ мы коснулись далеко не всѣхъ сторонъ художественнаго таланта Горькаго, далеко не исчерпали содержанія его произведеній, мы отмѣтили лишь наиболѣе яркое и законченное; но среди образовъ и настроеній законченныхъ въ произведеніяхъ Горькаго разсыпано масса, такъ сказать, творческихъ намековъ, изъ которыхъ впослѣдствіи должны вырости крупныя художественныя творенія. Только бы хватило у него бодрости и здоровья!

В. Поссе.



Философія тоски и жажда воли.

М. Горькій. Очерки и разсказы, томъ первый. С. П. Б. 1898 г.

Имя г. Горькаго стало попадаться въ печати сравнительно недавно и въ какіе-нибудь два-три года пріобрѣло значительную популярность. Лучшіе наши журналы охотно помѣщали разсказы молодого плодовитаго автора, и критика относилась къ каждому его новому произведенію съ тѣмъ нервнымъ вниманіемъ, которое для начинающаго писателя лучше всякихъ похвалъ. По всему видно было, что на г. Горькаго возлагаются большія надежды, и вотъ почему я съ любопытствомъ ждалъ появленія въ свѣтъ сборника его повѣстей. Для молодого беллетриста, въ особенности если онъ пишетъ небольшіе по объему разсказы, изданіе такого сборника является шагомъ чрезвычайно важнымъ, а иногда и роковымъ. Я живо помню примѣръ писателя, о которомъ, пока его разсказы печатались отдѣльно, говорилось не иначе, какъ о второмъ Тургеневѣ, и который, едва только эти разсказы были собраны въ два объемистыхъ тома, вдругъ отошелъ на второй планъ, гдѣ онъ обрѣтается и до сихъ поръ. Капли воды, казавшіяся въ отдѣльности прозрачными, обнаружили свой мутноватый цвѣтъ, когда ихъ собрали вмѣстѣ. Къ счастью, на г. Горькомъ этотъ печальный случай не повторился, и, прочитавъ первый томъ его „Очерковъ и разсказовъ", можно съ увѣренностью сказать, что въ нашей литературѣ въ самомъ дѣлѣ народился свѣжій, незаурядный и, главное, своеобразный талантъ, порою даже слишкомъ своеобразный, не лишенный странностей и недостатковъ, но въ дѣлѣ искусства свои недостатки всегда предпочтительнѣе чужихъ достоинствъ. А г. Горькій беретъ свои вдохновенія не изъ чужихъ книгъ или журнальныхъ статей, а изъ дѣйствительности, какой она ему представляется, и изъ собственной души. У него свой кругъ излюбленныхъ темъ—жизнь мелкихъ мѣщанъ, матросовъ, босяковъ, нищихъ,—своя излюбленная природа—южно-русскія степи и море,—своя философія—предпочтеніе вольныхъ, сильныхъ инстинктовъ жизни передъ надуманной мудростью и святостью. Вообще, моментъ силы преобладаетъ надъ всѣми другими въ темпераментѣ и въ міросозерцаніи г. Горькаго. Въ описаніяхъ онъ выбираетъ самыя яркія, кричащія краски, отношенія дѣйствующихъ лицъ напрягаетъ до степени яростныхъ столкновеній на жизнь и на смерть, и въ этихъ коллизіяхъ симпатіи автора всегда на сторонѣ сильнѣйшаго. Каждый разсказъ г. Горькаго содержитъ въ себѣ цѣлый міръ бытовыхъ подробностей и сложную внутреннюю драму, въ каждой снова и снова рѣшается вопросъ о цѣли жизни,

и какъ бы вы ни относились къ манерѣ автора и къ его идеямъ, вы невольно поддаетесь изобразительной силѣ его таланта и страстной искренности. Непосредственное впечатлѣніе, которое выносишь изъ чтенія Горькаго, очень сильно и безусловно въ пользу автора, и если бы я могъ ограничиться этимъ впечатлѣніемъ, мой критическій отзывъ превратился бы въ сплошную похвалу. Но помимо непосредственнаго впечатлѣнія отъ книги, есть еще послѣдующее о ней раздумье, есть законы и традиціи искусства, есть указанія опыта, и вотъ почему, несмотря на симпатію, которую мнѣ внушаетъ творчество г. Горькаго, я долженъ сдѣлать нѣсколько ограничительныхъ замѣчаній о его талантѣ, по крайней мѣрѣ, насколько этотъ талантъ выразился въ первомъ томѣ его разсказовъ.

По свѣжести и увѣренности письма, по независимости тона и по легкости вдохновенія г. Горькій среди молодыхъ писателей всего болѣе напоминаетъ г. Антона Чехова; но если продолжать параллель между ними, то всѣ выгоды отъ такого сравненія окажутся на сторонѣ г. Чехова. И прежде всего это окажется при сравненіи художественныхъ темпераментовъ обоихъ писателей.

Въ русской литературѣ, не взирая на различіе манеръ и тенденцій, существуетъ одинъ незыблемый завѣтъ, для всѣхъ обязательный и всѣми принятый,—завѣтъ избѣгать сентиментальности и мелодраматизма. Едвали можно утверждать, что русской натурѣ, вообще, чужда сентиментальность, потому что была пора, когда и у насъ процвѣтали слезливыя повѣсти и драмы, но со временъ Пушкина эту художественную фальшь какъ рукой сняло. Каждый стихъ Пушкина вдохновленъ чувствомъ, но у него нѣтъ ни одного стиха, испорченнаго чувствительностью. Пушкинъ смотрѣлъ на жизнь, какъ на великую комедію, и по его слѣдамъ пошли другіе наши писатели. Лермонтовъ побѣдилъ свой страстный темпераментъ демоническимъ холодомъ мысли, Гоголь одолѣлъ врожденную хохлацкую чувствительность силой своего вѣщаго смѣха, Тургенева защищали отъ чувствительности его скептицизмъ и барская артистичность, Достоевскій, болѣе всѣхъ склонный драматизировать жизнь, не унизился до слезливости, благодаря почти дикой, священной радости, съ какою онъ изображалъ бездны страданій и паденія. А такимъ писателямъ, какъ Толстой, Писемскій, Щедринъ, и бороться не приходилось съ сентиментальностью: ея и въ поминѣ не было въ ихъ суровой, правдивой натурѣ. Первый противъ пушкинской традиціи пошелъ Некрасовъ своими слезливыми поэмами о народномъ горѣ, и писатели послѣднихъ десятилѣтій выросли подъ его вліяніемъ. Отъ упрека въ сентиментальной слезливости не свободны ни Гаршинъ, ни, въ особенности, г. Короленко, произведенія котораго сплошь да рядомъ кажутся переводомъ съ польскаго или съ малороссійскаго. Единственнымъ въ этомъ отношеніи достойнымъ преемникомъ нашихъ старыхъ мастеровъ

является Антонъ Чеховъ, котораго если можно въ чемъ-либо упрекнуть, такъ развѣ въ томъ, что его объективность иногда граничитъ съ безразличіемъ, а комедія изображаемой имъ жизни часто переходитъ въ фарсъ, но въ сентиментальности и мелодраматизмѣ—этихъ двухъ кардинальныхъ грѣхахъ противъ художественной правды—онъ еще ни разу до сихъ поръ не провинился. Къ сожалѣнію, этого нельзя сказать о г. Горькомъ. Страстный и въ то же время разсудочный, онъ склоненъ всюду видѣть драму, а когда ходъ драмы кажется ему недостаточно занимательнымъ, онъ не прочь превратить ее и въ мелодраму, лишь-бы сильнѣе потрясти свои собственные нервы и нервы читателя. Я не обвиняю г. Горькаго въ сентиментальности; это значило бы изречь ему смертный приговоръ. Но нѣкоторую наклонность къ преувеличенію и къ крикливости въ немъ нельзя отрицать, и объясняется это, главнымъ образомъ, его нетерпѣливо-страстнымъ, субъективнымъ отношеніемъ къ изображаемой жизни. Возьмемъ, напримѣръ, его разсказъ „Дѣдъ Архипъ и Ленька“. Тема разсказа и сама по себѣ чрезвычайно трогательна. Больной, умирающій дѣдъ Архипъ и его десятилѣтній внучекъ, вытиснутые изъ Россіи голодомъ въ чужія степи, бродятъ по Кубани, изъ одной станицы въ другую, и питаются Христовымъ именемъ. Дѣда угнетаетъ мысль о близкой смерти и о томъ, что станетъ безъ него съ безпріютнымъ Ленькой. Чтобы обезпечить его будущее, дѣдъ рѣшается на кражу, но честный, мечтательный мальчикъ не можетъ проникнуть въ расчеты старика, и вотъ однажды, когда, изгнанные изъ станицы по подозрѣнію въ кражѣ, они лежатъ у околицы, и дѣдъ хвастливо показываетъ Ленькѣ искусно-припрятанные имъ украденные предметы, мальчикъ въ одномъ изъ нихъ узнаетъ тотъ шелковый платокъ, по которомъ такъ убивалась одна станичная дѣвочка, которую онъ напрасно старался утѣшить.

„—Кабы сто рублей . . . скопить!—шепчетъ дѣдъ.—Умеръ бы я тогда спокойно.

—Ну!—вдругъ вспыхнуло что-то въ Ленькѣ.—Молчи ужъ ты! Умеръ бы, умеръ бы. . . А не умираешь вотъ. . . Воруешь! . .—взвизгнулъ Ленька и вдругъ, весь дрожа, вскочилъ на ноги.—Воръ ты старый! . . У-у! и, сжавъ маленькій, сухой кулачекъ, онъ потрясъ имъ передъ носомъ внезапно замолкшаго дѣда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: у дити укралъ. . . Ахъ, хорошо! Старый, а туда же. . . Не будетъ тебѣ на томъ свѣтѣ прощенья за это“. . . (I, 57—58).

Столкновеніе, какъ видите, чрезвычайно сильное и положеніе дѣда истинно трагическое. Но авторъ этимъ не довольствуется и на голову бѣдныхъ людей призываетъ грозу, освѣщаетъ ихъ молніями и заглушаетъ ихъ слова раскатами грома:

„Разорвавъ небо, молнія освѣтила ихъ обоихъ, рядомъ другъ съ другомъ, скорченныхъ, маленькихъ, обливаемыхъ потоками воды съ

вѣтвей дерева... Дѣдъ махалъ рукою въ воздухѣ и все говорилъ что-то, уже уставая и почти задыхаясь. Взглянувъ ему въ лицо, Ленька крикнулъ отъ ужаса... При синемъ блескѣ молній оно казалось мертвымъ, а вращавшіеся въ немъ тусклые глаза были безумны и страшны... Ленькѣ показалось, что сейчасъ дѣдъ сдѣлаетъ что-то съ нимъ.— Дѣдушка! Пойдемъ!.. взвизгнулъ онъ, ткнувъ свою голову въ колѣни дѣда. Дѣдъ склонился надъ нимъ, обнявъ его своими руками, тонкими и костлявыми, крѣпко прижалъ къ себѣ, и, тиская его, вдругъ взвылъ сильно и пронзительно, какъ волкъ, схваченный капканомъ. Доведенный этимъ воемъ чуть не до сумашествія, Ленька вырвался отъ него, вскочилъ на ноги и стрѣлой помчался куда-то впередъ, широко раскрывъ глаза, ослѣпленный молніями, падая, вставая...“ (I, 60).

Кончается тѣмъ, что дѣдъ умираетъ отъ упрековъ внучка и отъ грозы, внукъ умираетъ отъ страха передъ дѣдомъ и также отъ грозы, а читатель, пораженный и грозою, и судьбою обоихъ нищихъ, и трагическимъ многословіемъ автора, съ недоумѣніемъ оглядывается на прочитанную повѣсть и невольно спрашиваетъ себя: а правда-ли все это?

Еще больше, чѣмъ „Дѣдъ Архипъ и Ленька“ мелодраматическими красотами испорченъ другой разсказъ г. Горькаго „Макаръ Чудра“. Въ погонѣ за сильными и вольными людьми, авторъ заставляетъ стараго цыгана Чудру разсказать о двухъ такихъ степныхъ герояхъ, красавцѣ Лойко и красавицѣ Раддѣ. Оба они другъ друга прекраснѣе, и гордѣе, и смѣлѣе, и вольнолюбивѣе, а Лойко къ тому же оказывается геніальнымъ музыкантомъ. „Проведетъ бывало по струнамъ смычкомъ, и вздрогнетъ у тебя сердце, проведетъ еще разъ и замретъ оно, слушая, а онъ играетъ и улыбается. И плакать, и смѣяться хотѣлось въ одно время, слушая его пѣсни. Вотъ тебѣ сейчасъ кто-то горько стонетъ изъ-подъ смычка... А вотъ степь говоритъ небу сказки, тихія, печальныя сказки“... (I, 8). И такъ далѣе, въ томъ-же поэтическомъ тонѣ разсказывается, какъ Радда и Лойко полюбили другъ друга, но не могли сойтись, потому что еще болѣе любили волю; какъ гордая красавица хотѣла унизить Лойко, и прежде, чѣмъ итти за него замужъ, требовала, чтобы онъ поклонился ей въ ноги; какъ Лойко вонзилъ ей въ сердце кривой ножъ, а она, зажавъ рану прядью своихъ черныхъ волосъ, сказала громко и внятно: „Прощай, богатырь Лойко Зобаръ! Я знала, что ты такъ сдѣлаешь“, да и умерла; какъ потомъ отецъ Радды закололъ Лойко и какъ герой и героиня прекрасны были послѣ смерти. Впрочемъ, на этомъ разсказѣ, самомъ слабомъ во всей книгѣ, я не буду настаивать, а равно не стану приводить дальнѣйшія доказательства склонности г. Горькаго къ мелодраматизму, потому что, имѣя дѣло съ молодымъ писателемъ, одинаково опасно подчеркивать какъ достоинства его, такъ и недостатки. Тѣмъ болѣе, что мнѣ еще остается говорить о своеобразномъ міросозерцаніи г. Горькаго, тоже

достаточно изуродованномъ субъективнымъ неистовствомъ автора. Онъ не довольствуется воплощеніемъ своихъ идей въ дѣйствіяхъ и образахъ, а самъ вмѣшивается въ толпу изображаемыхъ имъ лицъ, подсказываетъ то одному, то другому свои завѣтныя мысли. Вслѣдствіе этого получается то, что почти въ каждомъ его разсказѣ имѣется мѣщанинъ, погруженный въ философскія разсужденія о цѣли жизни. Но сама философія г. Горькаго стоитъ того, чтобы на ней остановиться нѣсколько подольше.

Г. Горькій—южанинъ, и дѣйствіе почти всѣхъ его разсказовъ разыгрывается тамъ, среди приволья южно-русскихъ степей, на прибрежьи свободнаго моря. Герои этихъ разсказовъ не интеллигенты и не мирные мужики, а какіе-то темные и безпокойные люди, потомки казацкой вольницы, охваченные тоскою городской жизни и жаждой приволья, и почти всегда кончающіе трагически, сознательно дѣлаясь бродягами, босяками и контрабандистами, не потому, что въ нихъ нѣтъ сознанія добра и зла, а потому, что въ нихъ бродятъ слишкомъ большія силы, которымъ тѣсно въ рамкахъ старыхъ понятій о добрѣ и злѣ и которымъ исходъ только въ разгулѣ кабаковъ да въ просторѣ степей. Г. Горькій изображаетъ не просто босяковъ, а какихъ-то сверхъ-босяковъ и сверхъ-бродягъ, проповѣдниковъ какого-то новаго провинціальнаго нитцшеанства и приазовскаго демонизма. Уже знакомому намъ старому цыгану Макару Чудрѣ авторъ вкладываетъ въ уста цѣлую противообщественную теорію бродяжничества, и вотъ, что говоритъ намъ этотъ степной Нитцше:

„Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сдѣлать людей счастливыми? Нѣтъ, не можешь. Ты посѣдѣй сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякій знаетъ, что ему нужно. Которые умнѣе, тѣ берутъ, что есть, которые поглупѣе, тѣ ничего не получаютъ, и всякій самъ учится.

„Смѣшные они, тѣ твои люди. Собрались въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,—онъ широко повелъ рукой на степь.—И всѣ работаютъ. Зачѣмъ, кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источитъ на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ въ ней. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не видитъ съ своего поля и умираетъ, какъ родился, дуракомъ.—Что-жъ, онъ родился затѣмъ, что ли, чтобы поковырять землю, да умереть, не успѣвъ даже могилу самому себѣ выковырять? Вѣдома ему воля? Ширь степная понятна? Говоръ морской волны веселитъ ему сердце? Эге! Онъ рабъ, какъ только родился и во всю жизнь рабъ, да все тутъ! Что онъ съ собой можетъ сдѣлать? Только удавиться, коли поумнѣетъ немного.

„А я, вотъ смотри, въ 58 лѣтъ столько видѣлъ, что коли написать все это на бумагу, такъ въ тысячу такихъ торбъ, какъ у тебя,

не положишь. А ну-ка, скажи, въ какихъ краяхъ я не былъ? И не скажешь. Ты и не знаешь такихъ краевъ, гдѣ я бывалъ. Такъ нужно жить—иди, иди и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ—чего въ немъ? Вонъ, какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобы не разлюбить ея. А задумаешься,—разлюбишь жизнь, это всегда такъ бываетъ.“ (I, 2—3).

Жить, не задумываясь надъ жизнью, жить въ мѣру не своего разумѣнія, а своихъ силъ; любить силу, въ чемъ бы она ни проявлялась, и презирать слабость, подъ какими бы словами она ни пряталась, вотъ идеалъ героевъ г. Горькаго и, можетъ быть, его самого. Въ превосходно написанномъ разсказѣ „На плотахъ“ идеалъ этотъ изображенъ въ лицѣ могучаго старика Силана Петрова, а въ видѣ контраста представленъ его хилый, богобоязненный сынъ Митрій. Въ темную, грозную ночь по большой рѣкѣ движутся плоты; въ хвостѣ, у рулевыхъ веселъ Митрій разсказываетъ работнику Сергѣю о своей неудачной женитьбѣ:

—„Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: не могу, молъ, я мужевать съ тобой, Марья. Ты дѣвка здоровая, я человѣкъ больной, хилый. И совсѣмъ, молъ, я жениться не желалъ, а батюшка, молъ, силкомъ меня,—женись, говоритъ, да и все! Я, молъ, вашу сестру не люблю, а тебя больше всѣхъ. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимашь... Пакость одна, да грѣхъ... Дѣти тоже... За нихъ отвѣтъ Богу дать надо...

—Пакость!—взвизгиваетъ Сергѣй, и громогласно хохочетъ.—Ну, и что-жъ она, Марька-то? а?

—Ну... Что-же, говоритъ, мнѣ дѣлать теперь? Плачетъ, сидитъ. Чѣмъ, говоритъ, я тебѣ не по сердцу? Али,—говоритъ,—я уродина какая? Безстыдница она, Серега. И злая. Что-же,—говоритъ,—мнѣ съ моимъ здоровьемъ къ свекру что-ли итти? Я говорю: какъ хошь, молъ... Куда хошь иди. Мнѣ, молъ, супротивъ души невозможно поступить.“ (I, 247).

Но этотъ доводъ не убѣждаетъ работника.

—Въ душѣ!—возражаетъ онъ.—Экъ тоже... Мало-ли что въ душѣ-то есть. Всему запрета не полагать—нельзя. Душа, душа! Ее, братъ, понимать надо, а потомъ ужъ и того.

—Нѣтъ, ты это не такъ, Сергѣй,—горячо заговорилъ Митрій,—точно вспыхнувъ вдругъ. Душа-то, братъ, всегда чиста, какъ росинка. Въ скорлупѣ она, вотъ что. Глубоко она. А коли ты къ ней прислушаешься, такъ не ошибешься. Всегда побожески будетъ, коли по душѣ сдѣлано. Въ душѣ, вѣдь, Богъ-то, и законъ, значитъ, въ ней. Богомъ она создана, Богомъ въ человѣка вдунута. Нужно только въ нее заглянуть умѣть. Нужно только не жалѣючи себя“... (I, 248).

А въ то-же время у переднихъ веселъ стоялъ Силанъ Петровичъ, „въ широкой красной рубахѣ, съ разстегнутымъ воротомъ, обнажившимъ

его могучую шею и волосатую, прочную, какъ наковальня, грудь" и почти на глазахъ своего благочестиваго сына ласкалъ жену его Марью, „кругленькую, полную, съ черными бойкими глазами и румянцемъ во всю щеку, босую, въ одномъ мокромъ сарафанѣ, приставшемъ къ ея тѣлу и ясно обрисовавшемъ его. (Шельма: жадна жить!—опредѣляетъ ее Сергѣй). На ея робкое замѣчаніе, что ихъ видно съ того конца, Силанъ энергически отвѣчаетъ: пускай видятъ! Онъ не боится ни людей, ни грѣха. „Грѣхъ! Все знаю! И все преступилъ! Потому стоитъ. Одинъ разъ на свѣтѣ-то живутъ, и кажинный день умереть можно".(I, 256). Потомъ, вспомнивъ о сынкѣ, старикъ прибавляетъ:

—Опять онъ, намедни, толковалъ. Батюшка, говоритъ, али это не стыдъ—позоръ тебѣ и мнѣ? Брось ты ее, тебя-то, то есть,—усмѣхнулся Силанъ Петровъ,—брось, говоритъ, войди въ мѣру. Сынъ, молъ, мой милый, отойди прочь, коли живъ быть хошь! Разорву въ куски, какъ тряпицу гнилую. Ничего отъ твоей добродѣтели не останется. На муку, молъ, себѣ родилъ я тебя, выродка. Дрожитъ. Батюшка! али, говоритъ, я виноватъ? Виноватъ, молъ, комаръ пискливый,—потому камень ты на моей дорогѣ. *Виноватъ, молъ, потому постоять за себя не умѣешь.* Мертвечина, молъ, ты, стерва тухлая. *Кабы, молъ, ты здоровъ былъ,—хоть-бы убить тебя можно было, а то и этого нѣтъ. Жалко тебя, кикимору несчастную.* Воетъ!—Эхъ, Марья! Плохи люди стали!" (I, 257).

Таковы эти оба представителя, одинъ—стихійной силы, а другой—нравственныхъ размышленій. И на чьей сторонѣ симпатіи автора, не можетъ быть сомнѣній. Силанъ Петровъ до конца остается могучимъ и побѣдительнымъ, а Митрій не выдерживаетъ своей роли, и когда работникъ Сергѣй донимаетъ его насмѣшками, что онъ будетъ своему сыну не тятькой, а двоюроднымъ братомъ, а тятькой у него будетъ дѣдушка, онъ взволнованно начинаетъ шептать: Сергѣй! Христа-ради прошу,—не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христомъ Богомъ прошу,—не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь! Брошусь въ рѣку я, грѣхъ ляжетъ на тебя большой! . . Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позоръ мой. . . мука лютая . . . Свирѣпые вы люди! Уйду я! На вѣкъ уйду. . . Не въ мочь мнѣ. . .(I, 253).

Такимъ образомъ, ржа Митріевой святости на глазахъ читателя разлетается въ куски, а подъ нею открываются лохмотья сладости и безволія. Правымъ оказывается сильнѣйшій, потому что онъ большаго требуетъ отъ жизни, а виноватъ слабый, потому что онъ постоять за себя не умѣетъ. Нужно сознаться, что въ нашей литературѣ, насквозь пропитанной ученіемъ о любви и добрѣ, такая яркая проповѣдь права сильнаго является довольно новой и рискованной.

Въ другомъ разсказѣ, озаглавленномъ „Тоска", изображается таже борьба между разгуломъ стихійной страсти и раздумьемъ хилой

добродѣтели, и побѣда, конечно, остается на сторонѣ разгула. Мельникъ Тихонъ Павловичъ, сытый, самодовольный кулакъ, за свои продѣлки съ мужиками обличенный въ газетѣ мѣстнымъ школьнымъ учителемъ, какъ-то побывалъ въ городѣ, случайно очутился на похоронахъ литератора и, вернувшись къ себѣ на мельницу, затосковалъ, самъ ясно не зная о чемъ, вообще, о безцѣльности жизни, о суетѣ міра сего. Какъ уроженецъ степей, онъ вдругъ почувствовалъ тѣсноту житейскихъ рамокъ и захотѣлъ свободы. Его тучная жена завалилась спать, а онъ, съ болью въ отуманенной душѣ, бродитъ по садику и думаетъ какіе-то обрывки мыслей. Вдругъ онъ слышитъ за плетнемъ шорохъ и поцѣлуи. Это его работникъ Кузьма Косякъ, такой-же принципіальный сверхъ-бродяга, какъ Макаръ Чудра, ласкаетъ деревенскую красавицу Мотрю и среди поцѣлуевъ объявляетъ ей, что вскорѣ уходитъ за Кубань.

—А я-то какъ-же, Кузя? Ты подумай, какъ я безъ тебя-то буду? Вѣдь, люблю я тебя, соколика, лю-юблю, *вольный ты мой!*— отвѣчалъ Кузькѣ низкій женскій контральто.

—Э, Мотря! Многія меня ужъ любили, со всѣми я распрощался, и ничего себѣ,—повыходили замужъ да позакисли въ работѣ! Встрѣтишь иной разъ, посмотришь—своимъ глазамъ вѣры нѣтъ! Да развѣ это онѣ— тѣ самыя, которыхъ я цѣловалъ да миловалъ? Ну-ну! *Одна другой вѣдьмистѣй.* Нѣтъ ужъ, Мотря, не мнѣ на роду писано жениться, да, дурашка, не мнѣ. *Волю мою ни на какую жену, ни на какія хаты не смѣняю.* Родился я, слышь, подъ заборомъ и помру подъ нимъ. Судьба такая. По сѣдые волосы вдоль да поперекъ шляться буду... А на одномъ мѣстѣ скучно мнѣ... (I, 279—280).

Слушаетъ эти рѣчи мельникъ и вдругъ „онъ почувствовалъ зависть къ этому веселому, вольному человѣку за его умѣнье жить, за его увѣренность въ своей правотѣ“, а когда Кузька, спровадивъ свою докучливую красавицу, перелѣзаетъ въ садикъ, между хозяиномъ и работникомъ происходитъ нитцшеанскій разговоръ о „двухъ мораляхъ“.

—А грѣхъ—какъ? Вѣдь, грѣхъ, чай!—говоритъ хозяинъ, попрекая Кузьку его связью съ Мотрей.

—Чего, грѣхъ?

—А такъ-то дѣйствовать...

—Да, вѣдь ребята-то однимъ, поди-ка, порядкомъ родятся, что отъ мужа онъ, что отъ прохожаго,—сказалъ Кузьма и скептически сплюнулъ въ сторону.

—Это ты совсѣмъ напрасно. Отъ мужа—онъ въ законѣ, а ежели отъ тебя—куда его? Она, дѣвка-то, возьметъ да отъ сраму въ прудъ дитя-то и сунетъ. А на тебѣ грѣхъ!—донималъ мельникъ работника, чувствуя при этомъ какое-то удовольствіе.

—Да, вѣдь, хозяинъ, коли покрѣпче подумать,—серьезно и сухо заговорилъ Кузьма,—такъ выходитъ, что, *какъ ни живи, все грѣшно!* И такъ грѣшно, и вотъ этакъ грѣшно!—пояснилъ Кузьма, махнувъ рукой вправо и влѣво.—Сказалъ—грѣшно, промолчалъ—грѣшно, сдѣлалъ—грѣшно и не сдѣлалъ—грѣшно. Рази тутъ разберешь? Въ монастырь, что-ли, итти! Чай, неохота. (I, 283).

А потомъ, какъ-бы отыскавъ философскую формулу для своихъ мыслей, Кузька прибавляетъ: „Самому противъ себя не надо спорить. Коли кто противъ себя заспоритъ—пиши, пропалъ человѣкъ". Хозяину-же, замѣтивъ его настроеніе, онъ даетъ такой совѣтъ:

—Вы-бы, хозяинъ, поѣхали до города да и кутнули тамъ во всю; вотъ оно вамъ и помогло-бы. А то у васъ видно на душѣ-то, какъ у трубочиста за пазухой. (I, 288).

Но у хозяина на умѣ другое. Онъ хочетъ очистить свою душу не кутежемъ, а покаянной бесѣдой съ добродѣтельнымъ школьнымъ учителемъ, обличившимъ его въ печати. Изъ этой бесѣды, однако, ничего не выходитъ, и мельникъ, пріѣхавшій къ интеллигенту съ лучшими намѣреніями поговорить по душѣ и покаяться, какъ-то самъ собою, съ перваго же слова начинаетъ съ нимъ браниться, между прочимъ, и потому, что добродѣтельный учитель, подобно Митрію Силановичу, оказывается озлобленнымъ, мелкимъ и слабымъ человѣкомъ. Сцена эта написана съ большой правдой и твердой рукой. Сбывается по предсказанію Кузьки, и дѣло кончается бѣшенымъ кутежемъ Тихона Павловича въ компаніи падшихъ женщинъ и разныхъ темныхъ личностей, причемъ, конечно, не обходится безъ философскихъ разговоровъ о томъ, что надо жить не разсуждая, а подчиняясь стихійнымъ страстямъ: „Проходитъ жизнь извѣстнымъ порядкомъ, ну, и проходи,—такъ, значитъ, надо, и я тутъ не при чемъ. . . Живи и не кобенься, а то тебя сейчасъ-же разрушитъ въ прахъ сила, состоящая изъ собственныхъ твоихъ свойствъ и намѣреній и изъ движеній жизни. Это называется философія-съ дѣйствительной жизни".

Философія эта находитъ своихъ проповѣдниковъ почти во всѣхъ другихъ разсказахъ г. Горькаго. Тоска жизни и жажда воли,—именно, стихійной воли, а не разумной свободы,—вотъ два мотива, двѣ струны, на которыхъ г. Горькій не перестаетъ играть, вслѣдствіе чего его творчество пріобрѣтаетъ извѣстную цѣльность, но вмѣстѣ съ тѣмъ и неизбѣжное однообразіе. Сознаюсь, что видѣть въ философіи г. Горькаго отраженіе нитцшеанства или индивидуализма Ибсена я не рѣшаюсь. Если эти ученія и въ самомъ дѣлѣ отразились въ міросозерцаніи молодого беллетриста, то въ весьма искаженномъ видѣ, и едвали кто-нибудь изъ послѣдователей Заратустры согласится на замѣну сверхчеловѣческой свободы русскою удалью и стремленія по ту сторону добра и зла бѣгствомъ по ту сторону Кубани. Но, несмотря на это, книга

г. Горькаго кажется мнѣ серьезнымъ литературнымъ явленіемъ, хотя бы потому, что молодой авторъ дерзнулъ взглянуть на жизнь самостоятельно, безъ тѣхъ наглазниковъ, которыми разные прошеные и не прошеные учителя и гувернеры такъ ревниво стараются ограничить кругозоръ русскаго интеллигентнаго человѣка. Много смѣлости въ замыслахъ г. Горькаго, и хочется вѣрить, что эта смѣлость—признакъ недюжинной силы.

Я воздерживаюсь отъ заключительныхъ выводовъ о талантѣ г. Горькаго, тѣмъ болѣе, что, заканчивая фельетонъ, узналъ, что на дняхъ поступитъ въ продажу и второй томъ его разсказовъ. Вскорѣ надѣюсь вернуться къ этому любопытному писателю, и тогда постараюсь на болѣе зрѣлыхъ его произведеніяхъ провѣрить свое первое впечатлѣніе.

Н. Минскій.



Міръ босяковъ въ изображеніи г. Горькаго.

„Очерки и разсказы“ Максима Горькаго, два тома.—Міръ босяковъ и его бытописатели. Левитовъ и г. Горькій.—Реализмъ послѣдняго.—Различные типы босой команды.—Безпокойныя души.—„Бывшіе люди“.—Философія приволья и свободной жизни.—Бодрое настроеніе очерковъ г. Горькаго.

Въ изящной литературѣ послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ очерки и разсказы г. Максима Горькаго представляютъ едвали не самое видное явленіе, по свѣжести и оригинальности таланта, яркаго и сильнаго, и по новизнѣ содержанія, всегда интереснаго и глубоко захватывающаго читателя. Рисуетъ-ли авторъ картины природы, которую онъ страстно любитъ и тонко понимаетъ, въ особенности безбрежную ширь моря и приволье нашихъ южныхъ степей, или глухіе углы большихъ городовъ, гдѣ ютится бѣднѣйшій слой городского населенія,—онъ умѣетъ вложить въ свои очерки столько новаго и неожиданнаго, что предъ нами встаетъ цѣлый міръ, совершенно обособленный, чрезвычайно разнообразный по типамъ и характерамъ, не укладывающійся въ рамки обычнаго представленія о бродягахъ и золоторотцахъ, какихъ мы привыкли встрѣчать въ разсказахъ другихъ писателей. Бродяга, босякъ, то злобный и ожесточенный, потерпѣвшій рядъ крушеній и отчаявшійся, то безпокойный и нервный искатель справедливости, привлекаетъ все вниманіе г. Горькаго, занимаетъ главное мѣсто въ его очеркахъ, въ которыхъ все остальное составляетъ только фонъ, лучше обрисовывающій этотъ, на первый взглядъ, такой чуждый намъ міръ бродячаго и безпокойнаго городского пролетаріата, насмѣшливо окрестившаго себя „босой командой“.

Босая команда—созданіе исключительно большихъ городовъ, явленіе сравнительно новое у насъ и быстро растущее вмѣстѣ съ ростомъ и развитіемъ промышленной жизни. Городъ поглощаетъ ежегодно массу пришлаго рабочаго люда, волны котораго приливаютъ изъ глубины деревни, выброшенныя оттуда измѣнившимися условіями хозяйственной жизни. Всѣ не удержавшіеся въ деревнѣ, стремятся въ городъ, какъ къ центру, гдѣ можно найти примѣненіе силамъ, для которыхъ не оказалось мѣста въ новомъ деревенскомъ укладѣ. Нерѣдко это лучшіе, наиболѣе воспріимчивые элементы деревни, не мирящіеся съ ея безвыходнымъ положеніемъ, съ ея вѣчными голодовками, необезпеченностью личности, полудремотнымъ существованіемъ, для котораго не видно лучшаго, болѣе человѣчнаго выхода, чѣмъ постоянная безрезультатная борьба изъ-за куска хлѣба,—борьба, обезличивающая, ведущая къ полному равнодушію къ жизни. Та же борьба, но на болѣе широкой аренѣ,

встрѣчаетъ ихъ и въ городѣ, гдѣ болѣе сложныя условія вырабатываютъ изъ этихъ примитивныхъ борцовъ за существованіе и болѣе сложные типы, какими полна босая каманда. Главный контингентъ ея и составляютъ бывшіе деревенскіе люди, не сумѣвшіе пристроиться въ городѣ и поглощенные его подонками. Къ нимъ осѣдаютъ сверху „бывшіе люди" всевозможныхъ званій, профессій и положеній, составляющіе своего рода аристократію глухихъ угловъ, наиболѣе типичные и характерные, которымъ въ очеркахъ г. Горькаго отведено выдающееся мѣсто.

Г. Максимъ Горькій не первый бытописатель этого своеобразнаго міра. Левитовъ, которому пришлось тоже, какъ и г. Горькому, немало пошататься по темнымъ закоулкамъ большихъ городовъ, съ особой любовью описывалъ ихъ обитателей. Но у Левитова слишкомъ мягкій и нѣжный колоритъ лежитъ на всемъ, что онъ писалъ, и его босая команда такъ опоэтизирована, что реальная жизнь почти отсутствуетъ. Его герои—это развинченные люди, тѣ же интеллигентные „взыскатели града", какимъ былъ самъ Левитовъ. Въ нихъ слишкомъ мало плоти и крови, уличной городской жизни. Они скорѣе напоминаютъ переряженныхъ людей, а не настоящихъ босяковъ съ ихъ жестокими, подчасъ звѣрскими привычками, злобой, грубостью, пьянствомъ и безсознательнымъ стремленіемъ къ свободѣ, скрашивающей ихъ тягостное существованіе. Читая Левитова, испытываешь попеременно приливъ жалости и досады,—жалости къ изображаемой имъ жизни и досады на автора, который, повидимому, такъ много зная и такъ много испытавъ, не смогъ дать вѣрной картины, изобразить вѣрные типы и характеры, настолько рѣзко отличные и интересные сами по себѣ, чтобы не нуждаться ни въ какихъ постороннихъ украшеніяхъ. Сентиментализмъ Левитова, составляющій основной фонъ его описаній глухихъ улицъ, портитъ все, оставляя въ концѣ концовъ привкусъ слащавости и манерности, дѣланности чувства и приподнятости тона, что сильно портитъ лучшіе изъ его очерковъ.

Очерки г. Горькаго даютъ не менѣе жестокую правду, но авторъ съ истинно художественнымъ тактомъ сумѣлъ вездѣ удержаться отъ преувеличеній, предоставляя самимъ героямъ говорить за себя. Отсутствіе лирическихъ изліяній и полный объективизмъ его разсказа углубляютъ содержаніе, а непосредственная поэтическая жилка, чувствующаяся вездѣ въ описаніяхъ природы, дѣлаетъ его картины художественно-законченными.

Безконечную галлерею выводимыхъ имъ типовъ открываетъ одинъ изъ лучшихъ представителей этого міра отверженныхъ „Челкашъ", фигура почти трагическая по силѣ чувства и суровости тона, въ которомъ она выписана. Босякъ южнаго портоваго города, прошедшій всѣ мытарства, сильный и гордый своей удалью, Челкашъ случайно сталкивается съ примитивнымъ существомъ деревенскаго міра, выброшеннымъ изъ деревни въ поискахъ за хлѣбомъ. Гаврила—истый представитель деревни, не понимающій и не признающій иной связи, кромѣ связи съ

землей иныхъ отношенiй, кромѣ созданныхъ землею. Весь мiръ существуетъ для него только какъ „подсобiе“ для этой земли, въ которой всѣ его думы, надежды, мечты. Земля—основа его жизни, при ней онъ можетъ быть „совсѣмъ свободенъ, самъ по себѣ“, она—все содержанiе его, устой, на которомъ зиждется весь его душевный мiръ, устой прочный и непоколебимый, что даетъ ему извѣстное превосходство передъ его случайнымъ товарищемъ, въ его глазахъ человѣкомъ потеряннымъ, никому не нужнымъ. И Челкашъ это чувствуетъ.

Весь трагизмъ его положенiя въ томъ и заключается, что, сознавая свое превосходство по уму, характеру, душевной силѣ надъ бѣднымъ и простоватымъ Гаврилой, онъ въ то же время не можетъ не видѣть всей правды его словъ, что онъ, Челкашъ, человѣкъ, „ненужный на землѣ“, о которомъ никто не станетъ допытываться, если онъ вдругъ исчезнетъ. Онъ, гордый, сильный, способный на великодушные и чистые порывы, непонятные и чуждые Гаврилѣ,—не имѣетъ мѣста въ обществѣ, стоитъ внѣ его. Для него нѣтъ будущаго, настоящее неопредѣленно, жестоко и полно обиды и горечи, а въ прошедшемъ жуткiя воспоминанiя о той же спасительной связи съ землей, связи, которую онъ порвалъ и уже не возстановитъ никогда. Единственное, что скрашиваетъ его безцѣльное существованiе, это свобода, независимость, неподчиненность чужой волѣ. Но въ то же время какая это свобода, когда первый сторожъ въ гавани, первый таможенный надсмотрщикъ можетъ взять его за шиворотъ и препроводить его въ кутузку. То ли дѣло та свобода, о которой мечтаетъ глуповатый парень Гаврила и мечтаетъ на основанiи фактовъ, хорошо ему знакомыхъ, реальныхъ и для него возможныхъ?

Послѣ ловко совершенной кражи при помощи ничего непонимающаго Гаврилы, Челкашъ невольно задумывается надъ разницами между этими двумя „свободами“. Сначала онъ какъ бы превозносится надъ Гаврилой, которому во всю жизнь не „сцапать“ полтысячи, заработанной имъ, ловкимъ Челкашомъ, въ одну ночь. Но потомъ, подъ наплывомъ воспоминанiй, навѣянныхъ разговоромъ съ Гаврилой, самъ увлекается картиной свободной деревенской жизни.

„—Главное,—вспоминается ему,—въ крестьянской жизни, братъ, это свобода! Хозяинъ ты есть самъ себѣ. У тебя твой домъ,—грошъ ему цѣна—да онъ твой. У тебя земля есть своя,—всего ея итого горсть—да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей землѣ! . . И потомъ порядокъ. . . Утромъ всталъ,—работа, весной одна, лѣтомъ другая, осенью, зимою—опять иная. Куда ни пойди, воротишься въ свой домъ. Тепло! . . . Покой! . . . Король вѣдь? Такъ-ли?—воодушевленно закончилъ Челкашъ длинный перечень крестьянскихъ преимуществъ и правъ и почему-то запамятовавъ объ обязанностяхъ.

„Гаврила глядѣлъ на него съ любопытствомъ и тоже воодуше-

вился. Онъ во время этого разговора успѣлъ уже забыть, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и видѣлъ передъ собою такого же крестьянина, какъ и самъ онъ, прилѣпленнаго навѣки къ землѣ потомъ многихъ поколѣній, связаннаго съ нею воспоминаніями дѣтства, самовольно отлучившагося отъ нея и отъ заботъ о ней и понесшаго за эту отлучкудолжное наказаніе.

„—Это, братъ родимый, вѣрно! Ахъ, какъ вѣрно! Вотъ, гляди-ка на себя, что ты теперь такое безъ земли? ого! . . Землю, братъ, какъ мать не забудешь надолго. . .

„Челкашъ одумался. . . Онъ почувствовалъ раздражающее жженіе въ груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбіе, самолюбіе безшабашнаго удальца, бывало задѣто кѣмъ-либо и особенно тѣмъ, кто не имѣлъ цѣны въ его глазахъ.

„—Замололъ! . . .—сказалъ онъ свирѣпо,—ты можетъ, думалъ, что я все это въ серьезъ. . . Держи карманъ шире!

„—Да, чудакъ-человѣкъ! . . .—снова оробѣлъ Гаврила.—Развѣ я про тебя говорю? Чай, такихъ-то, какъ ты—много! Эхъ, сколько несчастнаго народу на свѣтѣ! . . . Шатающихъ. . .“ (I, 90—91).

Челкашъ злится, тѣмъ болѣе, что не можетъ не понимать, насколько правды въ нехитрыхъ словахъ его товарища. Онъ уже не вернется назадъ, не можетъ, хотя-бы и желалъ стать „королемъ“ на своей землѣ. Непонятная, непреодолимая сила оторвала его отъ нея. Для него нѣтъ возврата назадъ, какъ нѣтъ и впереди ничего. Случайная удача дѣлаетъ его обладателемъ значительныхъ денегъ, „полтысячи рублей“—хвастливо показываетъ онъ Гаврилѣ. У послѣдняго моментально является цѣлый планъ, что и какъ онъ могъ бы сдѣлать на эти деньги. У Челкаша—ничего, кромѣ мысли о безшабашномъ кутежѣ. Гаврила, воодушевленный своими мечтами, пробуетъ сначала вымолить у него эти деньги, а когда это не удается, пытается отнять ихъ силой, ошеломивъ Челкаша камнемъ. И тутъ между этими представителями двухъ разныхъ міровъ разыгрывается глубоко характерная сцена.

Увидѣвъ Челкаша, лежавшаго неподвижно, съ окровавленной головой, Гаврила растерялся отъ страха и убѣжалъ, но потомъ лучшіе инстинкты просыпаются въ человѣкѣ земли. Онъ возвращается и старается привести босяка въ чувство.

Освѣженный водою, Челкашъ очнулся и толкнулъ Гаврилу отъ себя, хрипло сказавъ:

„—Поди . . . прочь! . . .

„—Братъ! прости . . . дьяволъ это меня . . .—дрожа шепталъ Гаврила, цѣлуя руку Челкаша.

„—Иди . . . ступай . . .—хрипѣлъ тотъ.

„—Сними грѣхъ съ души! . . Родной! прости!

„—Гнусъ . . . и блудить-то не умѣешь! . . .—презрительно крикнулъ Челкашъ.—Деньги взялъ?—сквозь зубы процѣдилъ онъ.

„—Не бралъ я ихъ, не бралъ! Не надо мнѣ, бѣда отъ нихъ!...

„—Челкашъ сунулъ руку въ карманъ своей куртки, вытащилъ пачку денегъ, одну радожную положилъ обратно въ карманъ, и все остальное кинулъ Гаврилѣ:—возьми и ступай!...

„—Не возьму, братъ... Не могу, прости!...

„—Бери, бери!.. Не стыдись, что человѣка чуть не убилъ! За такихъ людей, какъ я, никто не взыщетъ. Еще спасибо скажутъ, какъ узнаютъ“. (I, 102—103),

Гаврила беретъ деньги и они расходятся,—одинъ въ деревню, чтобы на своей землѣ быть „королемъ“, другой—въ свой глухой уголъ, откуда нѣтъ выхода.

И не только потому нѣтъ выхода, что Челкашъ порвалъ съ землею. Онъ—человѣкъ иного склада; онъ только въ мечтахъ можетъ представить себя „королемъ на своей землѣ“, такъ какъ въ дѣйствительности онъ слишкомъ свободенъ для такой роли. Это и составляетъ отличительную черту героевъ г. Горькаго—любовь къ свободѣ ради нея самой. Сами они не въ силахъ объяснить этого стремленія, увлекающаго ихъ отъ сытой, спокойной жизни, о которой они не прочь помечтать потомъ, но съ которой ни одинъ изъ нихъ не мирится. Это стремленіе дѣлаетъ Челкаша выше въ его собственныхъ глазахъ, подымаетъ его надъ Гаврилой, который ради земли и связанныхъ съ нею благъ готовъ на все,—и на униженіе передъ презираемымъ имъ босякомъ, и на преступленіе, тогда какъ Челкашъ, воръ и пьяница, „шатающійся человѣкъ“, не отдастъ этой свободы ни за какія блага. Зачѣмъ она ему, онъ и самъ не понимаетъ. Но онъ не можетъ представить себѣ жизни безъ нея. Онъ любитъ море за его ширь и просторъ, за дыханіе свободы, которымъ вѣетъ отъ него и котораго ничѣмъ нельзя укротить и связать, какъ и его, Челкаша, что и въ глазахъ читателя дѣлаетъ личность Челкаша значительнѣе и симпатичнѣе, чѣмъ Гаврилы съ его мечтами о своей курицѣ, о своемъ яблокѣ, о своемъ гнѣздѣ; изъ за котораго онъ уже ничего не способенъ видѣть. Чувство безграничной свободы дѣлаетъ Челкаша болѣе человѣкомъ и сближаетъ его съ нами. Пусть оно теперь стихійно и безсознательно, но въ немъ несравненно больше задатковъ для развитія въ будущемъ чѣмъ въ неразрывной связи Гаврилы съ землею,—связи, тоже стихійной и безсознательной, но неподвижной и мертвой, безъ развитія и движенія.

Челкашъ сильная натура, человѣкъ съ рѣзко выдающейся индивидуальностью, не сумѣвшій примѣниться къ жизни, не нашедшій „своей точки“, какъ говоритъ про себя другой герой того же типа, Коноваловъ. Болѣе вдумчивый и мягкій, не ожесточенный, какъ Челкашъ, Коноваловъ сокрушается своей кажущейся ему ненужностью, неумѣньемъ найти свою „точку“, которая указала бы ему „порядокъ

жизни". Онъ живетъ больше чувствомъ, которое не мирится съ окружающей его неправдой, но не можетъ вывести его на дорогу болѣе правильной жизни,—и пьетъ запоемъ, „отъ тоски", какъ онъ говоритъ. „Такая, скажу я тебѣ, братецъ мой, тоска, что невозможно мнѣ въ ту пору жить, совсѣмъ нельзя. Какъ будто я одинъ человѣкъ на всемъ свѣтѣ, и, кромѣ меня, нигдѣ ничего живого нѣтъ. И все мнѣ въ ту пору противѣетъ, все, какъ есть; и самъ я себѣ становлюсь въ тягость, и всѣ люди; хоть помирай они—не охну! Болѣзнь это у меня, должно быть", грустно поясняетъ онъ. (II, 10). „Что я такое?—спрашиваетъ онъ:— Босякъ, галахъ. . . пьяница и тронутый человѣкъ. Жизнь у меня безъ всякаго оправданія. Зачѣмъ я живу на землѣ и кому я на ней нуженъ, ежели посмотрѣть? Ни угла своего, ни жены, ни дѣтей. . . и ни до чего до этого даже охоты нѣтъ. . . Живу и тоскую . . . Про что,— неизвѣстно. Въ родѣ того со мной, какъ бы меня мать на свѣтъ родила безъ чего-то такого, что у всѣхъ прочихъ людей есть и что человѣку прежде всего нужно. Внутренняго пути у меня нѣтъ. . . Понимаешь? Какъ бы это сказать? Этакой искорки въ душѣ нѣтъ. . . силы, что ли? Ну, нѣтъ во мнѣ одной штуки, и все тутъ! Вотъ я и живу и эту штуку ищу, и тоскую по ней, а что она такое есть!—это мнѣ неизвѣстно. . ."—„Это ты къ чему?" спрашиваетъ его разсказчикъ— „Къ чему? я. . . къ безпорядку жизни. То есть, вотъ я живу молъ, и дѣться мнѣ некуда. . . ни къ чему я не могу присунуться. . . и это есть безпорядокъ, такая жизнь" (II, 20).

Когда разсказчикъ, съ пыломъ и вѣрой молодого проповѣдника, хочетъ увѣрить его, что онъ, Коноваловъ, жертва соціальныхъ условій, не давшихъ ему возможности развить его внутреннюю жизнь, Коноваловъ не соглашается. „Каждый человѣкъ самъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ не повиненъ ежели я подлецъ есть", отвѣчаетъ онъ на доводы товарища.

„—Да погоди!—кричалъ я:—какъ можетъ человѣкъ устоять, коли на него со всѣхъ сторонъ разная темная сила претъ?

„—Упрись крѣпче!—провозглашалъ мой оппонентъ, горячась и сверкая глазами.

„—Да во что упереться?

„—Найди свою точку и упрись!

„—А ты чего же не упирался?

„—Вотъ я те и говорю, чудакъ-человѣкъ, что я самъ виноватъ въ моей долѣ! Не нашелъ я точки моей. . . Ищу, тоскую и не нахожу!" (II, 24).

Еще болѣе смущаютъ его „поступки", которые кажутся ему несомнѣнно хорошими,—и дѣйствительно таковы,—но въ результатѣ ведутъ только къ худшему положенію. Встрѣтивъ „милое, но погибшее созданіе", онъ изъ жалости освобождаетъ ее изъ „заведенія", въ

расчетѣ, что дѣвушка начнетъ вести лучшую жизнь. Расчетъ не оправдывается: его Капа желаетъ быть его женой, къ чему у него нѣтъ желанія. Разочарованная въ немъ дѣвушка спивается съ кругу и кончаетъ тѣмъ же заведеніемъ. Этотъ случай окончательно выбиваетъ Коновалова изъ колеи. „Нѣтъ ли въ книгахъ,—съ отчаяніемъ спрашиваетъ онъ разсказчика,—насчетъ порядковъ жизни? Т. е. поученія, какъ жить? Поступки бы мнѣ нужно разъяснить, которые вредные и которые ничего себѣ. . . Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими. Который вначалѣ мнѣ кажется хорошимъ, въ концѣ выходитъ плохимъ“. . . (II, 44). „Какъ такъ? Желалъ я человѣку оказать добро—и вдругъ. . . совсѣмъ несообразно! Да, братъ, очень нуженъ для жизни порядокъ поступковъ. . . И неужто ужъ такъ и нельзя выдумать этакій законъ, чтобы всѣ люди дѣйствовали, какъ одинъ, и всѣ другъ друга понимать могли? Вѣдь совсѣмъ нельзя жить на такомъ разстояніи одинъ отъ другого! Неужто умные люди не понимаютъ, что нужно на землѣ устроить порядокъ и въ ясность людей привести?. . Эхма!“ (II 46).

Эти мучительные вопросы въ концѣ концовъ убиваютъ бѣднаго Коновалова, который кончаетъ самоубійствомъ, такъ и не найдя порядка жизни. „Сколько исходилъ я земли, сколько всякой всячины видѣлъ, нѣтъ для меня на землѣ ничего удобнаго! Не нашелъ я себѣ мѣста!“ (II, 65).

И всѣ босяки кончаютъ этими словами свою эпопею, одни ожесточеннѣе и злобно-презрительнѣе, какъ Челкашъ, другіе съ грустью и удивленіемъ, какъ мягкій и вдумчивый Коноваловъ.

Оба они выведены въ разсказѣ г. Горькаго, какъ вполнѣ сложившіеся типы. Въ очеркѣ: „Супруги Орловы“ авторъ раскрываетъ передъ читателями путь, какимъ постепенно доходитъ такой босякъ до своего печальнаго конца. Орловъ сапожникъ, женатъ и сравнительно не хуже, хотя и не лучше, другихъ обставленъ въ смыслѣ матеріальномъ. Посвоему онъ даже благополученъ и жилось бы ему не дурно, еслибы и его не смущали тѣ проклятые вопросы, которые изводятъ Коновалова. Зачѣмъ жизнь, въ чемъ ея сущность, гдѣ искать утоленіе отъ этихъ вопросовъ? Онъ любитъ жену, не сомнѣвается въ ея любви, но этого мало для жизни, какъ онъ чувствуетъ все сильнѣе и сильнѣе. Нужно еще что-то, но что именно—этого онъ не знаетъ, озлобляется, пьянствуетъ и колотитъ жену, хотя и чувствуетъ себя отъ этого еще хуже.

„Оба они, молодые и здоровые люди, любили другъ друга и гордились другъ другомъ. . . Но имъ было такъ скучно жить, у нихъ почти не было впечатлѣній и интересовъ, которые могли бы порой дать имъ возможность отдохнуть другъ отъ друга и удовлетворяли бы естественную потребность человѣческаго духа—волноваться, думать, горѣть, вообще жить. . . Еслибъ у Орловыхъ была жизненная цѣль, хотя бы такая узкая, какъ накопленіе денегъ грошъ за грошомъ, тогда, несомнѣнно, имъ жилось бы легче. Но у нихъ не было и этого. Постоянно одинъ

у другого на глазахъ, они привыкли другъ къ другу, знали всѣ слова и жесты одинъ другого. День шелъ за днемъ и не вносилъ въ ихъ жизнь ничего, что развлекало бы ихъ. Иногда, по праздникамъ, они ходили въ гости къ такимъ же нищимъ духомъ, какъ сами, иногда къ нимъ приходили гости, пили, пѣли, часто—дрались. А потомъ снова одинъ за другимъ тянулись безцвѣтные дни, какъ звенья невидимой цѣпи, отягчавшей жизнь этихъ людей работой, скукой и безсмысленнымъ раздраженіемъ другъ противъ друга". (II, 89).

Натуры апатичныя, уравновѣшанныя или неспособныя къ противодѣйствію легко подчиняются такому порядку. Но Орловы, мужъ и жена, не принадлежали къ нимъ. Обоимъ недоставало дѣятельности и разнообразія, что скрашивало бы это монотонное существованіе. Оживленіе въ ихъ жизнь вноситъ нагрянувшая внезапно холера. Въ то время, какъ окружающіе поддаются общей паникѣ и еще болѣе тупѣютъ подъ ея вліяніемъ, супруги Орловы воскресаютъ духомъ. Жажда новизны и дѣятельности, живой и разнообразной, результаты которой говорили бы сами за себя, охватываетъ сначала мужа, а потомъ съ еще большей силой и жену. Оба поступаютъ въ холерный баракъ, гдѣ природная смѣтливось и недюжинныя способности Орлова сразу выдвигаютъ его среди другихъ служителей, что еще больше возбуждаетъ его. Невѣдомыя ему до тѣхъ поръ чувство гордости и довольства собой охватываетъ его съ необыкновенной силой. Онъ мечтаетъ о подвигѣ, о такомъ дѣлѣ, чтобы сразу всѣхъ спасти, всѣхъ поразить необычнымъ геройскимъ поступкомъ. „Онъ чувствовалъ себя человѣкомъ особыхъ свойствъ. И въ немъ забилось желаніе сдѣлать что-то такое, что обратило бы на него вниманіе всѣхъ, всѣхъ поразило бы и заставило убѣдиться въ его правѣ на самочувствіе, такъ поднявшее его въ своихъ глазахъ. Это было своеобразное честолюбіе человѣка, который вдругъ созналъ себя таковымъ и, какъ бы еще неувѣренный въ этомъ новомъ для него фактѣ, хотѣлъ подтвердить его чѣмъ-либо для себя и для другихъ; это было честолюбіе, постепенно перерождавшееся въ жажду безкорыстнаго подвига". (II, 125—126).

Такое бодрое и дѣятельное настроеніе продолжается, однако, недолго. Мысль, разбуженная и начавшая работать, уже не можетъ остановиться на вопросахъ только текущаго дня и неотвязно требуетъ отвѣта о будущемъ, которое представляется все въ томъ же видѣ, что и опостылѣвшее прошлое. Орловъ смутно видитъ, что не для него эта дѣятельность, такъ увлекающая его,—дѣятельность, полная заботы и любви къ людямъ. Кончится спѣшная лихорадочная дѣятельность въ баракѣ, и его опять ждетъ однообразная, безрадостная жизнь „въ ямѣ", какъ онъ называетъ свою житейскую обстановку. Какъ соединить работу съ человѣческими стремленіями, какъ стать выше, подняться надъ этой ямой, одухотворить, осмыслить свою жизнь, бѣдняга Орловъ не можетъ понять.

Эти мысли его удручаютъ, отравляя настоящее, не давая ему душевнаго покоя, какимъ пользуются врачи, работающіе до упаду, и его собственная жена. Онъ не можетъ понять ихъ радости при выздоровленіи какого-нибудь Мишки-вора, потому что онъ знаетъ, насколько некрасна жизнь этого Мишки, и что лучше и для окружающихъ, если Мишка умретъ. Масса противорѣчій общественной жизни всплываютъ предъ Орловымъ, который, будучи не въ силахъ разъяснить ихъ себѣ, въ концѣ концовъ возвращается къ водкѣ, старой спасительницѣ отъ жгучихъ думъ. Послѣ дикаго скандала въ баракѣ его выгоняютъ, и Орловъ осѣдаетъ въ рядахъ босяковъ, этомъ прибѣжищѣ неудачниковъ и безпокойныхъ душъ.

Другой типъ такой безпокойной души представленъ въ разсказѣ „Озорникъ". Николка Гвоздевъ, озорникъ, какъ его прозвали товарищи за безпокойный и неуживчивый нравъ, работаетъ въ типографіи газеты, въ которой производитъ большой переполохъ, вставивъ въ передовую статью редактора собственную фразу, весьма ѣдкую и критическую для газеты. Редакторъ пишетъ: „Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметомъ горячаго обсужденія", а Николка сдѣлалъ отъ себя поясненія: „т. е. говоренія глупой ерунды и чепухи". Свою неожиданную выходку Николка объясняетъ слѣдующимъ образомъ, когда изумленный редакторъ требуетъ у него отвѣта, почему онъ это сдѣлалъ.

„—Вотъ, стало быть, въ чемъ дѣло. Вы пишете разныя статьи, человѣколюбіе всѣмъ совѣтуете и прочее такое. Не умѣю я сказать вамъ это все подробно—грамоту плохо знаю. . . Вы, чай, сами знаете, про что рѣчи ведете каждый день. . . Ну, вотъ я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочаго толкуете, а я все читаю. И противно мнѣ читать, потому что все это пустяки одни. Одни слова безстыжія. Потому что вы пишете—не грабь, а въ типографіи-то у васъ что? Кирьяковъ на прошлой недѣлѣ работалъ три съ половиною дня, выработалъ три восемь гривенъ и захворалъ. Жена приходитъ въ контору за деньгами, а управляющій ей говоритъ, что не ей дать, а съ нея нужно рубль двадцать получить—штрафу. Вотъ-те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И какъ управляющій лается и мальчишекъ деретъ за всякую малость? . . Вамъ этого нельзя писать, потому что вы и сами этой политики держитесь. . . Пишете, что людямъ плохо жить на свѣтѣ—и потому вы, я вамъ скажу, все это пишете, что ничего больше дѣлать не умѣете. Вотъ и все. . . И потому подъ носомъ у себя вы никакихъ звѣрствъ не видите, а про турецкія звѣрства очень хорошо разсказываете. Развѣ это не пустяки статьи-то ваши?" (II, 238—239). Обвиненія Николки и не отличаются глубиной, и редактору легко дать отвѣтъ на каждое. Но дѣло не въ томъ. Николка и самъ понимаетъ, что газета меньше всѣхъ виновата въ злоключеніяхъ рабочихъ вообще и его товарищей по типографіи въ частности. Ему нуженъ былъ поводъ излить накопившуюся желчь противъ всѣхъ, кто, по его мнѣнію,

понимаетъ лучше другихъ, а самъ дѣлаетъ не то, что думаетъ. Гвоздевъ по натурѣ протестантъ, онъ „чувствуетъ обиду въ своемъ положеніи“, какъ онъ поясняетъ потомъ редактору, противъ котораго лично ничего не имѣетъ, даже сочувствуетъ ему. „Знаю я... газета! Уѣстъ она вамъ половину жизни, все здоровье на нее просадите. Я вѣдь понимаю! Онъ, издатель-то, что? У него въ газетѣ деньги, а у васъ кровь!“ (II, 249). Гвоздевъ ищетъ справедливости въ человѣческихъ отношеніяхъи возстаетъ противъ „разныхъ точекъ зрѣнія“, съ которыхъ люди на себя смотрятъ.

„—Зачѣмъ точка зрѣнія? Не съ точки зрѣнія человѣкъ человѣку вниманіе долженъ оказывать, а по движенію сердца! Что такое точка зрѣнія? Я говорю про несправедливости жизни. Развѣ можно меня съ какой-нибудь точки зрѣнія забраковать? А я забракованъ въ жизни: нѣтъ мнѣ въ ней хода... Почему-съ? Потому что не ученъ? Такъ вѣдь ежели бы вы, ученые, не съ точекъ зрѣнія разсуждали, а какъ-нибудь иначе—должны вы меня, вашего поля ягоду, не забыть и извлечь наверхъ къ вамъ снизу, гдѣ я гнію въ невѣжествѣ и озлобленіи моихъ чувствъ? Или съ точки зрѣнія—не должны?“ (II, 252).

Отъ смущеннаго редактора онъ требуетъ чего-нибудь такого, „что бы сразу по недугу мнѣ пришлось“, какъ Коноваловъ требовалъ отъ своего собесѣдника такого слова, которое сразу указало бы ему „порядокъ жизни“, какъ Орловъ ищетъ такого подвига, чтобы сразу всѣхъ спасти. Они всѣ родственныя натуры, безпокойныя души, которыя не могутъ примириться съ установленнымъ порядкомъ вещей. Они чувствуютъ несправедливость и, не видя выхода, думаютъ, что есть какой-то талисманъ, который стоитъ только найти, чтобы все уладить, всѣхъ умиротворить и все привести въ ясность. Имъ и въ голову не приходитъ, что все это вѣковѣчные вопросы, надъ разрѣшеніемъ которыхъ бьется человѣчество уже тысячелѣтія, не находя отвѣта, да и врядъ ли когда найдетъ его. Для насъ интересны не эти вопросы, а сами вопрошающіе, какъ замѣчаетъ редакторъ, для котораго рѣчи Гвоздева „являются новостью въ томъ смыслѣ, что раньше ихъ говорили люди иного сорта“. (II, 254).

Новые люди сильно отличаются отъ прежнихъ хотя бы уже тѣмъ, что несправедливость жизни они испытываютъ гораздо чувствительнѣе. Для нихъ эти вопросы представляютъ не теоретическій интересъ, для нихъ это не идейные вопросы, а сама жизнь во всемъ ея жестокомъ значеніи. Гвоздевъ, напр., былъ когда-то товарищемъ дѣтскихъ игръ своего редактора. Вмѣстѣ съ кучей такихъ же дѣтей городской бѣдноты, онъ, сынъ мѣщанина, ходилъ въ одно и то же училище, игралъ, дрался съ ними, а теперь онъ—простой рабочій, „озорникъ“, тогда какъ его товарищи теперь командуютъ имъ. „Почему?—страстно вопрошаетъ онъ редактора.—И я, и вы люди изъ одной улицы и одного происхожденія... Вы не настоящіе господа жизни, не дворяне!... Съ тѣхъ нашему

брату взятки гладки. Тѣ скажутъ: „пшелъ къ чорту!“—и пойдешь. Потому они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее. . . Но вы—свой братъ, и я могу требовать съ васъ указанія пути моей жизни. Я мѣщанинъ, и Хрулевъ тоже, и вы—дьяконовъ сынъ. . . Какъ вы думаете, легко мнѣ теперь работать на моихъ товарищей, которымъ я въ старину носы расквашивалъ? Легко мнѣ съ господина судебнаго слѣдователя Хрулева, у котораго я съ годъ тому назадъ работу сдѣлалъ, сорокъ копеекъ на чай получить? Вѣдь онъ человѣкъ одного со мной ранга. . . И было ему имя Мишка Сахарница . . . у него зубы гнилые и посейчасъ, какъ тогда были“. . . (II, 235).

Ни Гвоздевъ, ни Коноваловъ, ни Орловъ не могутъ удовлетвориться теоретическимъ отвѣтомъ; „точка зрѣнія,“ вѣская и значительная для человѣка идеи, не имѣетъ смысла въ глазахъ ихъ, людей жизни. Это и дѣлаетъ ихъ исканіе такимъ страстнымъ, безпокойнымъ, жуткимъ, а самое положеніе трагическимъ. Жизнь не даетъ отвѣта на эти запросы, а выносить эту жизнь они не могутъ. И они уходятъ въ босую команду, унося туда свое озлобленіе и жгучую боль неудовлетворенныхъ желаній и неразрѣшимыхъ думъ. Человѣкъ теоріи, идеи можетъ найти утѣшеніе, безкорыстно жертвуя собой, своимъ знаніемъ, трудомъ, жизнью, вырывая у смерти Мишку-вора и тысячи такихъ-же товарищей Орлова. Но Орловъ не можетъ, потому что онъ и есть та масса, ради которой приносятся эти жертвы, и знаетъ, что въ концѣ концовъ даже и лучше, чтобы Мишка отправился въ праотцамъ. Редакторъ, идеалистъ и защитникъ обездоленныхъ, находитъ для себя стимулъ къ жизни въ борьбѣ за фабричное законодательство, а Гвоздевъ по-своему правъ, когда всю эту защиту называетъ „говореньемъ ерунды и чепухи“.

На ряду съ безпокойными душами, ищущими справедливости и гибнущими отъ противорѣчій мысли и дѣйствительности, босая команда даетъ прибѣжище и другимъ несчастливцамъ, потерпѣвшимъ крушеніе на разныхъ поприщахъ жизни. Это „бывшіе люди“, занимавшіе то или иное привилегированное положеніе и постепенно опустившіеся. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ очерковъ: „Бывшіе люди“ авторъ выводитъ нѣсколькихъ представителей этого типа. Во главѣ ихъ идетъ ротмистръ Кувалда, содержатель ночлежки въ полуразрушенномъ домѣ купца Петунникова, философъ-циникъ и большой оптимистъ въ то же время. Его ночлежка является центромъ, гдѣ ютится всякая голь перекатная, когда рѣшительно ужъ некуда идти. Среди своихъ кліентовъ Кувалда играетъ роль признаннаго вождя, главы и руководителя, въ которомъ золоторотцы цѣнятъ прежде всего умственность и философское отношеніе къ земнымъ радостямъ и горестямъ. Подъ грубой оболочкой ротмистра скрывается бездна добродушія и чисто человѣческаго отношенія ко всѣмъ потерпѣвшимъ крушеніе, которыхъ онъ умѣетъ не только

пріютить, но и поддержать въ минуту жизни трудную. Самъ—горькій пьяница и почти нищій, онъ съ любовью заботится объ единственномъ изъ своихъ жильцовъ, бывшемъ учителѣ, въ которомъ сохранилась еще искра Божія. Кувалда чувствуетъ себя сносно въ своемъ положеніи, и если подчасъ разражается противъ общества, изъ котораго онъ вынужденъ былъ уйти навсегда, то больше съ общей точки зрѣнія. Глубоко ненавидитъ онъ только купца Петунникова, олицетворяющаго въ его глазахъ насиліе и грубую эксплуатацію капитала.

Самымъ виднымъ членомъ ночлежки послѣ Кувалды является учитель, тоже спившійся и глубоко несчастный человѣкъ, яснѣе другихъ понимающій ту бездну, въ которой ему приходится кончать свое существованіе. Перебиваясь репортерствомъ и мелкимъ хожденіемъ по дѣламъ, онъ могъ бы выйти изъ этой ямы, еслибы не общая надломленность, отсутствіе воли и той силы, которая необходима для жизни и заключается въ вѣрѣ въ себя, въ плодотворность борьбы, хотя бы и незначительной. Учитель—глубокій пессимистъ, потерявшій вѣру въ общество, въ людей, въ возможность перемѣны. Онъ любитъ только дѣтей, которыхъ жизнь еще не изломала, и водку, цѣлительницу отъ всѣхъ недуговъ.

Около этихъ двухъ центральныхъ фигуръ группируются остальные члены союза „бывшихъ людей“, совершенно погибшіе люди, опустившіеся до той ступени, когда человѣкъ уже перестаетъ различать добро и зло и становится равнодушенъ ко всему окружающему. Ничто не связывало этихъ людей, не объединяло, не давало смысла ихъ существованію, что и выражалъ философъ Кувалда въ афоризмѣ: „мы всѣ живемъ безъ достаточнаго къ тому основанія“. Такая жизнь безъ смысла и цѣли не можетъ не ожесточать людей, и въ ихъ разсужденіяхъ слышится подчасъ глухая угроза тѣмъ счастливцамъ, которые сумѣли занять болѣе удобныя мѣста на жизненномъ пиру. Сквозь мракъ и холодъ, которымъ вѣетъ отъ общества этихъ „бывшихъ людей“, проблескиваютъ искры огня, таящагося подъ пепломъ въ ихъ сожженныхъ сердцахъ. Они страшны, имъ терять нечего, и въ глазахъ остальныхъ жильцовъ ночлежки они являются естественными вождями, какъ болѣе опытные и понимающіе.

Какія мысли иногда бродятъ въ ихъ отуманенныхъ виномъ и голодомъ головахъ, авторъ показываетъ во время чтенія газеты, приносимой обыкновенно по вечерамъ учителемъ-репортеромъ. Кувалда злобствуетъ больше всего противъ „купца“, который подавилъ—и дворянина, и мужика.

„Если въ криминальныхъ отдѣлахъ газеты дѣйствующимъ и страдающимъ лицомъ является купецъ, Аристидъ Кувалда искренно ликуетъ. Обворовали купца—прекрасно! только жаль, что мало. Лошади его разбили—пріятно слышать, но прискорбно, что онъ остался живъ. Искъ проигралъ купецъ—великолѣпно, но печально, что судебныя издержки не возложили на него въ удвоенномъ количествѣ.

„—Это было бы незаконно—замѣчаетъ учитель.

„—Незаконно? Но законенъ ли самъ купецъ?—горячо спрашиваетъ Кувалда.—Что есть купецъ? Разсмотримъ это грубое и нелѣпое явленіе: прежде всего каждый купецъ—мужикъ. Онъ является изъ деревни и по истеченіи нѣкотораго времени дѣлается купцомъ. Для того, чтобы сдѣлаться купцомъ, нужно имѣть деньги. Откуда у мужика могутъ быть деньги? Какъ извѣстно, онѣ не являются отъ трудовъ праведныхъ. Значитъ, мужикъ такъ или иначе мошенничалъ. Значитъ, купецъ—мошенникъ-мужикъ!...

„—Если-бы я писалъ въ газетахъ!—восклицаетъ онъ:—о, я бы показалъ купца въ его настоящемъ видѣ! Я бы показалъ, что онъ только животное, временно исполняющее должность человѣка. Я понимаю его! Онъ? Онъ грубъ, онъ глупъ, не имѣетъ вкуса въ жизни, неимѣетъ представленія объ отечествѣ и ничего выше пятака не знаетъ". (II, 174—175).

„—Я повторяю,—болѣе спокойно продолжаетъ онъ,—я вижу жизнь въ рукахъ враговъ, не враговъ только дворянина, но враговъ всего благороднаго, алчныхъ, неспособныхъ украсить жизнь чѣмъ-либо...

„—Однако, братъ,—говоритъ учитель,—купцы создали Геную, Венецію, Голландія,—это купцы, купцы Англіи завоевали своей странѣ Индію, купцы Строгановы...

„—Какое мнѣ дѣло до этихъ купцовъ? Я имѣю въ виду Іуду Петунникова и иже съ нимъ...

„—А до этихъ тебѣ какое дѣло?—тихо спрашиваетъ учитель.

„—А развѣ я не живу? Ага! Живу,—значитъ долженъ негодовать при видѣ того, какъ жизнь портятъ дикіе люди, полонившіе ее.

„—И смѣются надъ благороднымъ негодованіемъ ротмистра и человѣка въ отставкѣ,—задираетъ Объѣдокъ (прозвище одного изъ членовъ ночлежки).

„—Хорошо! Это глупо... я согласенъ. Какъ бывшій человѣкъ, я долженъ смарать въ себѣ всѣ чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, вѣрно... Но чѣмъ же я и всѣ вы—чѣмъ же вооружимся мы, если отбросимъ эти чувства?.. Намъ нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства... Намъ нужно что-то такое, новое... ибо и мы въ жизни новость...

„—И какая мы новость?-усмѣхается Объѣдокъ,—гольтепа всегда была.

„—И она создала Римъ,—говоритъ учитель.

„—Да, конечно,—ликуетъ ротмистръ.—Ромулъ и Ремъ—развѣ они не золоторотцы? И мы—придетъ нашъ часъ—создадимъ...

„—Нарушеніе общественной тишины и спокойствія,—перебиваетъ Объѣдокъ...

„Странно было видѣть такъ разсуждающими этихъ людей, изгнанныхъ изъ жизни, рваныхъ, пропитанныхъ водкой и злобой, ироніей и грязью",—замѣчаетъ авторъ. (II, 176—178).

Но какъ ни странны эти разсужденія, въ основѣ нелѣпыя и дѣтски-наивныя, они понятны, если принять во вниманіе психологію этихъ потерянныхъ людей. Имъ, дѣйствительно, ничего не осталось въ жизни, кромѣ мечтаній о возможности чего-то новаго, что должно воскресить ихъ, дать смыслъ и цѣль ихъ существованію. Кувалда, конечно, жестоко заблуждается, полагая, что такая „гольтепа“ можетъ сама создать это новое. Нищенскій пролетаріатъ, къ которому они принадлежатъ, никогда и ничего не создавалъ. Онъ всегда былъ отбросомъ, который остается отъ созидательной работы, и если играетъ иногда роль, то исключительно разрушительную, разлагающую. Въ лучшемъ случаѣ „бывшіе люди“ являются ферментомъ, нужнымъ для броженія, ферментомъ, скорѣе опаснымъ, чѣмъ полезнымъ въ общественномъ смыслѣ, какъ элементы, не способные и не поддающіеся дисциплинѣ.

Относясь съ симпатіей и жалостью къ этимъ отверженцамъ, авторъ не скрываетъ ихъ дурныхъ сторонъ, замѣчая, что по испорченности и глубинѣ паденія они далеко превосходили тотъ деревенскій людъ, который, не найдя успѣха въ городѣ, опускался до „босой команды“. Въ то же время онъ вполнѣ правдиво отмѣчаетъ и особое значеніе „бывшихъ людей“ въ средѣ мелкаго обездоленнаго люда глухихъ закоулковъ. „Они вносили,—говоритъ онъ,—въ среду забитыхъ бѣдностью и горемъ обывателей улицы свой духъ, въ которомъ было что-то, облегчавшее жизнь людей истомленныхъ и растерявшихся въ погонѣ за кускомъ хлѣба, такихъ же пьяницъ, какъ обитатели убѣжища Кувалды, и такъ-же сброшенныхъ изъ города, какъ и они. Умѣнье обо всемъ говорить и все осмѣивать, безбоязненность мнѣній, рѣзкость рѣчи, отсутствіе страха передъ тѣмъ, чего вся улица боялась, безшабашная, бравирующая удаль этихъ людей, не могли не нравиться улицѣ. Затѣмъ, почти всѣ они знали законы, могли дать любой совѣтъ, написать прошеніе, помочь немножко безнаказанно смошенничать. За все это имъ платили водкой и лестнымъ удивленіемъ предъ ихъ талантами“. (II, 180—181).

Слѣдить за измѣненіями судебъ команды „бывшихъ людей“ мы не станемъ,—слишкомъ эта судьба обыкновенна. Постепенно растущій городъ выбрасываетъ ихъ еще дальше, когда столь ненавистный Кувалдѣ купецъ Петунниковъ воздвигаетъ новую фабрику и изгоняетъ Кувалду и его присныхъ съ насиженнаго мѣста. Команда разбредается въ поискахъ болѣе удаленныхъ угловъ, гдѣ бы можно было сложить усталыя кости.

Сопоставляя эти два типа—„бывшихъ людей“ и безпокойныхъ душъ, какъ Коноваловъ, Орловъ и Гвоздевъ,—ясно видно, на чьей сторонѣ симпатіи автора. „Бывшіе люди“—это отбросъ, къ которому онъ такъ и относится, хотя и жалѣетъ ихъ. Безпокойныя души—это родственныя ему натуры, которыя онъ вырисовываетъ съ нескрываемымъ

интересомъ, муки которыхъ ему близки и понятны. Лучшіе очерки посвящены имъ, и несомнѣнный крупный талантъ г. Горькаго развертывается въ нихъ съ особымъ блескомъ и оригинальностью. „Коноваловъ" и „Супруги Орловы" написаны превосходно и за послѣдній годъ представляютъ лучшія художественныя произведенія въ текущей литературѣ. Языкъ г. Горькаго необыкновенно гармонируетъ съ описываемыми имъ типами, по своей простотѣ и безыскусственности, а превосходное знаніе среды дѣлаетъ эти очерки своего рода шедеврами. Жизнь героевъ, ихъ характеры, самыя сложныя душевныя движенія развертываются предъ читателями естественно, живо, безъ всякихъ преувеличеній и прикрасъ, безъ неудачныхъ попытокъ на нарочитую глубину, что въ общемъ производитъ впечатлѣніе полнѣйшей искренности и правдивости. Авторъ много видѣлъ, много думалъ, много и самъ перенесъ тяжелаго и безотраднаго, но, какъ истинный художникъ, нигдѣ не выдвигаетъ себя, и только въ образахъ, очерченныхъ смѣло и ярко, можно прочесть безпокоящія его мысли, волненія и желанія. Глухіе и мрачные закоулки большихъ городовъ, куда онъ вводитъ читателя, оживаютъ, встаютъ въ этихъ очеркахъ, какъ живой укоръ обществу, мало обращающему на нихъ вниманія, а жизнь, кипящая тамъ, своеобразная и мало изслѣдуемая до сихъ поръ, раскрывается съ такихъ сторонъ, которыя открываютъ новыя перспективы. Вопросы, теоретически волнующіе многихъ читателей, здѣсь волнуютъ, какъ жестокая дѣйствительность, требующая практическихъ отвѣтовъ.

Кромѣ этихъ очерковъ, лучшихъ и наиболѣе содержательныхъ, очень характерны для пониманія таланта г. Горькаго разсказъ „Тоска" и двѣ поэтическія картинки: „Макаръ Чудра" и „Старуха Изергиль". Несмотря на совершенно различную обстановку дѣйствія, совершенно различные типы, во всѣхъ трехъ очеркахъ звучитъ одна основная нота. Въ первомъ старый мельникъ, повидимому, вполнѣ благополучный, не находитъ себѣ мѣста отъ охватившей его тоски и глубоко завидуетъ своему работнику, который въ жизни выше всего ставитъ „приволье", т. е. независимость и полную свободу воли. „Нѣтъ!—говоритъ работникъ,—я уйду. Въ степь надо,—приволье тамъ. . . эхъ ты! И мнѣ тоже васъ жалко будетъ—привыкъ. А уйду, потому тянетъ. Самому противъ себя не надо спорить. Коли кто противъ себя заспоритъ—пиши—пропалъ человѣкъ". (I, 284). Мельника поражаетъ эта способность Кузьмы—„не спорить противъ себя", онъ хотѣлъ бы отдаться тоже какому-либо сильному чувству, которое всецѣло охватило бы его, и не можетъ: его душа, размѣнявшаяся на мелочи въ погонѣ за благополучіемъ, не способна къ сильнымъ порывамъ, не можетъ жить по своей волѣ, не подчиняясь разъ навсегда установленнымъ правиламъ. Онъ не въ силахъ „дать себѣ просторъ", и его тоска разрѣшается дикимъ разгуломъ, отъ котораго на душѣ мельника становится еще тяжелѣе.

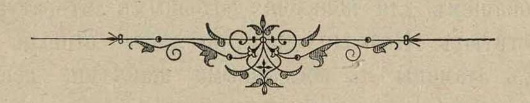
„Приволье“, свобода, возможность подчиняться только своей волѣ, итти за нею, отдаваясь своимъ порывамъ—вотъ цѣль жизни, сущность ея. Эта мысль еще яснѣе проведена въ поэтическомъ очеркѣ „Макаръ Чудра“. Ночью среди необъятной степи, лежа у костра и любуясь бездоннымъ темносинимъ небомъ, старый цыганъ Чудра излагаетъ свою житейскую философію автору.

„—Такъ ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю себѣ выбралъ, соколъ. Такъ и надо,—ходи и смотри, насмотрѣлся, лягъ и умирай. . . Жизнь, иные люди?—продолжалъ онъ, скептически выслушавъ мои возраженія на его „такъ и надо“.—Эге! А тебѣ что до того? Развѣ ты самъ не жизнь? А другіе люди живутъ безъ тебя и проживутъ безъ тебя. Развѣ ты думаешь, что ты кому-то нуженъ? Ты не хлѣбъ и не палка, ну и не нужно тебя тамъ. . . Смѣшные они, тѣ твои люди. Сбились въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,—онъ широко повелъ рукой на степь.—И все работаютъ. Зачѣмъ, кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источитъ на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не увидитъ съ своего поля и умираетъ, какъ родился, дуракомъ. . . А я, вотъ, смотри, въ 58 лѣтъ столько видѣлъ, что коли написать все это на бумагѣ, такъ въ тысячу такихъ торбъ, какъ у тебя, не уложишь. А ну-ка, скажи, въ какихъ краяхъ я не былъ? И не скажешь! Ты и не знаешь такихъ краевъ, въ какихъ я бывалъ. Такъ нужно жить,—иди, иди и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ,—чего въ немъ? Вонъ какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобъ не разлюбить ее. А задумаешься—разлюбишь жизнь, это всегда такъ бываетъ. . .“ (I, 1—3).

И старуха Изергиль проводитъ ту же философію свободной жизни, не связанной обычаями и условностями, отданной всецѣло жизни ради самой жизни. Эта философія, увлекательная и жизнерадостная, составляетъ фонъ большинства очерковъ г. Горькаго. Всѣ его герои такъ или иначе увлечены ею, живутъ то стремленіемъ къ свободѣ, то исканіемъ такой жизни, гдѣ свобода составляетъ все содержаніе. Лучшіе типы въ его разсказахъ тѣ же цыгане, которые бредутъ туда, куда ихъ влечетъ свободное сердце, тоскующее за привольемъ. Такова Мальва въ разсказѣ подъ тѣмъ же заглавіемъ, и босякъ Сережка, который ей высказываетъ такое же пониманіе жизни, какъ и цыганъ Макаръ Чудра. Таковъ и Емельянъ Пиляй, голодный, оборванный, восхищающійся широкимъ просторомъ степи. И самый типъ босяка, съ различныхъ сторонъ вырисовывающійся въ разсказахъ г. Горькаго, тоже искатель приволья, вѣчнаго движенія, жизни, свободной отъ разныхъ условностей и тягости, стѣсняющихъ проявленіе воли, что придаетъ этому типу жизнерадостный и бодрый характеръ, несмотря на удручающія условія его жизни.

Отъ большинства очерковъ г. Горькаго вѣетъ этимъ свободнымъ дыханіемъ степи и моря, чувствуется бодрое настроеніе, что-то независимое и гордое, чѣмъ они рѣзко отличаются отъ очерковъ другихъ авторовъ, касавшихся того же міра нищеты и отверженности. Это настроеніе передается и читателю, что придаетъ очеркамъ г. Горькаго особую прелесть свѣжести, новизны и жизненной правды.

А. Б.



Философія босячества (у Ришпена и г. Горькаго).

„Le Chemineau“, drame en cinq actes Jean Richepin.—„Les solilogues du pauvre“ par Jehan Rictus.—М. Горькій, „Очерки и разсказы“.—Л. Мельшинъ, „Конецъ Шелайской тюрьмы“.

Времена идиллическихъ разбойниковъ, благородныхъ убійцъ, рыцарски честныхъ грабителей въ литературѣ прошли. Они прошли уже потому, что внѣшніе факты, служившіе хотя бы до нѣкоторой степени реальнымъ основаніемъ для появленія подобныхъ литературныхъ типовъ, болѣе не существуютъ. Исчезли дремучіе лѣса, отошли въ вѣчность жившіе въ нихъ атаманы съ послушными шайками; неизвѣстно куда скрылись морскіе пираты, и вмѣстѣ съ этимъ сдѣлались невозможны тѣ благородные поступки, которые совершалъ когда-то „Красный морской разбойникъ“ или другой столь-же даровитый, образованный и рыцарски настроенный „сынъ ночи, вѣтра и лѣсовъ“. Но съ исчезновеніемъ изъ литературы благородныхъ разбойниковъ не уничтожилось стремленіе находить литературный эффектъ въ противопоставленіи внѣшняго безчинства и разнузданности внутреннему благородству и душевной чистотѣ. Міръ безпріютныхъ, оборванныхъ, бродяжничающихъ людей предоставлялъ просторъ подобнымъ экскурсіямъ, и въ каждой литературѣ въ настоящее время, такъ же какъ и прежде, существуютъ писатели, имя которыхъ связано съ изображеніемъ идеальныхъ внутреннихъ сторонъ въ лишенной по внѣшности всякаго идеализма средѣ бродягъ и оборванцевъ. Современная Франція считаетъ ихъ нѣсколько, но наиболѣе виднымъ представителемъ этого рода литературы является Жанъ Ришпенъ. Онъ писалъ и пишетъ очень много, касается самыхъ разнообразныхъ общественныхъ слоевъ такъ же, какъ разныхъ эпохъ, но и въ памяти читателей, и на языкѣ критиковъ онъ остается авторомъ „La chanson des gueux“. Протестующая философія оборванца, иногда насмѣшливая, иногда грозящая, изложена въ этихъ пѣсняхъ въ своеобразной формѣ, гдѣ цинизмъ и умышленная грубость выраженій соединяются то съ чувствомъ благородной гордости, то съ негодованіемъ. Стихотворенія Ришпена нашли многочисленныхъ подражателей, и даже въ числѣ такъ называемыхъ молодыхъ писателей можно указать автора, пишущаго подъ псевдонимомъ, Jehan Rictus. Герои его „Solilogues du pauvre“ нерѣдко напоминаютъ типы, выводимые Жаномъ Ришпеномъ.

Но ни „La chanson des gueux“ ни произведенія подражателей не даютъ той идеальной картины бродяжьей души, съ которой знакомитъ насъ послѣдняя драма Ришпена, посвященная этому міру,—„Le chemineau“. Здѣсь философія бродяги изложена уже не въ отрывочныхъ замѣчаніяхъ, мелкихъ пѣсняхъ и неправильно разбросанныхъ

соображеніяхъ; въ „Le chemineau“ подробно изложены вся жизнь оборванца и его душевный міръ, и причины, приведшія къ большой дорогѣ. Что такое бродяга въ изображеніи Ришпена? Несчастное существо, вызывающее жалость? Или возбуждающій содроганіе типъ, лишенный человѣческаго образа? Или, наконецъ, богато одаренная натура, силою обстоятельствъ доведенная до потери своихъ дарованій и способностей и потому вдвойнѣ достойная сожалѣнія? Ни то, ни другое, ни третье. Бродяга Ришпена ни въ читателѣ, ни въ окружающихъ лицахъ не возбуждаетъ сожалѣнія или ужаса: онъ вызываетъ только восторгъ и удивленіе. Онъ прежде всего рыцарь свободы. Оковы общества, семьи, какихъ бы то ни было привязанностей къ мѣсту, домашнему очагу, однимъ и тѣмъ-же впечатлѣніямъ, одной и той же страсти—ненавистны ему. Изо всѣхъ сильныхъ чувствъ у него постоянно живетъ только одно—любовь къ передвиженіямъ, къ волѣ, „къ простору полей, большихъ дорогъ, безпредѣльныхъ пространствъ и постоянныхъ измѣненій“. Не сила обстоятельствъ создала изъ него блуждающаго оборванца, сегодня отдающагося одному занятію, завтра остающагося безъ дѣлъ, полуголоднаго и безпріютнаго; но собственной волей онъ „взялъ свою судьбу“ и сдѣлалъ изъ себя бродягу по принципу. Вотъ въ какихъ словахъ выражаетъ онъ свое призваніе:

„Оборванецъ, нищенски вымаливающій корку хлѣба, сдѣлалъ свое родовое имѣніе изъ созерцанія полей, примыкающихъ къ большой дорогѣ, этимъ видомъ онъ наслаждается; онъ владѣетъ сотней, тысячью земель, тогда какъ другіе имѣютъ тольку одну, собственную. Его страна здѣсь, тамъ, повсюду, куда онъ является; ему принадлежатъ и яблочные сады, и виноградники, и высокія горы, и глубокія долины, ему принадлежатъ всѣ земли, воздухомъ которыхъ онъ дышитъ, проходя мимо; его земля—это вся страна, тропинкой для которой служитъ большая дорога. Оборванецъ—богачъ, истиннай богачъ, владѣющій тѣмъ, что не принадлежитъ никому: пустынными залежами, дремлющими прудами, кустарниками, гдѣ съ нимъ разговариваютъ знакомые духи. Онъ владѣетъ степью, дикимъ оврагомъ, пѣснью вѣтра въ прибережныхъ камышахъ, солнцемъ и тѣнью, и цвѣтами, и водами, и всѣми лѣсами со всѣми ихъ птицами.“

Le chemineau—не загнанный бродяга, къ которому подозрительно относятся лица, вступающія съ нимъ въ сношеніе, не нищій, получающій подаяніе и злобою отвѣчающій на презрѣніе другихъ. Какъ истинный рыцарь, онъ благороденъ, смѣлъ и откровененъ, двери каждаго дома открыты для него, потому что его умъ, талантъ, выдающіяся достоинства дѣлаютъ изъ него превосходнаго работника, общаго благодѣтеля, устранителя золъ и надежнаго покровителя слабыхъ. Сердца дѣвушекъ не могутъ противостоять его обаянію въ то время, какъ онъ впереди другихъ „высокій, статный, весь въ кудряхъ“, могучей пѣсней

вдохновляетъ ослабѣвшихъ продолжать работу. Любовь не чужда ему, и, отвѣчая страсти своихъ обожательницъ, онъ не надолго создаетъ для себя привязанность, дѣлаетъ временно счастливой молодую дѣвицу, на минуту задумывается надъ мыслью о собственномъ очагѣ, но воля и просторъ вновь манятъ его къ себѣ, и, „съ болью въ сердцѣ“ chemineau ожидаетъ свою возлюбленную. Такъ онъ переходитъ съ мѣста на мѣсто, всюду даря счастье, всюду благодѣтельствуя и вездѣ оставляя послѣ своего ухода пустоту и отрадныя воспоминанія. Уже въ старости, послѣ безконечныхъ скитаній, лишеній и нищеты, заходитъ онъ туда, гдѣ двадцать два года назадъ оставилъ одну дѣвушку съ осязательнымъ залогомъ своей любви. Теперь этотъ залогъ выросъ въ большого парня, которому chemineau по своей всегдашней привычкѣ даруетъ счастье. Отеческія чувства просыпаются въ старомъ бродягѣ; мысль остаться навсегда подъ одной кровлей съ любимой женщиной, съ сыномъ, въ кругу довольной семьи, начинаетъ манить его; долгіе годы бродяжничества и большихъ дорогъ сказываются въ желаніи успокоенія, но эти же годы создаютъ привычки, отъ которыхъ онъ не въ состояніи отдѣлаться. Опять воля и просторъ возстаютъ въ видѣ призрака, властно манившаго къ себѣ бродягу всю жизнь, и, „en poussant des sanglots“, онъ покидаетъ гостепріимную кровлю. „Va, chemineau, chemine!“ Этими словами оканчивается драма Ришпена.

Сказать, что въ ней нѣтъ рѣшительно никакихъ чертъ, которыя соотвѣтствовали бы дѣйствительной психологіи бродяжничающаго оборванца, пожалуй, и нельзя. Очень вѣроятно, что элементъ привычки къ лишенному обязательствъ и прочихъ привязанностей существованію играетъ нѣкоторую роль въ его духовномъ обликѣ. Но во всякомъ случаѣ общій характеръ, приданный ришпеновскимъ chemineau, фальшивъ, крикливъ и настолько далекъ отъ правды, что даже „Красный морской разбойникъ“ и его давно исчезнувшіе изъ литературы товарищи болѣе напоминаютъ живыхъ людей. Въ стремленіи къ реабилитированію личности своего бродяги Ришпенъ забываетъ даже сохранить внѣшнія черты, свойственныя той средѣ, въ которой вращается chemineau, и создаетъ типъ, не имѣющій ни практическаго ни теоретическаго интереса. Познакомиться съ психологіей лицъ, принадлежащихъ къ этой средѣ, мы изъ его драмы, конечно, не можемъ.

Въ современной русской литературѣ міръ оборванныхъ, босыхъ, бездомныхъ описывается съ наибольшей любовью и постоянствомъ г. Горькимъ. Передъ нами лежитъ 2-й томъ его „Очерковъ и разсказовъ“, состоящій изъ десяти отдѣльныхъ этюдовъ; только послѣдній этюдъ „Ошибка“ касается иной среды; всѣ остальные говорятъ о бродягахъ, „босякахъ“ „золоторотцахъ“, обитателяхъ городскихъ подваловъ, ноч-

лежныхъ домовъ, рѣчныхъ балагановъ и т. п. Различные типы этого своеобразнаго міра проходятъ передъ читателемъ, знакомя послѣдняго съ своимъ міросозерцаніемъ, своими желаніями, чувствами, ожиданіями, отношеніемъ къ товарищамъ и къ остальному міру. Г. Горькій не создаетъ „Красныхъ морскихъ разбойниковъ", не награждаетъ оборванцевъ качествами, привлекающими къ нимъ сердца окружающихъ лицъ, но сердца читателей онъ стремится привлечь, и это привлеченіе совершается при помощи тѣхъ же способовъ, которыми въ свое время пользовались авторы рыцарски-честныхъ убійцъ и идиллическихъ атамановъ.

Въ глубокой тѣснинѣ Дарьяла жила, какъ извѣстно, въ очень давнія времена царица, Тамара, которая была „прекрасна, какъ ангелъ небесный, какъ демонъ коварна и зла". Этотъ контрастъ между внѣшней небесной красотой и внутреннимъ безобразіемъ составилъ главный интересъ Тамары и служилъ источникомъ многочисленныхъ драмъ, совершавшихся вокругъ демонической царицы. Герои разсказовъ г. Горькаго созданы по типу, напоминающему обитательницу Дарьяльскаго ущелья, только съ обратнымъ математическимъ знакомъ. Тамъ, гдѣ Тамара имѣла плюсъ, т. е. во всемъ, что касается внѣшней красоты, здѣсь значится минусъ; персонажи г. Горькаго грязны, неряшливы, пьяны и грубы. Но зато громадный минусъ нравственныхъ достоинствъ, числившійся за царицей Тамарой, у оборванцевъ г. Горькаго замѣненъ стремленіемъ къ добру, къ истинной нравственности, къ большей справедливости, къ заботѣ объ уничтоженіи зла. Такъ же, какъ у царицы Тамары, весь интересъ выводимыхъ персонажей заключается въ этомъ контрастѣ между внѣшностью и внутренней жизнью, между безобразнымъ съ одной стороны и красотой—съ другой. Не условія быта босяковъ интересуютъ читателя, а ихъ психологія; но въ той формѣ, какъ дѣло представляется авторомъ, психологія выводимыхъ персонажей не имѣетъ никакого значенія безъ внѣшнихъ особенностей быта и среды. Послѣднія должны оттѣнять первую, придавая особенный блескъ неожиданности тѣмъ нравственнымъ достоинствамъ, которыя въ мало подходящей обстановкѣ производятъ эффектъ жемчужины, попавшей въ навозную кучу.

Первый разсказъ, которымъ открывается книга г. Горькаго, называется фамиліей главнаго дѣйствующаго лица—„Коноваловъ". Между chemineau Ришпена и Коноваловымъ г. Горькаго существуетъ нѣкоторое сходство. Такъ же, какъ французскій бродяга, Коноваловъ умѣетъ работать „какъ медвѣдь"; по заявленію хозяина, онъ „сна, покоя не знаетъ, за цѣной не стоитъ—сколько дашь"; подобно chemineau, онъ мастеръ пѣть; „работаетъ и поетъ! Такъ онъ, братецъ ты мой, поетъ, что даже слушать его невозможно—тягостно дѣлается на сердцѣ"; подобно chemineau, онъ лишь временно отдается работѣ и благоразумію, переходя потомъ къ своей преобладающей страсти. Но этимъ и окан-

чивается сходство. Веселое, бодрое и бодрящее другихъ настроеніе французскаго бродяги замѣняется здѣсь постояннымъ безпокойствомъ, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исходъ въ пьянствѣ. „Когда онъ запьетъ—нѣтъ ему тутъ никакого удержу, пьетъ до тѣхъ поръ, пока не захвораетъ и пропьется догола. . . Тогда стыдно ему бываетъ, что ли: онъ и пропадаетъ куда-то, какъ нечистый духъ отъ ладана". (II, 4) Изъ дальнѣйшихъ объясненій слѣдуетъ, что Коноваловъ, подобно chemineau, переносится, влекомый какой-то внутренней силой, съ мѣста на мѣсто, отъ Каспійскаго моря къ сѣверу, съ сѣвера заграницу, отъ работы „на ватагахъ" въ хлѣбопекарню, изъ булочной переходитъ къ битью свай и т. д. Но въ то время, какъ силой, влекущей chemineau, было стремленіе къ простору, волѣ и отсутствію обязательствъ, для Коновалова причина передвиженій, пьянства и неудовлетворенности заключается въ невозможности разрѣшить мучающіе его нравственные вопросы. „Вотъ поищи-ка, нѣтъ-ли книги насчетъ поступковъ"?—спрашиваетъ онъ своего грамотнаго товарища. „Да, братъ, очень нуженъ для жизни порядокъ поступковъ,—говоритъ онъ въ другой разъ,—и неужто ужъ нельзя сдѣлать такъ, чтобы всѣ люди дѣйствовали, какъ одинъ, и всѣ другъ друга понимать могли. Вѣдь совсѣмъ нельзя жить на такомъ разстояніи одинъ отъ другого! Неужто умные люди не понимаютъ, что нужно на землѣ устроить порядокъ и въ ясность людей привести?" (II, 46). Подобными вопросами занятъ Коноваловъ всю жизнь. Постоянное нравственное безпокойство, вѣчная мысль о необходимости „устроить на землѣ порядокъ и въ ясность людей привести" гонитъ его съ одного мѣста на другое, заставляетъ выбирать различныя профессіи, побуждаетъ къ пьянству и къ мрачному отчаянію. Руководимый одною мыслью о „порядкѣ", и „поступкахъ" онъ отдаетъ послѣднія деньги, чтобы „изъ мрака заблужденія душу падшую извлечь", и здѣсь между благороднымъ босякомъ и благородной „падшей душой" происходитъ печальное недоразумѣніе. Тронутая великодушнымъ поступкомъ Коновалова, выкупленная имъ женщина загарается самой пылкой любовью къ нему, но Коноваловъ, отдавая послѣднія деньги, руководился исключительно жалостью къ ней, а не своекорыстнымъ расчетомъ; отъ любви онъ отказывается, и этимъ оскорбляетъ облагодѣтельствованную женщину, которая въ отказѣ любимаго человѣка видитъ презрѣніе къ себѣ. Осыпая Коновалова отборной бранью, возвращается она вновь на прежнюю дорогу. Разстроенный неожиданнымъ финаломъ своего добраго побужденія, Коноваловъ уходитъ въ другія мѣста искать отвѣта на вопросъ о „поступкахъ", долго блуждаетъ по Россіи, нѣсколько разъ попадаетъ въ тюрьму и, наконецъ, въ виду полной невозможности разрѣшить мучающіе его вопросы, вѣшается во время одного изъ пребываній въ острогѣ. „Нѣтъ для меня на землѣ ничего удобнаго, не нашелъ я себѣ мѣста!"—говоритъ онъ, подводя итогъ своему существованію.

Не всѣ герои разсказовъ г. Горькаго отличаются такой незлобивостью и меланхолической задумчивостью, какъ Коноваловъ; многіе рѣзки, грубы, размашисты, требовательны и нахальны. Но всѣ или почти всѣ носятъ эту распущенность и нахальство въ видѣ маски, за которой скрываются или безпокойство относительно „поступковъ“, или граничащее съ отчаяніемъ сознаніе въ безполезности стремленій къ лучшимъ отношеніямъ между людьми, или какая-нибудь „мечта“, смутная для самихъ ея носителей и совершенно непонятная для читателя. Къ лицамъ, прикрывающимъ своей оборванной внѣшностью и грязной жизнью сознаніе безполезности человѣческихъ стремленій къ лучшему, принадлежитъ, напр., хохолъ, фигурирующій въ томъ же первомъ очеркѣ. Его жизненная философія резюмируется словами: „Никуда не лѣзь; придетъ время, тебя и безъ твоей воли куда слѣдуетъ втянетъ и смолотитъ въ пыль“. (II, 65). Нѣчто въ родѣ той же философіи носитъ въ себѣ и наиболѣе ободранный и пьяный изъ босяковъ—Сережка (въ разсказѣ „Мальва“): „Я все дѣлаю скоро и прямо, безъ изворотовъ—валяй прямо и все! А куда попадешь, это все равно. Съ земли, кромѣ какъ въ землю, никуда не соскочишь!“ (III, 56).

Къ ищущимъ, старающимся найти разрѣшеніе смутно поднимающихся въ умѣ вопросовъ принадлежитъ сама героиня разсказа—Мальва. Она изображаетъ изъ себя нѣчто въ родѣ тѣхъ фатальныхъ женщинъ, которыхъ описывали многіе романисты и между прочимъ тотъ же Ришпенъ въ романѣ „La Glu“ Ея приближеніе влечетъ за собой гибель; она увлекаетъ, напримѣръ, сторожа на рыболовныхъ промыслахъ, увлекаетъ затѣмъ его сына, поселяетъ между ними раздоръ и наслаждается своимъ разрушительнымъ вліяніемъ. Но подъ наружной жестокостью и равнодушнымъ развратомъ скрыты тайныя мученія отъ неразрѣшенныхъ нравственныхъ вопросовъ, тщетныя попытки найти удовлетвореніе возстающимъ въ душѣ требованіямъ. Какъ Коноваловъ просилъ найти въ книгахъ отвѣтъ „насчетъ поступковъ“, такъ и Мальва ищетъ въ книгѣ разрѣшенія своихъ мучительныхъ вопросовъ. Одинъ изъ вздыхателей находитъ ее однажды далеко отъ пріиска, гдѣ они вмѣстѣ работали. Она лежала на боку и, держа въ рукахъ какую-то растрепанную книжку, смотрѣла навстрѣчу ему улыбаясь. Изъ разговора, возникающаго по этому поводу, выясняется, что Мальва коекакъ умѣетъ читать, выучившись этому искусству въ то время, „когда въ Астрахани у адвоката кухаркой была“, что книжка написана про Алексѣя Божія человѣка, что она тщетно „не то съ тревогой, не то съ досадой“ спрашиваетъ себя „что надо дѣлать?“ и т. д. Отъ своихъ пьяныхъ товарищей и товарокъ, отъ собственнаго разврата ищетъ она уединенія, и тогда поднимаются у нея желанія „никогда больше людей не видать“, а иной разъ „такъ бы каждаго человѣка завертѣла да и пустила волчкомъ вокругъ себя“; то жалко всѣхъ мнѣ, а пуще

всѣхъ—себя самое, то избила бы весь народъ“ (III, 62). Однимъ словомъ, передъ нами метущаяся сильная натура, со смутными, но властными нравственными требованіями, съ презрѣніемъ къ внѣшности человѣческихъ отношеній и стремленіемъ au delà des choses. Подобно Коновалову, она живетъ среди грязи, пьянства и разврата, принимая въ нихъ живое видимое участіе, но въ дѣйствительности находясь въ отдаленіи отъ нихъ, въ мірѣ своихъ неразрѣшимыхъ сомнѣній, смутныхъ желаній, аскетическихъ помысловъ и подвижническихъ намѣреній. Это тоже своего рода Тамара, фатальная женщина, приближеніе къ которой опасно, но которая въ любой моментъ одинаково способна на подвигъ, какъ на преступленіе, и даже на первый болѣе, чѣмъ на второе.

Болѣе смутно, но также властно поднимаются нравственныя требованія въ душѣ босяка Мишки, описаннаго въ разсказѣ „Дѣло съ застежками“. Воруя, пьянствуя и развратничая, онъ такъ же, какъ и Мальва, ищетъ „слово для души“ въ книгахъ, также проникается уваженіемъ къ печатному слову, надѣясь найти тамъ объясненіе своихъ смутныхъ побужденій.

Чтобы не утомлять читателя перечисленіемъ всѣхъ босыхъ типовъ, выводимыхъ г. Горькимъ въ маленькихъ разсказахъ, переходимъ къ самому большому очерку „Бывшіе люди“, гдѣ изображается психологія большого количества босяковъ. Здѣсь—цѣлый рядъ оборванцевъ, когда-то видавшихъ лучшіе дни, но силою вещей загнанныхъ въ одинъ ночлежный домъ. Первое мѣсто занимаетъ ротмистръ—хозяинъ ночлежки, напоминающій своими поступками разбойническихъ атамановъ былыхъ временъ; онъ—человѣкъ установившійся; колебаній и противорѣчивыхъ побужденій Мальвы или Коновалова въ немъ нѣтъ. Для него жизнь ясна, и эта ясность, насколько можно судить по его поступкамъ, резюмируется въ рѣшеніи помогать слабымъ и, насколько возможно, вредить сильнымъ. Свойства благороднаго атамана скрыты у ротмистра за особенностями его положенія и рѣчи; онъ слова въ простотѣ не скажетъ, все съ ужимкой; онъ не имѣетъ прямой возможности мстить сильнымъ, но тѣмъ не менѣе и въ витіеватой рѣчи, и въ отношеніяхъ къ окружающимъ людямъ онъ стремится исполнить свою миссію благодѣтельнаго разбойничьяго атамана. Въ той-же ночлежкѣ живетъ бывшій учитель, тоже пьяница и оборванецъ, но также человѣкъ высоко-благородныхъ чувствъ и поступковъ; половину скуднаго заработка онъ пропиваетъ, другую отдаетъ дѣтямъ ютящейся около ночлежнаго дома бѣдноты. Ни слѣда злобы или ожесточенія не замѣтно въ немъ; онъ поучаетъ своихъ товарищей мирнымъ и любовнымъ чувствамъ другъ къ другу. Далѣе авторъ изображаетъ крестьянина Тяпу, который читаетъ Библію, ищетъ въ ней успокоенія и съ тоской спрашиваетъ: „кто насъ научитъ?“ Вопросы добра и истинно-нравственнаго поведенія мучаютъ его такъ же, какъ Коновалова и Мальву, и заслоняютъ своей важностью

все остальное. Около этихъ наиболѣе очерченныхъ типовъ движутся другіе, мало обрисованные авторомъ; подъ вліяніемъ ли своихъ товарищей, или по собственному влеченію они также занимаются рѣшеніемъ нравственныхъ вопросовъ и вставляютъ свои замѣчанія въ безконечные споры учителя и ротмистра. „Жизнь портятъ дикіе люди, полонившіе ее",— говоритъ ротмистръ и, какъ человѣкъ дѣла, стремится отстоять жизнь отъ дикихъ людей. Учитель говоритъ примиряющія рѣчи, взывая къ любви, а не къ негодованію. Принимая участіе въ спорѣ, другіе босяки выражаютъ свои взгляды на жизнь, причемъ наиболѣе распространенной философіей является унылое убѣжденіе въ безполезности разговоровъ и мыслей: „Зачѣмъ? Не все ли равно, что говорить и думать? Намъ недолго жить. . . Мнѣ сорокъ, тебѣ пятьдесятъ. . . Моложе тридцати нѣтъ среди насъ; и даже въ двадцать долго не проживешь такой жизнью". И на мстительныя рѣчи ротмистра, и на примирительныя слова учителя босые представители скептицизма восклицаютъ: „Все это глупости, мечты, ерунда". (II, 177).

Таковы главныя теченія босяцкихъ мыслей и чувствъ, какъ они описаны г. Горькимъ, и таковы изображаемые авторомъ типы. Всѣ представители этого міра подходятъ подъ опредѣленіе, данное Мальвѣ: „У нея, братъ, душа не по тѣлу", т. е. у всѣхъ грязная, пьяная и нахальная внѣшность не соотвѣтствуетъ благородной и даже нѣжной душѣ. Авторъ въ одномъ мѣстѣ утверждаетъ, что „у этихъ людей (т. е. босяковъ) была одна смѣшная черта: они любили показать себя другъ другу хуже, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ". Этимъ стремленіемъ „показать себя хуже", повидимому, обусловливаются многіе поступки, не соотвѣтствующіе дѣйствительнымъ побужденіямъ босяковъ: кражи, пьянство, развратъ, драки, и т. д., и т. д. За этой общей чертой—несоотвѣтствіемъ безобразной внѣшности съ красивымъ внутреннимъ міромъ— идутъ разновидности послѣдняго. Какъ мы видѣли, всѣ эти разновидности сводятся къ тремъ типамъ, наиболѣе яркими представителями которыхъ являются Коноваловъ, ротмистръ и цитированный уже хохолъ. Исканіе истины и невозможность найти ее служитъ преобладающей чертой первой разновидности; дѣятельное стремленіе къ водворенію справедливости на землѣ характеризуетъ собою вторую разновидность, и, наконецъ, третья находитъ свое выраженіе въ разъѣдающемъ скептицизмѣ большинства. Но и скептики, и энергичные борцы за справедливость, и несчастные искатели истины,—всѣ разнородные типы, образующіе огромный міръ бродягъ и босяковъ,—одинаково далеки въ своихъ интимныхъ стремленіяхъ отъ той атмосферы, которой они себя окружаютъ. Они не могутъ, конечно, соперничать съ chemineau въ погонѣ за сочувствіемъ окружающихъ, но удивленіе и восторгъ читателя они стремятся получить въ той же мѣрѣ.

Мы не хотимъ сказать этимъ, что персонажи г. Горькаго такъ же

фальшивы и выдуманы, какъ герои драмы Ришпена. Въ нихъ часто видна дѣйствительная жизнь, слышится порою реальная рѣчь, чувствуется по временамъ искреннее страданіе, но авторъ совершенно устранилъ изъ своихъ очерковъ привычку, неожиданное стеченіе обстоятельствъ, случай, безвольное паденіе по наклонной плоскости и т. п. Онъ сдѣлалъ жизнь босяковъ сознательнымъ отраженіемъ той философіи, которую каждый изъ нихъ выработалъ, и тѣмъ допустилъ въ свои очерки освѣщеніе, совершенно невѣрное для жизни вообще и вдвойнѣ невѣрное для жизни „павшихъ“ элементовъ общества. Это освѣщеніе настолько вредитъ нѣкоторымъ очеркамъ г. Горькаго, что читатель остается совершенно холоднымъ при описаніи самыхъ патетическихъ сценъ и мѣстами готовъ даже отдать преимущество французскому бродягѣ передъ изображенными русскими типами. По крайней мѣрѣ привычка, выгоняющая въ концѣ концовъ chemineau на большую дорогу, представляется ему болѣе распространенной и болѣе естественной чертой, чѣмъ „нравственный голодъ“, побуждающій Мальву развратничать, пить, поселять раздоры, разгулъ и т. д., и т. д,

Въ заключеніе нѣсколько словъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ правдивости или неискренности персонажей г. Горькаго. Тургеневъ когда-то возмущался нѣкоторыми выраженіями современныхъ романистовъ. Всего болѣе выводили его изъ терпѣнія такіе обороты: „Подайте мой платокъ,—подскочила она.—Ни за что,—высморкался онъ“. Къ сожалѣнію, къ такимъ оборотамъ необыкновенно часто прибѣгаетъ г. Горькій. „Извольте,—умиралъ отъ тоски Мишка“; „Сашенька!—глубоко вздохнула она ему навстрѣчу“; „Молчи, уйди! Съ глазъ уйди!—завозился Василій на пескѣ“ и т. д. Подобныхъ примѣровъ можно было-бы привести очень много.

Было бы очень интересно сопоставить типы, выведенные г. Мельшинымъ въ первой книгѣ „Міра отверженныхъ“ съ тѣми портретами, которые изображены г. Горькимъ, и прослѣдить психологическія особенности, отличающія каторжанъ г. Мельшина отъ босяковъ, подобныхъ Коновалову, Мальвѣ, Сережкѣ, ротмистру и др. Бѣглое сравненіе показало бы, что однообразіе душевныхъ свойствъ, отличающее героевъ г. Горькаго, у г. Мельшина замѣнено тѣмъ разнообразіемъ въ мотивахъ, побужденіяхъ, душевномъ обликѣ и особенностяхъ дѣйствующихъ лицъ, которое встрѣчается въ дѣйствительной жизни.

И. Игнатовъ.



О г. Максимѣ Горькомъ и его герояхъ.

I.

Года три тому назадъ въ разныхъ журналахъ стали появляться разсказы, подписанные новымъ въ литературѣ именемъ: Максимъ Горькій. Они читались съ интересомъ, отъ нихъ вѣяло чѣмъ-то свѣжимъ; но частію потому, что многіе изъ нихъ печатались въ мало распространенныхъ изданіяхъ, частію вслѣдствіе разбросанности ихъ вообще, трудно было составить себѣ опредѣленное представленіе о литературной физіономіи новоявленнаго писателя. Могло даже возникать сомнѣніе,— обладаетъ ли онъ еще какою-нибудь опредѣленною физіономіей и не есть ли онъ одно изъ тѣхъ мимолетныхъ явленій, какихъ много въ современной литературѣ: появится новый авторъ съ повѣстью или разсказомъ, представляющими извѣстный интересъ въ смыслѣ оригинальности замысла или художественности исполненія, какъ будто обѣщающими что-то и въ будущемъ, но затѣмъ очень скоро оказывается, что у автора только и хватило пороху на одинъ, на два разсказа. Всегда, разумѣется, были въ литературѣ подобныя мимолетныя явленія, но нынѣ что-то особенно много стало случайныхъ гостей; побесѣдовали они съ вами разъ, другой, и, пожалуй, вы заинтересовались ихъ бесѣдой и недурно съ ними время провели, но затѣмъ они выбываютъ изъ круга вашихъ знакомыхъ, да такъ, что точно ихъ и на свѣтѣ никогда не было, и помянуть ихъ нечѣмъ. Иные, правда, еще пытаются удержаться и не безъ гордости говорятъ, подобно Ипполиту Островскаго: „Коль скоро я пришелъ“... Но читатель съ грустью припоминаетъ реплику Ахова: „Коль скоро ты пришелъ, толь скоро ты и уйдешь“... Это одно изъ проявленій современнаго литературнаго, скажу больше,—современнаго житейскаго оскудѣнія вообще. Оскудѣнію этому есть вполнѣ уловимыя причины, говорить о которыхъ теперь трудно. Объ нихъ разскажетъ въ свое время исторія. Но каковы бы ни были причины, а печальный фактъ остается фактомъ, и не удивительно, если люди, любовно слѣдящіе за русской литературой, встрѣчаютъ заинтересовавшаго ихъ новаго автора съ нѣкоторымъ скептицизмомъ: можно ли разсчитывать на сколько-нибудь продолжительное общеніе съ нимъ? есть ли у него за душой что-нибудь прочное, не изнашивающееся въ два-три пріема?

Скептицизмъ этотъ былъ естественъ и относительно г. Максима Горькаго. Не скажу, чтобы онъ былъ устраненъ и теперь, когда разсказы г. Горькаго, частію погребенные въ такихъ литературныхъ могилахъ, какъ „Сѣверный Вѣстникъ“, да и вообще раскиданные, собраны

и изданы отдѣльно. Но во всякомъ случаѣ два томика его разсказовъ представляютъ собою нѣчто вполнѣ опредѣленное, притомъ такое, что можетъ доставить и художественное наслажденіе, и пищу для размышленія, что можно не только съ удовольствіемъ читать, но и перечитывать, и что помянется исторіей литературы, хотя бы г. Максимъ Горькій уже ничего болѣе не написалъ.

Г. Горькій разрабатываетъ если не совсѣмъ новый, то очень мало извѣстный рудникъ,—міръ босяковъ, босой команды, золоторотцевъ. Въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ, которыхъ, впрочемъ, было всего одинъ, два, да и обчелся, и которые занимались этимъ своеобразнымъ міромъ мимоходомъ и между прочимъ, онъ отдаетъ ему все свое вниманіе и весь свой недюжинный талантъ. Міръ—дѣйствительно въ высокой степени заслуживающій вниманія, какъ по своей, благодарной для художника, живописной яркости, такъ и по своему общественному значенію. Это—чандалы европейской цивилизаціи. Индійскіе чандалы живутъ внѣ кастоваго строя и состоятъ частію изъ плодовъ строго воспрещенныхъ mesalliance'овъ между представителями трехъ высшихъ кастъ, частію изъ потомковъ судръ, за преступленія или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ выбывшихъ изъ своей касты, частію, наконецъ, изъ покоренныхъ не-арійскихъ туземныхъ элементовъ. Наши чандалы,—то, что въ западной Европѣ называется Lumpenproletariat, а у насъ босяки, золоторотцы,—будучи такими же отверженными изъ отверженныхъ, такими же отбросами различныхъ общественныхъ слоевъ, имѣютъ, однако, совершенно иное происхожденіе. Не говоря уже о Западной Европѣ, и у насъ въ Россіи не только нѣтъ кастоваго строя, но и сословныя перегородки постепенно сглаживаются и теряютъ свое значеніе. Сынъ дворянина и мѣщанки или крестьянина и дворянки можетъ, конечно, попасть въ ряды босяковъ, но не по рожденію, а по такому же стеченію обстоятельствъ, какое и чистокровнаго дворянина, какъ и чистокровнаго мужика, можетъ ввести въ эти ряды. Лишеніе правъ состоянія за преступленіе тоже не обязательно ввергаетъ людей въ „золотыя роты". Наконецъ и о какой-нибудь національной особности босяковъ не можетъ быть рѣчи. И тѣмъ не менѣе они, подобно индійскимъ чандаламъ, стоятъ внѣ общественнаго строя, и даже наиболѣе демократическія европейскія партіи презрительно сторонятся отъ Lumpenproletariat'а. Онѣ имѣютъ на то свои резоны. Босяки отъ всѣхъ береговъ отстали, но ни къ которому не пристали, ни въ какіе регулярные кадры не устанавливаются, никакой партійной или классовой дисциплинѣ не поддаются. Правда, г. Горькій готовъ видѣть въ нихъ особый классъ. Это—говоритъ онъ—люди, „которыхъ давно пора считать за классъ и которые вполнѣ достойны вниманія, какъ сильно алчущіе и жаждущіе, очень злые и далеко не глупые". (II, 24). Что босяки вполнѣ достойны вниманія, это несомнѣнно, и г. Горькій, показавшій

намъ ихъ въ цѣломъ рядѣ картинъ и образовъ, можетъ по праву гордиться тѣмъ дѣломъ, которое онъ дѣлаетъ. Но не потому, однако, достойны вниманія босяки, что они „сильно алчутъ и жаждутъ, очень злы и далеко не глупы“. Это признаки слишкомъ общіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и слишкомъ индивидуальные. Какъ и a priori можно было бы сказать, какъ и изъ разсказовъ г. Горькаго видно, есть между босяками и совсѣмъ не „очень злые“, а даже очень добрые, есть, конечно, и глупые; всякіе есть. Достойны они вниманія, какъ общественное явленіе, притомъ все растущее. Но чтобы босяки составляли или могли составить „классъ“,—въ этомъ позволительно сомнѣваться, хотя бы на основаніи показаній самого г. Горькаго, съ которыми мы сейчасъ познакомимся.

Остановимся на одномъ изъ лучшихъ разсказовъ г. Максима Горькаго, озаглавленномъ по прозвищу героя „Челкашъ“. Разсказъ этотъ былъ напечатанъ въ „Русскомъ Богатствѣ“, но я считаю нужнымъ напомнить читателямъ нѣкоторыя его подробности, быть можетъ, позабытыя, тѣмъ болѣе, что въ общей связи съ другими разсказами г. Горькаго „Челкашъ“ получаетъ особенное значеніе.

Дѣло происходитъ въ большомъ приморскомъ южномъ городѣ, въ родѣ Одессы или Севастополя. Разсказъ открывается описаніемъ мѣста дѣйствія. Г. Горькій любитъ подобныя описанія и большой мастеръ на нихъ. Особенно ему удаются марины и степные пейзажи, между которыми есть истинно превосходные. Но описаніе, которымъ начинается „Челкашъ“, не принадлежа къ числу лучшихъ, имѣетъ зато нѣкоторое принципіальное значеніе, давая отправную точку для сужденія о многомъ изъ того, что занимаетъ г. Горькаго; и можетъ быть не случайно описаніе это попало на первыя же страницы перваго тома. Я приведу его цѣликомъ:

„Потемнѣвшее отъ поднятой въ гавани пыли, голубое южное небо мутно; жаркое солнце тускло смотритъ въ зеленоватое море, точно сквозь тонкую сѣрую вуаль. Оно не можетъ отразиться въ водѣ, то-и-дѣло разсѣкаемой ударами веселъ, пароходныхъ винтовъ, глубокими, острыми килями турецкихъ фелюгъ и другихъ парусныхъ судовъ, бороздящихъ по всѣмъ направленіямъ тѣсную гавань, въ которой закованныя въ гранитъ свободныя волны моря, подавленныя громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бьются о борта судовъ, о берега, бьются и ропщутъ, вспѣненныя ударами, загрязненныя разнымъ хламомъ.

Звонъ якорныхъ цѣпей, грохотъ сцѣпленій у вагоновъ, подвозящихъ грузъ, металлическій вопль желѣзныхъ листовъ, откуда-то падающихъ на камень, глухой стукъ дерева, дребезжаніе извозчичьихъ телѣгъ, свистки пароходовъ, то пронзительно рѣзкіе, то глухо ревущіе, крики грузчиковъ, матросовъ и таможенныхъ надсмотрщиковъ,—всѣ эти звуки сливаются въ оглушительную симфонію трудового дня и, нерѣшительно колыхаясь, стоятъ въ небѣ надъ гаванью, какъ бы боясь всплыть выше

и исчезнуть въ немъ, а къ нимъ вздымаются съ земли все новыя и новыя волны: то глухія, рокочущія и сурово сотрясающія все кругомъ, то рѣзкія, гремящія, разрывающія уши и пыльный, знойный воздухъ.

„Гранитъ, желѣзо, мостовая гавани, суда и люди,—все дышитъ мощными звуками бѣшено страстнаго гимна Меркурію. Но голоса людей, еле слышные въ немъ, слабы и смѣшны. И сами люди, первоначально родившіе этотъ шумъ, смѣшны и жалки: ихъ фигурки, пыльныя, рваныя, юркія, согнутыя подъ тяжестью товаровъ, лежащихъ на ихъ спинахъ, подъ тяжестью заботы, толкающей ихъ то туда, то сюда, въ тучахъ пыли, въ морѣ зноя и звуковъ, такъ ничтожны и малы по сравненію съ окружающими ихъ желѣзными колоссами, грудами товаровъ, гремящими вагонами и всѣмъ, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило ихъ.

„Стоя подъ парами, тяжелые гиганты-пароходы то свистѣли, то шипѣли, то какъ-то глубоко вздыхали, и въ каждомъ рожденномъ ими звукѣ чудилась насмѣшливая нота ироническаго презрѣнія къ сѣрымъ, пыльнымъ фигуркамъ людей, ползавшихъ по ихъ палубамъ и наполнявшихъ ихъ глубокіе трюмы продуктами своего рабскаго труда. До слезъ смѣшны были длинныя вереницы грузчиковъ, таскавшихъ на себѣ тысячи пудовъ хлѣба и ссыпавшихъ его въ желѣзные животы судовъ для того, чтобы заработать нѣсколько фунтовъ того же хлѣба для своего желудка, къ несчастію людей, не желѣзнаго и чувствующаго боли голода. Рваные, потные, отупѣвшіе отъ усталости, шума и зноя люди и могучія, блестѣвшія на солнцѣ дородствомъ и безмятежностью машины, созданныя этими людьми; машины, которыя въ концѣ концовъ приводились въ движеніе все-таки не паромъ, а мускулами и кровью своихъ творцовъ . . . въ этомъ сопоставленіи была цѣлая поэма жестокой и холодной ироніи.

„Шумъ подавлялъ, пыль, раздражая ноздри, слѣпила глаза, зной пекъ тѣло и изнурялъ его, и все кругомъ,—зданія, люди, мостовая,—казалось напряженнымъ, назрѣвшимъ, готовымъ прорваться, теряющимъ терпѣнье, готовымъ разразиться какой-то грандіозной катастрофой, взрывомъ, за которымъ въ освѣщенномъ имъ воздухѣ будетъ дышаться свободно и легко, на землѣ воцарится тишина, а этотъ пыльный шумъ, оглушительный, раздражающій нервы, доводящій до тоскливаго бѣшенства, исчезнетъ, и въ городѣ, на морѣ, въ небѣ станетъ тихо, ясно, славно. . . Но это только казалось. Это казалось потому, что человѣкъ еще не усталъ надѣяться на лучшее, и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ“. (I, 63—65).

Изъ этой цитаты видно, что г. Горькій не принадлежитъ къ числу тѣхъ оптимистовъ, которыхъ радуетъ промышленный прогрессъ, какъ таковой. Въ нарисованной имъ грандіозной и мрачной картинѣ есть

только одинъ свѣтлый лучъ, да и то скорѣе намекъ на лучъ: „человѣкъ еще не усталъ надѣяться на лучшее и желаніе чувствовать себя свободнымъ не умерло въ немъ“. Это-то желаніе и это чувство г. Горькій и улавливаетъ въ своихъ босякахъ. Но не только къ промышленному прогрессу, а—въ связи ли съ нимъ, или независимо отъ него—и къ другимъ сторонамъ цивилизаціи нашъ авторъ относится весьма скептически. Въ разсказѣ „Въ степи“, между прочимъ, читаемъ: „Я хочу быть только правдивымъ, и не въ моихъ интересахъ быть грубымъ. Я знаю, что люди становятся все мягче душой въ наши высоко-культурные дни, и, даже когда берутъ за глотку своего ближняго съ явною цѣлью удушить его, такъ стараются сдѣлать это съ возможной любезностью и съ соблюденіемъ всѣхъ приличій, умѣстныхъ въ этомъ случаѣ. Опытъ собственной моей глотки заставляетъ меня отмѣтить этотъ прогрессъ нравовъ, и я съ пріятнымъ чувствомъ увѣренности подтверждаю, что все развивается и совершенствуется на этомъ свѣтѣ. Въ частности этотъ замѣчательный процессъ вѣско подтверждается ежегоднымъ ростомъ тюремъ, кабаковъ и домовъ терпимости“ (III, 5). И г. Горькій держитъ своихъ героевъ неизмѣнно по близости отъ тюремъ, кабаковъ и домовъ терпимости.

Таковы два устоя босяцкой жизни, какъ намъ ее рисуетъ г. Максимъ Горькій: свободолюбіе съ одной стороны, кабаки, тюрьмы, дома терпимости, вообще „порочность“—съ другой.

Гришка Челкашъ—„старый травленый волкъ, хорошо знакомый гаваньскому люду, какъ заядлый пьяница и ловкій, смѣлый воръ“ (I, 65). Но просто пьяница и воръ не удостоился бы вниманія г. Горькаго,—мало ли ихъ! Пьяница и воръ можетъ вызывать къ себѣ презрѣніе, въ лучшемъ случаѣ сожалѣніе и другія подобныя сочетанія презрительно снисходительныхъ и брезгливыхъ чувствъ. Челкашъ не таковъ. „Пьяница и воръ“—это только одна сторона его души и жизни. Есть въ немъ еще многое другое, что не только не унижаетъ его, а даже создаетъ ему нѣкоторый поэтическій ореолъ и высоко поднимаетъ его надъ уровнемъ не только обыкновенныхъ пьяницъ и воровъ, но и многихъ честныхъ и трезвыхъ людей. Такъ, „онъ, воръ и циникъ, любилъ море; его кипучая, нервная натура, жадная на впечатлѣнія, никогда не пресыщалась созерцаніемъ этой темной широты, безкрайной и мощной“ (I, 79). Уже это показываетъ, что Челкашъ не о единомъ хлѣбѣ думаетъ, не о хлѣбѣ и водкѣ только. И недаромъ онъ такъ любитъ именно море съ его широкимъ просторомъ: его душѣ особенно родственъ этотъ просторъ. Онъ смѣлъ, великодушенъ, преисполненъ чувства собственнаго достоинства, никому не позволитъ наступить ему на босую ногу, и тѣ грандіозныя сочетанія металла, дерева и пара, которыя г. Горькій изобразилъ въ началѣ разсказа, никоимъ образомъ не могли бы похвалиться, что они поработили, обезличили Челкаша.

Всѣ эти качества Челкаша развертываются передъ читателемъ въ одномъ эпизодѣ. Челкашъ затѣялъ рискованное предпріятіе,—комбинацію воровства съ продажей контрабанднаго товара,—съ которымъ ему одному не справиться. Но подъ рукой нѣтъ привычнаго къ такому дѣлу помощника, и Челкашъ беретъ къ себѣ въ товарищи случайно встрѣченнаго, прохожаго молодого мужика Гаврилу. Парень шелъ домой къ себѣ въ деревню съ косовицы, заработки были плохи, и Гаврила, не совсѣмъ понимая, въ чемъ дѣло, согласился на предложеніе Челкаша. При исполненіи предпріятія онъ, добродушный и глуповатый деревенскій парень, вдоволь натрусился, вызывая то насмѣшки, то гнѣвные окрики Челкаша, а затѣмъ произошла слѣдующая сцена при дѣлежѣ добычи. Операція принесла пятьсотъ сорокъ рублей, изъ которыхъ сорокъ Челкашъ отдѣлилъ Гаврилѣ, предполагая, повидимому, и еще прибавить. Но Гаврилу, при видѣ радужныхъ бумажекъ, обуяла жадность,—на эти огромныя для него деньги, „заработанныя“ въ одну ночь, онъ у себя въ деревнѣ какъ бы устроился! а Челкашъ вѣдь ихъ просто пропьетъ!—И Гаврила униженно страстно молитъ Челкаша отдать ему всю добычу. Молитъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто и отнять покушается, потому что неожиданнымъ движеніемъ валитъ Челкаша на землю.

„На, собака, жри!—гаркнулъ Челкашъ, дрожа отъ возбужденія, острой жалости и ненависти къ этому жадному рабу. И, бросивъ деньги, онъ почувствовалъ себя героемъ. Удальство свѣтилось въ его глазахъ“. Гаврила сталъ столь же униженно благодарить. „Челкашъ слушалъ его визги, вопли, смотрѣлъ на его сіявшее, искаженное жадной радостью лицо и чувствовалъ, что онъ, воръ и гуляка, оторванный отъ всего въ жизни, никогда не станетъ такимъ жаднымъ, низкимъ, не помнящимъ себя. Никогда не станетъ такимъ! И эта мысль и ощущеніе, наполняя его сознаніемъ своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынномъ морскомъ берегу“. (I, 100). Но когда Гаврила, въ порывѣ восторга, признается, что онъ хотѣлъ убить Челкаша, тотъ рѣшается отобрать деньги. Происходитъ драка; Челкашъ, пораженный камнемъ въ затылокъ, падаетъ, Гаврила проситъ прощенія и проклинаетъ соблазнившія его деньги. Челкашъ, однако, презрительно заставляетъ его взять добычу, оставляя себѣ лишь одну радужную, и случайные товарищи расходятся...

Таковъ босякъ Гришка Челкашъ. Въ сравненіи съ добродушнымъ, работящимъ и глуповатымъ мужикомъ Гаврилой онъ, воръ и пьяница, есть настоящій герой и рыцарь чести. Онъ, въ освѣщеніи г. Горькаго, имѣетъ полное право смотрѣть сверху внизъ на этого „жаднаго раба“. И критики, недавно восторгавшіеся посредственнымъ разсказомъ г. Чехова собственно потому, что въ немъ „мужики“ своимъ „деревенскимъ идіотизмомъ“ выгодно оттѣняютъ фигуры трактирнаго лакея и горничной меблированныхъ комнатъ, уже за одно это униженіе мужика—такая теперь мода—высоко оцѣнятъ г. Максима Горькаго. Я тоже цѣню, какъ

талантъ г. Горькаго, такъ и употребленіе, которое онъ изъ него дѣлаетъ, но по нѣсколько инымъ соображеніямъ.

Повидимому, глубокое презрѣніе къ мужику и къ деревенскому житью, презрѣніе, сопровождаемое даже ненавистью, свойственно не одному Гришкѣ Челкашу, а вообще излюбленнымъ героямъ г. Горькаго. Такъ, въ разсказѣ „Мальва“ удалой золоторотецъ Сережка называетъ мужиковъ „землеѣдами тупорылыми“ и „кротами таракановичами“, а объ одномъ изъ дѣйствующихъ лицъ отзывается такъ: „Мнѣ онъ не по душѣ... деревней отъ него воняетъ, а я запаха этого не терплю“ (III, 56—59). Сама Мальва презрительно говоритъ, что въ деревнѣ „какъ въ ямѣ—и темно, и тѣсно“. (III, 34). Сережка же такъ поясняетъ свою мысль въ другомъ мѣстѣ: „Я, видишь ты, всѣхъ мужиковъ не люблю... они сволочи! Они прикинутся сиротами, имъ и хлѣба даютъ и... все!.. У нихъ, вонъ, земство есть и оно все для нихъ дѣлаетъ... Я у земскаго доктора кучеромъ служилъ, насмотрѣлся на нихъ... потомъ бродяжилъ по землѣ много. Придешь, бывало, въ деревню, попросишь хлѣба—цапъ тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспортъ... Бивали сколько разъ... То за конокрада примутъ... то просто такъ... Въ холодную сажали... они ноютъ да притворяются, но жить могутъ, у нихъ есть зацѣпка—земля. А я что противъ нихъ?“ (III, 63). Въ „Бывшихъ людяхъ“ ненавидитъ мужиковъ нѣкій Тяпа. „Каждый разъ, когда въ ночлежкѣ являлся какой-нибудь свѣжій экземпляръ человѣка, вытолкнутаго нуждой изъ деревни, Тяпа при видѣ его впадалъ въ тоскливое озлобленіе и безпокойство. Онъ преслѣдовалъ этого несчастнаго ѣдкими насмѣшками, съ злымъ хрипомъ выходившими изъ его горла; онъ натравливалъ на него какого-нибудь злющаго босяка, грозилъ, наконецъ, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный и растерявшійся мужикъ исчезалъ изъ ночлежки и уже больше не являлся въ ней“. Въ газетѣ Тяпа читалъ „о томъ, что въ такой-то деревнѣ градомъ побило хлѣбъ, а въ другой сгорѣло тридцать дворовъ, а въ третьей баба отравила свою семью,—все, что принято писать о деревнѣ и что рисуетъ ее только несчастной, глупой и злой. Тяпа читалъ все это глухо и мычалъ, выражая этими звуками, быть можетъ, удовольствіе“ (II, 168, 169). Емельянъ Пиляй, „мѣщанинъ голоштанникъ“, какъ онъ самъ себя называетъ, грозитъ „дворянамъ отъ сохи“ разными непріятностями. Онъ мечтаетъ открыть кабакъ и съ нѣкоторымъ даже сладострастіемъ представляетъ себѣ, какъ онъ будетъ грабить мужика: „Мужика бы этого, черноземнаго барина—ухъ ты!.. грабь! дери шкуру! выворачивай на изнанку. Придетъ опохмелиться—„Емельянъ Павлычъ, дай въ долгъ стаканчикъ!“—А? что?.. Въ долгъ?!.. Не даемъ въ долгъ!—„Емельянъ Павлычъ, будь милосердъ!“—Изволь, буду: вези телѣгу, шкаликъ дамъ. Ха-ха-ха! Я бы его, черта тугопузаго, произилъ!“ (I, 20).

Такимъ образомъ босякъ, представитель городской культуры, является антагонистомъ деревенскаго мужика и, какъ ни низко стоитъ самъ онъ въ обществѣ, смотритъ на мужика сверху внизъ и имѣетъ, повидимому, для этого достаточныя основанія. Но прежде, чѣмъ дѣлать изъ этого какіе-нибудь выводы, прежде, чѣмъ радоваться или горевать или искать подтвержденія той или другой излюбленной теоріи, посмотримъ, какъ относится босякъ къ представителямъ другихъ сословій или классовъ, напримѣръ, къ купцамъ.

Аристидъ Кувалда, одинъ изъ „бывшихъ людей" и нѣкоторымъ образомъ глава ихъ или, по крайней мѣрѣ, пристанодержатель, дѣлаетъ такое опредѣленіе: „Что есть купецъ? Разсмотримъ это нелѣпое и грубое явленіе. Прежде всего каждый купецъ—мужикъ. Онъ является изъ деревни и по истеченіи нѣкотораго времени дѣлается купцомъ. Для того, чтобы сдѣлаться купцомъ, нужно имѣть деньги. Откуда у мужика могутъ быть деньги? Какъ извѣстно, онѣ не являются отъ трудовъ праведныхъ. Значитъ, мужикъ такъ или иначе мошенничалъ. Значитъ, купецъ—мошенникъ-мужикъ. . . О, еслибъ я писалъ въ газетахъ! . . . О, я показалъ бы его въ настоящемъ видѣ, я бы показалъ, что онъ только животное, временно исполняющее должность человѣка. Я понимаю его! Онъ? Онъ грубъ, онъ глупъ, не имѣетъ вкуса къ жизни, не имѣетъ представленія объ отечествѣ и ничего выше пятака не знаетъ". (II, 175).

Правда, Аристидъ Кувалда—отставной ротмистръ и дворянинъ, и можно, пожалуй, подумать, что его ненависть къ купцамъ есть нѣчто исключительное. Но его дворянское прошлое, какъ и прошлое другихъ его разношерстныхъ товарищей, давно быльемъ поросло. Онъ принадлежитъ къ числу „изгнанныхъ изъ жизни, рваныхъ, пропитанныхъ водкой и злобой, ироніей и грязью" (II, 178). Мало того, благодаря нѣкоторому образованію, недюжинному уму и ораторской способности, Аристидъ Кувалда, пользующійся въ своей средѣ огромнымъ авторитетомъ, можетъ логически выразить и болѣе или менѣе ясно формулировать бродящіе въ душахъ золоторотцевъ инстинкты и чувства. Вотъ, напримѣръ, одна изъ бесѣдъ Аристида Кувалды съ братіей:

„—Какъ бывшій человѣкъ (говоритъ Кувалда), я долженъ смарать въ себѣ всѣ чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, вѣрно. Но чѣмъ же я и всѣ вы—чѣмъ же вооружимся мы, если отбросимъ эти чувства?

—Вотъ ты начинаешь говорить умно,—поощряетъ его учитель.

—Намъ нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства. . . намъ нужно что-то такое новое, ибо и мы въ жизни новость. . .

—Несомнѣнно намъ нужно это,—говоритъ учитель.

—Зачѣмъ,—спрашиваетъ Конецъ,—не все ли равно, что говорить и думать? Намъ недолго жить . . . мнѣ сорокъ, тебѣ пятьдесятъ, мо-

ложе тридцати нѣтъ среди насъ. И даже въ двадцать долго не проживешь такой жизнью.

—И какая мы новость,—усмѣхается Объѣдокъ,—гольтепа всегда была.

—И она создала Римъ,—говоритъ учитель.

—Да, конечно,—ликуетъ ротмистръ,—Ромулъ и Ремъ, развѣ они не золоторотцы? И мы, придетъ нашъ часъ, создадимъ. . .

—Нарушеніе общественной тишины и спокойствія,—перебиваетъ Объѣдокъ. Онъ хохочетъ, довольный собой". (II, 177).

Мы еще вспомнимъ нѣкоторыя подробности этой знаменательной бесѣды, а пока замѣтимъ, что среди „бывшихъ людей" есть всякіе—мужики, и дворяне, и интеллигенція, и городскіе, и деревенскіе жители, и всѣмъ имъ „нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства, нужно что-то такое новое". И если Мальва находитъ, какъ мы видѣли, что въ деревнѣ, „какъ въ ямѣ,—и темно, и тѣсно", то вотъ, напримѣръ, босякъ Коноваловъ говоритъ автору: „Совсѣмъ напрасно ты, Максимъ, въ городахъ трешься. И что тебя къ нимъ тянетъ? Тухлая тамъ жизнь и тѣсная. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человѣку надо" (II, 62). „Настроили люди городовъ, домовъ, собрались тамъ въ кучи, пакостятъ землю, задыхаются, тѣснятъ другъ друга. . . Хорошая жизнь!" И только послѣ убѣдительной реплики товарища Коноваловъ съ сожалѣніемъ соглашается, что „для зимы города дѣйствительно нужны. . . тутъ ужъ ничего съ ними не подѣлаешь" (64). Въ деревнѣ, какъ въ ямѣ,—и темно и тѣсно. Но вотъ и городской рабочій, сапожникъ Орловъ говоритъ тѣми же словами: „Сижу въ ямѣ и шью" (II, 90), „сижу вотъ въ ямѣ и все работаю, и ничего у меня нѣтъ" (II, 93); „хоть на чердакъ заберись, все же въ ямѣ будешь. . . не квартира яма. . . жизнь яма" (II, 94). И въ итогѣ своей карьеры и своихъ размышленій о жизни Орловъ говоритъ: „Противно все—города, деревни, люди разныхъ калибровъ. . . тьфу!" (II, 151).

Итакъ, герои г. Горькаго не къ одному мужику относятся презрительно и ненавистно: и деревня и городъ равно вызываютъ въ нихъ недобрыя и вообще отрицательныя чувства. Мало того, если вы внимательно прочтете того же „Челкаша", то увидите, что къ презрѣнію, которое босякъ питаетъ къ Гаврилѣ, примѣшивается странное сочетаніе зависти и сочувствія. Одиннадцать лѣтъ тому назадъ Гришка Челкашъ самъ былъ деревенскимъ мужикомъ, и въ разговорѣ съ Гаврилой онъ „чувствовалъ себя обвѣяннымъ примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшаго съ собой до его слуха и ласковыя слова матери, и солидныя рѣчи исконнаго крестьянина-отца, много забытыхъ звуковъ и много сочнаго запаха матушки-земли, только-что оттаявшей, только-что вспаханной и только-что покрытой изумруднымъ шелкомъ озими. . . И онъ чувствовалъ себя сбитымъ, упавшимъ, жалкимъ и оди-

нокимъ, вырваннымъ и выброшеннымъ навсегда изъ того порядка жизни, въ которомъ выработалась та кровь, что течетъ въ его жилахъ“ (I, 92—93). Любопытно также, что нашъ авторъ колеблется въ опредѣленіи тѣхъ чувствъ, съ которыми другой невавистникъ мужика, Тяпа, вычитываетъ въ газетѣ непріятныя извѣстія о деревнѣ: „быть можетъ состраданіе, быть можетъ удовольствіе“. Тяпа даже посылаетъ одного изъ „бывшихъ людей“ въ деревню: „шелъ бы ты въ деревню... просился бы тамъ въ учителя или въ писаря... и былъ бы сытъ, и провѣтрился бы. А то чего маешься?“ (II, 173).

Изъ всего этого видно, что задача г. Горькаго лежитъ гдѣ-то въ сторонѣ отъ грубаго противопоставленія деревни и города. Его образы и картины разные читатели могутъ, разумѣется, истолковывать различно, смотря по степени своего пониманія, а, можетъ быть, и добросовѣстности. Одинъ можетъ подчеркнуть для себя,—а если онъ не просто читатель, а и критикъ, то и для другихъ,—одну сторону дѣла, другой другую. Эти одностороннія освѣщенія могутъ быть очень остроумны и представлять большой интересъ въ томъ или другомъ смыслѣ. Но любопытно знать и мнѣнія самого наблюдателя—автора, хотя для насъ вовсе не обязательно съ этими мнѣніями соглашаться. Но въ двухъ томахъ разсказовъ г. Горькаго есть, кажется, только одно мѣсто, гдѣ авторъ прямо отъ себя какъ будто сопоставляетъ деревню и городъ. А именно: „Быть можетъ, порядочный человѣкъ культурнаго класса и выше такого же человѣка изъ мужиковъ, но всегда порочный человѣкъ изъ города неизмѣримо гаже и грязнѣе порочнаго человѣка деревни“ (II, 167). Но и это мнѣніе, конечно интересное,—въ качествѣ итога очевидно тщательныхъ наблюденій,—очень далеко отъ огульнаго сопоставленія мужика-земледѣльца и городского жителя вообще или, какъ у насъ недавно еще до тошноты часто повторяли, „деревенской и городской культуры.“ Г. Горькій сравниваетъ не вообще деревенскихъ и городскихъ жителей, а лишь опредѣляемыхъ извѣстными нравственными признаками—„порядочности“ и „порочности“, причемъ относительно „порядочныхъ“ выражается сомнительно: „быть можетъ“. Да и вообще все это мимоходомъ брошенное замѣчаніе не имѣетъ большого значенія для основной темы г. Горькаго, разрабатываемой въ большинствѣ его разсказовъ. *Всѣ* его излюбленные герои „порочны“, близки къ тюрьмамъ, кабакамъ и домамъ терпимости, всѣ,—какъ деревенскіе, такъ и городскіе. Если, напримѣръ, городскіе „бывшіе люди“ „охотно, много и скверно говорили о женщинахъ“, то, во-первыхъ, одинъ изъ ихъ среды—„учитель“—сердился, „если очень ужъ пересаливали“, а во-вторыхъ, и бывшій мужикъ Челкашъ—„циникъ“. Если въ разсказѣ „Дѣло съ застежками“ бывшій мужикъ Мишка, къ негодованію своего необузданнаго товарища Семки, способенъ растрогаться чтеніемъ, то и городской человѣкъ Коноваловъ ему въ этомъ отношеніи не уступитъ. Все это

оттѣнки, подробности, хотя и подлежащія сложенію въ общія правила и вычитанію исключеній, но имѣющія мало значенія для главной темы г. Горькаго. Важно, что всѣ эти чандалы, отъ какого бы общественнаго слоя они ни откололись, будучи отверженцами изъ отверженцевъ и сами сознавая свою „порочность“, считаютъ себя вправѣ свысока относиться ко всему окружающему и въ какихъ-то отношеніяхъ дѣйствительно имѣютъ это право.

Характеризуя только что упомянутаго Мишку („Дѣло съ застежками“), г. Горькій говоритъ, что онъ „типичнѣйшій мечтатель-мужикъ, излюбленный персонажъ писателей-народниковъ, такъ много говорившихъ о немъ и позабывшихъ разсказать, какъ онъ, этотъ типъ, вымираетъ, постепенно отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателямъ, нимало не нуждается въ нихъ и всегда предпочитаетъ здоровыя руки слабой головѣ“. Кого бы ни разумѣлъ здѣсь почтенный авторъ подъ писателями-народниками,—вообще ли писателей, черпавшихъ свои темы изъ народнаго быта и съ особеннымъ интересомъ приглядывавшихся къ мужицкой жизни, или же народниковъ, такъ сказать, принципіальныхъ, идеализировавшихъ мужика и „устои“ его жизни,—онъ во всякомъ случаѣ неправъ; фактически неправъ, утверждая, что писатели эти позабыли разсказать, какъ вымираетъ „мечтатель“. Это было бы нетрудно доказать многочисленными примѣрами, но такая экскурсія въ сторону недавней исторіи нашей литературы слишкомъ отвлекла бы насъ отъ г. Горькаго, да и не нужна она для нашей цѣли. Г. Горькій не рѣшается заполнить указанный имъ якобы пробѣлъ. Онъ даетъ рядъ фигуръ, уже отвергнутыхъ „суровой жизнью“, и все это „мечтатели“: мечтатели-поэты или мечтатели-философы, быть можетъ, слишкомъ поэты и философы. И глядя на нихъ, приходится признать, что наша жизнь не нуждается не только въ „слабыхъ головахъ“, предпочитая имъ „здоровыя руки“. Тутъ еще не было бы ничего удивительнаго или вниманія достойнаго. Здоровыя руки, конечно, предпочтительнѣе слабой головы, какъ маленькій каменный домъ предпочтительнѣе большого чернаго таракана. Удивительно то, что отвергнутые жизнью мечтатели г. Горькаго въ большинствѣ случаевъ совсѣмъ не слабыя головы (г. Горькій считаетъ даже возможнымъ, какъ мы видѣли, объединить ихъ общимъ признакомъ: „далеко не глупы“), и руки у большинства ихъ тоже здоровыя, а они всетаки отверженцы. Отчего же это такъ выходитъ?

Есть, впрочемъ, у г. Горькаго одинъ совершенно безрукій герой— Михаилъ Антонычъ въ разсказѣ „Тоска“. Объ немъ узнаемъ отъ него самого, что онъ перепробовалъ множество профессій: былъ часовыхъ дѣлъ мастеромъ, пѣвчимъ, смазчикомъ на желѣзной дорогѣ, приказчи-

комъ у лѣсоторговца, торговалъ роговыми издѣліями и, наконецъ, гдѣ-то на фабрикѣ въ пьяномъ видѣ попалъ въ приводный ремень, которымъ ему и оторвало обѣ руки. Тутъ мы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, указаніе на причину, окончательно выбившую человѣка изъ строя. Но и то надо сказать, что и прежде этого печальнаго случая Михаилъ Антонычъ почему-то не могъ приспособиться ни къ одной изъ перепробованныхъ имъ профессій, да и въ приводный ремень попалъ пьяный, можетъ быть, конечно, и случайно, а, можетъ быть, и какъ привычный уже пьяница. Вообще г. Горькій чрезвычайно скупъ на разъясненіе тѣхъ условій, при которыхъ „суровая жизнь“ вышвыриваетъ за бортъ его героевъ; и даже когда болѣе или менѣе подробно разсказываетъ ихъ біографію, то обрываетъ ее на самомъ интересномъ мѣстѣ. Вотъ, напримѣръ, Гришка Челкашъ. Онъ вспоминаетъ свое прошлое. „Онъ успѣлъ посмотрѣть себя ребенкомъ, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину съ добрыми сѣрыми глазами, отца, рыжебородаго гиганта съ суровымъ лицомъ; видѣлъ себя женихомь и видѣлъ жену, черноглазую Анфису, съ длинной косой, полную, мягкую, веселую; снова себя красавцемъ гвардейскимъ солдатомъ; снова отца, уже сѣдого и согнутаго работой, и мать, морщинистую, осѣвшую къ землѣ; посмотрѣлъ и картину встрѣчи его деревней, когда онъ возвратился со службы; видѣлъ и то, какъ гордился передъ всей деревней отецъ своимъ Григорьемъ, усатымъ, здоровымъ солдатомъ, ловкимъ красавцемъ...“ (I, 92). Все это только вступленіе къ жизни босяка, но г. Горькій ставитъ многоточіе и затѣмъ ограничивается темнымъ намекомъ на какія-то „ошибки“. Въ чемъ состояли эти ошибки, такъ и остается неизвѣстнымъ, но достовѣрно, что голова у Челкаша не слабая, а руки здоровыя. Изъ біографіи удалого золоторотца Сережки (въ „Мальвѣ“) только и извѣстно, что онъ мѣщанинъ города Углича „вездѣ бывалъ, скрозь прошелъ всю землю“. А если г. Горькій коегдѣ и намѣчаетъ исходный моментъ босячества, то довольствуется общими выраженіями въ родѣ того, что „нужда загнала“ или „запилъ,“— просто запилъ, да и все тутъ. Это слишкомъ неопредѣленно. Нужда то медленно и постепенно захватываетъ людей своими цѣпкими когтями, то настигаетъ ихъ внезапно, безъ предостереженій, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ подбираясь съ очень разныхъ сторонъ; а „запиваютъ“ люди, кромѣ нужды, еще и по многимъ другимъ, разнообразнымъ, притомъ часто случайнымъ, не поддающимся обобщенію причинамъ. Попробуемъ обратиться за разъясненіемъ не къ г. Горькому, а къ самимъ его героямъ.

Я уже замѣтилъ, что большинство этихъ героевъ поэты и философы, поэты, по крайней мѣрѣ, въ душѣ и философы, по крайней мѣрѣ, по склонности осмысливать и обобщать явленія жизни. Г. Горькій утверждаетъ даже, что „каждый человѣкъ, боровшійся съ жизнью

побѣжденный ею и страдающій въ безжалостномъ плѣну ея грязи, болѣе философъ, чѣмъ самъ Шопенгауеръ, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется въ такую точную образную форму, въ какую выльется мысль, непосредственно выдавленная страданіемъ“ (II, 31). Г. Горькій не даромъ говоритъ не только о точной, а и объ образной формѣ и, надо думать, не случайно выбралъ именно Шопенгауера, этого мыслителя-художника, для сравненія съ своими героями. Его излюбленные персонажи, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ не удается точно формулировать свои мысли, выражаютъ ихъ картинно, художественно, образно. До такой степени картинно и образно, что читателя невольно беретъ сомнѣніе,—возможно ли, правдиво ли это? Въ знаніи той среды, которую онъ описываетъ, г. Горькому никоимъ образомъ отказать нельзя; подлинная правда чувствуется какъ въ общей концепціи его произведеній, такъ и во множествѣ житейскихъ подробностей, которыхъ нельзя выдумать, сочинить. Но иногда, читая рѣчи и размышленія его босяковъ, поневолѣ вспоминаешь его собственную оцѣнку босяцкихъ словесныхъ автобіографій, „въ которыхъ ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась съ самою наивною ложью“. (II, 30). Конечно, „ложь“ въ данномъ случаѣ слишкомъ грубое слово по отношенію къ столь почтенному писателю, но рѣчь идетъ не о сознательной какой-нибудь лжи. Да и босяцкую ложь надо тоже понимать. Кроткій и ко всѣмъ, кромѣ себя, снисходительный Коноваловъ, на вопросъ одного изъ товарищей-босяковъ—„не вѣришь?“—отвѣчаетъ: „Нѣтъ, вѣрю... Какъ можно не вѣрить человѣку? Даже если видишь—вретъ онъ, вѣрь ему. Т. е. слушай и старайся понять, почему онъ вретъ? Иной разъ вранье-то лучше правды объясняетъ человѣка... Да и какую мы всѣ про себя правду можемъ сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Вѣрно?“—„Вѣрно“, соглашается разсказчикъ“ (II, 31). Г. Горькій разсказываетъ про своихъ героевъ ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной изъ чертъ ихъ многоразличной „порочности“, но вышеприведенное убѣжденіе въ ихъ превосходствѣ надъ Шопенгауеромъ заставляетъ его влагать въ ихъ головы мало вѣроятныя мысли, а въ ихъ уста—мало вѣроятныя рѣчи. Языкъ его босяковъ до крайности не характеренъ, напоминая собою превосходный языкъ самого автора, только намѣренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мѣрѣ отчасти, объ ихъ философіи. Вы понимаете, что старуха Изергиль можетъ выражаться, напримѣръ, такъ: „Однажды гроза грянула надъ лѣсомъ, и зашептали деревья глухо и грозно; и стало въ лѣсу такъ темно, точно въ немъ собрались сразу всѣ ночи сколько ихъ было на свѣтѣ съ той поры, какъ онъ родился“ (I, 129). Эта цвѣтистая рѣчь, эти оригинально-красивые поэтическіе образы, можетъ быть, и умѣстны въ устахъ старухи Изергиль въ виду ея восточнаго происхожденія. Без-

рукій Михаилъ Антонычъ философствуетъ въ такомъ родѣ: „О чемъ разсуждать, когда существуютъ законы и силы? И какъ можно имъ противиться, если у насъ всѣ орудія въ умѣ нашемъ, а онъ тоже подлежитъ законамъ и силамъ? Вы понимаете? Очень просто. Значитъ, живи и не кобенься, а то тебя сейчасъ же разрушитъ въ прахъ сила, состоящая изъ собственныхъ твоихъ свойствъ и намѣреній и изъ движеній жизни! Это называется философія дѣйствительной жизни... Понятно?“ (I, 311—312). Прочитавъ эти и многія другія рѣчи безрукаго, вы чувствуете нѣкоторую неловкость за автора, однако успокаиваетесь, когда узнаете, что безрукій „съ умнѣйшими людьми велъ по этимъ дѣламъ бесѣды—со студентами и со многими священнослужителями церкви“ (его собственное показаніе), и что эти „законы и силы“ суть „слова, которыя онъ произносилъ съ какимъ-то особеннымъ подчеркиваніемъ и пониженіемъ голоса, но значеніе которыхъ врядъ-ли было ему понятно“ (показаніе автора). Но если въ этихъ случаяхъ вы находите объясненіе въ экзотическомъ происхожденіи Изергили и въ томъ, что безрукій нахватался у „умнѣйшихъ людей“ словъ, которыхъ хорошенько не понимаетъ, то въ другихъ—и, къ сожалѣнію, многихъ—случаяхъ босяки г. Горькаго безмѣрно щеголяютъ красотою рѣчи и философскимъ пареніемъ безъ всякихъ оправданій... Мѣстами ихъ размышленія и разговоры звучатъ такой фальшью, что просто больно и обидно читать. Таковы, напримѣръ, очень лестные для нашего брата—писателя, но дѣланные, слащавые разговоры о „Подлиповцахъ“ Рѣшетникова и о „психологіи сочинителей“ въ разсказѣ „Коноваловъ“, да и многое другое еще. Образчиковъ приводить не буду, тѣмъ болѣе, что ниже, по другимъ поводамъ, придется вѣроятно цитировать кое-что изъ подобныхъ непріятныхъ страницъ.

Если отрѣшимся, по возможности, отъ разныхъ ненужныхъ и фальшивыхъ украшеній и не будемъ требовать отъ босяковъ, чтобы они превосходили Шопенгауера точностью и образностью выраженія своихъ мыслей, то увидимъ слѣдующее. Босяки несчастны и иногда съ грустью вспоминаютъ свое прошлое, когда они такъ или иначе стояли въ общемъ строѣ жизни. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они у г. Максима Горькаго какъ будто не столько вышвырнуты изъ этого строя какими-нибудь внѣшними, объективными условіями, сколько сами ушли изъ него, добровольно, побуждаемые жаждою свободы, наилучше для нихъ удовлетворяемою бродячей жизнью. „Въ босяки бы лучше уйти,—говоритъ сапожникъ Орловъ,—тамъ хоть голодно, да свободно, иди, куда хочешь! Шагай по всей землѣ!“ (II, 93). „Люблю я, другъ, эту бродяжную жизнь,—разсуждаетъ отставной солдатъ въ разсказѣ: „Въ степи“.— Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень. Нѣтъ надъ тобой никакого начальства... самъ ты своей жизни хозяинъ. Хоть голову себѣ откуси; никто тебѣ слова не можетъ сказать... хорошо... Наго-

лодался я за эти дни, назлился, а вотъ теперъ лежу, смотрю въ небо... звѣзды мигаютъ мнѣ, ровно говорятъ: ничего, Лакутинъ, ходи, знай, по землѣ и никому не поддавайся". (II, 13). „Родился я, слышь, подъ заборомъ и помру подъ нимъ,—говоритъ Кузька Косякъ въ „Тоскѣ".—Судьба такая. По сѣдые волосы вдоль да поперекъ шляться буду... А на одномъ мѣстѣ скучно мнѣ" (I, 280). Старый цыганъ Макаръ Чудра учитъ автора или лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ: „Ходи и смотри, насмотрѣлся, лягъ и умирай, вотъ и все!" Всякій человѣкъ, ведущій иной образъ жизни, есть, по мнѣнію Макара, „рабъ, какъ только родился, и во всю жизнь рабъ". „Иди, иди, и все тутъ,—продолжаетъ поучать Макаръ.—Долго не стой на одномъ мѣстѣ, чего въ немъ? Вонъ какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобы не разлюбить ее... Похаживай да посматривай кругомъ себя, вотъ и тоска не возьметъ никогда". (I, 1, 2—3). Удалецъ Сережка излагаетъ такую программу жизни: „Ничего не будемъ дѣлать... гулять будемъ по землѣ" (III, 49), и героиня разсказа, Мальва, ставитъ Сережкѣ въ большое достоинство, что онъ „вездѣ бывалъ, скрозь прошелъ всю землю". Коноваловъ отказывается жениться по слѣдующимъ основаніямъ: „Первое дѣло у меня запой, во-вторыхъ, нѣтъ у меня никакого дому, въ-третьихъ, я есть бродяга и не могу на одномъ мѣстѣ жить". (II, 36). Сказочный Ларра (имя это, по объясненію старухи Изергиль, значитъ „отверженный, выкинутый вонъ") „ходитъ, ходитъ повсюду... все ищетъ, ходитъ, ходитъ" (I, 113).

Я не скуплюсь на выписки изъ разсказовъ г. Горькаго, не только несмотря на ихъ однообразіе, а даже именно въ виду этого однообразія. Авторъ имѣетъ право требовать особеннаго вниманія къ такимъ многократно повторяющимся мотивамъ, очевидно играющимъ значительную роль въ кругѣ его наблюденій. Да и читатель, можетъ быть, не замѣтившій или пропустившій ихъ безъ вниманія въ отдѣльныхъ разсказахъ г. Горькаго, когда они печатались въ журналахъ, теперь естественно подчеркиваетъ и суммируетъ ихъ для себя.

Что же говорятъ намъ только что сдѣланныя выписки? Что это за новѣйшіе Агасферы, которымъ какою-то неумолимою внѣшнею или внутреннею силою дано предписаніе: ходи! ходи! ходи!? Агасферы не Агасферы, но невольно приходитъ въ голову, что это если не отголосокъ кочевого быта, то прямое наслѣдіе или продолженіе нашей старой „вольницы", тѣхъ „гулящихъ" удальцовъ, не менѣе героевъ г. Горькаго прикосновенныхъ къ тюрьмамъ и кабакамъ, которые еще въ прошломъ столѣтіи слагались временами въ яркое и громкое общественное явленіе и которые, однако, никогда не считались и не могли считаться „классомъ". А вѣдь г. Горькій полагаетъ, что его героевъ „пора считать за классъ". А Аристидъ Кувалда, главный философъ этого якобы

класса, утверждаетъ, что онъ составляетъ „новость въ жизни“. Въ чемъ же новость? Г. Горькій, къ сожалѣнію, даетъ своими разсказами не особенно много матеріаловъ для отвѣта на этотъ вопросъ.

Ядовитый скептикъ Объѣдокъ возражаетъ Аристиду Кувалдѣ, что совсѣмъ они не новость, потому что „гольтепа всегда была“. Всегда не всегда, но „гольтепа“, движимая непосѣдливостью и удальствомъ и склонная къ „нарушенію общественной тишины и спокойствія“, дѣйствительно не новость. Припоминая, однако, фигуры старорусской „гольтепы“, „голи кабацкой“ и всякой „вольницы“, мы припоминаемъ и указанія исторіи не только на внутренніе, психологическіе, субъективные моменты удальства и непосѣдливости, но и на внѣшнія обстоятельства, вызывавшія или сопровождавшія эти мотивы. Гнетъ только еще слагавшагося государства, требовавшаго часто непосильныхъ жертвъ, всеобщая неурядица и безправіе, сосѣдство полудикихъ кочевниковъ, внезапнымъ налетомъ сметавшихъ цѣлыя населенія,—вотъ нѣкоторыя изъ условій, способствовавшихъ, по выраженію историка, образованію общей „движущейся почвы“, на которой выростала и вольница. А затѣмъ, когда государство, наконецъ, „прикрѣпило“ населеніе, гнетъ крѣпостного права явился въ свою очередь стимуломъ для бѣгства съ насиженнаго мѣста и сопряженныхъ съ этимъ бѣгствомъ приключеній. Все это давно миновалось, и нынѣ должны быть на лицо совершенно иныя, дѣйствительно новыя внѣшнія условія, способствующія выработкѣ „гольтепы“. Но г. Горькій намъ ихъ не показалъ, быть можетъ, „позабылъ объ нихъ разсказать“. Относительно безъимянной голытьбы или „рядовыхъ босяковъ“, какъ въ одномъ мѣстѣ выражается г. Горькій, еще можно найти нѣкоторыя, слишкомъ общія и неопредѣленныя указанія въ родѣ того, что „нужда загнала“; но, не говоря уже о томъ, что этого слишкомъ мало, мы и такихъ указаній не получаемъ относительно, такъ сказать, именованныхъ чиселъ его разсказовъ, относительно его главныхъ героевъ. Всѣ они какъ будто не отъ нужды бѣгутъ изъ разныхъ „ямъ“, а, напротивъ, сами лѣзутъ на рожонъ нужды, хотя ищутъ, конечно, не ея, а воли,—„свободно ужъ очень“. Они даже не столько отверженные, сколько отвергшіе. Къ нѣкоторымъ изъ нихъ можно бы было даже примѣнить Лермонтовское обращеніе къ „тучкамъ“:

—. . .вамъ наскучили нивы безплодныя. . .
Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
Вѣчно холодныя, вѣчно свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія.

Согласитесь, что это немножко слишкомъ красиво и поэтично для циниковъ, воровъ и пьяницъ. Но если въ самой глубинѣ явленія, занимающаго г. Горькаго, подъ толстымъ слоемъ грязи, и заключается нѣчто подобное, то не исключительно же только скуку наводили „нивы безплодныя“, по крайней мѣрѣ, на тѣхъ, которые нѣкогда орошали эти нивы своимъ потомъ. А г. Горькій до такой степени скупъ на

счетъ указаній этого рода, что даже „голодающіе“ вслѣдствіе неурожаевъ мелькаютъ у него всего раза два на протяженіи всѣхъ разсказовъ, да и то гдѣ-то совсѣмъ вдали, не въ дѣйствіи, а въ разговорахъ дѣйствующихъ лицъ. Положимъ, что голодовки отъ неурожаевъ, какъ и другія стихійныя бѣдствія, не „новость“ на Руси и, можетъ быть, поэтому, не удостоились вниманія нашего автора. Но вотъ грандіозно мрачная картина подавленія человѣка его собственнымъ созданіемъ, которою начинается разсказъ „Челкашъ“. Какъ бы ни увѣряли насъ нѣкоторые неосновательные люди, что мы чуть не сравнялись съ Англіей въ дѣлѣ промышленнаго прогресса, но, вѣдь, это они разсказываютъ „обманъ своего сердца“, по выраженію пророка Іереміи. Означенная картина есть у насъ новость, не сегодняшняго или вчерашняго дня, конечно, но настолько новость, что связанныя съ нею явленія жизни мы вправѣ считать исторически новыми. И естественно было бы ожидать, чтобы г. Горькій, нарисовавъ свою грандіозную картину, связалъ съ нею судьбу своихъ героевъ. Ничего такого мы, однако, не получаемъ. А между тѣмъ пути воздѣйствія промышленнаго прогресса въ его современныхъ формахъ на образованіе Lumpenproletariat'а хорошо извѣстны. Прогрессъ этотъ „освобождаетъ“ разныхъ Челкашей, Тяпъ и проч. отъ земли и отъ другихъ „путъ и узъ“, сгоняетъ ихъ къ нѣсколькимъ центрамъ, изъ которыхъ, однако, періодически выталкиваетъ часть ихъ, иногда цѣлыми массами, на улицу въ качествѣ безработныхъ; а изъ послѣднихъ, подъ вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ условій, главнымъ образомъ условій городской жизни, съ царящею въ ней сутолокой и необузданной конкурренціей, съ ея соблазнами, возбуждающими аппетитъ безъ возможности его удовлетворенія,—осѣдаютъ босяки. Со стороны этого-то процесса, оставленнаго, однако, г. Горькимъ безъ малѣйшей иллюстраціи, его персонажи представляютъ собою, дѣйствительно, новое явленіе. Къ нимъ примыкаютъ, съ одной стороны, деревенскіе люди, сорванные съ корня стихійными бѣдствіями, а съ другой—разные неудачники изъ болѣе высокихъ слоевъ общества, не приспособившіеся по какимъ бы то ни было причинамъ къ условіямъ жизни, въ которой родились или для которой готовились.

Но новъ не только, по крайней мѣрѣ, одинъ изъ источниковъ происхожденія героевъ г. Горькаго. Нова въ значительной степени и ихъ психологія, что уже гораздо лучше раскрывается въ произведеніяхъ нашего автора. Какъ ни неистово и буйно прожигала жизнь старая русская вольница и голь кабацкая, но уже одно то, что она слагалась временами въ цѣлыя шайки, даже въ огромныя полчища, то осѣдавшія гдѣ-нибудь на привольи въ далекихъ краяхъ и „кланявшіяся“ московскому государю цѣлыми областями, то входившія въ составъ своеобразныхъ постоянныхъ обществъ, какова была Запорожская Сѣчь, то нарушавшія покой всего государства,—одно это свидѣтельствуетъ о ея

способности къ организаціи и дисциплинѣ. Совсѣмъ иное представляютъ герои г. Горькаго.

Герои г. Горькаго крайніе индивидуалисты. Любопытно слѣдующее замѣчаніе автора. Описывая постройку мола въ Ѳеодосіи, онъ разсказываетъ: „Въ Россіи голодали, и голодъ согналъ сюда представителей чуть не всѣхъ охваченныхъ несчастіемъ губерній. Они дѣлились на маленькія группы, стараясь держаться землякъ къ земляку, и только космополиты-босяки сразу выдѣлялись и своимъ независимымъ видомъ, и костюмами, и особымъ складомъ рѣчи изъ людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавшихъ съ нею связь, оторванныхъ отъ нея голодомъ и не забывшихъ о ней. Они были во всѣхъ группахъ: и среди вятичей, и среди хохловъ, всюду чувствуя себя на своемъ мѣстѣ“ (II, 55). Это „всюду на своемъ мѣстѣ“ надо, однако, понимать только въ отрицательномъ смыслѣ, въ томъ смыслѣ, что „нѣтъ у нихъ родины, нѣтъ имъ изгнанія“. Пожалуй, и Сережка въ разсказѣ „Мальва“, когда ему предсказали Сибирь, отвѣтилъ: „ухъ, страшно!“ и „искренно расхохотался“. Герои г. Горькаго вездѣ на своемъ мѣстѣ только потому, что нигдѣ у нихъ своего мѣста нѣтъ. „Нѣтъ для меня на землѣ ничего удобнаго! Не нашелъ я себѣ мѣста!“— говоритъ Коноваловъ (II, 65). Люди эти порвали всѣ старыя общественныя связи и не нажили никакихъ новыхъ. Самыя пылкія ихъ мечты лишены какого бы то ни было общественнаго характера и пропитаны индивидуализмомъ. Тотъ же Коноваловъ такъ разсказываетъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него чтеніемъ „Робинзона“: „Интересно, страхъ какъ! Очень мнѣ понравилась книга; такъ бы къ нему туда и поѣхалъ. Понимаешь, какая жизнь? Островъ, море, небо—ты одинъ себѣ живешь, и все у тебя есть и совершенно ты свободенъ! Тамъ еще дикій былъ. Ну, я бы дикаго утопилъ,—на кой чортъ онъ мнѣ нуженъ, а? Мнѣ и одному не скучно“ (II, 59). Мальва мечтаетъ: „Иной разъ сѣла бы въ лодку и въ море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать“ (III, 62). Челкашъ, въ минуту душевнаго размягченія нахлынувшими на него деревенскими воспоминаніями, рисуетъ себѣ мужика какимъ-то своего рода тоже Робинзономъ, „королемъ на своей землѣ“, „хозяиномъ самому себѣ“, у котораго все свое—домъ, курица, яблоко. „Король вѣдь? такъ ли?—воодушевленно закончилъ Челкашъ длинный перечень крестьянскихъ преимуществъ и правъ и почему-то запамятовалъ объ обязанностяхъ“ (I, 91). Челкашъ запамятовалъ не только объ обязанностяхъ, но и о людяхъ, притомъ не только о начальствѣ въ его административныхъ, военныхъ, финансовыхъ функціяхъ, но и о родственникахъ, сосѣдяхъ, товарищахъ; его мужикъ—„король“ одинокъ, какъ перстъ. „Я отверженъ,—говоритъ Аристидъ Кувалда,— значитъ, я свободенъ отъ всякихъ путъ и узъ. Значитъ, я могу наплевать на все!“ (II, 198).

Всѣ общественныя отношенія, въ которыя вступаютъ герои г. Горькаго, случайны и кратковременны. Работники они плохіе, не потому, чтобы были неспособны къ труду, а потому, что не считаютъ для себя обязательными какіе бы то ни было договоры (см. напр. „Дѣло съ застежками“), да и бродяжническій инстинктъ не даетъ заживаться на одномъ мѣстѣ. Но не только съ „работодателями“, а и съ своимъ братомъ они чрезвычайно легко порываютъ свои связи. Челкашъ, какъ мы видѣли, прихватываетъ себѣ въ товарищи перваго встрѣчнаго Гаврилу и тотчасъ по окончаніи операціи они расходятся въ разныя стороны, чтобы уже никогда въ жизни болѣе не встрѣчаться. Въ разсказѣ „Въ степи“, „студентъ“ тайно отъ своихъ товарищей грабитъ и убиваетъ встрѣчнаго путника и затѣмъ безслѣдно исчезаетъ. И если одинъ изъ покинутыхъ товарищей, „солдатъ“, очень строго осуждаетъ этотъ поступокъ „студента“, то не по существу.

Въ высшей степени характерны отношенія героевъ г. Горькаго къ женщинамъ. Но прежде чѣмъ перейти къ нимъ, остановимся на мрачной, истинно страшной картинѣ времяпровожденія золоторотцевъ въ разсказѣ „Бывшіе люди“. Тутъ изображено нѣкоторое, болѣе или менѣе постоянное гнѣздо босяцкое,—„ночлежка“, въ которой изо дня въ день встрѣчаются другъ съ другомъ одни и тѣ же люди, связанные долгой привычкой, одинаковостію положенія и взаимнымъ пониманіемъ.

„И вдругъ среди нихъ вспыхивала звѣрская злоба, пробуждалось ожесточеніе людей загнанныхъ, измученныхъ своей суровой судьбой. Или ощущалась близость того неумолимаго врага, который всю жизнь ихъ превратилъ въ одну жестокую нелѣпость. Но этотъ врагъ былъ неуловимъ, ибо невѣдомъ. И тогда они били другъ друга, били жестоко, звѣрски били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что могъ принять въ закладъ нетребовательный Вавиловъ. Такъ въ тупой злобѣ, въ тоскѣ, сжимавшей ихъ сердца, въ невѣдѣніи исхода изъ этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще болѣе суровыхъ дней зимы... Иногда... вдругъ отчаянное, удалое веселье вскипало въ трактирѣ: пѣли, плясали, хохотали и на нѣсколько часовъ становились похожими на безумныхъ... И потомъ опять входили въ тупое, равнодушное отчаяніе и сидѣли за столами трактира въ копоти лампъ, въ табачномъ дыму, угрюмые, оборванные, лѣниво переговариваясь другъ съ другомъ, слушая торжествующій вой вѣтра и думая о томъ, какъ бы напиться водки, напиться до безчувствія. И всѣ было глубоко противны каждому, и каждый таилъ въ себѣ безсмысленную злобу противъ всѣхъ“ (II, 186—187).

Вотъ что таится въ центрахъ современной цивилизаціи, вотъ какъ живетъ нашъ Lumpenproletariat, тѣ современные европейскіе чандалы, которые откалываются отъ всѣхъ слоевъ общества вездѣ, гдѣ „гранитъ, желѣзо, мостовая, люди—все дышитъ мощными звуками бѣшено стра-

стнаго гимна Меркурію“. Было время,—еще недавно,—что разные проницательные люди предсказывали разгромъ европейской цивилизаціи ордами новыхъ, внутреннихъ варваровъ—рабочаго пролетаріата, которому, дескать, чужды всѣ высшія блага, достигнутыя вѣками прогресса. Можно съ увѣренностью сказать, что это пророчество, имѣвшее за себя нѣкоторую вѣроятность десятки лѣтъ тому назадъ, не сбудется. Европейскіе рабочіе, составляя общепризнанный классъ и правомѣрно участвуя въ общей жизни своихъ странъ, имѣютъ свою положительную задачу и примыкаютъ къ преемственной культурной работѣ, какъ бы ни отличался ихъ общественный идеалъ отъ идеаловъ другихъ классовъ. Но процессъ общественнаго дифференцированія не останавливается на выдѣленіи рабочаго пролетаріата и, не говоря о другихъ осложненіяхъ, въ центрахъ цивилизаціи копится Lumpenproletariat. Здѣсь уже мы не видимъ никакого общественнаго идеала, никакой сколько-нибудь прочной солидарности, все разсыпается на самодовлѣющіе, ничѣмъ не спаянные атомы, передъ которыми нѣтъ положительной, творческой задачи и которые, какъ говоритъ Объѣдокъ, могутъ „создать“ только нарушеніе общественной тишины и спокойствія. „Особливые мы будемъ люди и ни въ какой порядокъ не включаемся“,—философствуетъ Коноваловъ. Этимъ чандаламъ, конечно, ничто изъ благъ цивилизаціи не можетъ быть дорого, и рѣшеніе Пушкинскаго Фауста—„все утопить“—было бы имъ вполнѣ понятно. Ихъ и посѣщаютъ подобныя мечты. Такъ, Мальва, выразивъ желаніе убѣжать далеко въ море и никогда больше людей не видѣть, прибавляетъ: „А иной разъ такъ бы каждаго человѣка завертѣла, да и пустила волчкомъ вокругъ себя... Избила бы весь народъ. И потомъ бы себя страшною смертью“. Такъ бывшій сапожникъ Орловъ скорбитъ, что онъ „никакого геройства не совершилъ“. „А и по сю пору,—продолжаетъ онъ,—хочется мнѣ отличиться на чемънибудь... Раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей и жидовъ перебить... всѣхъ до одного! Или вообще что нибудь этакое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... и въ дребезги!“ (II, 151). „Зло въ глазахъ этихъ людей имѣло много привлекательнаго“,—замѣчаетъ г. Горькій отъ себя. (II, 194—195). Это не значитъ, что то были все злые люди. Напротивъ, прямо злыхъ, кажется, и совсѣмъ нѣтъ въ коллекціи г. Горькаго, а многимъ изъ его персонажей свойственны черты добродушія и великодушія, и на добрыя дѣла они способны. Емельянъ Пиляй идетъ на убійство и грабежъ, а кончаетъ спасеніемъ дѣвушки (вслѣдъ зачѣмъ, впрочемъ, совершаетъ безсмысленнѣйшій уличный скандалъ). Коноваловъ, единственно ради добраго дѣла, извлекаетъ изъ дома терпимости проститутку (изъ чего, впрочемъ, въ концѣ концовъ ничего путнаго не выходитъ). Да и Мальва вовсе не злая женщина. Но въ ожиданіи случая „избить весь народъ“, она

хотѣла бы хоть домъ поджечь,—„вотъ суматоха была бы!" (III, 62), а затѣмъ, сообща съ удалымъ Сережкой, придумываетъ планъ (и приводитъ его въ исполненіе) стравить отца съ сыномъ, собственно потому, что „потѣшно будетъ". На лицѣ Сережки „не было замѣтно ни злобы, ничего, кромѣ добродушной и немножко озорной улыбки", когда онъ убѣждалъ Мальву: „Ты подумай... развѣ не пріятно смотрѣть, какъ изъ-за тебя люди ребра другъ другу ломаютъ? Изъ-за однихъ только твоихъ словъ?.. двинула ты языкомъ разъ, два и готово!.. Эхъ, ежели бы я красивой женщиной былъ! Такую бы я на семъ свѣтѣ заваруху завелъ!" (64). Словомъ, они готовы сдѣлать всякую пакость ближнему, и не со зла, а такъ, для утѣшенія своего *я*, надъ всѣмъ и всѣми возвышающагося. Это даже не индивидуалисты, а, выражаясь моднымъ, но по нынѣшнему времени, очевидно, нужнымъ терминомъ,—„эготисты". Орловъ заявляетъ своей женѣ Матренѣ, что ему жениться не слѣдовало бы, а лучше бы итти въ босяки. „Такъ иди,—говоритъ Матрена,—а меня отпусти на волю". Но Орловъ ее за эти слова прибилъ „безпощадно"... Одно дѣло самъ онъ и другое дѣло—его жена...

II.

Разсказы г. Максима Горькаго обратили на себя общее вниманіе. Объ нихъ говорятъ, пишутъ и, кажется, всѣ болѣе или менѣе признаютъ за авторомъ и дарованіе, и оригинальность темъ. Однако, „болѣе или менѣе", и если одни, напримѣръ, восторгаясь писаніями г. Горькаго вообще, подчеркиваютъ господствующій будто бы въ нихъ художественный тактъ, то другіе—и, надо признаться, съ гораздо большимъ правомъ—утверждаютъ, что именно художественнаго такта ему и не хватаетъ.

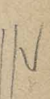
Интересенъ отзывъ литературнаго обозрѣвателя „Русскихъ Вѣдомостей", г. И—т.*) Отъ почтеннаго критика не укрылась часто впадающая въ фальшь идеализація г. Горькимъ его излюбленныхъ персонажей. Но мнѣ кажется, что представленная критикомъ общая схема этой идеализаціи не совсѣмъ вѣрна. Лермонтовская царица Тамара была „прекрасна, какъ ангелъ небесный, какъ демонъ,—коварна и зла". Такой же контрастъ между внѣшностью и внутреннимъ содержаніемъ представляютъ собою, по мнѣнію критика, и персонажи г. Горькаго, „только съ обратнымъ математическимъ знакомъ". Тамъ, гдѣ у Тамары стоитъ плюсъ, у босяковъ г. Горькаго—минусъ, и обратно. Внѣшній обликъ и, такъ сказать, внѣшняя сторона поведенія босяковъ—безобразны: они грязны, пьяны, грубы, неряшливы, но зато коварство и злоба Тамары

*) См. предыдущую статью г. И. Игнатова. изд.

замѣнены у чандаловъ г. Горькаго „стремленіемъ къ добру, къ истинной нравственности, къ большей справедливости, къ заботѣ объ уничтоженіи зла“. Въ этомъ-то контрастѣ à la Тамара навыворотъ и заключается главный интересъ дѣйствующихъ лицъ разсказовъ г. Горькаго. Чтобы вполнѣ понять мысль критика, надо обратить вниманіе на его сопоставленіе босяковъ г. Горькаго съ героемъ драмы Жана Ришпена „Le chemineau“. Герой этотъ есть „прежде всего рыцарь свободы. Оковы общества, семьи, какихъ бы то ни было привязанностей къ мѣсту, домашнему очагу, однимъ и тѣмъ же впечатлѣніямъ, одной и той же страсти—ненавистны ему. Изъ всѣхъ сильныхъ чувствъ у него постоянно живетъ только одно—любовь къ передвиженіямъ, къ волѣ, „къ простору полей, большихъ дорогъ, безпредѣльныхъ пространствъ и постоянныхъ измѣненій“. Не сила обстоятельствъ создала изъ него блуждающаго оборванца, сегодня отдающагося одному занятію, завтра остающагося безъ дѣла, полуголоднаго и безпріютнаго; но собственной волей онъ „взялъ свою судьбу“ и сдѣлалъ изъ себя бродягу по принципу“. Эту черту мы знаемъ и въ чандалахъ г. Горькаго; и имъ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, не „силою обстоятельвъ“,—по крайней мѣрѣ эти обстоятельства остаются въ туманѣ,—а каимъ-то внутреннимъ голосомъ предписано, какъ Агасферу: ходи, ходи, ходи! Но, судя по изложенію г. И—т., герой драмы Ришпена (мнѣ она, къ сожалѣнію, неизвѣстна) совершенно чуждъ другой сторонѣ ихъ быта и психологіи,—той сторонѣ, которая ставитъ ихъ въ тѣсное соприкосновеніе съ „тюрьмами, кабаками и домами терпимости“. По словамъ критика, „le chemineau—не загнанный бродяга, къ которому подозрительно относятся лица, вступающія съ нимъ въ сношеніе, не нищій, получающій подаяніе и злобою отвѣчающій на презрѣніе другихъ. Какъ истинный рыцарь, онъ благороденъ, смѣлъ и откровененъ; двери каждаго дома открыты для него, потому что его умъ, таланты, выдающіяся достоинства дѣлаютъ изъ него превосходнаго работника, общаго благодѣтеля, устранителя золъ и надежнаго покровителя слабыхъ“. Не таковы, какъ мы видѣли, пьяные, циничные, всѣми презираемые герои г. Горькаго. Въ связи съ этимъ находится и другое различіе: le chemineau гуляетъ по бѣлому свѣту бодрый и жизнерадостный, а въ босякахъ г. Горькаго это настроеніе „замѣняется постояннымъ безпокойствомъ, затаенной тоской, скрытой заботой, находящей исходъ въ пьянствѣ“. Въ концѣ концовъ, г. И—т., возвращаясь къ контрасту между безобразной внѣшностью и красивымъ внутреннимъ міромъ, говоритъ, что въ отношеніи этого внутренняго міра герои г. Горькаго распадаются на три разновидности: въ однихъ преобладаетъ исканіе истины и невозможность найти ее, въ другихъ—дѣятельное стремленіе къ водворенію справедливости на землѣ, въ третьихъ—разъѣдающій скептицизмъ. Все это, вмѣстѣ взятое, лишаетъ ихъ жизненности

и правдивости, хотя и не въ такой мѣрѣ, въ какой лишенъ этихъ качествъ cheminеau Ришпена. Таковъ окончательный выводъ г. И—т.

При всемъ остроуміи и соблазнительной законченности этой критики, я не могу съ нею вполнѣ согласиться. Герои г. Горькаго много философствуютъ, слишкомъ много, и въ этихъ ихъ философствованіяхъ, часто превращающихъ ихъ изъ живыхъ, отъ себя говорящихъ людей въ какіе-то фонографы, механически воспроизводящіе то, что въ нихъ вложено,—въ этихъ философствованіяхъ можно дѣйствительно иногда усмотрѣть намеки на указанныя три категоріи. Но большинство ихъ, да и общій ихъ характеръ никакъ въ эти категоріи не затиснешь. Да и самая противоположность между внѣшностью и внутреннимъ міромъ едва ли можетъ быть въ данномъ случаѣ установлена съ такою ясностью и опредѣленностью, какъ въ Лермонтовской Тамарѣ. Тамъ дѣло дѣйствительно ясно и просто: прекрасна тѣломъ, коварна и зла душой, и отсюда вытекаетъ все остальное со включеніемъ эстетическаго эффекта. Въ данномъ случаѣ свѣтъ и тѣни, располагающіеся, по мнѣнію критика, въ обратномъ порядкѣ, на самомъ дѣлѣ гораздо сложнѣе. Прежде всего рѣчь здѣсь не о тѣлѣ идетъ и вообще не о наружности въ буквальномъ смыслѣ слова. Герои г. Горькаго не Квазимодо какіе-нибудь. Если, напримѣръ, Сережа довольно-таки безобразенъ, то Коноваловъ чуть не красавецъ, и, читая описаніе его наружности, я невольно вспомнилъ фразу изъ какого-то французскаго романа: „онъ обнажилъ свою руку, мускулистую, какъ рука кузнеца, и бѣлую, какъ рука герцогини“. Или Кузька Косякъ: „онъ стоялъ въ свободно сильной позѣ; изъ-подъ разстегнутой красной рубахи видна была широкая, смуглая грудь, дышавшая глубоко и ровно, рыжіе усы насмѣшливо пошевелива-лись, бѣлые частые зубы сверкали изъ-подъ усовъ, синіе, большіе глаза хитро прищурились“ (I, 282). Это, конечно, не пара Тамарѣ, не „ангелъ небесный“, но въ своемъ родѣ очень все-таки красиво. Старуха Изергиль и сама когда-то была красавицей, и очень цѣнитъ красоту. Она увѣрена даже, что „только красавцы могутъ хорошо пѣть“ (I, 114) и что „красивые всегда смѣлы“ (128). Безобразна внѣшняя обстановка босяковъ, но и то не совсѣмъ вѣрно, потому что г. Горькій часто помѣщаетъ ихъ на морѣ и въ степи и вмѣстѣ съ ними восторгается красотою открывающихся при этомъ горизонтовъ. А кабаки, публичные дома, ночлежки, конечно, безобразны, равно какъ и лохмотья въ которые облечены босяки вмѣсто „парчи и жемчуга“ царицы Тамары, но вѣдь иначе они и не были бы босяками. А во всемъ остальномъ слишкомъ трудно провести пограничную линію между внѣшностью и внутреннимъ міромъ. Кабаки, тюрьмы, дома терпимости—безспорно внѣшность, но почему внѣшность то, что къ нимъ приводитъ и въ нихъ совершается? почему внѣшность—пьянство, цинизмъ, злоба, драки? Правда, изъ-за всего этого у г. Горькаго часто выглядываетъ нѣчто



иное, что приподнимаетъ босяковъ; но съ какой точки зрѣнія можно отнести, ну, хоть, напримѣръ, ограбленіе и убійство „студентомъ“ прохожаго столяра („Въ степи“),—къ „исканію истины“ или къ „стремленію водворить справедливость на землѣ“ или къ „разъѣдающему скептицизму“? Дѣло въ томъ, что взгляды босяковъ г. Горькаго на нравственность и справедливость не имѣютъ ничего общаго со взглядами, исповѣдуемыми огромнымъ большинствомъ современниковъ. Недаромъ Аристидъ Кувалда говоритъ, что онъ долженъ „смарать въ себѣ всѣ чувства и мысли“, воспитанныя прежнею жизнью, и что „намъ нужно что-то другое, другія воззрѣнія на жизнь, другія чувства, нужно что-то такое новое“. Эти люди стоятъ на точкѣ „переоцѣнки всѣхъ цѣнностей“ и jenseits von gut und böse, какъ сказалъ бы Ницше.

Столь обаятельная личность, какою Ришпенъ изобразилъ своего chemineau, естественно притягиваетъ къ себѣ женскія сердца, и онъ не отказывается отъ радостей любви. Но, повинуясь инстинкту бродяги, онъ оставляетъ одну за другою осчастливленныхъ имъ женщинъ, хотя и „съ болью въ сердцѣ“. Подъ старость, утомленный терніями жизни, онъ попадаетъ въ то мѣсто, гдѣ двадцать слишкомъ лѣтъ тому назадъ онъ любилъ одну дѣвушку и былъ любимъ. Плодъ этой любви, до сихъ поръ не изжитой, сталъ уже взрослымъ парнемъ, и бродягу манитъ перспектива отдыха въ кругу семьи, у постояннаго очага. Но, послѣ нѣкотораго колебанія, онъ „съ рыданіями“ уходитъ куда глаза глядятъ, и драма оканчивается словами: va, chemineau, chemine! Этимъ мелодраматическимъ концомъ, въ сущности просто комическимъ, подчеркивается присутствіе въ бродягѣ того внутренняго, почти мистически-властнаго голоса, который обрекаетъ его на существованіе Агасфера.

Босяки г. Горькаго, хотя и не обладаютъ достоинствами chemineau, но также очень счастливы въ любви. Правда, по показанію автора, они на эту тему много врутъ, хвастаютъ и скверно хвастаютъ, но, напримѣръ, Коновалову онъ безусловно вѣритъ. А у того „ихъ“, то есть женщинъ, „много было разныхъ“. И оставлялъ онъ ихъ не потому, чтобы узы любви сами собою обрывались съ той или другой стороны, и не потому, чтобы манила новая любовь, а въ силу того же мистическаго внутренняго приказа, какой и chemineau не давалъ усѣсться. Разница однако въ томъ, что герои г. Горькаго порываютъ узы любви безъ колебаній и безъ „sanglots“. Самый чувствительный изъ нихъ, Коноваловъ, только впадаетъ при разставаніи въ нѣкоторую грусть и меланхолію, но и то потому, что ему, при его чувствительности, жалко покидаемую, жалко *ея* горя и слезъ, а самъ онъ нимало не колеблется въ выборѣ между домашнимъ очагомъ и бродяжничествомъ. Былъ у Коновалова романъ съ богатой купчихой Вѣрой Михайловной, прекраснѣйшей женщиной; все шло прекрасно, шло бы и дальше такъ же хорошо, „кабы не планета моя“,—говоритъ Коноваловъ:—„все-таки

ушелъ отъ нея—потому тоска! тянетъ меня куда-то". Въ другой разъ Коноваловъ, по той же чувствительности своего сердца, помогъ одной проституткѣ выбраться изъ публичнаго дома. Но когда дѣвушка поняла это въ такомъ смыслѣ, что онъ возьметъ ее жить съ нимъ „въ родѣ жены", то, при всемъ своемъ къ ней расположеніи, Коноваловъ даже испугался: „я есть бродяга и не могу на одномъ мѣстѣ жить". Но Коноваловъ все-таки хоть грустить при разставаньи. А вотъ какъ утѣшаетъ свою возлюбленную Кузька-Косякъ, уходя—безъ какой-нибудь особенной надобности—на Кубань: „Э, Мотря! Многія меня ужъ любили, со всѣми я распрощался, и ничего себѣ—повыходили замужъ да позакисли въ работѣ! Встрѣтишь иной разъ, посмотришь—своимъ глазамъ вѣры нѣтъ! Да развѣ это онѣ—тѣ самыя, которыхъ я цѣловалъ да миловалъ? Ну-ну! Одна другой вѣдьмистѣй. Нѣтъ ужъ, Мотря, не мнѣ на роду писано жениться, да, дурашка, не мнѣ. Волю мою ни на какую жену, ни на какія хаты не смѣняю... На одномъ мѣстѣ скучно мнѣ". (I, 279—280). Случайно подслушавшій этотъ разговоръ хозяинъ Кузьмы, мельникъ Тихонъ Павловичъ,—объ которомъ у насъ еще будетъ рѣчь,—говоритъ ему, что нехорошо онъ съ дѣвками поступаетъ: „ежели, къ примѣру, ребенокъ? бывало вѣдь, а?"—„Чай, бывало; кто ихъ знаетъ",—отвѣчаетъ Кузьма и на дальнѣйшія замѣчанія мельника о „грѣхѣ" возражаетъ: „Да вѣдь ребята-то, поди-ка, однимъ порядкомъ родятся, что отъ мужа, что отъ прохожаго". Мельникъ напоминаетъ о разницѣ въ данномъ случаѣ между положеніемъ мужчины и положеніемъ женщины, и Кузьма на это уже не даетъ прямого отвѣта, а „серьезно и сухо" говоритъ: „Коли покрѣпче подумать, такъ выходитъ, что какъ ни живи, все грѣшно! И такъ грѣшно, и вотъ этакъ грѣшно. Сказалъ—грѣшно, промолчалъ—грѣшно, сдѣлалъ—грѣшно, и не сдѣлалъ—грѣшно. Рази тутъ разберешь? Въ монастырь, что ли, итти? Чай, неохота".—Легкая, веселая твоя жизнь,—замѣчаетъ съ нѣкоторою смѣсью зависти и уваженія мельникъ... (I, 283).

Такую же легкую и веселую жизнь ведутъ и нѣкоторыя героини г. Горькаго. Старуха Изергиль разсказываетъ, „какъ она любила". Ей было пятнадцать лѣтъ, когда она сошлась съ какимъ-то черноусымъ „рыбакомъ съ Прута", но онъ ей скоро надоѣлъ, и она ушла съ рыжимъ бродягой-гуцуломъ; гуцула повѣсили (за что Изергиль сожгла хуторъ доносчика); она полюбила не молодого уже турка и жила у него въ гаремѣ, изъ котораго убѣжала съ сыномъ турка; затѣмъ слѣдовали полякъ, венгерецъ, опять полякъ, еще полякъ, молдаванинъ... Мальва, героиня разсказа, озаглавленнаго ея именемъ, живетъ съ рыбакомъ Василіемъ, заигрываетъ и кокетничаетъ съ его сыномъ Яковомъ и, наконецъ, перессоривъ отца съ сыномъ, сходится съ удалымъ забулдыгой Сережкой, съ которымъ, судя по нѣкоторымъ признакамъ, и раньше была одно время близка...

Мальва—фигура чрезвычайно любопытная, и намъ тѣмъ болѣе надо на ней остановиться, что едва ли не во всѣхъ женщинахъ г. Горькаго есть, такъ или иначе, немножко Мальвы. Это тотъ самый женскій типъ, который мелькалъ передъ Достоевскимъ въ теченіе чуть не всей его жизни: сложный типъ, тоже находящійся ienseits von gut und böse, такъ какъ къ нему рѣшительно непримѣнимы обычныя понятія о добромъ и зломъ—одна изъ варьяцій на сочетаніе двухъ знаменитыхъ тезисовъ Достоевскаго: „человѣкъ деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ“, „человѣкъ до страсти любитъ страданіе“. Мужскія варьяціи на эту тему, какъ бы ни были онѣ исключительны и болѣзненны, часто поражаютъ у Достоевскаго своей яркостью и силой, но женскія—въ „Игрокѣ“, въ „Идіотѣ“, въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“—рѣшительно ему не удавались. Всѣ эти Полины, Грушеньки, Настасьи Филипповны и проч. оставляютъ васъ въ какомъ-то недоумѣніи, хотя Достоевскій сводитъ иногда даже по двѣ представительницы этого загадочнаго типа (Настасья Филипповна и княжна Аглая въ „Идіотѣ“, Грушенька и Катерина Ивановна въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“). Вы только чувствуете, что у автора былъ какой-то сложный замыселъ, съ которымъ однако не справился его жестокій талантъ. И недаромъ наша критика, много занимавшаяся женскими типами Тургенева, Гончарова, Толстого, Островскаго, обходила молчаніемъ женщинъ Достоевскаго: это въ художественномъ смыслѣ наименѣе интересный пунктъ его мрачнаго творчества. Мальва г. Горькаго принадлежитъ къ этому же типу, но она яснѣе, понятнѣе загадочныхъ женщинъ Достоевскаго. Я, конечно, далекъ отъ мысли сравнивать изобразительную силу г. Горькаго съ мощью одного изъ истинно-великихъ художниковъ, и дѣло здѣсь не въ силѣ г. Горькаго, а въ той грубой и сравнительно простой средѣ, въ которой выросла и живетъ его Мальва и благодаря которой ея психологія элементарнѣе, яснѣе, сохраняя, однако, тѣ же типическія черты, которыя тщетно старался уловить Достоевскій.

Одинъ русскій философъ раздѣлялъ женщинъ на „змѣистыхъ“ и „коровистыхъ.“ Въ этой не лишенной остроумія юмористической классификаціи Мальвѣ нѣтъ мѣста (какъ, впрочемъ, и многимъ другимъ женскимъ типамъ). О сходствѣ съ коровой не можетъ быть и рѣчи: для этого Мальва слишкомъ жива, гибка и изворотлива, да и нѣтъ на ней той всегдашней печати материнства, которая лежитъ на коровѣ. Со змѣей же мы привыкли соединять представленіе о чемъ-то красивомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣнно злобномъ. А Мальва вовсе не неизмѣнно злобная женщина, да и вообще въ ней нѣтъ ничего неизмѣннаго. Вся она состоитъ изъ переливовъ одного настроенія или чувства въ другое, часто противоположное, но быстро преходящее, причемъ сама она не могла бы не только опредѣлить причины этихъ переливовъ, но даже указать ихъ границы, моменты перехода одного настроенія или чувства

въ другое. И если нужно искать для нея зоологичесоой параллели, которая бы выпуклѣе представила ея основныя черты, я сказалъ бы, что она, какъ и загадочныя героини Достоевскаго, напоминаетъ собой кошку. Та же привлекательность, объясняющаяся сочетаніемъ силы и мягкости (собственно Мальва, циничная и грязная, привлекательна только для героевъ г. Горькаго и въ людяхъ съ болѣе тонкими требованіями вызвала бы, конечно, совсѣмъ иныя чувства; но я говорю о типѣ, оставляя пока въ сторонѣ спеціально босяцкія черты); та же лукавая изворотливость и ловкость, та же самостоятельность и всегдашняя готовность къ самозащитѣ иногда бѣгствомъ, но иногда открытымъ и упорнымъ сопротивленіемъ, переходящимъ и въ наступленіе; та же игривая ласковость и нѣжность, незамѣтно переливающаяся въ озлобленіе, съ которымъ кошка, играючи, придерживаетъ ласкающую ее руку передними лапами, а задними царапаетъ и зубами грызетъ; ради этой смѣси ощущеній она, какъ и кошка, сама вызываетъ извѣстную примѣсь жестокости, и даже до боли, къ ласкѣ. . .

Я вспоминаю, что Гейне поставилъ въ преддверіи своей „Книги пѣсенъ“ женскаго сфинкса,—существо съ женской головой и грудью и съ львинымъ туловищемъ и львиными, то есть преувеличенными кошачьими когтями. И этотъ сфинксъ въ одно и то же время счастливитъ и мучитъ поэта, ласкаетъ и терзаетъ когтями:

Umschlang sie mich, meinen armen Leib
Mit den Löwentatzen zerfleischend.
Entzückende Marter und wonniges Weh,
Der Schmerz wie die Lust unermesslich!
Die weilen des Mundes Kuss mich beglückt,
Verwunden die Tatzen mich grässlich... *)

Читатель, который, можетъ быть, только что возмутился не только вышеприведеннымъ юмористическимъ раздѣленіемъ женщинъ на змѣистыхъ и коровистыхъ, но и моимъ уподобленіемъ извѣстнаго человѣческаго типа кошкѣ, теперь, пожалуй, подумаетъ: съ какой стати подниматься въ высоты Гейневской поэзіи по поводу какой-то отверженной, грубой Мальвы? Не слишкомъ ли это много чести для нея? Можетъ ли она сама ощущать и въ другихъ возбуждать тѣ тонкіе оттѣнки сложныхъ душевныхъ движеній, которые описаны Гейне? Я думаю однако, что читатель не сказалъ бы этого, еслибы у насъ шла рѣчь о Грушенькѣ

*) Въ переводѣ М. Л. Михайлова:

Вотъ замерла—и меня обняла,
Когти мнѣ въ тѣло вонзая.
Сладкая мука! блаженная боль!
Нѣга и скорбь безъ предѣла!
Райскимъ блаженствомъ поитъ поцѣлуй,
Когти терзаютъ мнѣ тѣло.

„Братьевъ Карамазовыхъ“ или Настасьѣ Филипповнѣ „Идіота“, а между тѣмъ фактически вѣдь это продажныя женщины, хотя имъ и доступны высшія колебанія и тяготѣнія. Но всякому своя слеза солона. Да и наконецъ, повторяю, не объ Мальвѣ собственно въ эту минуту и рѣчь. Несмотря на грязь, въ которой она купается, въ ней живутъ нѣкоторыя черты душевной жизни, которыми занимались люди высокаго ума и сильнаго художественнаго дарованія, но которыя доселѣ мало изучены и недостаточно ясны. Черты эти сводятся главнымъ образомъ къ неопредѣленности границъ между наслажденіемъ и страданіемъ, которыя мы привыкли рѣзко противопоставлять одно другому, вслѣдствіе чего вкладываемъ слишкомъ абсолютный смыслъ въ ходячее положеніе: человѣкъ ищетъ наслажденія и бѣжитъ страданія. Мрачный геній Достоевскаго стремился вывернуть этотъ афоризмъ на изнанку, придавая ему въ этомъ вывороченномъ видѣ столь же безусловный смыслъ. Это ему не удалось, конечно, но и многими своими образами и картинами, и своимъ собственнымъ примѣромъ, характеромъ своего творчества, онъ далъ блестящія иллюстраціи той entzückende Marter и того wonniges Weh, той смѣси страданія и наслажденія, которая несомнѣнно существуетъ. Вопросъ это слишкомъ обширный и сложный, чтобы трактовать его въ замѣткахъ объ очеркахъ и разсказахъ г. Максима Горькаго, и мы подойдемъ теперь прямо къ Мальвѣ. Въ талантѣ г. Горькаго нѣтъ ни силы, ни жестокости, ни безстрашія Достоевскаго, но зато онъ вводитъ насъ въ среду, гдѣ не стѣсняются въ словахъ и жестахъ, поютъ откровенныя пѣсни, ругаются крѣпкими словами, походя дерутся и гдѣ поэтому извѣстныя душевныя движенія получаютъ осязательное, почти животное выраженіе.

Мальва живетъ съ рыбакомъ Василіемъ. Василій—пожилой мужикъ, покинувшій для заработковъ пять лѣтъ тому назадъ деревню, гдѣ у него остались жена и дѣти. Живетъ онъ съ Мальвой весело, но внезапно является къ нимъ его сынъ, Яковъ, взрослый уже парень, съ которымъ Мальва тотчасъ же начинаетъ заигрывать. Дѣлаетъ она это, не только не стѣсняясь присутствіемъ своего любовника, но еще поддразнивая его, и разговоръ кончается тѣмъ, что Василій ее жестоко бьетъ.

„Она, не охнувъ, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ея зеленые глаза смотрѣли на него изъ-подъ рѣсницъ и горѣли холодной грозной ненавистью. Но онъ, отдуваясь отъ возбужденія и пріятно удовлетворенный исходомъ своей злобы, не видалъ ея взгляда, а когда съ торжествомъ и презрѣніемъ взглянулъ на нее,—она тихонько улыбалась. Сначала чуть-чуть дрогнули ея полныя губы, потомъ вспыхнули глаза, на щекахъ ея явились ямки, и она засмѣялась“. (III, 31). Затѣмъ Мальва ластится къ Василію, увѣряетъ его, что она довольна его побоями, а что дразнила его,—

„такъ вѣдь это я нарочно... пытала тебя,—и, успокоительно усмѣхнувшись, она прижалась къ нему плечомъ. А онъ покосился на сторону шалаша (гдѣ оставался сынъ) и обнялъ ее.—Эхъ ты... пытала! Чего пытать? Вотъ и допыталась.—Ничего, увѣренно сказала Мальва, щуря глаза. Я не сержусь... вѣдь любя побилъ? А я тебѣ за это заплачу... Она въ упоръ посмотрѣла на него, вздрогнула и, понизивъ голосъ, повторила: ахъ, какъ заплачу!“ (Ш, 32).

Простодушный Василій видитъ въ этомъ обѣщаніи нѣчто для себя пріятное, но читатель можетъ догадываться, что Мальва затаила злобу и месть. Мальва и дѣйствительно дѣлаетъ большую непріятность Василію: ссоритъ его съ сыномъ и доводитъ дѣло до того, что онъ уходитъ домой, въ деревню. Но планъ этотъ она задумываетъ уже позже, по совѣту забулдыги Сережки, а передъ тѣмъ у нея происходитъ съ этимъ Сережкой такой разговоръ. Она сообщила Сережкѣ, что ее прибилъ Василій; Сережка подивился,—какъ это она далась. „Кабы захотѣла, не далась бы,—возразила она съ сердцемъ.—Такъ что же ты?—Не захотѣла.—Крѣпко, значитъ, любишь сѣдого кота?—насмѣшливо сказалъ Сережка и обдалъ ее дымомъ своей папиросы.—Ну, дѣла! а я было думалъ, что ты не изъ такихъ.—Никого я васъ не люблю,—снова уже равнодушно говорила она, отмахиваясь рукой отъ дыма.—Врешь, подика?—Для чего мнѣ врать?—спросила она, и по ея голосу Сережка понялъ, что врать ей, дѣйствительно, не для чего.—А ежели ты его не любишь, какъ же ты ему позволяешь бить тебя?—серьезно спросилъ онъ.—Да развѣ я знаю? Чего ты пристаешь?“ (Ш, 61).

Герои г. Горькаго вообще много дерутся, часто и бабъ своихъ бьютъ. Самые умѣренные изъ нихъ въ этомъ отношеніи совѣтуютъ: „никогда не слѣдуетъ бить беременныхъ женщинъ по животу, по груди и бокамъ... бей по шеѣ или возьми веревку и по мягкимъ мѣстамъ“. (П, 185). И бабы не всегда протестуютъ противъ этихъ правилъ. Жена Орлова говоритъ мужу: „очень ужъ ты по животу и по бокамъ больно бьешь... хоть бы ногами-то не билъ“. (П, 92). Бываетъ, однако, и такъ, что прекрасный полъ переходитъ въ наступленіе. Въ числѣ „бывшихъ людей“ есть старикъ Симцовъ, необыкновенно счастливый на амурныя похожденія: онъ „всегда имѣлъ двухъ-трехъ любовницъ изъ проститутокъ, содержавшихъ его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Онѣ часто били его, но онъ относился къ этому стоически: сильно избить его онѣ почему-то не могли—можетъ быть, жалѣючи“ (П, 199). Но кто бы кого ни билъ у г. Горькаго,—мужчина женщину или женщина мужчину,—а эти физическія упражненія и сопровождающія ихъ озлобленіе, обида, страданіе, боль такъ или иначе оказываются въ какой-то связи съ лаской, любовью, наслажденіемъ. И, читая описанія этихъ битвъ, поневолѣ вспомнишь героя „Записокъ изъ подполья“ Достоевскаго и его изреченія: „Иная сама, чѣмъ

больше любитъ, тѣмъ больше ссоры съ мужемъ завариваетъ: такъ, вотъ, люблю, дескать, очень и изъ любви тебя мучаю, а ты чувствуй. . ." „Знаешь ли, что изъ любви нарочно человѣка мучить можно". Или: „Любовь-то и состоитъ въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать". Оттого-то „Игрокъ" и Полина, какъ и многія другія пары Достоевскаго, никакъ не могутъ разобраться—любятъ они другъ друга или ненавидятъ, какъ не знаетъ и Мальва, любитъ она или ненавидитъ Василія. Но у Достоевскаго люди „тиранствуютъ" и „мучатъ" другъ друга утонченно, при помощи разныхъ кусательныхъ словъ, мучительнаго давленія на воображеніе и проч., а здѣсь у г. Горькаго,—просто дерутся. Эта грубая форма не только, однако, не мѣшаетъ проявленіямъ того-же переплета наслажденія со страданіемъ, но даже особенно ярко подчеркиваетъ его. Не одна Мальва додразниваетъ мужа или любовника до драки, за которою слѣдуютъ нѣжныя ласки. Вотъ и Матрена, жена Орлова („Супруги Орловы"): „Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе, возбуждая всю ея душу, и она, вмѣсто того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще болѣе подзадоривала его, улыбаясь ему въ лицо странными улыбками. Онъ бѣсился и билъ ее, безпощадно билъ". А потомъ, когда злоба, достаточно насыщенная, утихала въ немъ, и его брало раскаяніе, онъ пробовалъ заговаривать съ женой и допытываться,—зачѣмъ она его дразнила. „Она молчала, но она знала зачѣмъ, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидаютъ его ласки, страстныя и нѣжныя ласки примиренія. За это она готова была ежедневно платить болью въ избитыхъ бокахъ. И она плакала уже отъ одной только радости ожиданія, прежде чѣмъ мужъ успѣвалъ прикоснуться къ ней" (II, 93, 94).

Сюда же относятся слѣдующіе, напримѣръ, случаи. Когда Коноваловъ объявилъ своей любовницѣ, Вѣрѣ Михайловнѣ, что онъ больше съ ней жить не можетъ, потому что его „тянетъ куда-то", она сначала стала кричать, ругаться, потомъ примирилась съ его рѣшеніемъ, а на прощанье—разсказываетъ Коноваловъ—„обнажила мнѣ руку по локоть, да какъ вцѣпится зубами въ мясо! Я чуть не заоралъ. Такъ цѣлый кусокъ и выхватила почти. . . недѣли три болѣла рука. Вотъ и сейчасъ знакъ цѣлъ" (II, 12). Старуха Изергиль разсказываетъ про одного изъ своихъ многочисленныхъ любовниковъ: „Былъ онъ такой печальный, ласковый иногда, а иногда, какъ звѣрь, ревѣлъ и дрался. Разъ ударилъ меня въ лицо. А я, какъ кошка, вскочила ему на грудь, да и впилась зубами въ щеку. . . Съ той поры у него на щекѣ стала ямка, и онъ любилъ, когда я цѣловала ее" (I, 116).

Старуха Изергиль называетъ свою жизнь „жадною жизнью“ (I, 123). Буквально то же самое говоритъ въ разсказѣ „На плотахъ“ одно изъ дѣйствующихъ лицъ про Марью: „жадна жить“ (I, 250). Также характеризуется и Мальва и др. Но таковы не только женщины г. Горькаго. И у Челкша „натура жадная на впечатлѣнія“ (I, 79), и Кузька-Косякъ учитъ: „жить надо и такъ, и этакъ,—во всю чтобы“ (I, 281). И т. д. Этимъ объясняется многое. Этимъ прежде всего снимается мистическій покровъ съ внутренняго голоса, предписывающаго неустанное бродяжество. Въ условіяхъ жизни героевъ г. Горькаго вездѣ „тѣсно“, вездѣ „яма“, какъ они безпрестанно, даже нѣсколько надоѣдливо однообразно, повторяютъ. Является желаніе, если не расширить и углубить сферу впечатлѣній, то мѣнять ихъ въ пространствѣ, и даже до того, что хоть хуже, да иначе. А если и это почему-нибудь невозможно, то оказывается необходимость искусственнаго возбужденія. Дается оно, конечно, пьянствомъ, но не однимъ пьянствомъ. Достойна вниманія отмѣтка г. Горькаго о чувствахъ избиваемой жены Орлова: „побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслажденіе, *возбуждая всю ея душу*“. *Вся* душа Матрены Орловой требуетъ работы, хотя бы и мучительной, лишь бы „жить во всю“. Эта потребность всесторонней душевной дѣятельности, покупаемой цѣною примѣси страданія къ наслажденію, интересно иллюстрируется разсказомъ „Тоска“. Это— „страничка изъ жизни одного мельника“.

Мельникъ Тихонъ Павловичъ не босякъ какой-нибудь. Онъ богатъ, пользуется уваженіемъ и почетомъ и наслаждается „ощущеніемъ своей сытости и здоровья“. Но вдругъ онъ съ чего-то загрустилъ: тоска обуяла, скука, совѣсть за разные кулацкіе успѣхи начала угнетать. И Тихонъ Павловичъ сталъ вспоминать, съ какого это времени на него нашло. Былъ онъ въ городѣ и наткнулся на похороны, въ которыхъ его поразила смѣсь бѣдности съ торжественностью: много вѣнковъ, много провожатыхъ. Оказалось, что хоронятъ писателя, и на могилѣ его одинъ изъ провожавшихъ сказалъ рѣчь, которая растревожила Тихона Павлыча. Ораторъ, воздавая хвалу почившему, говорилъ, что онъ былъ не понятъ при жизни, потому что „засыпали мы наши души хламомъ повседневныхъ заботъ и привыкли жить безъ души“ и т. д. Краснорѣчіе ли оратора, особенности ли обстановки похоронъ или еще что-нибудь повліяло, но съ этихъ поръ Тихона Павлыча засосала тоска, тяжелое раздумье о своей „засыпанной хламомъ повседневныхъ заботъ душѣ“. Затѣмъ Тихонъ Павлычъ нечаянно подслушалъ вышеприведенный разговоръ своего работника Кузьки-Косяка съ дѣвушкой Мотрей, и самъ имѣлъ съ Кузькой бесѣду, въ которой старался сохранять видъ „нравоучительный и чинный“, но въ душѣ завидовалъ „легкой жизни“ веселаго собесѣдника. Заговорилъ было Тихонъ Павлычъ съ женой на тему о душѣ, заваленной хламомъ; та посовѣтовала въ церковь что-

нибудь пожертвовать, сироту въ домъ взять, за докторомъ послать; но все это не удовлетворяло мельника. Онъ рѣшилъ ѣхать въ сосѣднее село Ямки къ школьному учителю, который еще недавно обличилъ въ газетѣ одну его кулацкую каверзу. Кузька совѣтуетъ ему иное: „вы бы, хозяинъ, поѣхали до города, да и кутнули тамъ во всю; вотъ вамъ и помогло бы“. Однако, мельникъ даже нѣсколько обижается этимъ совѣтомъ и ѣдетъ къ учителю. Но тотъ, больной и желчный, не можетъ вникнуть въ состояніе души обличеннаго имъ кулака и понять его безсвязныя рѣчи. Мельникъ ѣдетъ въ городъ, безсознательно исполняя совѣтъ босяка Кузьки, и тамъ, въ городѣ, закучиваетъ. Всѣ подробности этой оргіи для насъ не интересны, но нѣкоторыя изъ нихъ надо припомнить.

Грязный трактиръ. Разные пьяные, пропащіе люди. Собираются пѣть, музыка есть—гармоника. И вотъ какъ одинъ изъ компаніи учитъ гармониста: „Нужно начинать съ грусти, чтобы привести душу въ порядокъ, заставить ее прислушаться. . . Она чувствительна къ грусти. . . Понимаете? Вотъ вы ей сейчасъ и закиньте удочку—„Лучинушкой“, къ примѣру, или „Заходило солнце красное“—она и пріостановится, замретъ. А тутъ вы ее хватите съ разу „Чоботами“ или „Во лузяхъ“, да съ дробью, съ пламенемъ, съ плясомъ, чтобы ожгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все въ дѣйствіе. Тутъ ужъ начнется прямо бѣшенство: чего-то хочется и ничего не надо! *Тоска и радость*—такъ все и заиграетъ радугой“. . .—Запѣли. . . Описаніе собственно этого пѣнія (I, 315—320) принадлежитъ къ числу лучшихъ страницъ въ обоихъ томахъ разсказовъ г. Горькаго. Здѣсь нѣтъ и тѣни той фальши и тѣхъ досадныхъ нарушеній мѣры вещей, которыя слишкомъ часто оскорбляютъ и эстетическое чувство читателей, и ихъ требованіе правды. Изъ знакомыхъ мнѣ изображеній эффекта пѣнія съ этими страницами можно поставить рядомъ „Пѣвцовъ“ Тургенева, и за г. Горькаго не стыдно будетъ отъ этого сравненія. И вы понимаете, что пьяный трактиръ дѣйствительно затихъ при звукахъ этой пѣсни и что мельникъ дѣйствительно „давно уже неподвижно сидѣлъ на стулѣ, низко свѣсивъ на грудь голову и жадно вслушиваясь въ звуки пѣсни. Они снова будили въ немъ тоску, но теперь къ ней примѣшивалось что-то ѣдко-сладкое, щекочущее сердце. . . Было что-то жгучее и щиплющее во всѣхъ этихъ ощущеніяхъ—оно было въ каждомъ изъ нихъ и, соединяясь, образовало въ душѣ мельника странную *сладкую боль*, точно большая, давившее его сердце льдина таяла, распадаясь на куски, и они кололи его тамъ, внутри“. (I, 318).

„Сладкая боль“!—вѣдь это буквально гейневскія entzückende Marter и wonniges Weh („сладкая мука, блаженная боль“ въ переводѣ М. Л. Михайлова). Она одновременно счастливитъ и мучитъ мельника, и это состояніе онъ старается выразить отрывистыми восклицаніями: „Братцы! Больше не могу! Христа ради, больше не могу!“

„Душу мою пронзили! Будетъ—тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце, то есть часу у меня такого не было еще въ жизни!“ „Тронули вы мнѣ душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя—ахъ, какъ! Въ огонь бы полѣзъ“. (I, 319, 320).

Послѣ четырехъ дней безобразнаго кутежа Тихонъ Павловичъ возвращается домой мрачный, недовольный. Авторъ въ эту именно минуту покидаетъ его, не сообщая ничего о его дальнѣйшей судьбѣ, но можно догадываться, что, вернувшись домой, онъ вернулся и къ прежнему образу жизни, лишь изрѣдка вспоминая мгновенья мучительно-сладкихъ ощущеній, пережитыхъ имъ по рецепту босяка Кузьки. . .

Таковы окольные пути, которыми „жадные жить“ герои г. Горькаго добываютъ нужныя имъ полноту и разнообразіе впечатлѣній. Пути эти, очевидно, должны быть поставлены отдѣльно отъ пьянства, хотя и соприкасаются съ нимъ,—Матрена Орлова не въ пьяномъ видѣ додразниваетъ своего мужа до взаимнаго озлобленія, въ которомъ находитъ однако источникъ нѣкоторой „сладкой боли“. Но и самое пьянство этихъ людей, помимо его скотски-грубыхъ проявленій, можетъ получить то объясненіе, которое Тургеневъ влагаетъ въ уста Веретьеву въ „Затишьѣ“: „Посмотрите-ка вонъ на эту ласточку. . . Видите, какъ она смѣло распоряжается своимъ маленькимъ тѣломъ, куда хочетъ, туда и броситъ! Вонъ взвилась, вонъ ударилась книзу, даже взвигнула отъ радости, слышите? Такъ вотъ я для чего пью,—чтобы испытать тѣ самыя ощущенія, которыя испытываетъ эта ласточка. Швыряй себя, куда хочешь; несись, куда вздумается“. . .

Пойдемъ дальше. Чтобы „швырять себя, куда хочешь, и нестись, куда вздумается“ въ пьяномъ видѣ, то есть мысленно облетать міры фантазіи и дѣятельности, требуется только водка. Но чтобы реально шагать съ мѣста на мѣсто по всей землѣ, какъ этого хотятъ герои г. Горькаго, нужна свобода. Не свобода передвиженія только, засвидѣтельствованная законнымъ документомъ, подлежащими властями выданнымъ, а свобода отъ всякихъ постоянныхъ обязанностей, отъ всякихъ узъ, налагаемыхъ существующими общественными отношеніями, происхожденіемъ, принадлежностью къ извѣстной группѣ, законами, обычаями, предразсудками, правилами общепринятой морали и т. д. Мы и видимъ, что герои г. Горькаго всѣ отличаются свободолюбіемъ въ этомъ широчайшемъ, безграничномъ смыслѣ. Макаръ Чудра объявляетъ рабомъ всякаго, кто не бродитъ по землѣ куда глаза глядятъ, а усаживается на мѣстѣ и такъ или иначе пускаетъ корни: такой человѣкъ „рабъ, какъ только родился и во всю жизнь рабъ“. Для „жаднаго на впечатлѣнія“ Челкаша Гаврила есть „жадный рабъ“, и Челкашу обидно, что этотъ рабъ смѣетъ по-своему „любить свободу, которой не знаетъ цѣны и которая ему не нужна“. Значитъ, есть жадность и жадность. Жадный Гаврила, набравъ денегъ, зароется въ свою деревенскую „яму“, а жадный Челкашъ

сейчасъ же размѣняетъ эти деньги на острыя и разнообразныя впечатлѣнія сѣвера и юга, востока и запада. На всякаго рода границы, какъ географическія, такъ и моральныя, реальныя и идеальныя, эти отверженные или, вѣрнѣе, какъ я уже говорилъ, отвергнувшіе смотрятъ сверху внизъ, съ высоты своего „жаднаго жить" *я*, какъ на нѣчто, урѣзывающее это *я* до непереносимости. Правда, нѣкоторые изъ нихъ иногда съ грустью и даже съ умиленіемъ вспоминаютъ о своемъ прошломъ, когда они еще входили въ составъ того или другого опредѣленнаго общественнаго цѣлаго и сознательно или безсознательно подчинялись его распорядкамъ, но это настроеніе посѣщаетъ ихъ рѣдко и не надолго, и вернуться къ прошлому они все равно не хотятъ и не могутъ. Въ настоящемъ ихъ ничто не объединяетъ въ какое-нибудь прочное, постоянное цѣлое. „Народъ . . . онъ огромный, но я ему чужой и онъ мнѣ чужой. . . Вотъ въ чемъ трагедія моей жизни"—говоритъ „учитель" въ „Бывшихъ людяхъ" (II, 173). Образцы отношеній къ другимъ общественнымъ узамъ мы уже въ прошлый разъ видѣли и дальше опять встрѣтимъ. Для однихъ изъ этого проистекаетъ трагедія, для другихъ комедія или даже водевиль, какъ для Кузьки-Косяка, но это дѣло темперамента, и суть отношеній отъ этого не измѣняется.

Иные изъ героевъ г. Горькаго временами какъ будто „грядущаго града взыскуютъ", но это только разговоры, одна словесность, притомъ нисколько для нихъ не характерная. Гораздо болѣе свойственные имъ идеалы и мечты сводятся, какъ мы видѣли, къ полному отчужденію отъ людей, полному отсутствію „града" въ смыслѣ какого бы то ни было общежитія, или къ совершенно особому виду отношеній, объ которомъ сейчасъ поговоримъ подробнѣе, или же, наконецъ, къ планамъ всеобщаго разрушенія. Замѣчательно однообразіе, съ которымъ (какъ и многое другое) высказываютъ эти планы люди г. Горькаго, въ другихъ отношеніяхъ, казалось бы, очень различные. Такъ,—мы видѣли,—Мальва „избила бы весь народъ, и потомъ себя страшною смертью". Такъ Орловъ мечтаетъ „отличиться на чемъ-нибудь", хотя бы даже раздробить всю землю въ пыль", „вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты и потомъ внизъ тормашками—и въ дребезги!" А вотъ еще Аристидъ Кувалда: „Мнѣ—говоритъ онъ—было бы пріятно, если бъ земля вдругъ вспыхнула и сгорѣла или разорвалась бы въ дребезги. Лишь бы я погибъ послѣдній, посмотрѣвъ сначала на другихъ". (II, 198). Погибнуть, совершивъ нѣчто большое, огромное, грозное, не справляясь съ существующей моральной оцѣнкой или даже вопреки ей,—такова мечта.

Но, кромѣ житія на манеръ Робинзона (причемъ и Пятницы не надо и его можно за ненадобностью убить) и плановъ всеобщаго разрушенія, у героевъ г. Горькаго есть и еще одна мечта, быть можетъ, самая интересная. Они „жадны жить", для чего имъ нужна безгранич-

ная свобода, и никому и ничему они не согласны подчиняться. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы каждый изъ нихъ въ отдѣльности не хотѣлъ и другихъ подчинять. Напротивъ, въ подчиненіи и порабощеніи другихъ они находятъ особое наслажденіе. Челкашъ „наслаждался, чувствуя себя господиномъ другого"—Гаврилы. Онъ „наслаждался страхомъ парня и тѣмъ, что вотъ какой онъ, Челкашъ, грозный человѣкъ". Онъ „наслаждался своей силой, которой онъ поработилъ этого молодого, свѣжаго парня". Оттого то и Орловъ мечтаетъ „встать выше всѣхъ людей", и сдѣлать имъ всѣмъ огромную пакость. Но встать выше людей можно не только пакостью, а и благодѣяніемъ. И тотъ же Орловъ одно время былъ одолѣваемъ „жаждою безкорыстнаго подвига",—вотъ по какимъ мотивамъ: „Онъ чувствовалъ себя человѣкомъ особыхъ свойствъ. И въ немъ забилось желаніе сдѣлать что-то такое, что обратило бы на него вниманіе всѣхъ, всѣхъ поразило бы и заставило убѣдиться въ его правѣ на самочувствіе". (II, 125). Поневолѣ опять и опять вспомнишь Достоевскаго съ его Ставрогинымъ, который не зналъ разницы между величайшимъ подвигомъ самоотверженія и какимъ-нибудь звѣрскимъ дѣломъ, и съ его многочисленными иллюстраціями наслажденія властью, мучительствомъ, тиранствомъ. Жажда благороднаго подвига сказалась въ Орловѣ, когда онъ, вмѣстѣ съ Матреной, поступилъ на службу въ холерную больницу. Но и тамъ ему скоро показалось „тѣсно", и это мѣсто болѣзни, печали и вздыханія, поманившее его радостью любовнаго труда, оказалось „ямой". Въ кратковременный же періодъ увлеченія мечтой о подвигѣ онъ разсуждалъ, напримѣръ, такъ: „То есть, если бы эта холера да преобразилась въ человѣка... въ богатыря... хоть въ самого Илью Муромца,—сцѣпился бы я съ ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орловъ, сила,—ну, кто кого? И придушилъ бы я ее и самъ бы легъ... Крестъ надо мной въ полѣ и надпись: „Григорій Андреевъ Орловъ. Спасъ Россію отъ холеры". Больше ничего не надо".—Но когда ему показалось „тѣсно", онъ опять принялся за Матрену, постоянно переходя отъ страстныхъ ласкъ къ жестокой дракѣ. Однажды, напримѣръ, онъ было „поддался" женѣ,—покорно выслушалъ ея упреки и призналъ, что нехорошо дѣлаетъ, что дерется. Но на другой же день раскаялся въ этомъ душевномъ движеніи и „пришелъ съ опредѣленнымъ намѣреніемъ побѣдить жену. Вчера, во время столкновенія, она была сильнѣе его, онъ это чувствовалъ и это унижало его въ своихъ глазахъ. Непремѣнно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему; онъ не понималъ, почему, но твердо зналъ—нужно". (II, 143).

Подобныя же черты читатель найдетъ и въ другихъ герояхъ и героиняхъ г. Горькаго. И, какъ бы проникаясь этимъ настроеніемъ своихъ созданій, самъ авторъ отъ себя кладетъ въ одномъ мѣстѣ слѣдующую психологическую резолюцію: „Какъ бы низко ни палъ человѣкъ,

онъ никогда не откажетъ себѣ въ наслажденіи почувствовать себя сильнѣе, умнѣе, хотя бы даже сытѣе своего ближняго" (II, 178).

Я написалъ: „*какъ бы* проникаясь настроеніемъ своихъ созданій". Въ дѣйствительности можетъ быть совершенно наоборотъ: не авторъ, увлеченный самымъ процессомъ творчества, проникается настроеніемъ своихъ персонажей, а, напротивъ, авторъ творитъ людей по своему образу и подобію, вкладывая въ нихъ нѣчто свое, задушевное. Во всякомъ случаѣ только что приведенная авторская резолюція показываетъ, что, какъ бы мы тщательно ни всматривались въ босяковъ г. Горькаго, мы ихъ не поймемъ и въ частности не оцѣнимъ степени ихъ подлинности, пока не приглядимся къ самому г. Горькому.

До сихъ поръ мы видѣли босяковъ, можетъ быть, и подкрашенныхъ, но во всякомъ случаѣ реальныхъ. Но въ собраніи очерковъ и разсказовъ г. Горькаго есть и такіе, въ которыхъ изображаются босяки, такъ сказать, отвлеченные, очищенные или даже иносказательные, аллегоріи и символы босячества. Таковы въ первомъ томѣ „Пѣсня о соколѣ" и то, что Макаръ Чудра разсказываетъ про Лойка Зобара и Радду, а во второмъ—разсказъ „О чижѣ, который лгалъ, и о дятлѣ любителѣ истины" и то, что старуха Изергиль разсказываетъ про Данка. Герои этихъ разсказовъ—существа фантастическія или полуфантастическія—столь же вольнолюбивы и жадны жить, какъ и заправскіе босяки въ освѣщеніи г. Горькаго, но совершенно чужды другой стороны реальной босяцкой жизни,—міра тюремъ, кабаковъ и домовъ терпимости. Понятно, какой интересъ представляютъ эти отвлеченныя фантастическія существа для уразумѣнія точки зрѣнія автора. Та скорбь и то отвращеніе, которыя онъ часто не можетъ сдержать при описаніи пьянства, грубости, цинизма, дракъ реальныхъ босяковъ, при этомъ естественно отпадаютъ, и мы можемъ разсчитывать получить въ чистомъ видѣ то, что поднимаетъ отверженцевъ надъ общимъ уровнемъ, какъ въ ихъ собственныхъ глазахъ, такъ и въ глазахъ автора.

Начнемъ съ разсказа Макара Чудра про Лойка Зобара и Радду. Это разсказываетъ старый цыганъ о молодыхъ цыганѣ и цыганкѣ, и разсказъ его блещетъ роскошью восточныхъ красокъ, гиперболическихъ сравненій, сказочныхъ подробностей, но я долженъ признаться, что онъ производитъ на меня впечатлѣніе неудачной поддѣлки. Дѣло, впрочемъ, теперь не въ этомъ. Зобаръ—красавецъ писаный, притомъ смѣлъ, уменъ, силенъ, вдобавокъ поетъ и играетъ на скрипкѣ такъ, что когда въ таборѣ, къ которому принадлежала Радда, въ первый разъ услыхали, еще издали, его музыку, то произошло слѣдующее: „Всѣмъ намъ,—разсказываетъ Чудра,—мы чуяли, отъ той музыки захотѣлось чего-то такого, послѣ чего и *жить ужъ не нужно было* или, коли жить,

такъ *царями надъ всей землей*". Характерно уже это „или—или": или ничто, небытіе, или вершина вершинъ. Но Макаръ Чудра можетъ испытывать это настроеніе во всей полнотѣ только въ минуты экстаза, вызваннаго чудодѣйственною музыкой. Другое дѣло Зобаръ. И Радда ему подъ пару: она тоже писаная красавица, тоже умна, сильна, смѣла. Естественное дѣло, что когда судьба сталкиваетъ молодого человѣка и молодую дѣвушку такихъ исключительныхъ и многоразличныхъ достоинствъ,—между ними возгорается любовь со всѣмъ радужнымъ блескомъ страсти и нѣжности. Зобаръ и Радда дѣйствительно полюбили другъ друга, но, какъ и у реальныхъ босяковъ г. Горькаго, любовь ихъ до боли колюча,—даже до смерти. Радда—та же Мальва, только поднятая на нѣкоторую поэтическую высоту. Отношенія начинаются съ того, что Зобаръ, привыкшій „играть съ дѣвушками, какъ кречетъ съ утками", получаетъ отъ Радды жесткій и язвительный отпоръ. Она зло издѣвается надъ нимъ, но онъ или провидитъ подъ этимъ издѣвательствомъ нѣчто иное, или ужъ очень въ себѣ увѣренъ, а только, при всемъ честномъ народѣ, обращается къ ней съ такой рѣчью: „Много я вашей сестры видѣлъ, эге много! А ни одна не тронула моего сердца такъ, какъ ты. Эхъ, Радда, полонила ты мою душу! Ну, что же? Чему быть, такъ то будетъ, и нѣтъ такого коня, на которомъ отъ самого себя ускакать можно бы было. Беру тебя въ жены передъ Богомъ, своей честью, твоимъ отцомъ и всѣми этими людьми. Но смотри, волѣ моей не перечь, я всетаки свободный человѣкъ и буду жить такъ, какъ я хочу!" И съ этими словами подошелъ къ Раддѣ, „стиснувъ зубы и сверкая глазами". Но Радда вмѣсто отвѣта свалила его на земь, ловко захлестнувъ ему за ноги ременное кнутовище, а сама смѣется. Зобаръ, пристыженный и огорченный, ушелъ въ степь и тамъ замеръ въ мрачномъ раздумьи. Черезъ нѣсколько времени къ нему подошла Радда. Онъ схватился было за ножъ, но она пригрозила разбить ему голову пистолетной пулей и затѣмъ объяснилась въ любви; однако, говоритъ, „волю-то я, Лойко, люблю больше тебя; а безъ тебя мнѣ не жить, какъ не жить и тебѣ безъ меня; такъ вотъ я хочу, чтобъ ты былъ моимъ и душой и тѣломъ". „Все равно, какъ ты ни вертись, я тебя одолѣю"— продолжаетъ она и требуетъ, чтобы онъ завтра же „покорился" и выразилъ эту покорность внѣшними знаками: публично, передъ всѣмъ таборомъ поклонился бы ей въ ноги и поцѣловалъ ей руку. Зобаръ на другой день является и держитъ передъ таборомъ рѣчь, въ которой объясняетъ, что Радда любитъ свою волю больше, чѣмъ его, а онъ, напротивъ, любитъ Радду больше, чѣмъ волю, и потому согласенъ на поставленныя ею условія, но—говоритъ—„остается попробовать, такое ли у Радды моей крѣпкое сердце, какимъ она мнѣ его показывала". Съ этими словами онъ вонзаетъ ножъ въ сердце Радды, и она умираетъ, „улыбаясь и говоря громко и внятно:—Прощай, богатырь Лойко

Зобаръ! Я знала, что ты такъ сдѣлаешь". Выходитъ затѣмъ отецъ Радды и убиваетъ Зобара, но убиваетъ, такъ сказать, почтительно, какъ уплачиваютъ долгъ уважаемому кредитору.

Такова любовь въ тѣхъ фантастическихъ, такъ сказать, надземныхъ сферахъ, гдѣ герои г. Горькаго являются очищенными отъ всего, чѣмъ грязнитъ ихъ міръ кабаковъ, домовъ терпимости и тюремъ. Пролита кровь, но не въ какой-нибудь пьяной дракѣ и не изъ корыстныхъ видовъ; г. Горькій такъ обставилъ дѣло, что кровь Радды проливается съ ея согласія и она умираетъ „улыбаясь" и воздавая хвалу убійцѣ, а ея отецъ и Зобаръ просто—одинъ отдаетъ, а другой получаетъ долгъ. Зобаръ и Радда жадны жить. Какъ въ королѣ Лирѣ „каждый вершокъ—король", такъ и въ нихъ каждый вершокъ жить хочетъ. Поэтому они хотятъ быть совершенно свободными, а любовь, они чувствуютъ, уже урѣзываетъ эту свободу: „смотрѣлъ я—говоритъ Зобаръ—этой ночью въ свое сердце и не нашелъ мѣста въ немъ старой вольной жизни моей". Если любовь съ ихъ точки зрѣнія и несовсѣмъ совпадаетъ съ опредѣленіемъ героя Достоевскаго („добровольно дарованное отъ любимаго предмета право надъ нимъ тиранствовать"), то во всякомъ случаѣ элементъ господства, преобладанія, власти играетъ въ ней существенную роль. А такъ какъ Зобаръ и Радда равноцѣнны, то задача покоренія оказывается невозможною, и они на этой невозможности погибаютъ. Но они не уклоняются отъ этой гибели и не жалѣютъ о ней.

Не жалѣетъ о своей погибели и соколъ въ „Пѣснѣ о соколѣ". Онъ расшибся, падая съ высоты на камень (а потомъ въ море), но на вопросъ ужа презрительно и гордо отвѣчаетъ: „Да, умираю! .. Я славно пожилъ. . . Я много прожилъ. . . Я храбро бился. . . И видѣлъ небо. Ты не увидишь его такъ близко. . . Эхъ, ты, бѣдняга!" Заинтересованный этими словами, ужъ въ мѣру силъ тоже попробовалъ было подняться къ небу, но „рожденный ползать—летать не можетъ", и ужъ разсуждаетъ: „Такъ вотъ въ чемъ прелесть полетовъ въ небо! Она—въ паденьи. . . Смѣшныя птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, онѣ стремятся высоко въ небо и ищутъ жизни въ пустынѣ знойной. Тамъ только пусто. Тамъ много свѣта, но нѣтъ тамъ пищи и нѣтъ опоры живому тѣлу". И т. д. Однако пѣсня или сказка („Пѣсня о соколѣ" есть будто бы народная крымско-татарская пѣсня-сказка) не согласна съ ужомъ и поетъ хвалу жадному жить, свободному соколу: „О, смѣлый соколъ! Ты, жившій въ небѣ, въ безкрайномъ небѣ, любимецъ солнца! О, смѣлый соколъ, нашедшій въ морѣ, безмѣрномъ морѣ, себѣ могилу! Пускай ты умеръ! Но въ пѣснѣ смѣлыхъ и сильныхъ духомъ всегда ты будешь призывомъ громкимъ къ свободѣ, къ свѣту!"

Чижъ („О чижѣ, который лгалъ, и о дятлѣ—любителѣ истины"), чижъ—не соколъ. Онъ птица маленькая и слабокрылая. Однако у него

хватило силы и смѣлости смутить на нѣкоторое время птицъ своей рощи пѣснями о свободѣ, просторѣ, призывами „впередъ". Но ученый дятелъ скоро отвратилъ отъ него общественное мнѣніе, доказавъ птицамъ, что путь, предлагаемый чижомъ, полонъ опасностей и ни къ чему хорошему привести не можетъ. Бѣдный чижъ, оставленный всѣми, горько задумался: „Я солгалъ, да, я солгалъ, потому что мнѣ неизвѣстно, что тамъ за рощей, но вѣдь вѣрить и надѣяться такъ хорошо! Я же только и хотѣлъ пробудить вѣру и надежду—и вотъ почему я солгалъ. . . Онъ, дятелъ, можетъ быть, и правъ, но на что нужна его правда, когда она камнемъ ложится на крылья и не позволяетъ высоко взлетать въ небеса?" Чижъ предпринялъ ни больше, ни меньше, какъ возбудить въ птицахъ увѣренность, что „мы не должны уставать и должны всегда бороться и все побѣдить, чтобы оправдать самихъ себя въ своихъ глазахъ, чтобы имѣть право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее—это мы, а не слѣпая сила стихій". Онъ былъ тоже жаденъ жить, этотъ маленькій чижъ. Дятелъ же отстаивалъ противоположный тезисъ: „всѣ мы—не болѣе, какъ только крошечные факты, подтверждающіе грандіозный фактъ мудрости и мощи природы, которой мы должны подчиняться, какъ дѣти подчиняются матери". Чижъ былъ жаденъ жить, но слабъ, и не сумѣлъ парировать аргументы дятла, и толпа отхлынула отъ него и оставила его въ мрачномъ одиночествѣ, а авторъ резюмируетъ всю исторію такъ: „Чижъ благороденъ, но не имѣетъ вѣры и поэтому нищъ духомъ; дятелъ благоразуменъ, но пошлъ, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но онѣ въ сущности черствы сердцемъ и мелки-мелки, позорно мелки. . ."

Черствы сердцемъ и мелки, позорно мелки не только птицы той рощи, которую было взбудоражилъ чижъ и утихомирилъ дятелъ. Старуха Изергиль разсказываетъ такую легенду.—Гдѣ-то, когда-то жили какіе-то люди. Нахлынуло на нихъ чужое племя и оттѣснило въ глухой, дремучій, болотистый лѣсъ. Плохо пришлось людямъ: назадъ итти нельзя,—тамъ сильные и злые враги, а впереди лѣсъ все дремучѣе, болота все непроходимѣе. Стали люди болѣть, умирать. „Уже хотѣли итти къ врагу и принести ему въ даръ себя и волю свою, и никто ужъ, испуганный смертью, не боялся рабской жизни." По среди этой запуганной толпы былъ Данко. Изергиль особенно напираетъ на его красоту и смѣлость; должно быть, онъ былъ похожъ на Лойко Зобара. Данко взялся вести своихъ товарищей по несчастію. Не то, чтобы онъ зналъ какія-нибудь безопасныя или удобныя дороги; нѣтъ, единственно, на что онъ сослался, это то, что долженъ же быть у этого страшнаго лѣса гдѣ-нибудь конецъ, потому что вѣдь всему на свѣтѣ бываетъ конецъ. Но онъ заявилъ это съ такою увѣренностью, что въ сердцахъ слушателей заиграла надежда, и они пошли за Данко. Но лѣсъ становился все гуще, мрачнѣе, люди

стали роптать и, наконецъ, даже грозить Данку смертью. Негодованіе и жалость къ этимъ презрѣннымъ людямъ овладѣли Данкомъ, и вотъ его сердце вспыхнуло яркимъ огнемъ желанія спасти ихъ и вывести на легкій путь. . . И вдругъ онъ разорвалъ руками себѣ грудь и вырвалъ изъ нея свое сердце и высоко поднялъ его надъ головой. Оно же пылало такъ ярко, какъ солнце, и ярче солнца, и весь лѣсъ замолчалъ, освѣщенный этимъ факеломъ великой любви къ людямъ, а тьма разлетѣлась отъ свѣта его и тамъ, глубоко въ лѣсу, дрожащая, пала въ гнилой зѣвъ болота". Руководимые этимъ факеломъ люди прошли сквозь лѣсъ въ степь, но тутъ Данко, „кинувъ радостный взоръ на развернувшуюся передъ нимъ свободную землю", умеръ. Люди же, радостные и полные надеждъ, не замѣтили смерти его и не видали, что еще пылаетъ рядомъ съ трупомъ Данко его смѣлое сердце. Только одинъ осторожный человѣкъ замѣтилъ это и, боясь чего-то, наступилъ на гордое сердце ногой. И вотъ оно, разсыпавшись въ искры, угасло"...

Данко совершаетъ подвигъ самопожертвованія, причемъ оказывается одинокимъ сначала впереди смущенной толпы, потомъ одинокимъ передъ разъяренной толпой, потомъ опять одинокимъ впереди толпы обнадеженной, спасенной и неблагодарной. Ларра (это имя, по объясненію старухи Изергиль, значитъ „отверженный, выкинутый вонъ") тоже одинокъ въ толпѣ соплеменниковъ, но онъ не совершаетъ подвига самопожертвованія. Напротивъ. . . Ларра—сынъ орла и похищенной имъ женщины. Орелъ умеръ („когда онъ сталъ слабѣть, то поднялся въ послѣдній разъ высоко на небо и, сложивъ крылья, тяжело упалъ оттуда на острые уступы горъ"), его невольная жена вернулась къ своему племени съ 20-лѣтнимъ сыномъ, сильнымъ, гордымъ и смѣлымъ красавцемъ, опять-таки въ родѣ Зобара или Данка. Онъ сразу всталъ въ дурныя отношенія къ старѣйшинамъ племени, отказавшись имъ повиноваться и объявивъ, что „такихъ, какъ онъ, нѣтъ больше". Затѣмъ онъ подошелъ къ одной красивой дѣвушкѣ и обнялъ ее; она его оттолкнула, а онъ—„ударилъ ее и, когда она упала, всталъ ногой на ея грудь, всталъ такъ, что изъ ея устъ кровь брызнула къ небу, и она вздохнула тяжко, извилась змѣей и умерла". Его связали и хотѣли казнить, но сначала попытались добиться, зачѣмъ онъ убилъ дѣвушку. Онъ отказался отвѣчать связанный, а когда его развязали, сказалъ слѣдующее: „Я, можетъ быть, самъ невѣрно понимаю то, что случилось. Я убилъ ее потому, мнѣ кажется, что меня оттолкнула она; а мнѣ было нужно ее". Изъ дальнѣйшаго разговора выяснилось, что „онъ считаетъ себя первымъ на землѣ и что, кромѣ себя, онъ не видитъ ничего. Всѣмъ даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество онъ обрекалъ себя. У него не было ни племени, ни матери, ни подвиговъ, ни скота, ни жены, и онъ не хотѣлъ ничего этого". И когда поняли это, то мудрѣйшій изъ старѣйшинъ племени придумалъ ему страшное наказаніе: „На-

казаніе ему въ немъ самомъ! Пустите его, пусть онъ будетъ свободенъ. Вотъ его наказаніе". Юноша весело ушелъ и сталъ жить „свободный, какъ отецъ его; но его отецъ не былъ человѣкомъ, а этотъ былъ человѣкъ". Онъ былъ ловокъ, силенъ, хищенъ, жестокъ; онъ приходилъ время отъ времени къ людямъ и бралъ все, что ему нужно было. Въ него стрѣляли, но стрѣлы „не могли пронизать его тѣла, обвитаго невидимымъ человѣку покрываломъ высшей кары". Многіе, многіе годы жилъ онъ такъ, но наконецъ это ему надоѣло. „Нельзя всегда наслаждаться,—потеряешь цѣну наслажденію и захочется страдать". Онъ и пошелъ къ людямъ съ этою цѣлью, но они не тронули его, онъ покушался убить себя, но смерть не брала его. „Въ глазахъ его было столько тоски, что можно было бы отравить ею всѣхъ людей міра. И такъ съ той поры остался онъ одинъ, свободный и ищущій смерти. И вотъ онъ ходитъ, ходитъ повсюду"...

Лойко Зобаръ, Радда, Соколъ, Чижъ, Данко, Ларра,—вотъ вся портретная галлерея идеальныхъ, очищенныхъ отъ грязи босяковъ г. Горькаго. Что это именно они,—преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки, и проч.,—въ этомъ едва ли кто-нибудь усомнится. Мы видимъ въ нихъ ту же „жадность жить"; то же стремленіе къ ничѣмъ не ограниченной свободѣ; то же фатальное одиночество и отверженность, причемъ не легко установить,—отверженные они или отвергнувшіе; ту же высокую самооцѣнку и желаніе первенствовать, покорять, находящія себѣ оправданіе въ выраженномъ или молчаливомъ признаніи окружающихъ; то же тяготѣніе къ чему-нибудь чрезвычайному, пусть даже невозможному, за чѣмъ должна послѣдовать гибель; ту же жажду наслажденія, соединенную съ готовностью какъ причинить страданіе, такъ и принять его; ту же неуловимость границы между наслажденіемъ и страданіемъ.

Но это не трафареты, а варьянты, иногда, въ отдѣльныхъ чертахъ, даже слишкомъ близкіе между собою, иногда расходящіеся довольно далеко, но во всякомъ случаѣ, такъ сказать, вращающіеся около одной оси. Если, напримѣръ, Орловъ сегодня мечтаетъ о спасеніи Россіи отъ холеры цѣною собственной жизни, а завтра объ избіеніи „всѣхъ до единаго жидовъ" или даже о раздробленіи всей земли въ пыль,—то въ коллекціи очищенныхъ босяковъ подвигъ самопожертвованія предоставленъ Данку, а злодѣйскіе подвиги—Ларрѣ; но, несмотря на эту разницу, и тотъ и другой являются намъ въ нѣкоторомъ ореолѣ гордой силы и красоты. Если Чижъ слабокрылъ и вообще слабъ самъ, то онъ все же зоветъ другихъ къ свободѣ, простору и, по крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время покоряетъ сердца птицъ призывомъ къ великому дѣлу. Если Коноваловъ находитъ ненужнымъ присутствіе даже

Пятницы на островѣ Робинзона, а Ларрѣ одиночество досталось въ видѣ страшной кары, то съ теченіемъ времени Коноваловъ, надо думать, пожалѣлъ бы, что убилъ „дикаго“, хотя бы уже потому, что оказался бы въ „ямѣ“; а Мальвѣ, тоже мечтающей объ одиночествѣ, люди навѣрное понадобились бы, чтобы „вертѣть“ ими. Съ другой стороны, Ларра далеко не сразу почувствовалъ боль и скорбь одиночества: онъ наслаждался имъ „не одинъ десятокъ длинныхъ годовъ“, и вернулся онъ къ людямъ потому, что его потянуло къ страданію. Въ цѣломъ получается нѣчто смутное, загадочное, какъ бы еще только прорѣзывающееся и, повидимому, оправдывающее претензію Аристида Кувалды: мы новость въ исторіи, намъ нужны новыя воззрѣнія на жизнь. . .

Появленію такихъ ли, сякихъ ли „новыхъ людей“, не въ видѣ одинокихъ ласточекъ, которыя весны не дѣлаютъ, а въ видѣ цѣлаго „класса“, какъ это утверждаетъ относительно своихъ босяковъ г. Горькій, должно соотвѣтствовать извѣстное измѣненіе общественныхъ условій. Но послѣ всего сказаннаго, едва ли есть какая-нибудь надобность доказывать, что герои г. Горькаго „класса“ не составляютъ, какъ въ силу неопредѣленности ихъ положенія, такъ и въ особенности въ силу проникающаго все ихъ существо индивидуализма, исключающаго возможность прочной группировки. Это, однако, еще ничего не говоритъ противъ ихъ „новости“. Но мы видѣли, что г. Горькій даже не коснулся тѣхъ внѣшнихъ, объективныхъ условій, которыя дѣйствительно только въ наше время создаютъ босяковъ; что, вслѣдствіе этого, его „новые“ босяки по происхожденію ничѣмъ не отличаются отъ старыхъ гулящихъ людей и голи кабацкой и даже напоминаютъ собою времена кочевого быта. Это подтверждается еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ рядахъ героевъ г. Горькаго есть настоящіе кочевники, ничѣмъ собственно изъ нихъ рѣзко не выдѣляясь. Зобаръ, Радда, Данко, Ларра—существа фантастическія или, по крайней мѣрѣ, легендарныя; поэтому ихъ, пожалуй, и нельзя брать въ счетъ, хотя и то уже достойно вниманія, что эти созданія фантазіи помѣщены въ условія кочеваго быта. Но Изергиль, Макаръ Чудра—цыгане, изъ тѣхъ, которые „шумною толпой по Бессарабіи кочуютъ“, то есть настоящіе, живые кочевники, насколько они удержались въ условіяхъ современной европейской жизни. А между тѣмъ ихъ мысли, чувства, поступки въ общемъ совершенно тѣ же, что у Мальвы, Гришки, Кузьки-Косяка и проч. Значитъ, какая же это „новость“? Это, напротивъ, нѣчто очень старое, давно пережитое исторіей, лишь кое-гдѣ сохранившееся въ урѣзанномъ видѣ и не имѣющее никакой связи со вступительной картиной разсказа „Челкашъ“, „гдѣ гранитъ, желѣзо, дерево, мостовая гавани, суда и люди,—все дышитъ мощными звуками бѣшено-страстнаго гимна Меркурію“.

Если, однако, „новость“ героевъ г. Горькаго ни единою чертою не оправдана съ точки зрѣнія ихъ происхожденія, порождающаго ихъ

историческаго процесса, то, какъ я уже говорилъ, въ ихъ психологіи есть нѣчто дѣйствительно новое. Но въ такомъ случаѣ можно ожидать, что въ психологіи кочевниковъ—Изергили, Макара Чудры и ихъ отраженій въ мірѣ фантазіи и легенды, то есть Зобара, Ларры и проч.—авторъ ввелъ нѣкоторыя произвольныя, не соотвѣтствующія дѣйствительности черты. Такъ оно и есть.

Слово „чандалы", подвернувшееся мнѣ для обозначенія нашихъ босяковъ и европейскаго Lumpenproletariat'а, наводитъ на нѣкоторыя любопытныя сближенія. Существуетъ мнѣніе, что цыгане суть потомки индійскихъ чандаловъ, когда-то выселившихся или выселенныхъ изъ родины. Чандалы же индійскіе суть отверженцы разныхъ кастъ, цементированные національнымъ элементомъ туземнаго, до-арійскаго населенія и затѣмъ строгими постановленіями суровыхъ индусскихъ законовъ и обычаевъ. Дѣйствительно ли цыгане ихъ потомки или нѣтъ, но они во всякомъ случаѣ представляютъ собою отверженное (или отвергнувшее) *племя*, распадающееся, какъ и всѣ кочевники, не непосредственно на индивидуальные атомы, а на орды, таборы, роды, семьи. Сообразно этому, свобода и свободолюбіе кочевого человѣка представляютъ собою нѣчто очень относительное: онъ съ трудомъ переноситъ ограниченія, налагаемыя условіями цивилизованной жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпко стиснутъ тѣми общественными единицами, въ составъ которыхъ входитъ. Объ цыганской вольной жизни мы имѣемъ совершенно фантастаческія представленія, основанныя главнымъ образомъ на разныхъ „цыганскихъ романахъ". Въ дѣйствительности, цыганъ и особенно цыганка находятся въ полной власти своего табора, что сохранилось даже въ тѣхъ цыганскихъ „хорахъ", которые даютъ намъ свои концерты; и не только находятся во власти, но и не тяготятся этими узами, доколѣ остаются настоящими типическими цыганами. Кочевникъ любитъ свободу, совсѣмъ не такъ и не такую, какъ современный босякъ, и обратно—какой-нибудь Кузька-Косякъ или Сережка или Коноваловъ, при всей своей склонности къ бродяжеству, почувствовали бы себя очень плохо въ таборѣ, въ которомъ такъ хорошо уживается Макаръ Чудра, тоже исповѣдующій принципъ вѣчнаго бродяжества. Кочевникъ бродяжитъ цѣлой ордой, таборомъ, стадомъ, съ которымъ связанъ самыми тѣсными узами, а Сережка и Кузька бродяжатъ въ одиночку и никакихъ узъ не знаютъ или не хотятъ знать. Въ этомъ и состоитъ ихъ „новость", но не только въ этомъ.

Слово „чандалы" наводитъ еще на одну справку. Выше были указаны нѣкоторыя точки соприкосновенія г. Горькаго съ Достоевскимъ. А въ 1894 г., излагая на страницахъ Русск. Бог. съ нѣкоторою подробностью ученіе Фр. Ницше, я отмѣтилъ подобныя же точки соприкосновенія съ Достоевскимъ—несчастнаго нѣмецкаго мыслителя. Указывалъ я и на необыкновенное уваженіе, съ которымъ Ницше относился къ на-

шему художнику, знакомому ему, повидимому, только по „Запискамъ изъ мертваго дома“. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій („Götzen-Dämmerung“), восторгаясь силою психологическаго анализа, съ которою Достоевскій проникаетъ въ душу обитателей Мертваго Дома, Ницше говоритъ о „чувствѣ чандала“, чувствѣ „ненависти, мести и возстанія противъ всего существующаго“, каковое чувство, дескать, живетъ въ душѣ каждаго сильнаго человѣка, не нашедшаго себѣ мѣста въ современномъ „покорномъ, посредственномъ, кастрированномъ обществѣ“.

Думаю, что читатель не затруднится усмотрѣть это чувство въ герояхъ г. Горькаго. Но соблазнительная возможность сближенія съ идеями Ницше идетъ гораздо дальше.—Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освѣщеніе жизни г. Горькій заимствовалъ у Ницше,—онъ нигдѣ о немъ не упоминаетъ (хотя нашелъ же случай упомянуть, напримѣръ, о Шопенгауерѣ) и, можетъ быть, совсѣмъ не знакомъ съ нимъ. Но тѣмъ интереснѣе совпаденіе, свидѣтельствующее о томъ, что извѣстныя идеи носятся въ воздухѣ, не только кристаллизуясь въ видѣ все растущаго множества поклонниковъ Ницше въ Европѣ, но вотъ и у насъ прорѣзывающихся самостоятельно, не говоря о людяхъ, прямо заимствующихъ свой свѣтъ отъ Ницше. Во всякомъ случаѣ Ницше со всѣмъ своимъ нравственно-политическимъ ученіемъ не былъ бы чужимъ среди философствующихъ босяковъ г. Горькаго.

Начать съ того, что одиночество играетъ въ соображеніяхъ Ницше не меньшую роль, чѣмъ въ мечтахъ и въ жизни босяковъ г. Горькаго. Ницше слагаетъ настоящіе гимны одиночеству и даже предлагаетъ установить новую научную дисциплину: рядомъ съ наукой объ обществѣ, Gesellschaftslehre,—науку объ одиночествѣ, Einsamkeitslehre. Но одиночество не только драгоцѣнно и, какъ таковое, составляетъ законный предметъ мечтаній; оно неизбѣжно для всякаго сильнаго человѣка, такъ какъ любая общественная форма требуетъ отъ него уступокъ хоть какой-нибудь части его *я*, а онъ на подобныя уступки согласиться, по самой своей природѣ, не можетъ.*)

Но, кромѣ сильныхъ, существуютъ и слабые, охотно подчиняющіеся многоразличнымъ ограниченіямъ свободы, да и для сильныхъ Einsamkeitslehre не исключаетъ надобности въ Gesellschaftslehre,— не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знаетъ

*) Когда Ларру спросили, зачѣмъ онъ убилъ дѣвушку (см. выше), онъ отвѣчалъ: „она оттолкнула меня, а мнѣ было нужно ее“.—Но вѣдь она не твоя?“ сказали ему.—Развѣ вы пользуетесь только своимъ? Я вижу, что каждый человѣкъ имѣетъ своего только рѣчь, руки и ноги, а владѣетъ онъ животными, женщинами, землей и многимъ еще.—Ему сказали на это, что за все, что человѣкъ беретъ, онъ платитъ собой,—своимъ умомъ и силой, своей свободой и жизнью. А онъ отвѣчалъ, что онъ хочетъ сохранить себя цѣлымъ“. (Горькій, I, 110—111.)

ничего лучшаго, какъ „погибнуть на великомъ и невозможномъ“; и не потому, чтобы одиночество доставляло страданія: Ницше готовъ принять страданіе, и высшее наслажденіе для него состоитъ въ борьбѣ со всѣми ея положительными и отрицательными шансами; но главнымъ образомъ потому, что въ сильныхъ живетъ Wille zur Macht, „воля къ власти“, какъ у насъ буквально переводятъ. Эта жажда власти, могущества есть, по мнѣнію Ницше, главный двигатель исторіи и тѣсно связана съ однимъ изъ коренныхъ свойствъ человѣческой природы,—жестокостью: „видъ страданія доставляетъ удовольствіе, причиненіе страданія доставляетъ еще большее удовольствіе; таковъ жесткій, но старый и могущественный законъ“ (Genealogie der Moral). Аскетическая практика самоистязанія въ ея свирѣпыхъ формахъ имѣетъ тотъ же источникъ: за отсутствіемъ или недосягаемостью другихъ, индійскій фанатикъ и т. п. терзаетъ свое собственное тѣло и притомъ наслаждается своимъ превосходствомъ надъ тѣми, кто не въ силахъ это дѣлать. Слабость, трусость, лицемѣріе часто заслоняютъ эти коренныя свойства человѣческой природы и въ настоящее время у цивилизованныхъ народовъ создали „мораль рабовъ“ въ противоположность „морали господъ“, которую нѣкогда исповѣдывали сильные, жизнерадостные, жестокіе, чувственные, властные люди,— „великолѣпныя, жаждущія побѣды и добычи животныя“. То было время торжества красоты, силы, время здоровыхъ инстинктовъ, не изъѣденвыхъ разсудочнымъ анализомъ и мертвящей рефлексіей*). Нынѣ торжествуетъ „мораль рабовъ“, въ основаніи которой лежитъ кротость, смиреніе, покорность, умѣренность и аккуратность, не воздѣйствіе на обстоятельства, а подчиненіе имъ. Но временами прокидываются экземпляры прирожденныхъ „господъ“, которымъ принадлежитъ будущее. Они суть про-образы „сверхъ-человѣка“, имѣющаго наслѣдовать землю. Въ настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшіе носители чувствъ мести и ненависти ко всему существующему, не уживающіеся въ тѣхъ, если угодно, „ямахъ“, которыя имъ предлагаются существующими условіями, и населяющіе Мертвый Домъ Достоевскаго. Но этотъ исходъ не единственный, это только случай побѣды прирожденнаго „господина“ рабскимъ обществомъ; возможенъ и противоположный исходъ, когда чандалъ, преступившій всѣ законы и всю мораль рабскаго общества, становится его дѣйствительнымъ господиномъ: таковъ былъ Наполеонъ. (Напомню, что и для Раскольникова въ „Преступленіи

*) Г. Горькій въ одномъ мѣстѣ раздумывается „о великомъ горящемъ сердцѣ Данка (а почему бы и не о Зобарѣ и Ларрѣ? Н. М.) и о человѣческой фантазіи, создавшей столько красивыхъ и сильныхъ легендъ, о старинѣ, въ которой были герои и подвиги, и о печальномъ времени, бѣдномъ сильными людьми и крупными событіями, богатомъ холоднымъ недовѣріемъ, смѣющимся надо всѣмъ,—жалкимъ временемъ мизерныхъ людей съ мертво-рожденными сердцами“ (I, 132).

и наказанiи“, считавшаго себя необыкновеннымъ, изъ ряда вонъ выходящимъ человѣкомъ, имѣющимъ право „преступить“, Наполеонъ былъ идеаломъ).

Я не думаю, конечно, излагать здѣсь всѣ взгляды Ницше и оставляю въ сторонѣ многое, очень многое, въ томъ числѣ подробность о „сверхъ-человѣкѣ“, о проповѣди „любви къ дальнему“ взамѣнъ „любви къ ближнему“ и т. п. Все это не имѣетъ своей параллели въ произведенiяхъ г. Горькаго. Для насъ интересна здѣсь только психологiя чандаловъ. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ея съ психологiей героевъ г. Горькаго. Кто, какъ не Ницшевскiе прирожденные господа этотъ Челкашъ въ противоположность рабу Гаврилѣ, Соколъ въ противоположность Ужу, Кузька-Косякъ въ противоположность мельнику, Данко въ противоположность всему табору, удалецъ Сережка въ противоположность разной деревенщинѣ, даже отчасти Чижъ въ противоположность Дятлу, или Макаръ Чудра, который учитъ автора: „Что-жъ, онъ родился затѣмъ, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успѣвъ даже могилы себѣ выковырять? Вѣдома ему воля? Жизнь степная понятна? Говоръ морской волны веселитъ ему сердце? Эге! Онъ рабъ какъ только родился и во всю жизнь рабъ“.

Отмѣчу нѣкоторыя любопытныя детали. Ницше рекомендовалъ (въ „Morgenröthe“) всѣмъ, кому тѣсно въ Европѣ и кто, конечно, чувствуетъ себя „господиномъ“, удаляться въ дикiя мѣста и тамъ основывать новыя государства, становясь во главѣ ихъ. Ницше, какъ сообщаютъ его бiографы, и самъ одно время мечталъ о подобной роли. Не напоминаетъ ли это читателю мысленное переселенiе Коновалова на островъ Робинзона? Хотя Коноваловъ устранялъ оттуда даже Пятницу, но, какъ я уже говорилъ, по всей вѣроятности, скоро пожалѣлъ бы объ этомъ. По крайней мѣрѣ, Мальва мечтаетъ или жить далеко въ морѣ въ полномъ одиночествѣ и, слѣдовательно, никому не подчиняться или „завертѣть бы каждаго человѣка, да и пустить волчкомъ вокругъ себя“, то есть себѣ подчинить.

Мы видѣли, что босяки г. Горькаго не особенно мягко относятся къ своимъ дамамъ и бьютъ ихъ. А Ларра, осужденный на одиночество, приходилъ брать у своихъ соплеменниковъ силкомъ „скотъ, дѣвушекъ, все, что хотѣлъ“. Значитъ, присутствiе женщинъ не нарушало его одиночества, женщина въ счетъ не идетъ. Для Ницше женщина „изящная и опасная игрушка“, высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхъ-человѣка. А мудрая старушка совѣтуетъ Заратустрѣ: „если ты идешь къ женщинѣ, не забудь захватить кнутъ“. Но, конечно, и мудрая старушка, и самъ Заратустра сдѣлали бы исключенiе, например, для Радды, которая, будучи прирожденной „госпожей“, столь же мало способна подчиниться Зобару, какъ и онъ ей.

Еще одно—и послѣднее—мелкое замѣчаніе, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читалъ статью Ницше „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“, тотъ можетъ принять разсказъ г. Горькаго о Чижѣ и Дятлѣ чуть не за художественный комментарій къ этой статьѣ. . .

Что изъ всего этого слѣдуетъ? Прежде всего то, что больной нѣмецкій мыслитель-художникъ, произведенія котораго переполнены странностями, противорѣчіями, произвольными положеніями и выводами, но тѣмъ не менѣе высокообразованный и высокодаровитый, а нѣкоторые утверждаютъ—даже геніальный, что этотъ мыслитель-художникъ можетъ занять мѣсто среди русскихъ Челкашей, Сережекъ, Кузекъ и прочихъ грубыхъ, пьяныхъ, преступныхъ, невѣжественныхъ героевъ г. Горькаго. Это не такъ странно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Съ одной стороны, самъ Ницше различаетъ чандаловъ —обитателей Мертваго Дома и чандаловъ—Наполеоновъ, причемъ различіе это устанавливаетъ не по существу, а по случайностямъ судьбы тѣхъ и другихъ; съ другой стороны, и въ коллекціи г. Горькаго есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическимъ ореоломъ Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконецъ, мы имѣемъ еще промежуточное звено въ лицѣ многихъ героевъ Достоевскаго, каковы не только обитатели Мертваго Дома, приближающіеся къ Сережкамъ и Челкашамъ, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающіеся къ Зобарамъ, Ларрамъ, Наполеонамъ.

Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горькаго имѣлъ вліяніе Ницше, и склоненъ напротивъ думать, что это именно совпаденіе, а не сознательное усвоеніе или безсознательное подражаніе. Вліяніе Достоевскаго можетъ быть достовѣрнѣе. Но во всякомъ случаѣ мы имѣемъ трехъ писателей, весьма различныхъ, повидимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по формѣ работы, но сосредоточившихъ свое вниманіе на однихъ и тѣхъ же явленіяхъ душевной жизни, весьма мало изученныхъ. И, повидимому, эти явленія становятся все ярче, замѣтнѣе, потому что вотъ, по крайней мѣрѣ, въ Европѣ они нашли себѣ теоретическое обоснованіе и апологію въ ученіи Ницше.

Надо, однако, замѣтить, что физіономія Ницше представляетъ собою нѣчто чрезвычайно сложное и противорѣчивое, въ виду чего въ Европѣ, несомнѣнно переживающей нынѣ нѣкоторый духовный кризисъ, имъ интересуются, желаютъ опереться на него или причислить его къ своимъ люди чрезвычайно различныхъ направленій. Не говорю о тѣхъ, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически „послѣднее слово“, и кого ни къ чему не обязываетъ это послѣднее слово, изъ котораго они, впрочемъ, и корысти никакой не извлекаютъ, а такъ себѣ, какъ перо на шляпѣ носятъ. Но вотъ, напримѣръ, нравственно распущенные люди, люди

sans foi ni loi пожелали опереться на „имморализмъ“ Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя онъ и самъ называлъ себя „имморалистомъ“, но, въ сущности, онъ настоящій моралистъ, притомъ очень строгій, только его мораль рѣзко отличается отъ нынѣ общепризнанной. Въ Европѣ все растетъ разочарованіе въ общественныхъ формахъ, выработанныхъ ея исторіей, и не только реальныхъ, но и въ тѣхъ грядущихъ формахъ, которыя вырабатываются различными соціалистическими системами. Однимъ изъ плодовъ этого разочарованія является анархизмъ. Нѣкоторые изъ исповѣдующихъ анархизмъ и привѣтствовали Ницше. Они имѣли для этого нѣкоторое основаніе въ той части его ученія, которая безпощадно разрушаетъ всѣ, какъ реальныя, такъ и идеальныя общественныя формы, дескать, стѣсняющія и урѣзывающія личность, а также и еще кое въ чемъ. Но, узнавъ объ этомъ, Ницше вложилъ въ уста своему Заратустрѣ такія слова: „Есть люди, проповѣдующіе мое ученіе о жизни; и въ то же время это проповѣдники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смѣшивали съ этими проповѣдниками равенства“. И дѣйствительно, трудно найти большаго ненавистника идеи равенства, чѣмъ Ницше. Его ученіе аристократическое durch und durch, какъ говорятъ нѣмцы. О рабочихъ онъ выражается такъ: „побралъ бы ихъ чортъ и статистика“; къ толпѣ, партіи, большинству, множеству, массамъ, народу онъ относится съ величайшимъ презрѣніемъ, не примыкая, однако, ни къ одному изъ существующихъ аристократическихъ теченій и, напротивъ, громя наличныя аристократіи рода и капитала. Однако, и въ этомъ отношеніи есть въ европейской литературѣ явленія, которыя можно поставить въ связь съ ученіемъ Ницше. Это, во первыхъ, нѣкоторые отроги дарвинизма (какъ читатель могъ видѣть хотя бы изъ недавней нашей бесѣды о книгѣ „Von Darwin bis Nietzsche“). Это, во-вторыхъ, рядъ если не прямо аристократическихъ, то во всякомъ случаѣ анти-демократическихъ толкованій вопроса о „герояхъ и толпѣ“*). Наконецъ и нѣкоторые декаденты не безъ основанія признаютъ Ницше своимъ, хотя должны бы это дѣлать съ большими оговорками.

Все это я говорю, какъ вообще въ виду растущаго у насъ интереса къ ученію Ницше **), такъ въ частности для убѣжденія читателя въ томъ, что усвоеніе той или другой стороны этого ученія, а тѣмъ

---

*) Вопросъ этотъ очень занимаетъ европейскую литературу. Не говоря объ извѣстныхъ и русскимъ читателямъ сочиненіяхъ Тарда, Сигеле, Лебона, то и дѣло появляются на эту тему новыя книги и журнальныя статьи.

**) Въ самое послѣднее время, кромѣ журнальныхъ статей, появились Алоизъ Риль и Г. Зиммель, „Фридрихъ Ницше“ (очеркъ Риля появился и раньше, въ другомъ изданіи); Германъ Тюркъ, „Философія эгоизма“ (сокращенный и довольно произвольный переводъ отрывка изъ книги „Der geniale Mensch“); „Графъ Л. Н. Толстой и Фридрихъ Ницше. Очеркъ философско-нравственнаго ихъ міровоззрѣнія“, проф. В. Г. Щеглова.

болѣе совпаденіе съ одной изъ нихъ, отнюдь не обязательно ведетъ къ принятію всего Ницше. Въ данномъ случаѣ у насъ рѣчь идетъ, главнымъ образомъ, о нѣкоторыхъ темныхъ явленіяхъ душевной жизни, которыя въ нашей литературѣ разрабатывались Достоевскимъ совершенно самостоятельно и раньше Ницше; причемъ общее міровоззрѣніе Достоевскаго рѣзко отличается отъ міровоззрѣнія Ницше и во многихъ отношеніяхъ даже прямо противоположно: еслибы Ницше зналъ всего Достоевскаго, то, конечно, не отзывался бы объ немъ съ такою восторженностью, какъ теперь.

Что касается г. Максима Горькаго, то онъ еще слишкомъ молодъ (разумѣю, конечно, литературную молодость) и недостаточно опредѣлился, чтобы можно было судить, какъ объ его общемъ міровоззрѣніи, такъ и о его дальнѣйшей литературной карьерѣ. Его талантливость, наблюдательность и оригинальность не подлежатъ сомнѣнію. Но все это можетъ въ будущемъ и расцвѣсть пышнымъ цвѣткомъ, и если не изсякнуть, то затеряться въ погонѣ за психологическими тонкостями, въ своего рода психологической гастрономіи, презирающей здоровое и питательное и ищущей остраго, прянаго, рѣдкаго и исключительнаго. Конечно, и рѣдкое вполнѣ достойно нашего вниманія, тѣмъ болѣе, что оно часто оттѣняетъ собою и, слѣдовательно, уясняетъ общіе душевные процессы. Но психологическіе гастрономы,—къ числу которыхъ и Достоевскій принадлежалъ,—склонны, во-первыхъ, придавать исключительному слишкомъ общее значеніе, а, во-вторыхъ, искусственно и произвольно составлять разныя пикантныя комбинаціи.

„Декаденты—тонкіе люди. Тонкіе и острые, какъ иглы, они глубоко вонзаются въ неизвѣстное“. Это говоритъ у г. Горькаго одинъ изъ героевъ разсказа „Ошибка“ (I, 153). Я до сихъ поръ не касался этого страннаго разсказа, стоящаго особнякомъ въ двухъ томикахъ г. Горькаго, но ясно указывающаго, мнѣ кажется, на тѣ опасности, которыя грозятъ автору на его дальнѣйшемъ литературномъ пути. Декаденты (конечно, искренніе, потому что есть и просто ломающіеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонкимъ и острымъ игламъ, глубоко вонзающимся въ неизвѣстное, но въ дѣйствительности закутываютъ туманомъ и извращаютъ вычурностью даже вполнѣ извѣстное. И вотъ этотъ-то туманъ и эта вычурность вмѣсто искомой тончайшей правды грозятъ и г. Горькому. Онъ можетъ считать себя неотвѣтственнымъ за приведенную хвалу декадентамъ, потому что высказываетъ ее психически-больной Кириллъ Ивановичъ Ярославцевъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ Ярославцеву, такъ и другому дѣйствующему лицу, тоже психически-больному Марку Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроенія, общія всѣмъ босякамъ г. Горькаго (хотя и Ярославцевъ, и Кравцовъ не босяки) и очевидно очень занимающія автора. Тутъ и „человѣкъ, къ жизни не причастный и отъ нея отторгнутый“, и жажда подвига, и афоризмъ: „жалость и жестокость! да вѣдь это два совершенно одно-

родныя слова“; и желаніе „вывести вонъ изъ жизни всѣхъ тѣхъ людей, которые, не смотря на свои пятна, всетаки самые свѣтлые люди жизни“; и предложеніе „выйти за границы жизни въ песчаныя необитаемыя пустыни“, и т. д. Сомнѣваюсь, чтобы спеціалистъ психіатръ нашелъ картины болѣзни Ярославцева и Кравцова соотвѣтствующими дѣйствительности; думаю, что это совершенно произвольная психіатрія. А вмѣстѣ съ тѣмъ не выясняются и такъ занимающія г. Горькаго мысли и настроенія, потому что двое сумасшедшихъ, конечно, могутъ только запутать дѣло.

Остановимся хоть на одномъ пунктѣ. „Жалость и жестокость— два совершенно однородныя слова“, и Ярославцеву „удивительно, какъ это до сей поры никто не замѣчалъ, что это синонимы по смыслу“. Это одна изъ варьяцій на тему о границахъ наслажденія и страданія. Но вотъ какъ иллюстрируетъ свой афоризмъ Ярославцевъ. Однажды въ деревнѣ онъ былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены: телка упала въ оврагъ и сломала себѣ переднія ноги; собралась толпа; она „стояла вокругъ телки и больше съ любопытствомъ, чѣмъ съ состраданіемъ, наблюдала за ея движеніями и слушала ея стоны“; подошелъ кузнецъ Матвѣй и, обругавъ „дурачьемъ“ „любующихся“ на страданія телки, ударилъ ее по головѣ желѣзной полосой и тѣмъ прекратилъ страданія. Ярославцевъ заключаетъ: „Вотъ онъ какъ жалѣлъ, этотъ Матвѣй! Можетъ быть онъ такъ же бы поступилъ и съ человѣкомъ безнадежно больнымъ. Морально это или не морально? Во всякомъ случаѣ это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слабъ и, значитъ, я хорошъ! Вотъ какъ!“— Я уже не говорю о полной безсмыслицѣ послѣднихъ словъ, тутъ даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмемъ самый фактъ, иллюстрирующій положеніе о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она „любовалась“ зрѣлищемъ страданій телки, и тутъ можно подозрѣвать загадочную смѣсь жестокости и состраданія, но кузнецъ Матвѣй очевидно не годится для иллюстраціи тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняетъ страданіе или любуется на него, а кузнецъ обругалъ любующихся и прекратилъ страданіе. Нѣтъ, значитъ, никакого повода дѣлать изъ этого простого и яснаго факта что-то загадочное, таинственное, для проникновенія въ которое требуются тонкія и острыя иглы декадентства.

Интереснѣе изреченіе Ярославцева: „это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо“. Это говоритъ психически-больной человѣкъ, и слѣдовательно опять таки авторъ за эти слова не отвѣтственъ. Но то, что поднимаетъ надъ окружающими всѣхъ босяковъ г. Горькаго,—очищенныхъ и неочищенныхъ, реальныхъ и легендарныхъ или символическихъ,—есть сила, и именно „прежде всего сила“. Куда она направится,—на величайшій ли подвигъ самоотверженія или на

величайшее, даже фантастическое злодѣйство,—это вопросъ второй и даже, можетъ быть, безразличный: „это сильно, *прежде всего* сильно, и *потому* оно морально и хорошо“. Такъ склонны смотрѣть всѣ босяки г. Горькаго, стирая общепризнанныя, по крайней мѣрѣ, на словахъ, границы между добромъ и зломъ и требуя, устами философствующаго отставного ротмистра Аристида Кувалды, „новыхъ“ критеріевъ морали. Смѣлость и откровенность, съ которыми отверженцы ставятъ и даже практически разрѣшаютъ этотъ вопросъ, импонируютъ окружающимъ, а босяковъ очищенныхъ, легендарныхъ даже окружаютъ блескомъ поэтическаго ореола. Очевидно, однако, что, признавъ вмѣстѣ съ ними „прежде всего силу“ верховнымъ критеріемъ морали, мы оказались бы во власти цѣлой сѣти недоразумѣній, изъ которыхъ остановимся на одномъ. Герои г. Горькаго „жадны жить“, ищутъ „возбужденія *всей* души“. Формы, въ которыхъ проявляется эта жадность, обусловливаются обстоятельствами времени и мѣста; еслибы, напримѣръ, жизнь предлагала героямъ г. Горькаго не „ямы“, а достаточное „возбужденіе всей души“ на мѣстѣ, то имъ незачѣмъ было бы бродяжить. Какъ бы мы ни относились, однако, ко всѣмъ этимъ частностямъ, нельзя не остановиться на томъ, что изъ разнообразныхъ отношеній къ людямъ, какія могутъ „возбуждать душу“, они выше всего ставятъ мотивы властнаго, повелительнаго воздѣйствія, которое способны доводить до жестокости и мучительства, и слѣдовательно роютъ другимъ возмутительнѣйшія „ямы“; а нѣтъ почему-нибудь поприща для такого воздѣйствія,—такъ и совсѣмъ не надо людей, можно и въ одиночку прожить, или же—смерть (вмѣстѣ со всѣмъ человѣчествомъ, какъ въ мечтахъ Кувалды и Орлова, или вмѣстѣ съ непокоряющимся субъектомъ, какъ въ случаѣ Зобара и Радды). „Жадность жить“, требующая „возбужденія всей души“, есть явленіе законное и желательное, дѣйствительно способное образовать собою психологическій фундаментъ высокой морали. Жалки люди, не знающіе этой жадности и соглашающіеся быть инструментами съ оборванными струнами; но если и признать, что Wille zur Macht, жажда власти, превосходства, есть необходимая струна человѣческой души, то все же она лишь одна изъ струнъ, и при „возбужденіи *всей* души“ ея звуки должны гармонически умѣряться иными звуками. Разъ мы это признаемъ, мы тотчасъ увидимъ несостоятельность тезиса: „Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо“; увидимъ и разницу между дѣйствіями Данка, съ одной стороны, и Ларры—съ другой, между мечтой Орлова спасти Россію отъ холеры и его же мечтой перебить всѣхъ жидовъ или раздробить землю въ пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шелъ впереди своихъ людей изъ лѣсу, освѣщая имъ путь своимъ горящимъ сердцемъ,—но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ сострадалъ этимъ людямъ, переживалъ ихъ жизнь; слѣдовательно, въ его душѣ звенѣла, по крайней мѣрѣ, одна лишняя струна по сравненію съ Ларрой, который

оказался неспособнымъ переживать чужую жизнь и только желалъ „быть первымъ“. Пусть честолюбіе было однимъ изъ мотивовъ Орлова, когда онъ хотѣлъ на смерть схватиться съ холерой, но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ переживалъ жизнь видѣнныхъ имъ въ холерной больницѣ страдальцевъ; слѣдовательно, его жизнь была въ этотъ моментъ полнѣе, богаче, чѣмъ тогда, когда онъ, именно отъ пустоты жизни, мечталъ объ избіеніи жидовъ и раздробленіи земли. Разница, кажется, достаточно ясная для того, чтобы мы могли, именно съ точки зрѣнія „жадности жить“, отвергнуть положеніе: „это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо“. „Учитель“ въ „Бывшихъ людяхъ“ не забылъ римской исторіи и знаетъ, что „гольтепа создала Римъ“. Согласился ли бы онъ съ приведеннымъ положеніемъ, еслибы ему иллюстрировали его такъ: Неронъ сжегъ Римъ, распиналъ и отдавалъ на съѣденіе звѣрямъ разную „гольпету“, не отказывая себѣ, впрочемъ, въ удовольствіи казнить и знатныхъ, и богатыхъ,—это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартакъ сплотилъ разную „гольтепу“ и три года держалъ міродержавный Римъ въ страхѣ,—это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что по пристрастію къ „гольтепѣ“, довольно, впрочемъ, въ его положеніи естественному, „учитель“ нашелъ бы, что никакія декадентскія иглы, какъ бы онѣ ни были остры и тонки, не сошьютъ эти два явленія въ однородное цѣлое.

Мнѣ кажется, что г. Горькаго одолѣваетъ нѣкоторая не совсѣмъ для него самого ясная идея; именно одолѣваетъ, не смотря на свою неясность, а можетъ быть благодаря этой неястности. И только когда онъ отъ ея гнета такъ или иначе освободится,—совсѣмъ ли ее отброситъ или вполнѣ овладѣетъ ею,—мы получимъ возможность окончательно судить о размѣрахъ и значеніи пріобрѣтенія, сдѣланнаго въ его лицѣ нашей литературой. Какъ ни несомнѣнно его знакомство съ изображаемымъ имъ міромъ, но слишкомъ подозрительна эта частая повторяемость однихъ и тѣхъ же (очень, впрочемъ, интересныхъ) мотивовъ, даже однихъ и тѣхъ же выраженій, словъ; тѣмъ болѣе подозрительна, что эти мотивы и выраженія г. Горькій предоставляетъ и не босякамъ, существамъ фантастическимъ и аллегорическимъ, а также двумъ сумасшедшимъ. Это свидѣтельствуетъ, я думаю, что къ своимъ наблюденіямъ г. Горькій прибавляетъ кое-что, имъ не наблюдавшееся, но его самого очень занимающее. Это бы еще не бѣда, но—да простится мнѣ грубоватое и можетъ быть не совсѣмъ удачное слово—г. Горькій еще не переварилъ того, что его такъ занимаетъ, не усвоилъ настолько, чтобы претворять въ образы и картины. Идея, занимающая автора, не сливается въ одно органическое цѣлое съ его наблюденіями, авторъ ее подсовываетъ своимъ дѣйствующимъ лицамъ. Отсюда многія художе-

ственныя безтактности, объ которыхъ я уже упоминалъ и распространяться объ которыхъ мнѣ не хочется.

Къ сожалѣнію, г. Горькому грозитъ въ будущемъ нѣчто гораздо худшее, чѣмъ эти досадныя безтактности, а именно—„тонкія и острыя иглы декадентства“, которыя въ дѣйствительности не только не тонки и не остры, а, напротивъ, очень грубы и тупы.

Но въ двухъ томикахъ г. Горькаго есть и совсѣмъ иного рода задатки. Босяки занимаютъ въ этихъ двухъ томикахъ столько мѣста и авторъ такими усиленными эффектами привлекаетъ къ нимъ вниманіе читателей, что не удивительно, если критика просто даже не замѣтила двухъ разсказовъ или очерковъ, не имѣющихъ къ босякамъ никакого отношенія, ни прямого, ни косвеннаго, ни реальнаго, ни аллегорическаго. Это, во-первыхъ, „Ярмарка въ Голтвѣ“,—маленькій очеркъ, написанный безъ претензій на какую-нибудь глубину или „проникновеніе“, бездѣлка, но вся пропитанная какимъ-то мягкимъ, свѣтлымъ юморомъ, производящимъ тѣмъ большее впечатлѣніе, что этого элемента совсѣмъ нѣтъ въ другихъ произведеніяхъ г. Горькаго. Это, во-вторыхъ, разсказъ „Скуки ради“, гораздо болѣе серьезный и значительный по замыслу и истинно превосходный по исполненію. Самое чуткое ухо не услышитъ здѣсь ни одной фальшивой ноты, самая строгая рука не вычеркнетъ и не прибавитъ ни одного слова. И хотя тутъ нѣтъ ни одного босяка и никто не жалуется на „яму“, но читатель и безъ авторскаго подсказыванія самъ скажетъ: какая яма! какая ужасная яма эта жизнь, въ которой „скуки ради“ продѣлывается возмутительнѣйшее издѣвательство надъ людьми! Продѣлывается не злобно, а именно только скуки ради, какъ суррогатъ настоящей жизни. И сами эти жестокіе забавники, творящіе издѣвательство, но не вѣдающіе, что творятъ, вызываютъ, не смотря на свою отупѣлость, едва ли даже не больше сожалѣнія, чѣмъ ихъ жертвы; ибо и они, эти жестокіе забавники,—жертвы „ямы“... Разсказъ этотъ такъ цѣленъ и въ цѣльности своей хорошъ, что я не стану передавать его содержаніе или приводить отрывки изъ него,—и то и другое можетъ только ослабить впечатлѣніе.

Если къ этимъ двумъ задаткамъ, очень разной цѣны, но одинаково цѣльнымъ и законченнымъ, прибавить отдѣльныя страницы въ родѣ вышеупомянутой сцены пѣнія въ „Тоскѣ“ и превосходные пейзажи, разсыпанные въ произведеніяхъ г. Горькаго, то станетъ ясно, что мы имѣемъ дѣло съ большой художественной силой. И неужели же этой силѣ суждено заглохнуть въ какой-нибудь нашей „ямѣ“ или увѣровать въ тонкость и остроту декадентскихъ иголъ?

Ник. Михайловскій.



М. Горькій. Очерки и разсказы, два тома. Спб. 1898 г.

I.

У г. Горькаго во всѣхъ до сихъ поръ появившихся произведеніяхъ мы видимъ свою особенную спеціальность, свой жанръ. Г. Горькій является передъ нами поэтомъ босой команды, людей бездомовныхъ, удалыхъ головушекъ, вѣчно бродящихъ изъ города въ городъ, беззаботно пропивающихъ тѣ послѣдніе нѣсколько грошей, какіе имъ удалось заработать вчера, и, какъ птицы небесныя, не думающихъ о томъ, что съ ними будетъ завтра.

Онъ нѣсколько напоминаетъ въ этомъ отношеніи покойнаго А. И. Левитова, въ позднѣйшихъ произведеніяхъ послѣдняго, „Крымъ", „Грачевка", „Безпечальный народъ", „Не сѣютъ, не жнутъ" и пр., гдѣ Левитовъ, въ свою очередь, имѣетъ дѣло съ толпою босяковъ, бездомныхъ пропоецъ и всякаго рода русскаго городского пролетаріата. Но между картинами Левитова и Горькаго мы видимъ все-таки большую разницу. Вы не найдете въ послѣднихъ того мрачнаго, безнадежнаго пессимизма, какимъ преисполнены очерки Левитова. Левитовъ скорбитъ и о своихъ герояхъ, и о самомъ себѣ, при сознаніи своего въ нихъ разочарованія, и не видитъ впереди ни малѣйшаго просвѣта. Чѣмъ-то болѣзненно-надломленнымъ, безнадежнымъ вѣетъ отъ очерковъ Левитова, принимающихъ порою характеръ бреда delerium tremens.

У г. Горькаго вы не найдете и слѣда ни субъективности, ни излишняго лиризма. Это писатель въ высшей степени объективный; въ то же время онъ представляется намъ въ большей степени художникомъ, чѣмъ Левитовъ, и во внѣшней техникѣ произведеній, и въ ихъ внутреннемъ содержаніи.

Такъ, вы не найдете въ его очеркахъ ни той клочковатости, неуклюжества, неоконченности, какими отличаются очерки Левитова; нѣтъ въ нихъ и многословія послѣдняго, ни тѣхъ лирическихъ чувство-изліяній, которыя заставляли автора „Степныхъ очерковъ" порою совсѣмъ забывать и о своихъ герояхъ, и о всѣхъ ихъ приключеніяхъ. Каждый разсказъ г. Горькаго представляетъ собою нѣчто законченное, содержащее въ себѣ драматическій сюжетъ, цѣльный, стройный, гармоническій, развитой. Въ то же время г. Горькій словно задался доказать намъ своими произведеніями, что художественность и тенденціозность не только не мѣшаютъ одна другой и не заѣдаютъ одна другую, а, напротивъ того, могутъ итти рука объ руку, помогая другъ другу и усиливая и значеніе произведенія, и производимое имъ впечатлѣніе.

II.

Въ то же время, какъ я уже сказалъ выше, въ произведеніяхъ г. Горькаго вы не найдете и тѣни того унынія и отчаянія, какими преисполнены очерки Левитова. Какъ ни мрачны трагическіе сюжеты, лежащіе въ основѣ почти каждаго разсказа г. Горькаго, вы все-таки выносите изъ нихъ чувство бодрости и нравственнаго примиренія. И все это потому, что передъ вами не толпа безнадежно-погибшихъ полу-людей, полу-звѣрей, а просто люди, задавленные обстоятельствами жизни, которые на самыхъ низшихъ ступеняхъ своего паденія все-таки сохраняютъ образъ и подобіе Божіе и думаютъ и говорятъ такъ же, какъ и мы съ тобой, читатель, воображающіе себя свѣтилами прогресса, и въ каждомъ вы замѣчаете искру любви и правды, готовую, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, загорѣться всепожирающимъ пожаромъ. При всей своей объективности г. Горькій любитъ своихъ несчастныхъ героевъ и, тщательно анализируя ихъ до самой сокровенной глубины ихъ душъ и сердецъ, порою незамѣтно увлекаясь, идеализируетъ ихъ и, идя по этой скользкой, наклонной плоскости, впадаетъ въ единственный недостатокъ,—заставляетъ своихъ героевъ произносить такія слова и рѣчи, которыя, очевидно, не въ силахъ произнести люди малограмотные и малоразвитые, въ родѣ, напримѣръ, такой рѣчи въ устахъ простого крымскаго цыгана Макара Чудры.

—„Что-жъ онъ (т. е. „мужикъ") родился затѣмъ, что ли, чтобы поковырять землю да и умереть, не успѣвъ даже и могилы самому себѣ выковырять? Вѣдома-ли ему воля? Ширь степная понятна? *Говоръ морской волны веселитъ ему сердце?*"

Простые русскіе люди произносятъ подчасъ чрезвычайно поэтическія фразы,—стоитъ только порыться въ комедіяхъ Островскаго, чтобы найти такихъ фразъ обиліе. Но въ то же время эти фразы исполнены своеобразнаго народнаго духа и не найдете въ нихъ и слѣда книжности. „Говоръ же морской волны, веселящей сердце", выраженіе, вполнѣ естественное подъ перомъ г. Горькаго, рѣжетъ ваше ухо въ устахъ грубаго цыгана.

Въ подтвержденіе своихъ замѣчаній о произведеніяхъ г. Горькаго, я намѣренъ остановиться на нѣкоторыхъ изъ нихъ, которыя меня наиболѣе поразили.

III.

Такъ, прежде всего мы обратимъ вниманіе на разсказъ „Челкашъ",—который можно назвать однимъ изъ лучшихъ перловъ русской литературы по своей поэтической прелести, драматизму и глубокому содержанію.

Героемъ его является Гришка Челкашъ, старый травленный волкъ, заядлый пьяница и ловкій, смѣлый воръ и контрабандистъ въ одномъ изъ южныхъ черноморскихъ портовъ. Босой, въ старыхъ вытертыхъ плисовыхъ штанахъ, въ грязной ситцевой рубахѣ, съ разорваннымъ воротомъ, открывавшимъ его подвижныя, угловатыя, сухія кости, обтянутыя коричневой кожей, длинный, костлявый, немного сутулый, онъ сразу обращалъ на себя вниманіе своимъ сходствомъ со степнымъ ястребомъ, своей хищной худобой и прицѣливающеюся походкой, такой же плавной и покойной съ виду, но внутренно возбужденной, зоркой, какъ полетъ злой, нервной птицы, которую онъ напоминалъ.

Челкашу предстояла ночью очень выгодная контрабандная кража, какъ вдругъ товарищъ его Мишка сломалъ себѣ ногу, а одному Челкашу трудно было справиться съ дѣломъ, и онъ безцеремонно завербовалъ себѣ перваго встрѣчнаго на улицѣ, деревенскаго парня Гаврилу, пробиравшагося домой съ лѣтнихъ заработковъ. Парень былъ широкоплечъ, коренастъ, русъ, съ загорѣлымъ, обвѣтреннымъ лицомъ и съ большими голубыми глазами, смотрѣвшими довѣрчиво-добродушно. Отецъ у него умеръ, осталась на рукахъ мать старуха; земля была вся истощена, и рѣшился онъ итти въ зятья въ хорошій домъ, надѣясь, что тесть выдѣлитъ дочку. Но тесть не захотѣлъ выдѣлить; приходилось Гаврилѣ годы быть у него батракомъ. Надумалъ онъ пойти на Кубань рублей двѣсти сработать тамъ и встать на ноги при помощи ихъ; но и это не выгорѣло. Цѣны за покосъ на Кубани были сбиты вслѣдствіе избытка пришлыхъ рабочихъ, и пришлось Гаврилѣ возвращаться домой почти съ пустыми руками.

IV.

Вотъ его-то, случайно встрѣтивъ на улицѣ, нанялъ Челкашъ себѣ въ помощники. Они поѣхали на лодкѣ съ цѣлью кражи тюковъ съ шелкомъ, причемъ Гаврила гребъ, а Челкашъ сидѣлъ на рулѣ. Путешествіе было полно опасностей на каждомъ шагу. Гаврила умолялъ, чтобы Челкашъ высадилъ его на берегъ. Челкашъ издѣвался надъ его трусостью, но въ то же время простыя мужицкія рѣчи Гаврилы о деревенской жизни привели сердце его въ крайнее умиленіе. Передъ нимъ воскресли картинки далекаго прошлаго, онъ вспомнилъ себя ребенкомъ, вспомнилъ отца, мать, видѣлъ себя женихомъ и видѣлъ жену—черноглазную Анѳису, и пр., и пр. Онъ чувствовалъ себя обвѣяннымъ ласковой струей примиряющаго родной страны воздуха, донесшагося до его слуха, и ласковыя слова матери, и солидныя рѣчи исконнаго мужика-отца, и много забытыхъ звуковъ, и много сочнаго запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумруднымъ шелкомъ озими. . . И онъ чувствовалъ себя сбитымъ, упавшимъ,

жалкимъ и одинокимъ, вырваннымъ и выброшеннымъ навсегда изъ того порядка жизни, въ которомъ выработалась та кровь, что течетъ въ его жилахъ.

Эти чувства такъ умилили Челкаша, что когда дѣло ихъ увѣнчалось успѣхомъ,—Челкашъ выкралъ нѣсколько тюковъ шелку и въ ту же ночь продалъ ихъ за пятьсотъ сорокъ рублей,—онъ отдалъ всѣ ихъ Гаврилѣ, когда тотъ при прощанiи съ нимъ на берегу моря бросился ему въ ноги и просилъ его осчастливить, удѣливши ему хоть двѣсти рублей изъ вырученныхъ денегъ. Каково же было и удивленiе, и негодованiе Челкаша, когда Гаврила тутъ же сознался ему, что при возвращенiи онъ боролся съ мыслью убить Челкаша ударомъ весла, ограбить и выкинуть за бортъ лодки.—Кто, молъ, его хватится? И найдутъ—не станутъ допытываться: какъ, да кто убилъ, да и не такой человѣкъ, чтобы изъ-за него шумъ подымать; не нужный онъ на землѣ! . . Кому за него встать!

Тогда между ними завязалась смертельная борьба. Челкашъ бросился на Гаврилу и отнялъ у него деньги; Гаврила же кинулъ вслѣдъ ему камень, сильно ранилъ его въ голову и оглушилъ до безпамятства, но самъ, по своему крестьянскому добродушiю, ужаснулся своему поступку и, когда Челкашъ очнулся, началъ валяться у него въ ногахъ, прося прощенiя. Челкашъ обозвалъ его гнусомъ, замѣтивъ, что и блудить-то онъ не умѣетъ и, съ усилiемъ поднявъ его голову за волосы, сунулъ ему деньги въ лицо.— „Бери, бери“, сказалъ онъ при этомъ: „не даромъ работалъ, чай, бери, не бойсь! Не стыдись, что человѣка чуть не убилъ! За такихъ людей, какъ я, никто не взыщетъ. Еще спасибо скажутъ, какъ узнаютъ. На, бери; никто ничего не узнаетъ о твоемъ дѣлѣ, а награды оно стоитъ. Ну, вотъ!“

Челкашъ пошелъ, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью лѣвой руки, а правой подергивая свой бурый усъ, Гаврила же снялъ свой мокрый отъ дождя картузъ, перекрестился, посмотрѣлъ на деньги, зажатыя въ ладони, свободно и глубоко вздохнулъ, спряталъ ихъ за пазуху и широкими твердыми шагами пошелъ берегомъ въ сторону противоположную той, гдѣ скрылся Челкашъ.

V.

Вообще, умѣнье раскрывать передъ нами потрясающiя драмы и трагедiи, незамѣтно скрывающiяся въ мелочахъ повседневной жизни, проходитъ сквозь всѣ разсказы г. Горькаго.

Въ только-что разобранномъ нами разсказѣ все-таки разыгрываются трагическiя страсти, доводящiя людей до смертнаго боя, но что, повидимому, драматичнаго въ томъ, что разъѣвшiйся купчина-мельникъ, Павелъ Тихоновичъ, соскучившiйся монотонною жизнью на мельницѣ,

лишенный малѣйшаго духовнаго интереса, отправился въ городъ развѣять свою тоску, но въ городѣ случайно набрелъ на похороны интеллигентнаго труженика, двадцать лѣтъ неустанно трудившагося на пользу людей, и умершаго отъ истощенія непонятымъ, неоцѣненнымъ людьми, въ полномъ одиночествѣ, въ больницѣ. Павелъ Тихоновичъ еще больше заскучалъ, выслушавши рѣчь на могилѣ покойнаго, бросился было искать отвѣтовъ на возникшіе въ немъ проклятые вопросы къ корреспонденту-учителю, обличавшему въ газетахъ его плутни, и, въ концѣ-концовъ, напился до положенія ризъ въ городскомъ трактирѣ съ какими-то темными личностями. Вотъ и все содержаніе повѣсти. Какъ видите, ничего трагическаго въ ней нѣтъ, а между тѣмъ вамъ становится жутко, когда вы читаете ее, страшно за человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ отрадно, что даже и въ заскорузлой душѣ какого-нибудь Кита Китыча теплится огонекъ, который можетъ быть раздутъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Въ этомъ-то главнымъ образомъ и заключается сила таланта, чтобы раскрыть передъ читателями трагическое въ комическомъ и пошломъ и заставить читателя почувствовать ужасъ передъ тѣмъ, чѣмъ мелкій талантъ способенъ возбудитъ одинъ легковѣсный смѣхъ.

У г. Горькаго есть разсказъ „Зазубрина", въ которомъ трагическою жертвою является жалкій рыжій котенокъ, и тѣмъ не менѣе читатели бываютъ потрясены смертью котенка нисколько не менѣе, чѣмъ еслибы погибъ передъ ихъ глазами заправскій трагическій герой.

Все содержаніе разсказа заключается въ томъ, что среди угрюмыхъ арестантовъ, гулявшихъ на тюремномъ дворѣ, оказался веселый человѣкъ Зазубрина. Всегда хохотавшій, подвижной и шумный, онъ былъ кумиромъ тюрьмы; его всегда окружала толпа сѣрыхъ товарищей, и онъ смѣшилъ и развлекалъ ее разными курьезными выходками, скрашивая своимъ искреннимъ весельемъ тусклую, скучную тюремную жизнь.

Кромѣ Зазубрины, въ тюрьмѣ былъ еще одинъ фаворитъ—рыжій толстый котенокъ, избалованное всѣми, игривое животное. Выходя на прогулку, арестанты каждый разъ отыскивали его гдѣ-то и подолгу возились съ нимъ, передавая его съ рукъ на руки, бѣгая по двору за нимъ и позволяя ему царапать ихъ руки и рожи, оживленныя этой игрой съ баловнемъ.

Когда на сцену являлся котенокъ, онъ отвлекалъ вниманіе отъ Зазубрины, и послѣдній не могъ быть доволенъ этимъ предпочтеніемъ. Зазубрина былъ въ душѣ артистъ, и, какъ артистъ, непомѣрно таланту самолюбивъ. Когда его публика увлекалась котенкомъ, онъ оставался одинъ, садился на дворѣ гдѣ-нибудь въ уголкѣ и оттуда слѣдилъ за товарищами, забывшими его въ эту минуту. Казалось неизбѣжнымъ, что Зазубрина убьетъ котенка при первомъ же случаѣ, и это не замедлило случиться. Однажды, когда арестанты увлеклись котенкомъ, оставивъ Зазубрину въ сторонѣ, послѣдній, чтобы привлечь ихъ вниманіе къ себѣ, пред-

ложилъ имъ выкрасить котенка въ зеленую краску, оставленную малярами на дворѣ. Сказано и сдѣлано. Зазубрина опустилъ котенка въ ведро съ краской съ разными стихотворными прибаутками и увлекъ арестантовъ своимъ шутовствомъ; они много смѣялись надъ затѣей Зазубрины, но когда отравленный мѣдянкой котенокъ началъ околѣвать, это возбудило въ нихъ такую реакцію, что они избили Зазубрину до полу-смерти. Таково все содержаніе разсказа. Передъ нами мелкій случай тюремной жизни, тѣмъ не менѣе онъ такъ талантливо разсказанъ г. Горькимъ, что производитъ на читателя потрясающее впечатлѣніе.

VI.

Въ послѣднія двадцать лѣтъ не мало было толковъ въ нашей печати объ антагонизмѣ деревни и города, о различіи деревенской и городской нравственности, и во всѣхъ этихъ толкахъ не мало было и недоговореннаго, и переговореннаго, а иногда и лишеннаго всякой основательности. Особенно въ этомъ отношеніи грѣшили художники, по самой натурѣ своей склонные къ преувеличеніямъ и односторонностямъ.

Возьмите, напримѣръ, хотя бы „Власть земли“ Гл. Успенскаго. Въ очеркахъ, посвященныхъ этой самой „Власти земли“ проводится, какъ всѣмъ извѣстно, та идея, что крестьянинъ находится въ полной зависимости и кабалѣ у той земли, которую онъ обрабатываетъ; что онъ до тѣхъ поръ и нравственен, пока сидитъ на землѣ и трудится, а чуть сошелъ съ земли, тотчасъ же теряетъ подъ ногами всякую почву и дѣлается въ родѣ свиньи. Для примѣра выставляется крестьянинъ Иванъ Петровъ, который, получивши хорошее мѣсто на желѣзной дорогѣ, излѣнивается, спивается и доходитъ до полной деморализаціи, но едва возвращается въ деревню, принимается за соху, вновь исправляется и дѣлается примѣрнымъ мужикомъ.

Сказать, чтобы это была ложь, мы не имѣемъ основанія; тѣмъ не менѣе, это такая правда, которая можетъ привести читателя къ ряду заблужденій, такъ какъ въ настоящемъ случаѣ она отнесена исключительно къ однимъ крестьянамъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ она примѣнима ко всѣмъ людямъ. Иванъ Петровъ развратился вовсе не потому, чтобы нравственность его зависѣла исключительно отъ мистической силы земледѣльческаго труда, а отъ растлѣвающаго вліянія всякой даровой и легкой наживы на кого бы то ни было. Вмѣсто крестьянина, закабаленнаго землею, поставьте фабричнаго рабочаго, пригвожденнаго къ ткацкому станку, портного, пришитаго къ своему верстаку, и даже конторщика, прикованнаго къ конторкѣ,—всѣ они являются въ положеніи Ивана Петрова и про всѣхъ ихъ можно сказать одно и то же: до тѣхъ поръ трудовой человѣкъ и нравственен, пока всѣ его силы и время заняты трудомъ, а едва онъ сходитъ на почву дешевой

и легкой наживы, онъ неминуемо развращается. Самая же перемѣна труда одного на другой, равносильно тяжелый, не только не можетъ дѣйствовать развращающимъ образомъ, а, напротивъ, бываетъ порою весьма благопріятна въ этомъ отношеніи. Такъ, напримѣръ: неужели же неминуемый развратъ долженъ угрожать тѣмъ крестьянамъ, которые, видя, что ихъ земля совсѣмъ не родитъ, принимаются за какое-нибудь кустарное производство, отхожій промыселъ, или же, чувствуя въ себѣ призваніе, дѣлаются живописцами, поэтами? Неужели же и про Кольцова мы должны сказать, что онъ до тѣхъ поръ и человѣкомъ былъ, пока пасъ въ степи воловъ своего отца, а какъ сдружился со Станкевичемъ и Бѣлинскимъ и сдѣлался поэтомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ сталъ свиньей?

VII.

Читатель возразитъ мнѣ на это, что не одинъ Гл. Успенскій въ своей „Власти земли“, а и многіе другіе беллетристы изображали развращающее вліяніе города и фабрики на народъ. Вотъ и у г. Горькаго, напр., въ его разсказѣ „Мальва“ тоже въ свою очередь изображенъ крестьянинъ Василій Легостевъ, который отправился изъ деревни на Черное море въ отхожій промыселъ, нанялся караульщикомъ на передовомъ посту рыбныхъ ловлей купца Гребенщикова и если не развратился въ конецъ, то во всякомъ случаѣ обзавелся разбитной гуляющей дѣвкой Мальвой, на которую самъ смотрѣлъ, какъ на баловство, говоря, что деревнѣ баба—нужный въ жизни человѣкъ, а на промыслѣ она живетъ только для одного грѣха. И замѣчательно, что говорилъ этотъ самый Василій Легостевъ своему сыну Якову словно цѣликомъ изъ „Власти земли“ Гл. Успенскаго:

—„Крестьянинъ землею крѣпокъ; пока онъ на ней—онъ живъ, а сорвался съ нея—пропалъ! Крестьянинъ безъ земли, какъ дерево безъ корней: въ работу оно годится, а прожить долго не можетъ—гніетъ! И красоты своей лѣсной нѣтъ въ немъ, обглоданное оно, обструганное, невидное!“

Въ концѣ концовъ, Василій бросаетъ и выгодное мѣсто на промыслѣ, и красавицу Мальву и идетъ въ деревню набираться въ ней нравственныхъ силъ. Но и здѣсь, въ свою очередь, виною временнаго нравственнаго паденія Василія является вовсе не то обстоятельство, что онъ промѣнялъ крестьянскій трудъ на рыбный промыселъ; вѣдь, не развращаются ни архангельскіе, ни ильменскіе, ни уральскіе рыбаки потому только, что они не пашутъ, а рыбу ловятъ.

Причины деморализаціи Василія и здѣсь слѣдуетъ искать не въ самомъ трудѣ, а въ его условіяхъ. Въ то время, какъ дома въ деревнѣ Василій привыкъ работать съ утра до поздней ночи, не покладая рукъ,—у купца Гребенщикова весь трудъ его состоялъ въ томъ, что

по цѣлымъ часамъ онъ лежалъ на морскомъ берегу и грѣлся подъ горячими лучами южнаго солнца, и за это получалъ вдвое, или втрое, чѣмъ сколько могъ заработать каторжнымъ крестьянскимъ трудомъ. Поневолѣ онъ задурилъ съ легкихъ хлѣбовъ на досугѣ.

Точно также крестьянинъ Гаврила въ разсказѣ „Челкашъ“ чуть не сдѣлался убійцей не потому только, что онъ ушелъ изъ деревни на заработки, а по той причинѣ, что у него внезапно и нечаянно явилась возможность даровой наживы въ видѣ нѣсколькихъ сотенъ рублей, полученныхъ Челкашемъ, и у него закружилась голова. Точно также и исконные, зажиточные крестьяне, живущіе исключительно земледѣльческимъ трудомъ и никуда не выѣзжавшіе изъ предѣловъ своей деревни, расположенной гдѣ-нибудь на большомъ сибирскомъ трактѣ, возьмутъ, да и прирѣжутъ купца съ деньгами, остановившагося у нихъ на ночлегъ.

Такія злодѣйскія деньги все равно не замедлятъ развратить крестьянина, хотя бы онъ и не отходилъ отъ сохи. Точно также и относительно Гаврилы: хотя онъ и не убилъ Челкаша, а получилъ отъ него деньги даромъ, можно навѣрно сказать, что деньги эти впрокъ ему не пойдутъ: онъ или пропьетъ, не дойдя еще до дому, а если не пропьетъ, то сдѣлается отвратительнымъ кулакомъ и другихъ будетъ спаивать въ качествѣ кабатчика.

VIII.

Я убѣжденъ въ томъ, что найдутся читатели, которые, видя, что нѣкоторые герои г. Горькаго относятся къ крестьянамъ съ презрѣніемъ и негодованіемъ, воображая себя въ нравственномъ отношеніи выше ихъ,—подумаютъ, что Горькій представляется по своимъ убѣжденіямъ чѣмъ-то въ родѣ нео-марксиста.

Но это было бы большое заблужденіе. Еслибы онъ былъ марксистомъ, мы могли бы ждать отъ него нѣкоторой идеализаціи фабричныхъ рабочихъ на счетъ деревенскихъ мужиковъ; но ничего подобнаго въ разсказахъ его мы не встрѣчаемъ. Фабричнаго быта г. Горькій вовсе не касается. Судя же по тому, что онъ выставляетъ городскихъ ремесленниковъ людьми искалѣченными и находящимися въ такой же кабалѣ у своего труда, какъ и крестьяне, надо полагать, что и о фабричныхъ рабочихъ онъ не можетъ быть особенно высокаго мнѣнія, такъ какъ и они, въ свою очередь, въ его глазахъ должны представляться не иначе какъ обезличенными рабами механическаго труда. Нѣтъ, не таковы герои, которые являются въ разсказахъ г. Горькаго наиболѣе симпатичными. Они совершенно выходятъ изъ круга какихъ бы то ни было политико-экономическихъ доктринъ. Отъ нихъ и не пахнетъ тѣмъ, что на Западѣ извѣстно подъ именемъ пролетаріата.

Передъ нами явленіе самобытно-русское, исконно-историческое, подобное которому, въ настоящее время, врядъ-ли можно найти гдѣ бы то ни было въ Европѣ, кромѣ развѣ южныхъ окраинъ Испаніи, Италіи, Греціи и Балканскаго полуострова.

Явленіе это есть не что иное, какъ страсть къ бродяжничеству, показывающая, что народъ нашъ и до сихъ поръ еще не дошелъ до полной осѣдлости. Бездомный, шатающійся по всей матушкѣ Россіи—бродяга, который ничѣмъ не дорожитъ и ничего не боится, и до послѣдняго времени представляется въ глазахъ народа чѣмъ-то идеальнымъ, въ силу чего народъ относится къ бродягамъ съ особеннымъ почетомъ и уваженіемъ; мирволитъ имъ, укрываетъ ихъ, даже слагаетъ въ честь ихъ пѣсни, смѣшивая ихъ съ древними богатырями. Вотъ что говоритъ по этому поводу большой знатокъ русской народной жизни, извѣстный этнографъ С. В. Максимовъ: „Можетъ быть, главныя причины покровительства и защиты бродягъ въ путешествіи лежатъ именно въ той тоскѣ о памяти временъ „шатанія",—тоскѣ, которая до сихъ поръ громко сказывается и сильно заявляется въ безчисленномъ множествѣ видовъ бродяжества. Значительная часть ихъ обусловлена даже кореннымъ законнымъ дозволеніемъ, и самая большая половина обезсилила законъ и живетъ, помимо его, прочно и крѣпко. Бродяжествомъ жила Русь далеко послѣ тѣхъ временъ, когда плотили ее въ государство; бродягами расширила она свои предѣлы и ими же отстояла свою независимость отъ кочевыхъ ордъ, напиравшихъ на нее съ востока и юга. Бродяги колонизовали Сѣверъ, завоевали Сибирь, населили Донъ и Уралъ, когда еще это слово не получило настоящаго своего значенія и нынѣшніе бродяги носили названіе „гулящихъ, пришлыхъ, вольныхъ людей". Не умалило это народное коренное свойство искать способныхъ и выгодныхъ мѣстъ на свободномъ и широкомъ роздольѣ земли своей и Московское государство, когда ослаблено было экономическое и государственное значеніе Филиппова заговѣнья и уничтоженъ крестьянскій выходъ на Юрьевъ день. Бродяжество, какъ вольный переходъ съ однѣхъ земель на другія, и теперь живетъ въ народѣ на всѣхъ путяхъ, хотя и подъ другими именами, съ иными оттѣнками" *).

Мы видимъ, что даже въ интеллигентныхъ кругахъ общества издавна лелѣялся беллетристикою въ свою очередь идеалъ бездомнаго шатуна. Въ самомъ дѣлѣ, что такое представляютъ собою всѣ такъ называемые герои времени,—Евгеній Онѣгинъ, Печоринъ, Бельтовъ, Рудинъ, Базаровъ, Маркъ Волоховъ—какъ не въ своемъ родѣ интеллигентныхъ бродягъ, и обратите вниманіе, что всѣмъ этимъ интеллигентнымъ бродягамъ наиболѣе сочувствовали современные читатели, въ то же время какъ героини постоянно предпочитали ихъ буржуазно

---

*) „Сибирь и каторга" С. Максимова, томъ II, стр. 195.

добродѣтельнымъ и солиднымъ Ленскимъ, Круциферскимъ, Волынцевымъ, Лежневымъ и пр.

IX.

Такимъ образомъ, въ предпочтеніи г. Горькимъ бездомныхъ героевъ какимъ бы то ни было добродѣтельнымъ и вседовольнымъ, катающимся, какъ сыръ въ маслѣ, скопидомамъ,—все равно, будь они крестьяне или городскіе капиталисты, смѣшно и видѣть что-нибудь нео-марксистское. Въ такомъ случаѣ, слѣдовало бы всю русскую литературу, начиная съ „Евгенія Онѣгина“ Пушкина, подвести подъ тотъ же знаменатель. На самомъ же дѣлѣ г. Горькій остается лишь вѣрнымъ тому исконному народному идеалу, который одинаково присущъ и твореніямъ безличнаго народнаго творчества, каковы: былины, сказки, разбойничьи пѣсни, и классическимъ произведеніямъ первостепенныхъ русскихъ писателей истекающаго столѣтія: Пушкина, Лермонтова, Тургенена и пр.

До какой степени увлекается г. Горькій этимъ идеаломъ, мы можемъ судить по тому, что онъ не ограничивается изображеніемъ однихъ русскихъ босяковъ, въ родѣ Челкаша, Озорника, Орлова, Коновалова и т. п., а выводитъ въ лицѣ Макара Чудры идеальнаго цыгана, соперничая въ этомъ отношеніи съ Пушкинымъ. Идеализируя свое скитальчество, этотъ самый Макаръ Чудра говоритъ:

—„Смѣшные они, тѣ твои люди. Сбирались въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,—онъ широко повелъ рукою на степь.—И все работаютъ. Зачѣмъ? Кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источитъ на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ въ ней. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не видитъ съ своего поля и умираетъ, какъ родился, дуракомъ. Что жъ, онъ родился затѣмъ, что ли, чтобъ поковырять землю, да и умереть, не успѣвъ даже могилы самому себѣ выковырять? Вѣдома ему воля? Ширь степная понятна? Говоръ морской волны веселитъ ему сердце? Эге! Онъ рабъ, какъ только родился, и во всю жизнь рабъ, да и все тутъ! Что онъ съ собой можетъ сдѣлать? Только удавиться, коли поумнѣетъ немного! А я, вотъ смотри, въ пятьдесятъ восемь лѣтъ столько видѣлъ, что коли написать все это на бумагу, такъ въ тысячу такихъ торбъ, какъ у тебя, не положишь. А, ну-ка, скажи, въ какихъ краяхъ я не былъ? И не скажешь. Ты и не знаешь такихъ краевъ, гдѣ я бывалъ. Такъ нужно жить—иди, иди и все тутъ. Долго не стой на одномъ мѣстѣ—чего въ немъ? Вонъ, какъ день и ночь вѣчно бѣгаютъ, гоняясь другъ за другомъ, вокругъ земли, такъ и ты бѣгай отъ думъ про жизнь, чтобъ не разлюбить ее. А задумаешься,—разлюбишь жизнь: это всегда такъ бываетъ. И со мною это было. Эге! Было, соколъ.“

И далѣе Макаръ Чудра разсказалъ автору про еще болѣе идеальнаго цыгана Зобара, который такъ любилъ свою волю, что всадилъ ножъ своей любимой дѣвушкѣ, красавицѣ Раддѣ, - когда убѣдился, что ему грозитъ опасность измѣнить своей волѣ ради нея.

Не ограничиваясь цыганами, г. Горькій выкопалъ откуда-то молдаванку, старуху Изергиль, которая заткнула за поясъ удальствомъ своей скитальческой жизни всѣхъ прочихъ выведенныхъ г. Горькимъ бродягъ обоего пола.

Въ обоихъ этихъ разсказахъ много поэзіи, но во всякомъ случаѣ это юный пересолъ, отъ котораго не мѣшало бы г. Горькому воздержаться. Я убѣжденъ, что впослѣдствіи, въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, онъ будетъ стыдиться этихъ разсказовъ за ихъ излишній мело-драматизмъ.

X.

„Варенька Олесова".

Какъ и все очень талантливое, этотъ разсказъ г. Горькаго поражаетъ васъ своею жизненностью, свѣжестью и, если хотите, своего рода новизною. Вы привыкли, конечно, къ тому, чтобы свободомыслящіе писатели выводили прогрессивныхъ и передовыхъ героевъ—одаренными непремѣнно самою высокопробною нравственностью и, наоборотъ, людей ретрограднаго образа мыслей надѣляли всѣми семью смертными пороками. Не пьющіе, не курящіе и въ карты не играющіе герои прогрессивнаго настроенія обязательно должны, подобно Іосифамъ Прекраснымъ, въ ужасѣ убѣгать отъ женъ Пентефріевъ; пускающіеся же во всѣ тяжкія ретрограды обязаны только и дѣлать, что вожделѣть, подглядывая, подобно библейскимъ старичкамъ, за купающимися Сусаннами.

Въ дѣйствительности это бываетъ не такъ. Характеръ и безхарактерность, нравственность и безнравственность, ригоризмъ и распущенность, честность и подлость, эгоизмъ и альтруизмъ далеко не всегда находятся въ полной гармоніи съ убѣжденіями человѣка и, нисколько отъ нихъ не завися, влекутъ человѣка совсѣмъ въ противоположную сторону, вопреки требованіямъ исповѣдуемаго катехизиса. Тутъ дѣйствуетъ и наслѣдственность, и хорошее или дурное воспитаніе, и среда, и масса иныхъ условій жизни, которыя образуютъ характеръ человѣка, движутъ его волею и руководятъ его дѣйствіями, помимо убѣжденій, которыми онъ красуется. Послѣднія являются часто лишь роскошными вывѣсками, нисколько не мѣшающими магазинамъ заключать въ себя невообразимую дрянь и гниль.

XI.

Разсказъ г. Горькаго тѣмъ именно и хорошъ, что онъ смѣло отступаетъ отъ этой беллетристической рутины. Въ немъ представляется

та иронія или игра жизни, въ силу которой очень часто подъ блестящею прогрессивною внѣшностью таится полное нравственное растлѣніе и, наоборотъ, жалкая неразвитость и темное невѣжество скрываютъ въ себѣ драгоцѣнные перлы обновленія человѣчества. Сюжетъ разсказа г. Горькаго весь построенъ на подобномъ qui pro quo.

Герой разсказа Ипполитъ Сергѣевичъ Полкановъ принадлежитъ, мало сказать, къ передовымъ слоямъ общества, но въ передовыхъ-то слояхъ занимаетъ мѣсто сливокъ этихъ передовыхъ слоевъ. Передъ нами не просто прогрессистъ, а, въ нѣкоторомъ родѣ, свѣточъ прогресса, такъ какъ герой является приватъ-доцентомъ въ одномъ изъ провинціальныхъ университетовъ. Нужно ли и говорить о томъ, что прогрессивныя убѣжденія Полканова, представляя послѣднее слово науки и жизни, безукоризненны. Самъ онъ считаетъ себя воплощеннымъ идеаломъ человѣка, готоваго всѣ свои силы пожертвовать на благо народу и при случаѣ принесть на алтарь своей религіи даже и свою драгоцѣнную голову, наполненную обширными знаніями. Но пока случай этотъ еще не представился, идеальныя стремленія и прекрасныя убѣжденія нисколько не мѣшали герою нашему сытно ѣсть, сладко пить и пользоваться всѣми благами жизни. Относительно же успѣха среди женщинъ, онѣ, пока что, разыгрывали роль разноцвѣтнаго хвоста индѣйскихъ пѣтуховъ и павлиновъ. Распуститъ Полкановъ свой прогрессивный хвостъ и начнетъ горделиво выступать вокругъ павы: го-го-го, го-го-го!, а пава слушаетъ его и только млѣетъ: ахъ, сколько у него этого самаго альтруизма! Какъ высока въ немъ эта ежеминутная готовность жизнь свою пожертвовать на пользу обездоленнаго мужика!— Боже, какая масса подобнаго рода не только приватъ-доцентовъ, но экстраординарныхъ и ординарныхъ профессоровъ найдете вы во всѣхъ россійскихъ университетахъ! Вспомните хотя бы блестящаго Зарѣчнаго въ романѣ г. Станюковича „Жрецы". Ипполитъ Сергѣевичъ Полкановъ является передъ нами именно тѣмъ же самымъ Зарѣчнымъ.

XII.

Разсказъ начинается тѣмъ, что пріѣзжаетъ Полкановъ на лѣтнія каникулы въ имѣніе къ сестрѣ своей, помѣщицѣ, только что потерявшей мужа и вызвавшей брата помочь ей въ ея внезапномъ вдовствѣ. Онъ пріѣхалъ, мечтая усердно заниматься своей наукой и съ честью приготовиться въ теченіе лѣта къ лекціямъ, но неожиданно встрѣтилъ въ деревнѣ романъ, весьма для него прискорбный и скандальный.

По сосѣдству отъ сестры его, Елизаветы Сергѣевны, проживалъ помѣщикъ, полковникъ въ отставкѣ, разбитый подагрой, Олесовъ, и у него была дочь Варенька, которая и является героиней разсказа. Съ перваго же своего появленія она поразила и взволновала своего героя

своею блестящею красотою, но, по мѣрѣ знакомства съ нею, Полкановъ былъ пораженъ ея неразвитостью, ея невѣжествомъ и допотопными рутинными взглядами на вещи въ помѣщичьемъ духѣ.

На самомъ-же дѣлѣ это была непосредственная натура, богато одаренная, возросшая свободно среди полей и лѣсовъ деревенской глуши, безъ всякаго воспитанія и какой бы то ни было дрессировки, какъ любое роскошное дерево, красующееся въ помѣщичьемъ паркѣ. Физически сильная и здоровая, какъ удалая Поляница народныхъ былинъ, выходившая на поединокъ съ богатырями, въ нравственномъ отношеніи безукоризненно-чистая и дѣвственная до наивности, Варенька ничѣмъ не напоминала собою изнѣженныхъ помѣщичьихъ барышенъ: была неутомима и въ ходьбѣ, и въ греблѣ и въ какихъ бы то ни было физическихъ работахъ; никого и ничего не боялась; держала въ то же время въ своихъ рукахъ все хозяйство по имѣнію, по случаю болѣзни отца, котораго возили по комнатамъ въ колясочкѣ, и все время, такимъ образомъ, было занято у нея солиднымъ мужскимъ дѣломъ, не имѣющимъ ничего общаго съ тѣми диллетантскими занятіями и развлеченіями, какими услаждаютъ свои досуги наши провинціальныя интеллигентныя барышни.

XIII.

Взгляды на вещи и убѣжденія Вареньки, какъ мы уже сказали выше, были самые допотопные, патріархально-помѣщичьи, навѣянные средой, ее окружавшей. Мужикъ, по ея мнѣнію, долженъ работать, ученый учить, а губернаторъ смотрѣть, все ли дѣлаютъ то, что нужно. Романы она предпочитала французскіе на томъ основаніи, что у французовъ герои настоящіе, они и говорятъ не такъ, какъ всѣ люди, и поступаютъ иначе: они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а въ русскихъ романахъ герои—простые человѣчки, безъ смѣлости и безъ пылкихъ чувствъ, некрасивые, какіе-то глупые, мѣшковатые; всегда имъ тошно, всегда они думаютъ о чемъ-то непонятномъ и всѣхъ жалѣютъ. а сами то жалкіе—прежалкіе.

—Читали ли вы,—говорила она,—Фортюнэ-де-Буагабэя? Понсонъ-де-Терайля? Арсена Гуссэ? Пьера Законнэ? Дюма, Габоріо, Борна? Какъ хорошо, Боже мой! Подождите... знаете что? Мнѣ въ романахъ больше всего нравятся злодѣи, тѣ, которые такъ ловко плетутъ разныя ехидныя сѣти, убиваютъ, отравляютъ... умные, сильные, и когда, наконецъ, ихъ ловятъ—меня зло беретъ, даже до слезъ дохожу. Всѣ ненавидятъ злодѣя, всѣ идутъ противъ него—онъ одинъ противъ всѣхъ. Вотъ—герой! А тѣ, другіе, добродѣтельные, становятся гадки, когда они побѣждаютъ... И вообще, знаете, мнѣ люди до той поры нравятся, пока они сильно хотятъ чего-нибудь, куда-нибудь идутъ, ищутъ чего-то,

мучаются. . . Но, если они дошли до цѣли своей и остановились, тутъ они уже не интересны и даже пошлы.

Не любила она также читать о мужикахъ. . . Что можетъ быть,—говорила она,—интереснаго въ ихъ жизни? Я знаю ихъ, живу съ ними и вижу, что о нихъ пишутъ невѣрно, неправду. Они такими жалкими описываются, а они просто подлые и ихъ совсѣмъ не за что жалѣть. Они только одного и хотятъ—надуть васъ, украсть у васъ что-нибудь. Клянчатъ всегда, ноютъ, гадкіе, грязные. . . какъ они мучатъ меня иногда, еслибы вы знали! Противные до того, что я такъ бы всѣхъ ихъ и прогнала куда-нибудь. . .

Тѣмъ не менѣе, натура у нея была добрая. По крайней мѣрѣ, тѣ самые мужики, о которыхъ она такъ презрительно отзывалась, а провинившихся изъ нихъ собственноручно стегала нагайкой, за что-то любили ее. Однажды, когда ей было всего семнадцать лѣтъ, привезли къ нимъ на дворъ скрученнаго веревками конокрада, всего избитаго, въ крови; она дала ему стаканъ водки, велѣла горничной обмыть его лицо, потомъ долго плакала о немъ и молилась Богу, чтобы онъ убѣжалъ. Здѣсь, нужно сказать, г. Горькій прокатился немного на своемъ любимомъ конькѣ пристрастія къ босякамъ и бродягамъ, заставивъ барышню вспоминать объ этомъ эпизодѣ, какъ о своей яко бы первой любви. Это немного слишкомъ. Но самъ по себѣ этотъ эпизодъ довольно правдоподобенъ, хотя, насколько намъ извѣстны дѣвушки подобнаго типа, мы знаемъ, что онѣ относятся съ такою же гуманною жалостью и участьемъ не къ однимъ излюбленнымъ г. Горькимъ конокрадамъ, но и ко всѣмъ мужикамъ, заслуживающимъ этихъ чувствъ.

XIV.

Плѣнившійся красотою барышни, свободолюбивый герой нашъ сейчасъ же распустилъ свой великолѣпный павлиній хвостъ и началъ ораторствовать передъ нею о несправедливомъ распредѣленіи богатствъ, о безправіи большинства людей, о роковой борьбѣ за мѣсто въ жизни и за кусокъ хлѣба, о силѣ богатыхъ и безсиліи бѣдныхъ и объ умѣ,—руководителѣ жизни,—подавленномъ вѣковой неправдой и тьмой предразсудковъ, выгодныхъ сильному меньшинству людей, все порабощающихъ. Но всѣ эти блестящія рѣчи отскакивали отъ дѣвушки, какъ отъ стѣны горохъ, не производя на нее ни малѣйшаго вліянія. И это происходило вовсе не потому, чтобы въ рѣчахъ этихъ не было глубокой правды или что дѣвушка такъ заскорузла въ своихъ предразсудкахъ и была такъ умственно ограниченна, что не въ состояніи была усвоить всего. Происходило это отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, оттого, что рѣчи героя шли не изъ души его, были чужды того энтузіазма, который увлекаетъ за собою всѣхъ и все, а представлялись именно радужнымъ

хвостомъ блестящихъ фразъ, разсудочно-холодныхъ и безстрастныхъ; а, во-вторыхъ, нужно принять во вниманіе то, что пышный хвостъ этотъ былъ привязанъ къ жалкой пиголицѣ, какою представлялся Полкановъ въ глазахъ Вареньки.

Идеаломъ ея былъ мужчина высокій, сильный; онъ долженъ говорить громко, глаза у него должны быть большіе, огненные, а чувство смѣлое, не знающее никакихъ препятствій.

Пожелалъ и сдѣлалъ,—вотъ мужчина. Сила—вотъ что привлекательно, говорила она; теперешніе мужчины родятся съ ревматизмомъ, съ кашлемъ, съ разными болѣзнями—это хорошо?

На фигуру Полканова она все время смотрѣла съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Такъ, описывая бранные подвиги своего отца, она заявила, что любитъ войну, и если будутъ воевать, то уйдетъ въ сестры милосердія.

—А я тогда поступлю въ солдаты, замѣтилъ герой.

—Вы?—спросила она, оглядывая его фигуру.—Ну, это вы шутите . . . изъ васъ вышелъ бы плохой солдатъ. . . слабый вы, худой такой. . .

Это задѣло его;—я достаточно силенъ, повѣрьте . . .—заявилъ онъ, точно предостерегая ее.

—Ну, гдѣ-же?—спокойно не вѣрила ему Варенька.

Герой нашъ вскорѣ понялъ, что ему не покорить ума дѣвушки своимъ убѣжденіемъ и что въ жены ему со своими заскорузлыми предразсудками она не годится. Тѣмъ не менѣе дѣвушка продолжала привлекать и кружить его голову своею красотою. Мало-мальски порядочный человѣкъ разсчиталъ бы, что разъ дѣвушка въ жены ему не годится, то нечего ему ухаживать за нею или чего-либо добиваться отъ нея; но подъ радужнымъ павлиньимъ хвостомъ въ героѣ нашемъ таился звѣрь, и этомъ звѣрь не замедлилъ сказаться въ немъ въ самомъ низкомъ и недостойномъ видѣ. Полкановъ зналъ, что у него не было бы силъ любить дѣвушку, но въ глубинѣ его ума вспыхивала надежда обладать ею. Наивно смѣлое, но чуждое малѣйшихъ заискиваній съ нимъ, дѣвственно чистое обращеніе съ нимъ онъ принялъ за хитрое кокетство съ ея стороны. Наконецъ, его нечистое воображеніе распалилось до такой степени, что онъ вообразилъ, будто Варенька готова отдаться ему. Такъ, оставшись разъ вмѣстѣ съ сестрою ночевать у Олесовыхъ, по случаю сильной грозы, онъ всю ночь провозился съ нелѣпыми эротическими мечтами. Онъ читалъ у кого-то, какъ однажды героиня вошла среди ночи и отдалась, ни о чемъ не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить моментъ. Варенька,—вѣдь въ ней есть общее съ этой героиней, можетъ поступить такъ, и вотъ—вдругъ и она придетъ, въ бѣломъ, вся трепещущая отъ стыда и желанія.

Передъ утромъ, дѣйствительно, дверь тихо отворилась и явилась. . . но не Варенька, а толстая баба за сапогами и брюками героя.

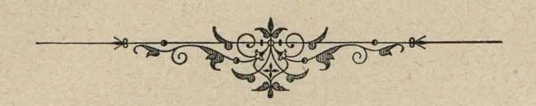
Вслѣдъ затѣмъ герой вскочилъ съ постели, одѣлся и отправился гулять въ паркъ, и надо же было случиться, что, подойдя къ рѣкѣ, онъ нашелъ тамъ купающуюся Вареньку, и произошла сцена такая позорная для героя, какую онъ не ожидалъ, хотя вполнѣ заслужилъ.

Исполненная гнѣва и негодованія, Варенька требовала, чтобы онъ убирался, называя его гадкимъ псомъ. Когда же онъ все-таки упорствовалъ и не уходилъ, она выскочила изъ воды, внѣ себя, свернула жгутомъ простыню и отшлепала его почти до безпамятства и затѣмъ ушла, сказавши ему на прощанье:

—Что. . . хорошо?. . Какъ вы придете въ домъ такой?. . весь скверный, грязный, мокрый, оборванный. . . Эхъ вы, жалкій. . . гадкій. . . Скажите хоть, что въ воду съ берега сорвались. . . Не стыдно-ли. . . Вѣдь я моглабы убить. . . еслибы въ руки попало что другое.

Тѣмъ и кончился разсказъ,—развязка, не правда-ли, совершенно неожиданная и оригинальная. Мнѣ, съ своей стороны, остается только пожелать, чтобы всѣ ординарные, экстраординарные профессора и приватъ-доценты, въ родѣ Полканова, точно такъ же оканчивали бы свои амуры.

А. Скабичевскій.



Критика 1899-го года.

Новыя черты въ талантѣ г. М. Горькаго.

I.

Г. Горькій, въ послѣднее время, начинаетъ все чаще дѣлать вылазки изъ среды своихъ излюбленныхъ золоторотцевъ, и мы можемъ лишь сказать ему: „въ добрый часъ“! Это выводитъ г. Горькаго на болѣе широкій просторъ, даетъ возможность не въ примѣръ болѣе разнообразить свои образы и не повторяться въ такой степени, какъ это ему приходилось съ его босяками. Въ то же время, принимаясь за изображеніе различныхъ сферъ жизни, болѣе знакомыхъ и изученныхъ г. Горькимъ, онъ имѣетъ возможность быть правдивѣе, реальнѣе, изображать людей русскихъ такими, каковы они на самомъ дѣлѣ, а не Ринальдо Ринальдини въ картинныхъ плащахъ и бандитскихъ шляпахъ съ черными перьями. По крайней мѣрѣ, нѣсколько новѣйшихъ, послѣднихъ произведеній г. Горькаго, не имѣющихъ ничего общаго съ босяками, являются не отъ чего иного, какъ именно вслѣдствіе этого, и разнообразнѣе, и правдивѣе. Таковы „Варенька Олесова“, и вышеозначенныя „Кирилка“ и „Ѳома Гордѣевъ“.

II.

„Кирилка“.

Разсказъ „Кирилка“ представляетъ собою прелестную бытовую сценку, но не безцѣльно-фотографическую, а заключающую въ себѣ глубокій символическій смыслъ. Но не подумайте, чтобы это былъ символизмъ въ декадентскомъ духѣ. Нѣтъ, разсказъ г. Горькаго скрываетъ въ себѣ тотъ здоровый художественный символизмъ, какой найдете вы во многихъ произведеніяхъ нашихъ классиковъ—Крылова, Грибоѣдова, Пушкина, Гоголя, Щедрина и проч. Однимъ словомъ, въ бытовой сценкѣ г. Горькаго, какъ въ микрокозмѣ, отражается то явленіе, какое мы видимъ въ современной русской жизни, взятой въ ея цѣломъ. Явленіе это заключается въ томъ, что на каждомъ шагу въ интеллигентныхъ сферахъ мы можемъ слышать, какъ безпощадно честятъ мужиковъ—и спившимися до полнаго помраченія пьяницами, и лѣнтяями, и лежебоками, отвыкшими отъ труда и старающимися жить лишь подачками и воровствомъ. Упускаютъ только всѣ эти хулители совсѣмъ

изъ вида одно очень маленькое обстоятельство: именно, что они и ѣдятъ, и пьютъ, и дѣтей воспитываютъ, и за границу катаются, и искусствами наслаждаются,—все это на мужицкія деньги.

Такъ, въ разсказѣ изображаются нѣсколько проѣзжихъ, принужденныхъ, вслѣдствіе внезапнаго вскрытія рѣки, скучиться на берегу ея въ долгомъ и томительномъ ожиданіи прибытія лодокъ и возможности переправы. Здѣсь, кромѣ разсказчика, были псаломщикъ Исай, земскій начальникъ Сущовъ, купецъ Мамаевъ. Но болѣе всего обратилъ на себя вниманіе разсказчика мужиченка на кривыхъ ногахъ, въ рваномъ полушубкѣ, туго подпоясанный, перегнувшійся впередъ и какъ бы застывшій въ поклонѣ господамъ. Маленькое, сморщенное лицо его поросло рѣдкой сѣрой бородкой, глаза были спрятаны въ мѣшкахъ морщинъ, тонкія темныя губы были сложены въ улыбку, и въ ней одновременно соединялись почтительность съ насмѣшкой и глупость съ плутовствомъ. Онъ сидѣлъ на корточкахъ, былъ похожъ на обезьяну и, медленно поворачивая голову то туда, то сюда, слѣдилъ за всѣми, не показывая никому своихъ глазъ. Изъ безчисленныхъ дыръ его полушубка высовывались клочья грязной овчины, и вся фигура мужика производила странное впечатлѣніе:—онъ казался изжеваннымъ, какъ будто сейчасъ вырвался изъ какой-то огромной пасти, пытавшейся сожрать его. . .

Всѣ скучившіеся проѣзжіе не знали, когда рѣка очистится и пуститъ ихъ дальше, всѣмъ было томительно скучно; въ то же время, такъ какъ никто изъ нихъ не ожидалъ задержки, никто не запасся съѣстнымъ; всѣ были голодны, а поэтому и злы. Но на комъ же было имъ изливать свою желчь, какъ не на мужикѣ? И вотъ началась обычная трепка мужика, благо онъ былъ тутъ на лицо.

III.

Такъ, виноватою оказалась не рѣка, а все тотъ же за все, про все отвѣтчикъ—мужикъ. По крайней мѣрѣ, земскій начальникъ набросился на него съ такими словами:

—Нѣтъ, это чортъ знаетъ что! Я же, вѣдь, говорилъ тебѣ, идіоту, переправь двѣ лодки на эту сторону, а? говорилъ?

—Говорили вы . . . это вѣрно . . .—виновато отвѣтилъ мужикъ.

—Н-ну, а ты?

—Не успѣлъ . . . потому—тронулась она сразу. . .

—Болванъ!—Нѣтъ, обратился земскій къ Мамаеву,—эти . . . ослы совершенно не могутъ понимать человѣческій языкъ!

—Сказано—муж-жики-съ,—любезно улыбаясь, прошипѣлъ Мамаевъ.

—Раса дикая. . . племя тупое, умы осиновые. . . но вотъ теперь, будемъ ожидать отъ усердія земства и распространенія имъ школъ—просвѣщенія и образованности. . .

—Школы... да! читальни, фонари—прекрасно! Я понимаю это... но, однако, хотя я и не противникъ просвѣщенія, какъ вы знаете, а все-таки ха-арошая порка воспитываетъ быстрѣе и стоитъ дешевле... да-съ. За розгу мужикъ не платитъ, а на просвѣщеніе съ него шкуру дерутъ хуже, чѣмъ розгой драли. Пока просвѣщеніе-съ только разоряетъ его, вотъ что я скажу... Я не говорю—не просвѣщайте, я говорю—подождите...

—Совершенно такъ,—съ удовольствіемъ воскликнулъ купецъ.—Очень бы слѣдовало подождать, потому что тяжело мужику по нынѣшнимъ днямъ... Недороды, болѣзни, слабость къ вину,—все это, такъ сказать, подъ конецъ его сѣчетъ, а тутъ школы, читальни... Что съ него взять при такомъ порядкѣ? Совсѣмъ нечего съ него взять... ужъ повѣрьте мнѣ!

—Вамъ это извѣстно, Никита Павлычъ,—убѣжденно, но вѣжливо сказалъ Исай, и благочестиво вздохнулъ.—Еще бы! Семнадцать лѣтъ хожу вокругъ его! Я на счетъ ученія такъ полагаю—ежели во благовременіи, то оно можетъ принести пользу... всякому человѣку. Но ежели у меня въ брюхѣ, извините, пусто—ничему я учиться не пожелаю, кромѣ какъ воровству!

—Зачѣмъ вамъ учиться!—почтително и ласково воскликнулъ Исай.

Мамаевъ взглянулъ на него и искривилъ губы.

—Вотъ мужикъ... Кирилка!—позвалъ земскій.—Вотъ мужикъ,—обратился онъ къ намъ съ нѣкоторой торжественностью на лицѣ и въ тонѣ,—это, рекомендую, недюжинный мужикъ... бестія, какихъ мало. Когда горѣлъ „Григорій", онъ, этотъ оборванецъ, этотъ... комаръ собственноручно спасъ шестерыхъ пассажировъ... поздней осенью часа четыре, рискуя жизнью, купался въ водѣ, въ бурю, ночью... Спасъ людей и скрылся... его ищутъ, хотятъ благодарить, хлопотать о медали... а онъ въ это время воруетъ казенный лѣсъ и схваченъ на мѣстѣ преступленія. Хорошій хозяинъ, скупъ, сноху вогналъ въ гробъ, жена-старуха бьетъ его полѣномъ... онъ пьяница и очень богомоленъ, поетъ на клиросѣ... имѣетъ хорошій пчельникъ... и при этомъ воръ. Паузилась тутъ баржа, и онъ попался въ кражѣ трехъ мѣстъ изюму... извольте видѣть, какая фигура?...

Вотъ въ какомъ родѣ вели путники разговоры, пока голодъ не довелъ ихъ до того, что они ни о чемъ не въ состояніи были вести рѣчи, какъ только о насыщеніи. Но ни у кого ничего не было, и ближе пяти верстъ негдѣ было достать хлѣба. И представьте себѣ общій восторгъ, когда вдругъ у Кирилки за пазухой оказалось фунта съ два хлѣба. Земскій безъ церемоніи отобралъ хлѣбъ у мужика; затѣмъ хлѣбъ былъ раздѣленъ между всѣми путниками, кромѣ, конечно, Кирилки, и какъ ни отвратителенъ былъ этотъ хлѣбъ, похожій на глину, имѣвшій къ тому же запахъ потной овчины и квашеной капусты, какъ ни брез-

говали и ни морщились путники, онъ мигомъ былъ съѣденъ до крошки. Затѣмъ рѣка настолько расчистилась, что переправа сдѣлалась возможна; подъѣхали лодки; путники усѣлись въ нихъ и отчалили отъ берега. Кирилка остался на берегу, но не успѣли путники отъѣхать и десяти саженъ, какъ Кирилка, съ бойкимъ, насмѣшливымъ взоромъ, громко закричалъ:

—Дядя Антонъ! За почтой поѣдете—хлѣба мнѣ привезите, слышь! Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня съѣли, а одна была. . .

Не правда-ли, какая это прелесть!

IV.

„Ѳома Гордѣевъ“.

О повѣсти „Ѳома Гордѣевъ“ нельзя сказать, чтобы она была вполнѣ безукоризненна; вы пайдете въ ней нѣкоторую растянутость и другіе недостатки, которыми страдаютъ произведенія г. Горькаго; таковы, напримѣръ, слишкокъ длинныя рѣчи, произносимыя нѣкоторыми изъ его героевъ, и тѣмъ болѣе томительны тѣ изъ нихъ, которыя наполнены поучительными наставленіями отца сыну въ духѣ прописной морали. Подобныя рѣчи слѣдовало бы сократить, по крайней мѣрѣ, на половину. Не избѣжалъ г. Горькій и другого своего обычнаго недостатка: именно—литературно-книжнаго языка нѣкоторыхъ изъ дѣйствующихъ лицъ, неспособныхъ по малообразованности говорить такимъ языкомъ. Но всѣ эти недостатки выкупаются за то мѣстами поистинѣ первокласснаго достоинства.

Раньше всего познакомимся съ отцомъ героя, Игнатомъ Матвѣевичемъ Гордѣевымъ, который въ повѣсти рисуется передъ нами во весь, такъ сказать, ростъ, въ законченномъ видѣ, отъ колыбели до могилы.

Очень возможно, что Игнатъ Гордѣевъ одинъ выручитъ всю повѣсть, такъ какъ это самая удачная личность въ ней. До сихъ поръ мы имѣли дѣло въ разсказахъ г. Горькаго преимущественно съ лицами конкретными, такъ или иначе выдающимися изъ массы заурядныхъ людей. Здѣсь-же г. Горькій впервые выступаетъ на почву созданія типовъ. Въ самомъ дѣлѣ, Игнатъ является передъ нами уже не какимъ-либо выродкомъ и не избранною натурою съ байроновскимъ пошибомъ, но замѣчательнѣйшимъ типомъ, и къ тому же типомъ вполнѣ народнымъ, принимая это слово въ смыслѣ не простонароднаго, а *всенароднаго*, т. е. типа, выработаннаго особыми условіями русской жизни и въ ея прошломъ и настоящемъ. Въ этомъ отношеніи Игнатъ Гордѣевъ смѣло можетъ быть поставленъ на одномъ ряду съ такими широко обобщающими типами, какъ дѣдушка Багровъ С. Аксакова, бабушка Бережкова Гончарова, князь Куралесовъ Печерскаго и т. п.

Въ самомъ дѣлѣ: если мы возьмемъ Игната лишь въ частности, какъ типъ богатаго волжскаго хлѣботорговца, то и въ такомъ смыслѣ онъ замѣчателенъ своею обобщающею широтою. Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, онъ еще общѣе: это типъ историческій. Онъ напоминаетъ намъ и новогородскихъ торговыхъ людей, и нѣкоторыхъ московскихъ царей, собирателей Руси—Іоанна III или Грознаго.

V.

Обратимъ вниманіе на весьма существенное достоинство г. Горькаго, къ сожалѣнію, очень рѣдко встрѣчающееся въ послѣднее время; именно— полное отсутствіе какой-либо односторонней, исключительной точки зрѣнія на своихъ героевъ, умѣніе выставлять ихъ всесторонне, принимая во вниманіе всѣ и хорошія, и дурныя ихъ душевныя качества.

Такъ, если того же Игната Гордѣева мы вздумали бы смотрѣть исключительно съ точки зрѣнія культурной, то, конечно, ничего не нашли бы въ немъ, кромѣ грубаго и дикаго самодура, вродѣ Кита Китыча, крутого деспота въ семьѣ, не допускающаго со стороны своихъ домочадцевъ ни малѣйшаго возраженія, а тѣмъ болѣе самостоятельнаго шага, необузданно буйнаго во хмѣлю, но и въ трезвомъ видѣ любящаго прибѣгать къ кулачной расправѣ, при каждомъ случаѣ, когда это можетъ пройти безнаказанно.

Если опять таки мы начнемъ смотрѣть на Игната исключительно съ соціальной точки зрѣнія, то въ свою очередь мы увидимъ въ немъ лишь дерзкаго и наглаго эксплоататора, жаднаго алтынника, заботящагося лишь о наживѣ и не разбирающаго средствъ для своего обогащенія, не только готоваго на каждомъ шагу обмѣривать, обвѣшивать, отравлять покупателей гнилятиной, но при случаѣ и ограбить на большой дорогѣ. О жалости къ неимущимъ, объ участіи къ положенію униженныхъ и оскорбленныхъ и говорить нечего.

И вотъ слѣдуетъ поставить въ заслугу г. Горькому, что и въ подобномъ нравственномъ чудовищѣ онъ сумѣлъ раскрыть намъ человѣка, имѣющаго свои нравственныя достоинства, свою искру Божію, и въ то же время такую богато одаренную натуру, которая однимъ этимъ невольно привлекаетъ ваши симпатіи.

VI.

Въ молодости Игнатъ Гордѣевъ служилъ водоливомъ на одной изъ баржъ богатаго купца Заева, впослѣдствіи же сдѣлался самъ милліонеромъ. Г. Горькій объясняетъ этотъ успѣхъ въ жизни Игната тѣмъ, что „богатырски сложенный, красивый и не глупый, онъ былъ однимъ изъ тѣхъ людей, которымъ всегда и во всемъ сопутствуетъ удача—не

потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорѣе потому, что, обладая огромнымъ запасомъ энергіи, они, по пути къ своимъ цѣлямъ, не имѣютъ, даже не могутъ задумываться надъ выборомъ средствъ и, помимо своего желанія, не знаютъ иного закона. Иногда они со страхомъ говорятъ о своей совѣсти, порою искренно мучаются въ борьбѣ съ нею, но совѣсть—это сила непобѣдимая лишь для слабыхъ духомъ; сильные же быстро овладѣваютъ ею и порабощаютъ ее своимъ желаніямъ, ибо они безсознательно чувствуютъ, что если дать ей просторъ и свободу— она изломаетъ жизнь. Они приносятъ ей въ жертву дни; если же случится, что она одолѣетъ ихъ души, то они, побѣжденные ею, никогда не бываютъ разбиты и такъ же здорово и сильно живутъ подъ ея началомъ, какъ жили и безъ нея“...

Признаться сказать, разобраться въ этой тирадѣ довольно трудно. Г. Горькій, очевидно, хочетъ принести маленькую жертву нѣкоторымъ новѣйшимъ вѣяніямъ, сказать нѣчто въ духѣ Ницше, къ ученію котораго онъ, повидимому, не совсѣмъ равнодушенъ. Не даромъ у него мы замѣчаемъ наклонность искать среди босяковъ человѣко-боговъ, которые, при удовлетвореніи своихъ дерзкихъ желаній не допускаютъ никакихъ препонъ, въ видѣ нравственныхъ правилъ, существующихъ, конечно, лишь для людей слабодушныхъ, рабовъ ничтожныхъ.

Понятно, что не въ примѣръ легче подвести подъ ученіе Ницше какой-нибудь отчаянный поступокъ босяка, но и здѣсь мы видимъ, что въ результатѣ, вмѣсто отважнаго удовлетворенія божественнаго желанія, очень часто ничего не получается, кромѣ острога и каторги. Совсѣмъ иное мы видимъ въ жизни Игната Гордѣева. Здѣсь мы имѣемъ систематическую дѣятельность, продолжающуюся всю жизнь, закабаляющую человѣка, дѣлающую его рабомъ той суетной цѣли, которою увлекся онъ,—обогащенія. Но для доставленія хотя бы и такой эфемерной цѣли недостаточно, оказывается, одного дерзновенія и неразборчивости въ средствахъ. Еслибы Гордѣевъ былъ нервнымъ, капризнымъ, взбалмошнымъ, быстро увлекаясь задуманнымъ, столь же быстро охладѣвалъ къ нему, наконецъ, былъ бы глупымъ и безразсуднымъ, то ницшеанское дерзновеніе и неразборчивость въ средствахъ не принесли бы ему успѣха въ жизни и не сдѣлали бы его человѣко-богомъ, а на первыхъ же шагахъ привели бы къ какой-нибудь ужасной и постыдной гибели.

Но въ томъ именно и дѣло, что причина успѣховъ Гордѣева лежитъ прежде всего и болѣе всего въ богато одаренной природѣ его, здоровыхъ мускулахъ и нервахъ, недюжинномъ умѣ, желѣзной волѣ, трудолюбіи, упорствѣ, энергіи и пр. Въ быстромъ обогащеніи Гордѣева безспорно играла не малую роль и неразборчивость въ средствахъ. Но напрасно думаетъ г. Горькій, что неразборчивость эта происходила изъ сознательнаго дерзновенія. Причина ея заключалась скорѣе всего въ слишкомъ страстномъ увлеченіи предпринятымъ дѣломъ. Внушенія со-

вѣсти при этомъ не дерзновенно преступались и пренебрегались, а просто забывались, подобно тому, какъ дѣвушка въ экстазѣ страсти забываетъ и честь, и стыдъ, бросаясь въ объятія любовника. Но когда страсть удовлетворяется, наступаютъ минуты спокойствія, охлажденія, усталости, тогда просыпается совѣсть и начинаетъ казнить за всѣ дерзновенія. И вчерашній человѣко-богъ чувствуетъ себя сегодня ничтожнымъ и жалкимъ пресмыкающимся червякомъ.

Этотъ переходъ отъ дерзновенія къ уничтоженію показываетъ намъ далѣе самъ г. Горькій, когда изъ сферы чистой мысли переходитъ на болѣе свойственную ему почву художественности.

VII.

Такъ, мы видимъ, что „въ сорокъ лѣтъ отъ роду Игнатъ Гордѣевъ былъ собственникомъ трехъ пароходовъ и десятка баржъ. На Волгѣ его уважали, какъ богача и умнаго человѣка, но дали ему прозвище „Шалый“, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, какъ у другихъ людей, ему подобныхъ, а то-и-дѣло, мятежно вскипая, бросалась вонъ изъ колеи, въ стороны отъ наживы, главной цѣли существованія этого человѣка.

Было какъ бы трое Гордѣевыхъ, или—въ Игнатѣ были какъ бы три души. Одна изъ нихъ, самая мощная, была только жадна, и когда Игнатъ жилъ, подчиняясь ея велѣніямъ,—тогда онъ былъ просто человѣкъ, охваченный неукротимою страстью къ работѣ. Эта страсть горѣла въ немъ дни и ночи, онъ всецѣло поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не могъ насытиться шелестомъ и звономъ денегъ. Онъ метался по Волгѣ вверхъ и внизъ, укрѣпляя и настраивая на ней сѣти, которыми ловилъ золото: онъ скупалъ по деревнямъ хлѣбъ, возилъ его въ Рыбинскъ на своихъ баржахъ; грабилъ, обманывалъ, иногда не замѣчалъ этого, иногда—замѣчалъ и, торжествуя, открыто смѣялся надъ обманутыми имъ и въ безуміи своей жажды денегъ возвышался до поэзіи.

И вдругъ—обыкновенно это случалось весной, подъ ея обаяніемъ—„Игнатъ Гордѣевъ какъ бы чувствовалъ, что онъ не хозяинъ своего дѣла, а низкій рабъ его. Онъ задумывался и, пытливо поглядывая вокругъ себя изъ-подъ густыхъ, нахмуренныхъ бровей, цѣлыми днями ходилъ угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чемъ-то и боясь спросить вслухъ. Тогда въ немъ просыпалась другая душа—буйная и похотливая душа раздраженнаго голодомъ звѣря. Дерзкій со всѣми и циничный, онъ пилъ, развратничалъ и спаивалъ другихъ, онъ приходилъ въ изступленіе, и въ немъ точно вулканъ грязи вскипалъ. Казалось, онъ бѣшено рветъ тѣ цѣпи, которыя самъ на себя сковалъ и носитъ, онъ рветъ ихъ, и безсиленъ разорвать. Всклокоченный, грязный,

съ лицомъ, опухшимъ отъ пьянства и безсонныхъ ночей, съ безумными глазами, огромный и ревущій хриплымъ голосомъ, онъ носился по городу изъ одного вертепа въ другой, не считая бросалъ деньги, плакалъ подъ пѣніе заунывныхъ народныхъ пѣсенъ и плясалъ и билъ кого-нибудь, но нигдѣ и ни въ чемъ не находилъ успокоенія. О его кутежахъ въ городѣ создавались легенды, его всѣ строго осуждали, но никто никогда не отказывался отъ его приглашенія на оргіи. Такъ онъ жилъ недѣлями.

„И неожиданно являлся домой, еще весь пропитанный запахомъ пьянства, но уже подавленный и тихій. Со смиренно опущенными глазами, въ которыхъ теперь горѣлъ стыдъ, онъ молча слушалъ упреки жены, смирный и тупой, какъ овца, уходилъ къ себѣ въ комнату и тамъ запирался. По нѣскольку часовъ кряду онъ выстаивалъ на колѣняхъ предъ образами, опустивъ голову на грудь; безпомощно висѣли его руки, спина сгибалась, и онъ молчалъ, какъ бы не смѣя молиться. Къ дверямъ на цыпочкахъ подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью—вздохи лошади, усталой и больной.

—Господи! Ты видишь. . .—глухо шепталъ Игнатъ, съ силой прижимая къ широкой груди ладони рукъ.

„Во дни покаянія онъ пилъ только воду и ѣлъ ржаной хлѣбъ. Жена утромъ ставила къ двери его комнаты большой графинъ воды, фунта полтора хлѣба и соль. Онъ отворялъ дверь, бралъ себѣ эту трапезу и снова запирался. Его такъ уже и не безпокоили ничѣмъ въ это время, даже избѣгали попадаться на глаза ему. . . Черезъ нѣсколько дней онъ снова являлся на биржѣ, шутилъ, смѣялся, принималъ подряды на поставку хлѣба, зоркій, какъ опытный хищникъ, тонкій знатокъ всего, что касалось дѣла“.

Эти періодическіе переходы отъ энергической дѣятельности, исполненной отважнаго дерзновенія, до забвенія какихъ-бы то ни было внушеній совѣсти, къ столь же необузданнымъ кутежамъ и затѣмъ суровому посту и слезному покаянію, происходили вовсе не оттого, чтобы у Игната Гордѣева и въ самомъ дѣлѣ были три души. Это были полосы одной и той же могучей природы, одинаково необузданно-страстной во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, и хорошихъ, и дурныхъ. Эта страстность, сила и вмѣстѣ съ тѣмъ цѣльность Игната и привлекаютъ наши взоры, заставляютъ насъ невольно любоваться на него даже въ минуты его грязныхъ оргій. Наконецъ, именно эти самыя полосы приравниваютъ его къ стариннымъ историческимъ русскимъ типамъ нѣкоторыхъ московскихъ царей, бояръ и торговыхъ людей.

VIII.

Въ нашей интеллигентной средѣ существуетъ рядъ проклятыхъ вопросовъ, которые время отъ времени съ особенною остротою и силою

овладѣваютъ умами передовыхъ мыслителей и художниковъ, тревожа сердца ихъ и доводя ихъ до мучительной боли. При этомъ нужно обратить вниманіе на то обстоятельство, что каждый разъ вопросы эти являются подъ какимъ-нибудь новымъ соусомъ, подъ знаменемъ совершенно новыхъ идей, ученій, вѣяній. Молодому поколѣнію кажется потому, что тревожный вопросъ представляетъ совершенно новое, небывалое еще явленіе, и понятно, что набрасываютя на него съ особенною страстностью и горячностью; носятся съ нимъ и трактуютъ его на всѣ лады на всѣхъ перекресткахъ, въ романахъ и повѣстяхъ, въ публицистическихъ и критическихъ трактатахъ и проч. А между тѣмъ, если покопаться внимательнѣе въ прошломъ, то окажется вдругъ, что нашъ якобы новый вопросъ является весьма старымъ, что и отцы наши, и дѣды, и прадѣды мучились надъ нимъ такъ же тревожно и такъ же безплодно, причемъ, хотя въ прежнія времена тотъ же самый вопросъ и являлся подъ инымъ флагомъ, это нисколько не мѣшаетъ вновь поднявшимъ его внукамъ повторять при рѣшеніи его тѣ же выраженія, впадая въ тѣ же ошибки и заблужденія. Передъ вами, такимъ образомъ, происходитъ словно какъ бы круженіе бѣлки въ колесѣ или, еще того лучше, крутится валъ косморамы и безконечно повторяются въ одномъ и томъ же порядкѣ одни и тѣ же виды городовъ, портреты знаменитыхъ генераловъ, кровавыхъ битвъ, пожаровъ и т. п.

IX.

Однимъ изъ такихъ яко-бы новыхъ, а на самомъ дѣлѣ весьма ветхихъ вопросовъ является вопросъ, откуда намъ взять такихъ сильныхъ людей для удовлетворенія вулканическихъ страстей и титаническихъ стремленій, для которыхъ не существовало бы никакихъ препонъ, ни нравственныхъ, ни общественныхъ, ни духовныхъ, ни матеріальныхъ. Это исканіе сильнаго человѣка, любованіе его различнаго рода дерзновеніями и пренебреженіями прописныхъ правилъ мѣщанской морали проходитъ черезъ всю нашу литературу, начиная съ Пушкина и до сего дня. При этомъ, конечно, уже каждая эпоха, какъ я сказалъ выше, сочиняла своего особеннаго сильнаго человѣка, сообразно тѣмъ или другимъ господствовавшимъ въ разныя времена идеямъ, ученіямъ, вѣяніямъ и т. п.

Такъ, въ эпоху поклоненія Байрону сильный и дерзновенный герой издѣвался надъ малодушно-трусливою и пресмыкающеюся въ ничтожествѣ толпою въ образѣ разочарованнаго и скучающаго скитальца, не знающаго, куда ему приклонить непреклонную голову и гдѣ „оскорбленному есть чувству уголокъ“. Смѣшно сказать, что всѣ дерзновенія нашихъ москвичей въ чайльдгарольдовомъ плащѣ не шли дальше обольщенія золотушной дочери отставного секундъ-маіора или непомнящей

родства черкешенки, да убійства легкомысленнаго и пустоголоваго юнкера на дуэли. Тѣмъ не менѣе и этихъ подвиговъ было достаточно, чтобы Онѣгины, Печорины и эффектные герои романовъ Марлинскаго представлялись обольстительными, кружащими голову идеалами, какъ для юнцовъ, такъ особенно для юницъ эпохи Пушкина и Лермонтова.

Затѣмъ англійскій романтизмъ смѣнился французскимъ: вмѣсто Чайльдъ-Гарольда и Манфреда началось поклоненіе пылающимъ гражданскими чувствами и преисполненнымъ гигантскими замыслами титаническимъ героямъ В. Гюго и Ж. Зандъ. На смѣну Онѣгинымъ и Печоринымъ выступили Бельтовъ, Инсаровъ, Рахметовъ. Дерзновенія этихъ новыхъ губителей сердецъ въ свою очередь не шли далѣе того, чтобы отбить жену у скромнаго провинціальнаго учителя, выкупать въ канавѣ пьянаго нѣмца или же нагрубить становому на уѣздномъ балу. Но этихъ дерзновеній было вполнѣ достаточно, чтобы вышеозначенные герои представлялись недосягаемыми идеалами, на которые молились пылкіе юноши и которымъ безропотно покорялись томныя дѣвы.

Нынѣ всѣ подобнаго же рода исканія сильныхъ людей или же сочиненія ихъ творятся, какъ по нотамъ, по сумасшедшимъ теоріямъ новомоднаго философа, пресловутаго Ницше.

До какихъ абсурдовъ доходитъ у нѣкоторыхъ современныхъ россіянъ увлеченіе философіей Ницше, можно судить хотя бы по роману г. Мережковскаго „Отверженный“. Читая этотъ романъ, невольно приходишь къ убѣжденію, что Ницше, конечно, жилъ раньше всѣхъ вѣковъ, если древніе эпохи Юмана разсуждали уже цѣликомъ по Ницше. Въ самомъ дѣлѣ, прочтите, что говоритъ іерофантъ Максимъ Юману на стр. 54—55.

—Куда итти?—спрашиваетъ Юманъ.

—Выбери одинъ изъ двухъ путей и не останавливайся,—отвѣчаетъ Максимъ.

—Какой?

—Если вѣришь въ Него, возьми крестъ, иди за Нимъ, какъ Онъ велѣлъ. Будь смиреннымъ, будь дѣвственнымъ, будь агнцемъ безгласнымъ въ рукахъ палачей. Бѣги въ пустыню, отдай Ему плоть и духъ, и разумъ. Вѣрь. Это одинъ изъ двухъ путей: великіе страстотерпцы галилеяне достигаютъ такой же свободы, какъ Прометей и Люциферъ.

—Я не хочу!

—Тогда избери другой путь: будь владыкой, будь подобнымъ древнимъ, суровымъ мужамъ. Будъ сильнымъ, будь гордымъ, будь неумолимымъ и прекраснымъ. Не жалѣй, не люби, не прощай! Возстань и побѣди все! Да будетъ тѣло твое, какъ тѣло мраморныхъ полубоговъ! Бери и не отдавай! Вкуси отъ запретнаго плода и не раскайся! Не

вѣрь и познавай! И міръ будетъ твой, и ты будешь, какъ Титанъ и ангелъ, возставшій на Бога.

X.

Какъ ни курьезно слушать такія рѣчи изъ устъ людей, жившихъ болѣе полуторы тысячи лѣтъ назадъ, но г. Мережковскаго все-таки можно кое-какъ оправдать тѣмъ, что кто ихъ знаетъ, что говорили и думали люди IV столѣтія? Все, что угодно, можно имъ приписать, и они останутся безотвѣтными, мирно почія во гробѣхъ своихъ. Но представьте себѣ, что подобныя же рѣчи въ ницшеанскомъ духѣ вы слышите отъ людей, хотя и нашего вѣка, но какихъ именно?—хлѣбопековъ, сапожниковъ, босяковъ, занимающихся кражею товаровъ изъ баржей, и т. п. Такихъ диковинныхъ ницшеанцевъ мы находимъ у г. Горькаго, который, повидимому, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе проникается исканіемъ сильныхъ и дерзновенныхъ людей по Ницше.

По правдѣ сказать, весьма характерную черту нашей интеллигенціи представляетъ это вѣчное исканіе сильныхъ людей, гдѣ бы то ни было и какихъ бы то ни было. Въ сущности, по моему мнѣнію, все это не что иное, какъ „плѣнной мысли раздраженье“, платоническое созерцаніе голодными людьми вкусныхъ колбасъ, красующихся за окнами лавокъ. Мы ничтожны, жалки, мы только и дѣлаемъ, что малодушно пресмыкаемся. Дайте намъ хотя издали полюбоваться на то, какіе молодцы бываютъ на свѣтѣ, какъ они ничего не боятся, какъ стоитъ имъ чего-нибудь захотѣть, и нѣтъ никакихъ препонъ къ исполненію ихъ желаній. Понятно въ то же время, что такъ какъ въ интеллигентной средѣ такихъ отважныхъ людей очень мало и отважные подвиги ихъ, какъ я говорилъ уже выше, очень жалки, то ничего больше и не осталось, какъ, переставши искать титановъ и человѣко-боговъ среди титулярныхъ совѣтниковъ и коллежскихъ секретарей, обратиться къ другимъ сословіямъ, къ купцамъ, мѣщанамъ, босякамъ, что и дѣлаетъ г. Горькій. Всѣ герои его разсказовъ: съ одной стороны, отважные мужчины въ родѣ Челкаша, Озорника, Орлова, Коновалова и пр., съ другой—безшабашныя женщины, въ родѣ Мальвы, Изергиль, Вареньки Олесовой,—все это въ своемъ родѣ человѣко-боги, сильныя натуры, претендующія на вакансіи, открывшіяся послѣ выхода въ отставку всѣхъ прежнихъ титановъ, щеголявшихъ во фракахъ или присвоенныхъ ихъ чину и мѣсту служенія мундирахъ.

Что жъ, если хотите, г. Горькій въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и правъ. Не Богъ вѣсть, какими крупными размѣрами отличаются демоническія дерзновенія его новыхъ героевъ; всѣ они исчерпываются кражею нѣсколькихъ тюковъ шелковой матеріи, отшлепаніемъ мокрою простынею пошлаго ловеласа, въ лицѣ привата-доцента Полканова, или

клубнымъ скандаломъ съ мордобитіемъ. Но во всякомъ случаѣ русскій читатель, читая разсказы г. Горькаго, отдыхаетъ душою, встрѣчая въ нихъ людей, у которыхъ въ достаточной мѣрѣ развиты мускулы, въ жилахъ которыхъ течетъ кровь, а не сукровица, и которые способны хоть на вершокъ отступить отъ проторенныхъ тропинокъ и дать волю своему ретивому распотѣшиться хоть надъ уѣзднымъ сплетникомъ или приватъ-доцентомъ, вздумавшимъ пройтись насчетъ клубнички.

XI.

Въ повѣсти своей „Ѳома Гордѣевъ“ г. Горькій, какъ намъ извѣстно, ищетъ дерзновенныхъ человѣко-боговъ въ средѣ волжскаго купечества, хлѣбо- и лѣсопромышленниковъ. Такъ, мы имѣли уже случай познакомиться съ однимъ изъ купеческихъ человѣко-боговъ въ лицѣ отца героя, Игната Гордѣева, и я нашелъ, что это наиболѣе удачный типъ изъ всѣхъ лицъ, когда-либо выведенныхъ доселѣ г. Горькимъ въ разныхъ его произведеніяхъ. Главное достоинство этого типа заключается въ непосредственности: передъ вами дѣйствительно сильный человѣкъ, не потому только, чтобы онъ самъ хвалился своею силою, стараясь совершать нѣчто экстраординарное, выкидывать разныя колѣнца и удивлять ими людей. Передъ вами просто-на-просто одинъ изъ тѣхъ старорусскихъ богатырей, у которыхъ силушка по жилочкамъ такъ и переливалась, проявляясь въ каждомъ ихъ словѣ и жестѣ. Истинно сильные люди тѣмъ именно и отличаются, что они отнюдь не придумываютъ чего-либо такого, чѣмъ бы имъ отличаться отъ всѣхъ смертныхъ и выставиться на-показъ. Они лишь свободно отдаются тѣмъ влеченіямъ, какія являются въ нихъ совершенно непроизвольно, представляясь игрою ихъ силъ. Игнатъ очень много резонерствуетъ, но всѣ рѣчи его въ духѣ домостроевской морали вполнѣ подходятъ къ его архаическому типу, и ни одного слова изъ его устъ не вылетаетъ такого, которое давало бы поводъ вамъ думать, что и онъ, подобно іерофанту Максиму, былъ знакомъ съ философіей Ницше.

Къ сожалѣнію, въ дальнѣйшемъ теченіи повѣсти авторъ все болѣе и болѣе сбивается на Ницше, и на каждомъ шагу ему мерещатся человѣко-боги тамъ, гдѣ странно было бы ихъ и предполагать.

XII.

Такъ, между прочимъ, выводится купецъ Антоній Савичъ Щуровъ. Это былъ крупный торговецъ лѣсомъ, имѣлъ огромную лѣсопилку, строилъ баржи, гонялъ плоты. Въ молодости, когда еще былъ бѣднымъ мужикомъ, Щуровъ пріютилъ у себя въ огородѣ, въ банѣ, каторжника, и каторжникъ работалъ для него фальшивыя деньги. Съ той поры и началъ

Ананій богатѣть. Однажды баня у него сгорѣла и въ пеплѣ ея нашли обугленный трупъ человѣка съ расколотымъ черепомъ. Говорили на селѣ, что Щуровъ самъ работника своего убилъ и сжегъ потомъ.

Зналъ также Ѳома о Щуровѣ, что старикъ изжилъ двухъ женъ,— одна изъ нихъ умерла въ первую ночь послѣ свадьбы въ объятіяхъ Ананія. Затѣмъ онъ отбилъ жену у сына своего, и сынъ съ горя запилъ и чуть не погибъ въ пьянствѣ, но во-время опомнился и ушелъ спасаться въ скиты на Иргизъ. А когда померла сноха—любовница, Щуровъ взялъ въ домъ себѣ нѣмую дѣвочку нищую, по сей день живетъ съ нею, и она недавно родила ему мертваго ребенка.

Казалось бы, что можно было бы видѣть здѣсь, кромѣ отвратительныхъ по своему черствому безсердечію злодѣйствъ, мерзкихъ преступленій и возмутительной грязи?.. Въ повѣсти мы читаемъ, между прочимъ, что такая молва шла о многихъ богачахъ города: всѣ они, будто бы, скопили свои милліоны путемъ грабежей, убійствъ, и—главное—сбытомъ фальшивыхъ денегъ. Неужели же всѣ подобнаго рода допотопные герои наживы являются въ своемъ родѣ человѣко-богами? Ну, а дерзновеніе-то ихъ вы не ставите въ счетъ? Легко, вы думаете, вмѣсто благодарности къ человѣку, которому вы обязаны всѣмъ своимъ богатствомъ, раскрить ему голову и сжечь его вмѣстѣ съ банею? И вотъ ниже мы слышимъ изъ устъ Ананія Щурова рѣчи, свидѣтельствующія, что и онъ отчасти знакомъ съ философіей Ницше.

—Вотъ все говорятъ—деньги,—сказалъ Ѳома съ неудовольствіемъ.—А какая въ нихъ радость человѣку?

—Мм. . .—промычалъ Щуровъ.—Плохой изъ тебя купецъ будетъ, коли ты силы денегъ не понимаешь. . .

—Кто ее понимаетъ?—спросилъ Ѳома.

—Я!—увѣренно сказалъ Щуровъ.—И всякій умный человѣкъ. . . Деньги? Это, парень, много! Ты—разложи ихъ передъ собой и подумай, что онѣ содержатъ въ себѣ? Тогда поймешь, что все это—сила человѣческая, все это умъ людской. . . Тысячи людей въ деньги твои жизнь вложили и вложатъ тысячи. . . *А ты можешь всѣ ихъ, деньги-то, въ печь бросить и смотри, какъ онѣ горѣть будутъ. . . И будешь ты, въ ту пору, владыкой себя считать. . .*

—Этого не дѣлаютъ. . .

—Оттого, что у дураковъ денегъ не бываетъ. . . Деньги пускаютъ въ дѣло. . . около денегъ народъ кормится . . . а ты надъ всѣмъ этимъ народомъ хозяинъ. . . Богъ человѣка зачѣмъ создалъ? А чтобы человѣкъ Ему помолился. . . *Онъ одинъ былъ и было Ему одному-то скучно. . . ну и захотѣлось власти. . . А какъ человѣкъ созданъ по образу, сказано, и по подобію Его, то человѣкъ власти хочетъ. . . А что, кромѣ денегъ, власть даетъ?. . Такъ-то. . .*

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ѳома проникся глубокимъ уваженіемъ къ Ананію Щурову, и вслѣдъ затѣмъ началъ куралесить, изображая изъ себя, въ свою очередь, человѣка-бога. Надо замѣтить при этомъ, что всѣ женщины, съ которыми онъ до сихъ поръ сходился въ теченіе повѣсти, являются не простыми и обыкновенными женщинами, а, въ свою очередь, человѣко-богинями, напоминая собою частью Мальву, частью Изергиль. Вотъ Ѳома и ломается передъ ними, изображая изъ себя человѣка-бога. Къ сожалѣнію, дерзновенія, которыми онъ бросаетъ пыль въ глаза своимъ героинямъ, носятъ характеръ не столько человѣко-божественный, сколько купеческо-самодурскій и уѣздно-кабацкій. Такъ, первымъ дѣломъ, онъ долго таскалъ въ клубѣ за волосы зятя вице-губернатора за то, что тотъ отозвался дурно о нѣкоей уѣздной львицѣ, Медынской, назвавши ее кокоткой. Ѳома и самъ былъ о ней не лучшаго мнѣнія, но она успѣла уловить его въ сѣти своего кокетства, и вотъ послѣдовала безобразнѣйшая сцена, которую потомъ Ѳома объяснилъ такимъ образомъ.

—Что такое? Хуже я людей? Всѣ живутъ себѣ... вертятся, суетятся, имѣютъ каждый свой пунктъ... А мнѣ—скучно... Всѣ довольны собой... а что они жалуются—врутъ, сволочи! Это такъ они... притворяются для красы... Мнѣ притворяться нечего, я—дуракъ... Я, братъ, ничего не понимаю... я, просто, жить хочу! Я думать не умѣю... мнѣ тошно... одинъ говоритъ то, другой—другое... тьфу!

Вслѣдъ затѣмъ купецъ закутилъ на нѣсколько дней съ какими-то темными лицами и потерянными женщинами. Въ концѣ концовъ они очутились на какихъ-то плотахъ, гдѣ Ѳомою овладѣлъ такой вельтшмерцъ, что онъ уподобился пушкинскому Фаусту: тотъ, какъ извѣстно, отъ скуки приказалъ Мефистофелю потопить корабль. Ѳома же велѣлъ работнику Степану рубить снасти плота, на которомъ находилась вся компанія, для того, чтобы плотъ унесло рѣкою и всѣ перетонули бы, наткнувшись на какую-нибудь баржу. Степанъ такъ и сдѣлалъ. Уплывавшіе гости начали кричать благимъ матомъ, взывая о спасеніи. Но одна изъ нихъ, Саша, принадлежа къ человѣко-богинямъ, отважно бросилась съ плота въ воду и приплыла къ тому плоту, гдѣ находился Ѳома. Тотъ схватилъ ее за талію, вырвалъ изъ воды, и быстро, почти бѣгомъ, бросился по плотамъ къ берегу. Она была мокрая и холодная, какъ рыба, но дыханіе было горячо, оно жгло щеку Ѳомы и наполняло грудь его буйной радостью.

—Ты утопить меня хотѣлъ?—говорила она, крѣпко прижимаясь къ нему.—Рано еще... погоди...

—Какъ это ты хорошо сдѣлала,—бормоталъ Ѳома на бѣгу.—Молодчина!

—Ну, и ты не худо придумалъ... хоть съ виду ты такой... смирный...

—А тѣ—все еще орутъ, ха-ха!

—Чортъ съ ними! Утонутъ—мы съ тобой въ Сибирь пойдемъ...—сказала женщина такъ, точно она хотѣла этими словами утѣшить и ободрить его.

Вотъ въ какія дебри дремучія можетъ завести русскаго писателя стремленіе найти гдѣ бы то ни было сильныхъ людей!

XIII.

Разбираемая нами повѣсть заслуживаетъ того, чтобы остановиться на ней подробно, хотя, надо сказать правду, недостатки ея необъятны. Они обнаруживаютъ, что авторъ или совсѣмъ незнакомъ съ техникою беллетристическихъ произведеній, или пренебрегаетъ ею. И то, и другое очень прискорбно. О первомъ и главномъ недостаткѣ мы уже замѣчали, когда еще имѣли дѣло съ началомъ повѣсти. По ознакомленіи съ повѣстью въ ея цѣломъ видѣ, недостатокъ этотъ раскрывается передъ нами во всемъ своемъ безобразіи. Мы подразумѣваемъ крайнюю растянутость повѣсти, и, какъ прямой результатъ ея, скуку, съ какой читаются нѣкоторыя ея страницы. Растянутость эта происходитъ, съ одной стороны, вслѣдствіе дурной привычки автора вкладывать въ уста выводимыхъ лицъ безконечно длинныя рѣчи, забывая, что въ дѣйствительности люди говорятъ длинныя рѣчи передъ безмолвными слушателями, лишь когда читаютъ лекціи, произносятъ спичи, или что-нибудь разсказываютъ. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ они ограничиваются обыкновенно коротенькими отрывистыми замѣчаніями, утвержденіями, возраженіями и пр., безпрестанно прерываемыми собесѣдниками. Заставлять поэтому героевъ произносить длинныя рѣчи на разныя философскія и моральныя темы, а собесѣдниковъ—терпѣливо выслушивать ихъ, прежде всего, неестественно.

Съ другой стороны, отягчаетъ немало повѣсть то, что г. Горькій слишкомъ уже много возится съ времяпрепровожденіемъ своего главнаго героя, съ его безобразными кутежами, скитаніями и хмѣльными резонерствами то со своимъ крестнымъ, то съ его дочкой Любашей. Наконецъ, къ чему такая несмѣтная масса вводныхъ лицъ, на одну минуту мелькающихъ въ повѣсти и затѣмъ исчезающихъ безъ слѣда, не успѣвши оставить въ васъ ни малѣйшаго впечатлѣнія? Все это вмѣстѣ взятое дѣлаетъ повѣсть крайне тягучею и трудно-одолимою.

XIV.

А очень жаль, потому что повѣсть г. Горькаго могла бы быть замѣчательнымъ произведеніемъ, вслѣдствіе того, что обнаруживаетъ въ авторѣ основательное знаніе быта волжскаго купечества въ томъ пере-

ходномъ состоянiи, въ какомъ оно нынѣ находится. По крайней мѣрѣ, по прочтенiи повѣсти, вы прiобрѣтаете такiя свѣдѣнiя объ этомъ предметѣ, какихъ вы не почерпнете хотя бы изъ романа г. Боборыкина „Василiй Теркинъ“, а, казалось бы, кому и знать волжское купечество, какъ не г. Боборыкину, родившемуся и проведшему, какъ извѣстно, свою юность на Волгѣ.

Такъ, передъ нами развертываются три категорiи современнаго волжскаго купечества, рѣзко отличающихся одна отъ другой, и въ этомъ различiи ихъ какъ нельзя болѣе ярко выражается духъ нашего переходного времени. Такъ, на первомъ планѣ рисуются передъ нами мрачные типы дореформеннаго купечества, съ его непроглядною умственною темнотою, домостроевскою моралью, дикимъ самодурствомъ, отсутствiемъ всякой культурности и необузданной алчностью, не разбирающей средствъ для наживы. Таковы отецъ героя, Игнатъ Гордѣевъ, крестный Яковъ Тарасовичъ Маякинъ, лѣсоторговецъ Ананiй Савичъ Щуровъ и пр. Всѣ они нажились и разбогатѣли не честнымъ купеческимъ, торговымъ путемъ и не мелочнымъ и подлымъ объегориванiемъ простодушныхъ покупателей, а какимъ-нибудь крупнымъ душегубствомъ и, вообще, такими нечистыми дѣлами, за которыя ихъ дѣды, отцы или они сами заслуживали каторги. Такъ, дѣдъ Ѳомы Гордѣева разбогатѣлъ, придушивши проѣзжаго купца; благосостоянiе Щурова основывалось на фальшивыхъ деньгахъ, которыя работалъ для него бѣглый каторжникъ, очень кстати сгорѣвшiй въ своей избушкѣ, когда миновала въ немъ надобность; Лупъ Рѣзниковъ началъ карьеру содержателемъ публичнаго дома и разбогатѣлъ какъ-то сразу; говорили, что онъ задушилъ одного изъ своихъ гостей, богатаго сибиряка... Кононовъ, лѣтъ двадцать назадъ, судился за подлогъ, а теперь состоялъ тоже подъ слѣдствiемъ за растлѣнiе малолѣтней; съ нимъ вмѣстѣ—второй уже разъ, по такому же обвиненiю—привлеченъ былъ Захаръ Кирилловичъ Робустовъ и пр.

При всей темнотѣ у этого старозавѣтнаго купечества была своя сословная философiя, которая вполнѣ естественно вся основывалась на силѣ и могуществѣ денегъ. Мы немного познакомились уже съ этою купеческою философiею въ устахъ Щурова, торжественно заявившаго въ своемъ разговорѣ съ Гордѣевымъ, что *деньги—сила, умъ людской, что однѣ деньги даютъ власть людямъ!* И еще бы: одной безнаказанности, безсилiя закона покарать самое крупное, содѣянное ими злодѣйство должно было внушать Щурову и комп. сознанiе той колоссальной силы, какая сосредоточивалась въ ихъ богатствахъ. Еще болѣе въ этомъ отношенiи характерна рѣчь, произнесенная Маякинымъ на купеческомъ празднествѣ по случаю перваго рейса новаго парохода „Илья Муромецъ“, устроенномъ хозяиномъ парохода Кононовымъ. Рѣчь эта характерна въ томъ отношенiи, чтъ въ ней мы видимъ сознанiе не одного только могущества туго набитой мошны, но и общественнаго значе-

нія купечества въ государствѣ. Считаю поэтому не лишнимъ привести ее цѣликомъ.

XV.

—Господа купечество!—заговорилъ Маякинъ усмѣхаясь.—Есть въ рѣчахъ образованныхъ людей одно иностранное слово, „культура“ называемое. Такъ вотъ насчетъ этого слова я и побесѣдую по простотѣ души.

—Энъ, куда метнулъ! раздался чей-то довольный возгласъ.

—Шш! Смирно! . .

—Милостивые государи!—повысивъ голосъ, говорилъ Маякинъ.—Въ газетахъ про насъ, купечество, то-и-дѣло пишутъ, что мы-де съ этой культурой незнакомы, мы-де ея не желаемъ и не понимаемъ. И называютъ насъ дикими, некультурными людьми. . . Что же это такое—культура? Обидно мнѣ, старику, слушать этакія рѣчи, и занялся я однажды разсмотрѣніемъ слова—что оно въ себѣ заключаетъ? Оказалось, по розыску моему, что слово это значитъ обожаніе, т. е. любовь, высокую любовь къ дѣлу и порядку жизни. Такъ! подумалъ я,—такъ! Значитъ—культурный человѣкъ тотъ будетъ, который любитъ дѣло и порядокъ. . . который вообще—жизнь любитъ устраивать, жизнь любитъ, цѣну себѣ и людямъ знаетъ. . . Хорошо! Но коли такъ, то—люди, называющіе насъ не культурными и дикими, клевещутъ и изрыгаютъ на насъ хулу! Ибо они только слово это любятъ, но не смыслъ его, а мы любимъ самый корень слова, любимъ сущую его начинку, мы—дѣло любимъ. Мы-то и имѣемъ въ себѣ настоящій культъ къ жизни, т. е. обожаніе жизни, а не они! Они сужденіе возлюбили,—мы же дѣйствіе. . . И вотъ, господа купечество, примѣръ нашей культуры, т. е. любви къ дѣлу,—Волга! Вотъ она, родная наша матушка! Она можетъ каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть пустую хулу на насъ. Сто лѣтъ только прошло, государи мои, съ той поры, какъ императоръ Петръ Великій на рѣку эту расшивы пустилъ, а теперь по рѣкѣ тысячи паровыхъ судовъ ходятъ! Кто ихъ строилъ? Русскій мужикъ, совершенно неученый человѣкъ! Всѣ эти огромные пароходищи, баржи—чьи они? Наши! Кѣмъ удуманы? Нами! Тутъ все наше, все плодъ нашего ума, нашей русской смѣтки и великой любви къ дѣлу! Никто ни въ чемъ не помогалъ намъ! Мы сами разбои на Волгѣ выводили, сами на свои рубли дружины нанимали—вывели разбои и завели на Волгѣ, на всѣхъ мысячахъ верстъ длины ея тысячи пароходовъ и всякихъ судовъ. Какой лучшій городъ на Волгѣ? Въ которомъ купца больше! . . Чьи лучшіе тода въ городѣ? Купеческіе! Кто больше всѣхъ о бѣдномъ печется? Купецъ! По грошику, по копеечкѣ собираетъ, сотни тысячъ жертвуетъ. Кто храмы воздвигъ? Мы! Кто государству больше всѣхъ денегъ даетъ? Купцы! . . Господа! Только намъ дѣло дорого ради самого дѣла, ради

любви нашей къ устройству жизни, только мы любимъ порядокъ и жизнь! А кто про насъ говоритъ—тотъ говоритъ и больше ничего! Пускай! Дуетъ вѣтеръ—шумитъ ветла, пересталъ—молчитъ ветла. . . И не выйдетъ изъ ветлы ни оглобли ни метлы. . . безполезное дерево! Отъ безполезности и шумъ. . . Что они, судьи наши, сдѣлали, чѣмъ жизнь украсили? Намъ это неизвѣстно. . . А наше дѣло на лицо!“

Не напоминаетъ ли вамъ эта рѣчь Маякина извѣстный въ исторіи апоѳеозъ третьяго сословія аббата Сіеса? Но, конечно, при всемъ сознаніи своего денежнаго всемогущества, далеко не ушло бы наше старозавѣтное купечество со своимъ храмостроительствомъ и собираніемъ по грошику въ пользу бѣдныхъ, еслибы на почвѣ его не произросъ новый фруктъ въ видѣ молодого поколѣнія, помазаннаго европейскою цивилизаціею и стремящагося переработать россійское сыромятное купечество, отцовъ-брюхачей, на новый западно-европейскій ладъ.

XVI.

Это, выступившее на смѣну стариковъ, молодое купечество является въ двухъ категоріяхъ, не имѣющихъ ничего общаго между собою.

Представителемъ первой категоріи парадируетъ въ повѣсти г. Горькаго самъ герой, Ѳома Гордѣевъ. Въ купеческой средѣ Ѳома Гордѣевъ играетъ буквально ту же самую роль, какую игралъ нѣкогда такъ называемый „кающійся дворянинъ“. Учился онъ на мѣдныя деньги,—купцы-отцы не любили давать своимъ дѣтямъ дворянское воспитаніе,—образованіе Ѳомы не превышало средне-учебнаго заведенія. Читалъ онъ тоже немного и охоты къ чтенію не обнаруживалъ. Тѣмъ не менѣе онъ былъ настолько охваченъ движеніемъ своего времени, наслушался такихъ рѣчей, насмотрѣлся столько купеческихъ безобразій, что получилъ въ концѣ концовъ неодолимое отвращеніе къ купеческому дѣлу, какъ къ крайне нечестному, безсовѣстному и безцѣльному. И въ результатѣ его жизненнаго опыта получились такія разсужденія:

—Работа—еще не все для человѣка... Это невѣрно, что въ трудахъ—оправданіе... Которые люди не работаютъ совсѣмъ всю жизнь, а живутъ они лучше трудящихъ... Это какъ? А трудящіе—они просто несчастныя лошади! На нихъ ѣдутъ, они терпятъ... и больше ничего... Но они имѣютъ передъ Богомъ свое оправданіе. . . Ихъ спросятъ: вы для чего жили, а? Тогда они скажутъ: намъ некогда было думать насчетъ этого... мы всю жизнь работали. А я какое оправданіе имѣю? И всѣ люди, которые командуютъ, чѣмъ они оправдаются? Для чего жили? А я такъ полагаю, что непремѣнно всѣмъ надо твердо знатъ—для чего живешь?.. Неужто затѣмъ человѣкъ рождается, чтобы поработать, дѣтей народить, и умереть? Нѣтъ, жизнь что-нибудь означаетъ собой... Человѣкъ родился, пожилъ и померъ...

Зачѣмъ? Нужно, ей Богу, нужно сообразить всѣмъ—зачѣмъ живемъ! Толку нѣтъ въ жизни нашей!.. никакого нѣтъ въ ней толку! Потомъ—не ровно все... это сразу видно. Одни богаты—на тысячу человѣкъ денегъ у себя имѣютъ... и живутъ безъ дѣла... другіе—всю жизнь гнутъ спину въ работѣ, а нѣтъ у нихъ ни гроша... А между тѣмъ разница въ людяхъ малая... Иной безъ штановъ живетъ, а разсуждаетъ, такъ ровно въ шелки одѣтъ.

Но изъ всѣхъ подобныхъ разсужденій Ѳомы ничего не выходило, кромѣ однѣхъ праздныхъ рѣчей. Передъ нами безпочвенный романтикъ, при всѣхъ своихъ благородныхъ порывахъ неспособный ни къ какому мало-мальски благому дѣлу, полезному для себя или для другихъ,—сила исключительно-отрицательная, безъ малѣйшихъ задатковъ какого-либо творчества. Въ то же время положеніе его оказывалось не въ примѣръ хуже, трагичнѣе, чѣмъ то, въ какомъ находились кающіеся дворяне. Кающійся дворянинъ, разъ онъ искренне раскаялся, сейчасъ же дѣлался свободнымъ итти на всѣ четыре стороны. Розоренные родители могли вслѣдъ ему посылать безсильныя проклятія за измѣну дворянскимъ принципамъ, но не въ силахъ были остановить ихъ бѣгство изъ дѣдовскихъ усадебъ, тѣмъ болѣе, что самое разрушеніе этихъ усадебъ оправдывало бѣглецовъ. Совсѣмъ въ другомъ положеніи находятся Ѳомы Гордѣевы. Отцы, во всеоружіи своей всемогущей денежной власти, имѣютъ возможность загородить всѣ пути къ бѣгству куда бы то ни было своимъ ослушнымъ чадамъ. Въ крайнемъ же случаѣ къ ихъ услугамъ является опека надъ ослушникомъ, какъ надъ умалишеннымъ, и заключеніе въ желтый домъ.

При такихъ условіяхъ всѣ стремленія Ѳомы какъ бы то ии было и куда бы то ни было вырваться изъ ненавистной ему купеческой среды разбиваются, какъ о каменный утесъ, о непреклонную волю крестнаго Маякина, и, видя, что „всѣ крылья у молодца связаны и всѣ пути ему заказаны“, Ѳомѣ остается прибѣгнуть къ обычному исходу безвыходнаго рабства—пуститься во всѣ тяжкія, что онъ и не замедлилъ привести въ исполненіе. Наведя ужасъ на весь городъ своими безобразными кутежами и скандалами, онъ допился, наконецъ, до чертиковъ, и въ припадкѣ бѣлой горячки на пиршествѣ Кононова, послѣ вышеприведенной рѣчи Маякина, разразился такими неистовыми филиппиками противъ купечества вообще и каждаго изъ пирующихъ въ частности, что его тутъ же связали по рукамъ и по ногамъ. Затѣмъ Маякину ничего уже не стоило отправить его въ домъ сумасшедшихъ и назначить надъ нимъ опеку.

По выходѣ изъ больницы, онъ былъ отправленъ Маякинымъ куда-то на Уралъ къ родственникамъ матери, а затѣмъ, вернувшись въ городъ, поселился у сестры на дворѣ во флигелькѣ и началъ появляться на улицахъ города, истертый, измятый и полоумный, почти всегда выпившій,

то мрачный, съ нахмуренными бровями и съ опущенной на грудь головой, то улыбающійся жалкой и грустной улыбкой блаженненькаго. Знающіе его купцы и горожане часто смѣются надъ нимъ, кричатъ ему вслѣдъ:—Эй, ты, пророкъ! Подь сюда! Ну-ка! Насчетъ свѣтопреставленія скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орокъ! . .

XVII.

Ко второй категоріи молодого купечества принадлежатъ молодые люди изъ купеческихъ семей, получившіе высшее образованіе, общее или техническое, понаметавшіеся за границею въ европейскихъ порядкахъ, и вернувшіеся на родину съ непреклоннымъ намѣреніемъ превратить русское купечество въ коммерсантовъ и негоціантовъ на западно-европейскій ладъ. Къ подобнымъ новаторамъ отцы не относятся уже какъ къ блуднымъ и погибшимъ сынамъ, а, напротивъ того, видятъ въ нихъ достойныхъ преемниковъ и предвѣстниковъ еще большаго разсвѣта купеческаго всемогущества.

Въ повѣсти г. Горькаго являются два представителя этихъ новыхъ людей. Таковъ сынъ Маякина Тарасъ. Онъ, подобно Ѳомѣ, началъ протестомъ, вслѣдствіе котораго былъ сосланъ въ Сибирь на поселеніе на шесть лѣтъ въ Ленскій горный округъ. Отецъ, конечно, проклялъ его и запретилъ произносить имя его въ домѣ. Но, отбывъ срокъ наказанія, Тарасъ вступилъ на новый путь, опредѣлился въ контору управляющаго золотыми пріисками Ремезевыхъ, прослуживъ у него два года, женился на его дочери и затѣмъ вмѣстѣ съ тестемъ завелъ содовый заводъ, доставлявшій на его долю около пяти тысячъ доходу.

Но Тарасъ мало выясненъ и рисуется въ повѣсти неопредѣленными чертами. Зато, какъ свѣтелъ мѣсяцъ, сіяетъ передъ нами истинный представитель молодого купечества, непомраченный ни малѣйшимъ пятнышкомъ, Африканъ Дмитріевичъ Смолинъ. Какъ нельзя болѣе ярко обрисовывается онъ въ слѣдующемъ разговорѣ его съ будущимъ тестемъ, Маякинымъ.

—Я около четырехъ лѣтъ тщательно изучалъ—ораторствовалъ Смолинъ,—положеніе русской кожи на заграничныхъ рынкахъ. Печальное и скверное положеніе! Лѣтъ тридцать тому назадъ наша кожа считалась тамъ образцовой, а теперь спросъ на нее все падаетъ, разумѣется, вмѣстѣ съ цѣной. И это вполнѣ естественно,—вѣдь при отсутствіи капитала и знаній всѣ эти мелкіе производители-кожники не имѣютъ возможности поднять производство на должную высоту и въ тоже время—удешевить его. . . Товаръ ихъ возмутительно плохъ и дорогъ. . . И всѣ они прямо-таки повинны передъ Россіей въ томъ, что испортили ея репутацію производителя лучшей кожи. Вообще мелкій производитель, лишенный техническихъ знаній и капитала, стало-быть поставленный въ

невозможность улучшать свое производство, сообразно развитію техники, такой производитель—несчастіе страны, паразитъ ея торговли. . .

—Мм. . .—промычалъ старикъ Маякинъ,—такъ значитъ, твое теперь намѣреніе—взбодрить такую громадную фабрику, чтобы всѣмъ другимъ—гробъ и крышка?

—О, нѣтъ—воскликнулъ Смолинъ, плавнымъ жестомъ отмахиваясь отъ словъ старика. Зачѣмъ обижать другихъ? Какое я имѣю право на это? Моя цѣль—поднять значеніе и цѣну русской кожи за границей, и вотъ, вооруженный знаніемъ производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товаръ. . . Торговля честь страны. . .

При этомъ на вопросъ Маякина, о какомъ онъ мечтаетъ процентѣ, Смолинъ отвѣчалъ скромно, но внушительно:

—Я—не мечтаю, я—высчитываю со всею точностью, возможной въ нашихъ русскихъ условіяхъ. Производитель долженъ быть строго трезвъ, какъ механикъ, создающій машину. . . Нужно принимать въ расчетъ треніе каждаго самомалѣйшаго винтика, если ты хочешь дѣлать серьезное дѣло серьезно. Я могу дать вамъ для прочтенія составленную мною записочку, основанную мной на личномъ изученіи скотоводства и потребленіи мяса въ Россіи.

Далѣе въ разговорѣ съ Маякинымъ Смолинъ заявилъ, что онъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми своими товарищами, такими же, какъ и онъ, молодыми изъ раннихъ, собирается купить мѣстную газету, и такимъ образомъ забрать въ свои руки прессу.

—Изданіе газеты,—поучительно замѣтилъ онъ,—разсматриваемое даже только съ коммерческой точки зрѣнія,—можетъ быть очень прибыльнымъ дѣломъ. Но, помимо этого, у газеты есть другая, болѣе важная цѣль—это защита правъ личности и интересовъ промышленности и торговли. . .

Фельетонистъ Ежовъ былъ какъ нельзя болѣе правъ, когда замѣтилъ, что либеральные купцы новѣйшаго чекана, въ родѣ Смолина, представляютъ собою помѣсь волка и свиньи съ жабой и змѣей. . .

А. Скабичевскій.



Крѣпнущій талантъ.

(Кирилка.—Ѳома Гордѣевъ).

Въ послѣднее время установился особый, нѣсколько легкомысленный тонъ по отношенію къ беллетристикѣ. Критика, болѣе сердитая и ворчливая, чѣмъ справедливая, однихъ, преимущественно молодыхъ и новыхъ, укоряетъ въ томъ, что пишутъ они мало, но слишкомъ много мнятъ о себѣ,—написавъ двѣ-три вещицы, сейчасъ же тискаютъ ихъ отдѣльнымъ изданіемъ. Что же касается старыхъ и почтенныхъ художниковъ, то ихъ по прежнему винятъ въ „скорописаніи“ и обиліи, какъ будто есть для таланта нѣкая установленная природою норма, сколько именно онъ долженъ и можетъ выписать. Съ такимъ отношеніемъ къ нашей беллетристикѣ мы никогда не могли согласиться и стоимъ на высказанномъ уже нами мнѣніи, что наша художественная литература, взятая въ цѣломъ, не ниже уровня общеевропейской, гдѣ тоже не видно теперь великихъ талантовъ, дѣлающихъ эпоху, но и у насъ, какъ и тамъ,—нѣтъ недостатка въ силахъ и молодыхъ, и свѣжихъ. Если же сравнимъ хотя бы послѣднее полугодіе, т. е. текущій литературный сезонъ, то всѣ преимущества окажутся на нашей сторонѣ. Только за три мѣсяца текущаго года появилось нѣсколько несомнѣнно выдающихся произведеній, которымъ развѣ нарочито сердитая критика откажетъ въ талантливости и интересномъ, живомъ содержаніи.

Въ обновившемся, напр., журналѣ „Жизнь“ мы имѣемъ сразу два выдающихся произведенія г. Горькаго—„Кирилка“, прекрасный разсказъ, написанный съ тонкимъ юморомъ, выдержанный и вполнѣ законченный по формѣ, и начало большой, повидимому, повѣсти, „Ѳома Гордѣевъ“. Въ „Кирилкѣ“ г. Горькій проявилъ новую черту таланта, сближающую его отчасти съ Гл. Успенскимъ, который такъ тонко и мѣтко умѣетъ освѣтить отношеніе къ народу другихъ классовъ, живущихъ за счетъ этого послѣдняго. Собравшіеся на переправѣ у только-что тронувшейся большой рѣки, земскій начальникъ, купецъ, дьячокъ и авторъ—въ большомъ смущеніи. О переправѣ нечего и думать, и, по обычаю русскаго человѣка искать виноватаго, всѣ обрушиваются на злополучнаго Кирилку, плюгаваго мужиченку, приставленнаго завѣдывать переправой. Кипятится больше всего земскій, какъ представитель власти, натыкающійся на непорядокъ тамъ, гдѣ по бумагѣ все должно обстоять благополучно. Купецъ заискивающе ему поддакиваетъ. Дьячокъ придерживается скорѣе нейтралитета, а Кирилка вполнѣ равнодушенъ, сознавая полную свою непричастность къ поведенію рѣки, такъ не во время тронувшейся. Въ заключеніе, разыгрывается комическій инцидентъ. За-

хваченные врасплохъ путники сильно проголодались, а у Кирилки оказывается краюха хлѣба, которую онъ, по обыкновенію, хранитъ за пазухой („теплѣе онъ отъ энтого“). Путники сначала брезгливо относятся къ этому хлѣбу, но потомъ не выдерживаютъ и братски его раздѣляютъ между собой съ добродушнаго согласія Кирилки. Хлѣбъ, уписываемый всѣми, несмотря на всѣ его непригладныя качества, вызываетъ въ земскомъ рядъ новыхъ нападеній на Кирилку за недородъ, за плохое качество хлѣба. „Что мы видимъ?—гремитъ земскій, прожевывая Кирилкину краюху,—пьянство, распущенность, лѣность. . . Руководителя нѣтъ. Недородъ—на сцену выступаетъ земство: на, сѣй, батюшка, на, ѣшь, батюшка. . . Нѣ-ѣтъ-съ, это не порядокъ! . . Почему до 61 года родила? Потому что—если недородъ, сейчасъ же голубчика, мужика то-есть,—пожалуйте-ка сюда! Вы какъ пахали? Вы какъ сѣяли?“ и т. д. . . Наконецъ, рѣка прошла и компанія благополучно перебирается на другой берегъ въ прибывшихъ оттуда лодкахъ, а Кирилка добродушно проситъ перевозчика: „Дядя Антонъ! за почтой поѣдешь, хлѣба мнѣ привезите, слышь? Господа-то, путя ожидаючи, краюшку у меня съѣли, а одна была!“

Въ нашей болѣе чѣмъ сжатой передачѣ трудно представить всю живость этого очерка, словно выхваченнаго изъ жизни, съ этимъ земскимъ, непоколебимо вѣрующимъ въ непреложность лѣни и мужицкой распущенности, единственныхъ причинъ недорода и прочихъ бѣдствій, удручающихъ деревню,—съ купцомъ, отлично понимающимъ всю наивность земскаго, но которому не съ руки расходиться съ нимъ во взглядахъ и противорѣчить власти,—съ угрюмымъ дьякомъ, пришибленнымъ и захудалымъ, молча сторонящимся отъ господъ, памятуя рѣченное отъ Писанія: „блаженъ мужъ“. . . Всѣ эти лица живутъ, каждый съ своимъ языкомъ и характерными особенностями, и среди нихъ философски-спокойный Кирилка, которому, все равно, не переслушать пустыхъ рѣчей, раздающихся вокругъ него и не имѣющихъ ни малѣйшаго отношенія къ его жизни. Г. Горькаго упрекали въ романтическихъ преувеличеніяхъ, въ идеализаціи босяковъ и ихъ жизни. Теперь, пожалуй, его попрекнутъ, что онъ повторяетъ старую тему. Для насъ существенную важность представляетъ вопросъ—какъ повторять, и если эти повторерія такъ художественны, какъ его „Кирилка“, мы можемъ лишь пожелать побольше подобныхъ повтореній. Есть темы, никогда не старѣющіяся, и къ нимъ принадлежитъ тема этого чудеснаго очерка.

Совсѣмъ въ иномъ родѣ повѣсть „Ѳома Гордѣевъ“, начало которой обѣщаетъ очень художественную и содержательную вещь, открывающую въ талантѣ г. Горькаго новыя черты. Предъ нами не босяки, не пролетаріи, не случайныя сценки, а широко захваченная картина быта купеческой семьи, одинъ изъ представителей которой, отецъ будущаго героя, Игнатъ Гордѣевъ, написанъ во весь ростъ, сильная, колоритная

фигура, съ яркимъ и мощнымъ характеромъ, типичный волжскій богатырь-хищникъ. Изъ простыхъ судорабочихъ онъ выбивается въ хозяева и самъ становится виднымъ на Волгѣ пароходчикомъ. Въ повѣсти мы уже застаемъ его на вершинѣ жизни, которая вся ушла въ борьбу за богатство и въ страстную любовь къ сыну, маленькому Ѳомѣ. Типъ Игната не выдуманный—напротивъ, на Волгѣ часто попадаются такіе богатыри, а прежде они были еще чаще. „Богатырски сложенный, красивый и неглупый, онъ былъ однимъ изъ тѣхъ людей, которымъ всегда и во всемъ сопутствуетъ удача—не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорѣе потому, что, обладая огромнымъ запасомъ энергіи, они, по пути къ своимъ цѣлямъ, не умѣютъ, даже не могутъ задумываться надъ выборомъ средствъ и, помимо своего желанія, не знаютъ иного закона. Иногда они со страхомъ говорятъ о своей совѣсти, порою искренно мучаются въ борьбѣ съ нею, но совѣсть, это сила непобѣдимая лишь для слабыхъ духомъ; сильные же быстро овладѣваютъ ею и порабощаютъ ее своимъ желаніямъ, ибо они безсознательно чувствуютъ, что если дать ей просторъ и свободу—она изломаетъ жизнь. Они приносятъ ей въ жертву дни; если же случится, что она одолѣетъ ихъ души, то они, побѣжденные ею, никогда не бываютъ разбиты и такъ же сильно и здорово живутъ подъ ея началомъ, какъ жили и безъ нея. . .“

Словомъ, Игнатъ—то, что принято называть цѣльной, непосредственной натурой, которая всякому движенію души отдается вся, безъ остатка. Онъ сильно напоминаетъ одно дѣйствительное лицо, недавно сошедшее въ могилу,—извѣстнаго волжскаго судовладѣльца Гордѣя Чернова. Онъ также изъ судорабочихъ выбился въ пароходчики; предпріимчивый и дѣятельный, онъ быстро нашелся въ новыхъ условіяхъ судового дѣла на Волгѣ въ 80-ыхъ годахъ, сообразилъ важную роль нефти, только что тогда выступавшей на сцену, и на транспортахъ ея составилъ огромное состояніе. Это былъ человѣкъ порыва, иногда дикій и необузданный, съ задатками глубокаго мистицизма, внезапно проявившагося въ немъ съ непреодолимой силой. Вдругъ, въ разгарѣ своихъ милліонныхъ предпріятій, несмотря на блестящее положеніе дѣла, Черновъ бросилъ все и исчезъ, къ великому изумленію всего волжскаго торговаго міра. Сначала думали, что дѣла его пошатнулись, но по ликвидаціи очистилась въ его пользу солидная сумма въ нѣсколько сотъ тысячъ. Оказалось, что Гордѣй Черновъ ушелъ на Аѳонъ, гдѣ и кончилъ жизнь въ 90-хъ годахъ послушникомъ въ скиту. Повидимому, эта замѣчательная личность, имя которой до сихъ поръ хорошо знакомо каждому волгарю, послужила прототипомъ для Игната Гордѣева.

Герой повѣсти, однако, не онъ, а его сынъ Ѳома, выступающій въ повѣсти пока еще мальчикомъ. Въ противоположность отцу, онъ обрисованъ нѣжными, почти женственными чертами, съ поэтической,

чуткой, вдумчивой душой, жадно впитывающей волжскія впечатлѣнія. Какъ сложится этотъ чуть-чуть еще намѣчаемый характеръ, покажетъ дальнѣйшее развитіе повѣсти. Дѣйствіе ея постепенно развертывается на фонѣ широкой и мощной рѣки, жизнь которой написана мастерски. Превосходна, напр., заключительная сцена обычнаго ночного событія въ судовомъ караванѣ, какъ рабочіе, тихонько перекликаясь, сплавляютъ откуда-то навернувшагося утопленника, отпихивая его баграми. Глухая ночь, тишина, мракъ, какой лишь бываетъ иногда лѣтомъ на рѣкѣ, когда вода похожа на темное тяжелое масло.

„Всматриваясь во тьму пристально, до боли въ глазахъ, мальчикъ различалъ въ ней черныя груды и огоньки, еле горѣвшіе надъ ними... Онъ зналъ, что это были баржи, но знаніе не успокаивало его, и сердце билось въ немъ неровно, а въ воображеніи вставали какіе-то пугающіе темные образы. О-о . . . о . . .—донесся издали протяжный крикъ и закончился похоже на рыданіе. . . Вотъ кто-то прошелъ по палубѣ къ борту парохода. . .—О-о-о . . . раздалось опять, но уже гдѣ-то ближе. . .—Яфимъ!—вполголоса заговорили на палубѣ.—Яфимка!—Ну-у?—Чортъ! вставай! бери багоръ. . .—О-о-о . . .—застонали гдѣ-то близко, и Ѳома, вздрогнувъ, откачнулся отъ окна. Странный звукъ подплывалъ все ближе и росъ въ своей силѣ, рыдалъ и таялъ въ черной тьмѣ. А на палубѣ тревожно шептали: Яфимка! Да встань . . . гость плыветъ!—Дѣ?—раздался торопливый вопросъ . . . потомъ по палубѣ зашлепали босыя ноги, послышалась возня, и мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти безшумно вонзились въ густую воду.—Го-о-о-сть!—зарыдали гдѣ-то близко и раздался тихій, но очень странный плескъ воды. Мальчикъ дрожалъ отъ ужаса предъ этимъ грустнымъ крикомъ, но не могъ оторвать своихъ рукъ отъ окна и глазъ отъ воды.—Зажги фонарь . . . не видать ничего. . .—Сичасъ. . .—И вотъ на воду упало пятно мутнаго свѣта. . . Ѳома видѣлъ, что вода тихо колышется, рябь идетъ по ней, точно ей больно, и она вздрагиваетъ отъ боли.—Гляди. . . гляди! . . испуганно зашептали на палубѣ. . . Въ то же время въ пятнѣ свѣта на водѣ явилось большое, страшное человѣческое лицо съ бѣлыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на водѣ, зубы его смотрѣли прямо на Ѳому, и точно оно, улыбаясь, говорило: „Эхъ, мальчикъ, мальчикъ. . . Холодно. . . прощай!“ Багры дрогнули, поднялись въ воздухѣ, потомъ снова опустились въ воду и стали осторожно толкать въ ней что-то.—Веди его . . . веди . . . смотри—подобьетъ въ колесо. . .—Пихай ты самъ-то! . . Багры скользили по борту и царапались объ него звукомъ, похожимъ на скрипъ зубовъ. Ѳома не могъ закрыть глазъ, глядя на нихъ. . . Стукъ ногъ, топавшихъ о палубу надъ его головой, постепенно удалялся на корму. . . И вотъ тамъ вновь раздался этотъ стонущій, заупокойный звукъ:—Го-о-ость! . .“

Нужно отмѣтить еще въ новомъ произведенiи г. Горькаго ту тщательность, съ которую онъ отдѣлываетъ свой слогъ, прежде нѣсколько небрежный и распущенный. Видимо, этотъ свѣжiй и сильный талантъ крѣпнетъ, растетъ и становится все серьезнѣе. Талантъ—это величайшiй даръ судьбы, и необходимо относиться къ нему бережно, не расточая силъ его на пустяки—вотъ почему насъ особенно радуетъ это большое и хорошо задуманное произведенiе.

Отмѣтивъ романъ г. Горькаго „Ѳома Гордѣевъ", какъ едва ли не самое замѣчательное произведенiе текущей литературы,—о „Воскресенiи" Л. Н. Толстого мы пока не говорили,—мы не ошиблись, такъ какъ дальнѣйшее развитiе романа вполнѣ подтвердило такое заключенiе. Въ послѣднихъ главахъ герой романа уже достаточно опредѣлился, чтобы можно было схватить основныя черты его характера. Ѳома Гордѣевъ, если автору не измѣнитъ его талантъ*), несомнѣнно займетъ видное мѣсто въ ряду типовъ, созданныхъ русской литературой. Это—цѣльная и характерная фигура полнаго силы и энергiи человѣка, не находящаго приложенiя для этихъ силъ въ окружающей жизни. Отъ отца онъ унаслѣдовалъ его властность, силу, гордость побѣдителя въ борьбѣ, но всѣ эти качества, дѣлавшiя Игната Гордѣева неутомимымъ борцомъ, подточены въ Ѳомѣ вдумчивымъ отношенiемъ къ жизни, рефлексiей, употребляя старый терминъ для обозначенiя того настроенiя, которое не позволяетъ носителю его относиться къ жизни просто, брать ее такою, какою она есть, не углубляясь въ сущность вещей. Тамъ, гдѣ Игнатъ дѣйствовалъ, не смущаясь вопросами о цѣли и содержанiи борьбы, весь увлеченный самимъ процессомъ,—Ѳома прежде всего ищетъ смысла. Роковой вопросъ—зачѣмъ жить?—не покидаетъ его, и мы видимъ, какъ бьется Ѳома надъ этимъ вопросомъ, надъ разрѣшенiемъ котораго ломали себѣ голову столько головъ во всѣ времена.

Какъ видимъ, типъ самъ по себѣ не новый. Характерность его для нашихъ дней заключается въ средѣ, откуда происходитъ Ѳома и гдѣ онъ развивается. Среда эта—хищническая, все въ ней приспособлено только къ борьбѣ. Это—то самое купечество, которое знаетъ и поклоняется одной силѣ денегъ, не задаваясь мудреными вопросами высшей этики. И прежде оно выдвигало своеобразныхъ обличителей, въ родѣ Любима Торцова. Но Ѳома человѣкъ иного склада, и иная судьба его ожидаетъ. Торцовъ—жертва своей среды, Гордѣевъ—меньше всего похожъ на жертву: онъ—сила будущаго, сила, пока не имѣющая приложенiя, потому что жизнь еще не создала условiй для дѣйствiя этой силы. И потому все, что имѣло бы для Ѳомы значенiе огромныхъ средствъ въ борьбѣ, теперь обрушивается на него и давитъ.

*) Эти строки были написаны до появленiя въ печати послѣднихъ главъ „Ѳомы Гордѣева".

Изд.

То, что, казалось бы, должно облегчить ему задачу,—его огромное состояніе, унаслѣдованное отъ отца, только связываетъ его и мѣшаетъ опредѣлить свое мѣсто въ жизни. Хищническіе инстинкты Игната, накопленіе ради накопленія нимало не увлекаетъ Ѳомы. Огромный, здоровый, сильный, весь въ отца по темпераменту, Ѳома изнываетъ отъ бездѣлья, отъ неумѣнія примѣнить эти давящія его силы къ дѣлу, которое захватило бы и увлекло его. Его недюжинный умъ жаждетъ работы, душа, нѣжная и пылкая, изнываетъ отъ жажды подвига, сильный организмъ тяжелѣетъ отъ вынужденнаго бездѣлья. Онъ страстно ищетъ, къ чему бы прилѣпиться душой, къ каждому новому человѣку онъ обращается съ дѣтскимъ довѣріемъ, какъ ребенокъ заблудившійся въ лѣсу и ожидающій въ полной увѣренности, что именно этотъ встрѣчный выведетъ его изъ лѣса. И жизнь представляется Ѳомѣ чѣмъ-то вродѣ лѣса, гдѣ люди блуждаютъ безъ цѣли и смысла. Лишь изрѣдка эта жизнь кажется ему обаятельной и захватывающей, но эти моменты возбужденія и рѣдки, и такъ мало могутъ указать ему, въ чемъ же тайна этой ужасной жизни. Одинъ изъ такихъ моментовъ описанъ съ удивительной яркостью, какъ могутъ судить читатели по слѣдующей художественной картинѣ, очень характерной для таланта автора и для душевнаго настроенія героя. Ѳома въ пылу дикаго разгула потопилъ баржу, взявшись въ пьяномъ видѣ управлять пароходомъ. Эту-то баржу поднимаютъ со дна рѣки. Къ подъему все готово, рабочіе крестятся, ожидая команды.

„Смотри, ребята!—раздался звонкій и спокойный голосъ подрядчика.—Все ли какъ быть надо? Придетъ пора бабѣ родить—рубахъ ей тогда неколи шить. . . Ну. . . молись Богу!

„И, бросивъ картузъ на палубу, подрядчикъ поднялъ лицо къ небу и сталъ истово креститься. И всѣ мужики, поднявъ головы къ тучамъ, тоже начали широко размахивать руками, осѣняя груди свои знаменіемъ креста. Иные молились вслухъ и глухой, подавленный ропотъ примѣшался къ шуму волнъ:—„Господи, благослови! . . Пресвятая Богородица. . . Никола угодникъ“. . .

„Ѳома слушалъ эти возгласы, и они ложились ему на душу, какъ тяжесть. У всѣхъ головы были обнажены, лишь одинъ онъ забылъ снять картузъ, и подрядчикъ, кончивъ молиться, внушительно посовѣтовалъ ему:

„—Попросить бы и вамъ Господа-то. . .

„—А ты знай свое дѣло . . . меня не учи!—сердито взглянувъ на него, отвѣтилъ Ѳома. Чѣмъ дальше шло дѣло—тѣмъ тяжелѣе и обиднѣй было ему видѣть себя лишнимъ среди этихъ спокойно увѣренныхъ въ своей силѣ людей, готовыхъ поднять для него нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ со дна рѣки. Ему хотѣлось, чтобъ ихъ постигла неудача, чтобы всѣ они сконфузились передъ нимъ, и въ головѣ его мелькала злая мысль:—можетъ, еще цѣпи порвутся. . ,

„—Ребята! слушай!—кричалъ подрядчикъ.—Начинай всѣ въ разъ. . . Господи, благослови!—И вдругъ, всплеснувъ руками въ воздухѣ, онъ пронзительно закричалъ;—По-о-о-ше-о-олъ!

„Рабочіе подхватили его крикъ и всѣ въ голосъ, возбужденно и съ напряженіемъ закричали:—По-оше-олъ! иде-отъ. . .

„Блоки визжали и скрипѣли, гремѣли цѣпи, напрягаясь подъ тяжестью, вдругъ повисшей на нихъ, и рабочіе, упершись грудью въ ручки ворота, рычали и тяжело топали по палубѣ. Между баржъ съ шумомъ плескались волны, какъ бы не желая уступить людямъ свою добычу. Всюду вокругъ Ѳомы натягивались и дрожали въ напряженіи веревки, цѣпи и канаты, они куда-то ползли по палубѣ мимо его ногъ, какъ огромные сѣрые черви, поднимались вверхъ звено за звеномъ, съ лязгомъ падали оттуда, а оглушительный ревъ рабочихъ покрывалъ собою всѣ звуки.

„—Весь по-ошелъ, весь пошелъ, поше-олъ . . .—пѣли они стройно и торжествующе. А въ густую волну ихъ голосовъ, какъ ножъ въ хлѣбъ, вонзался и рѣзалъ ее звонкій голосъ подрядчика:—Ребяту-ушки-и! старайся. . . раз-омъ . . . раз-омъ. . .

„Ѳомой овладѣло странное волненіе: ему страстно захотѣлось влиться въ этотъ возбужденный ревъ рабочихъ, широкій и могучій, какъ рѣка, въ этотъ раздражающій скрипъ, визгъ, лязгъ желѣза и буйный плескъ волнъ. У него отъ силы желанія выступилъ потъ на лицѣ и вдругъ, оторвавшись отъ мачты, онъ большими прыжками бросился къ вороту, блѣдный отъ возбужденія.

„—Разо-омъ! разо-омъ . . .—кричалъ онъ дикимъ голосомъ. Добѣжавъ до ручки ворота, онъ съ размаху ткнулся объ нее грудью и, не чувствуя боли, съ ревомъ началъ ходить вокругъ ворота, мощно упираясь ногами въ палубу. Что-то могучее, горячее лилось въ грудь ему, заступая мѣсто этихъ усилій, которыя онъ тратилъ, ворочая рычагъ. Невыразимая радость бушевала въ немъ и рвалась наружу возбужденнымъ крикомъ. Ему казалось, что онъ одинъ, только своей силой ворочаетъ рычагъ, поднимая тяжесть, и что сила его все растетъ. Согнувшись и опустивъ голову, онъ, какъ быкъ, шелъ навстрѣчу силѣ тяжести, откидывавшей его назадъ, но уступавшей ему все таки. Каждый шагъ впередъ все больше возбуждалъ его, каждое потраченное усиліе тотчасъ же замѣнялось въ немъ наплывомъ жгучей, буйной гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, онъ ничего не видѣлъ и лишь чувствовалъ, что ему уступаютъ, что онъ одолѣваетъ, что вотъ сейчасъ онъ опрокинетъ силой своей что-то огромное, заступающее ему путь, опрокинетъ, побѣдитъ и тогда вздохнетъ легко и свободно, полный гордой радости. Первый разъ въ жизни онъ испытывалъ такое мощное, одухотворяющее чувство, и всей силой жадной, голодной души своей глоталъ его, пьянѣлъ отъ него и изливалъ свою радость въ

громкихъ крикахъ въ ладъ съ рабочими:—Весь по-ошелъ, весь пошелъ, пошелъ! . .

„—Стой! крѣпи! стой, ребята! . .

„Ѳому толкнуло въ грудь и откинуло назадъ.

„—Съ благополучнымъ окончаніемъ, Ѳома Игнатьевичъ!—поздравлялъ его подрядчикъ, и морщины дрожали на лицѣ его радостными лучами“. . .

За этими моментами возбужденія наступаетъ естественная реакція, и старая тоска еще сильнѣе гнететъ душу Ѳомы. Онъ чувствуетъ въ себѣ какія-то могучія, таинственныя силы, которыя только ждутъ точки приложенія, чтобы онъ „взвился“, по выраженію капитана его парохода, и полетѣлъ впередъ въ неудержимомъ размахѣ. Но гдѣ она, эта точка? Около него нѣтъ ни души, чтобы могла указать ему путь къ правильной жизни, которая была бы полна смысла и значенія. Его крестный отецъ, замѣнившій ему родного, умный купецъ Маякинъ, купецъ изъ рода въ родъ, чѣмъ онъ немало гордится, признаетъ только такой порядокъ, гдѣ каждому заранѣе предопредѣлено мѣсто въ жизни. „Если ты трубочистъ—лѣзь на крышу! . . Пожарный—стой на каланчѣ! И всякій родъ человѣка долженъ имѣть свой порядокъ жизни“. . . Понятно, какъ мало успокоительна эта философія для Ѳомы, который именно этого-то порядка и не желаетъ, не можетъ понять, для котораго такой порядокъ хуже смерти, потому что въ немъ нѣтъ ни цѣли, ни смысла, ни—самое главное—красоты кипучей жизни, гордаго размаха борьбы и радости побѣды.

Романъ пока останавливается на этомъ критическомъ моментѣ жизни Ѳомы. Но можно быть увѣреннымъ, что герой съ такой цѣльной душой, неспособной на мелкіе житейскіе компромиссы, не уступитъ мертвящему порядку окружающей жизни, гдѣ только и можно прозябать „каждому роду человѣка на своемъ мѣстѣ“. Ѳома—это олицетвореніе протеста лучшихъ силъ человѣка противъ царящей пошлости и убаюкивающей тишины застоявшейся жизни. Какой исходъ найдутъ эти силы, пока не видно, но важно, что онѣ есть, что ихъ нельзя подавить и что какъ бы ни опошлѣла жизнь, а все же внутри ея бьется живая душа и съ мукой прокладываетъ себѣ дорогу къ свѣту.

Кромѣ героя, нарисованнаго во весь ростъ, ярко и выпукло, со всѣми тонкими оттѣнками, придающими ему теплоту реальнаго созданія, а не выдуманной, сочиненной фигуры,—въ романѣ выписана живая колоритная картина окружающей его жизни. Хитрый и ловкій крестный, истый типъ стараго представителя прежней русской коммерціи, его дочь, уже шагнувшая за предѣлы замкнутаго старо-русскаго купеческаго уклада, товарищи Ѳомы, женщины, съ которыми онъ кутитъ, рабочіе—все это слагается въ полную жизни, пеструю картину провинціи. Превосходныя описанія природы и дѣятельности, образчикъ которой мы привели, допол-

няютъ бытовую сторону, служа фономъ для всей жизни, захваченной съ полнымъ знанiемъ и пониманiемъ ея.

Романъ г. Горькаго „Ѳома Гордѣевъ“ законченъ, и врядъ ли кого изъ читателей удовлетворитъ конецъ, къ которому привелъ своего героя авторъ. Его Ѳома,—эта цѣльная, крѣпкая, физически и нравственно такая здоровая натура, сходитъ съ ума и дѣлается чѣмъ-то въ родѣ тѣхъ юродивыхъ, которые служатъ грубой потѣхой для улицы. Этотъ странный конецъ не вяжется съ представленiемъ о безспорной силѣ, какою съ самаго начала романа и все время является Ѳома, смѣло и рѣзко ставящiй свой вопросъ, какъ надо жить. Что окружающая жизнь не могла дать на него отвѣта, это ясно изъ тѣхъ превосходныхъ картинъ, въ которыхъ она изображена. Но отсюда еще очень далеко до такого жалкаго конца, все равно, ничего не разрѣшающаго и совсѣмъ не вяжущагося съ общимъ характеромъ героя.

Повидимому, и для автора такая жалкая судьба его героя является полнѣйшей неожиданностью. По крайней мѣрѣ, такъ можно судить по той обстановкѣ, при которой происходитъ финалъ Ѳомы. Какъ помнятъ читатели, Гордѣевъ, оставшись послѣ смерти отца обладателемъ милліоннаго состоянiя, не увлекается нимало дѣловой стороной жизни. Для него это лишь внѣшность, не имѣющая значенiя,—важнѣе всего та суть жизни, которая ему мерещится и которую онъ не можетъ схватить и понять. Какъ истое дитя природы, наполовину дикарь, Ѳома не можетъ удовлетвориться частными отвѣтами на свои запросы,—ему подавай всю суть, общее рѣшенiе или ничего. Обычная ошибка юности, что такое рѣшенiе гдѣ-то и у кого-то есть, заставляетъ его жадно стремиться къ каждому новому лицу, чтобы затѣмъ также стремительно бросить его, разъ у него не оказывается общаго отвѣта. Его пьянство, кутежи, дикiя выходки не даютъ исхода природнымъ силамъ, накопленнымъ вѣками въ его душѣ, и бѣдный Ѳома бьется въ тѣхъ путахъ, которыми для него являются его богатство и происхожденiе изъ крѣпкой купеческой среды, гдѣ все представляется вѣками наложеннымъ, укрѣпленнымъ на вѣки-вѣчныя все на своемъ мѣстѣ. То, что для его опекуна—крестнаго отца Маякина—представляется высшимъ порядкомъ, для него—высшiй безпорядокъ, потому что никто не знаетъ, зачѣмъ ему, Гордѣеву, милліоны, когда тысячи людей, потомъ и кровью ихъ создающiе, ведутъ жалкое существованiе. Онъ хотѣлъ бы уйти и бросить все, лишь бы на немъ не тяготѣла отвѣтственность за эти милліонны и связанные съ ними потъ и кровь другихъ. Въ его головѣ, гдѣ бродятъ лишь смутныя мысли, все это не формулируется такъ просто и ясно, но нѣчто въ этомъ родѣ онъ смутно чувствуетъ и къ этому стремится.

Противъ него возстаетъ порядокъ, въ лицѣ Маякина, который побѣдоносно заявляетъ, что выхода отсюда нѣтъ, и каждый долженъ пребывать на своемъ мѣстѣ. Маякинъ все время силится прикрѣпить Ѳому. Онъ соблазняетъ его властью, какую даютъ милліонны, хочетъ его скрутить, создавъ ему семейную жизнь, но не видя въ немъ отвѣта, теряется, что дѣлать съ такимъ необузданнымъ конемъ. Этотъ Маякинъ, выступающій въ романѣ полной противоположностью Ѳомѣ, самое характерное и живое лицо, удавшееся автору несравненно лучше, чѣмъ Ѳома. Его разсужденія о значеніи купца, о силѣ денегъ, о породѣ людей, о порядкѣ, его безчисленныя поговорки, которыми онъ такъ и сыплетъ, его неугомонный нравъ, суетливый и на все отзывчивый, дѣлаютъ Маякина типичнымъ представителемъ бойкой жизни Поволжья, гдѣ Маякины дѣйствительно создали огромное промышленное движеніе. Маякинъ искренно считаетъ себя солью земли, главнымъ образомъ въ поволжской жизни, и, по его мнѣнію, безъ купца Волгѣ была бы „крышка". Онъ искренно негодуетъ на Ѳому, не желающаго понимать этого, и ополчается на него, какъ на врага, когда убѣждается, что Ѳома дѣйствительно не пойдетъ и не можетъ итти за нимъ. Кстати возвращается и собственный сынъ, котораго онъ считалъ для себя погибшимъ, такъ какъ тотъ увлекся въ молодости нѣкоторыми идеями, близкими къ направленію Ѳомы. Но, оказывается, идеи очень быстро исчезли, „маякинская кость" осталась и проявилась во всей красѣ, къ великому утѣшенію старика. Отецъ и сынъ быстро, почти безъ словъ, договариваются и заключаютъ безмолвный союзъ противъ Ѳомы, чтобы прибрать къ рукамъ его богатство, а съ нимъ покончить разъ навсегда.

Маякинъ пользуется для этого освященіемъ новаго парохода одного купца. На освященіи собирается все именитое купечество съ Маякинымъ во главѣ, который уговорилъ придти туда и Ѳому. Во время тостовъ Маякинъ говоритъ рѣчь, воспѣвающую купечество, задирательную и воинственную, въ которой какъ бы бросаетъ вызовъ всѣмъ думамъ и стремленіямъ Ѳомы. Того эта рѣчь, что называется, взрываетъ; происходитъ дикая сцена. Ѳома внѣ себя обрушивается на купечество, бросаетъ каждому изъ присутствующихъ въ лицо разныя подлыя продѣлки, которыми большинство создали богатство, и этимъ вызываетъ цѣлую бурю злобы противъ себя. На него набрасываются, связываютъ и всячески поносятъ, чѣмъ пользуется Маякинъ, чтобы объявить Ѳому сумасшедшимъ. Это ему вполнѣ удается. Ѳома попадаетъ въ больницу, откуда выходитъ уже навсегда конченнымъ человѣкомъ. „За всѣ три года о Ѳомѣ не слышно было ничего. Говорили, что послѣ выхода изъ больницы Маякинъ отправилъ его куда-то на Уралъ, къ родственникамъ матери. Недавно Ѳома явился на улицахъ города. Онъ какой-то истертый, измятый, полоумный. Почти всегда выпившій, онъ появляется, то мрачный съ нахмуренными бровями и съ опущенной на грудь головой,

то улыбающійся жалкой и грустной улыбкой блаженненькаго. Иногда онъ буянитъ, но это рѣдко случается“. . .

Словомъ, предъ нами нѣчто въ родѣ того же Любима Торцова, спившагося обличителя, павшаго жертвой своего темперамента и неумѣнія примѣниться къ жизни своей среды. Авторъ безсознательно повторяетъ Островскаго, и въ этомъ большая ошибка. Со временъ Островскаго слишкомъ много воды утекло, чтобы ничто не измѣнилось въ темномъ царствѣ и его настроеніи. Въ пятидесятые годы дѣйствительно не было иного выхода, какъ въ водкѣ топить душу, разъ ей не было удовлетворенія въ жизни. Да и по первоначальному замыслу Ѳома не такого склада, чтобы превратиться въ жертву, разъ столько силы накопилось въ немъ. Правда, эти силы не нужны темному царству, гдѣ властвуетъ маякинскій порядокъ жизни. Но теперь оно уже не такъ замкнуто, и выходъ изъ него открытъ даже и не для такихъ богатырей, какимъ является Ѳома.

Очевидно, тутъ что-то не такъ и въ основѣ всего замысла лежитъ какая-то коренная ошибка. Чтобы понять ее, надо коснуться одного типичнаго лица, играющаго въ романѣ небольшую, но существенную роль. Это—представитель интеллигенціи, писатель, работникъ мѣстной печати Ежовъ, товарищъ Ѳомы по гимназіи. Ежовъ—сынъ мелкаго ремесленника или что-то въ этомъ родѣ, пробившійся въ верхніе ряды собственными силами, благодаря природному уму и таланту. Онъ несомнѣнно талантливъ, владѣетъ острымъ и злымъ перомъ, его фельетоны на мѣстныя злобы дня вызываютъ общее волненіе и вниманіе, его читаютъ, къ его голосу прислушиваются. Словомъ, онъ—замѣтная величина въ мѣстной жизни и съ честью держитъ знамя служенія общественнымъ интересамъ. Но у него есть своя ахиллесова пята—онъ чувствуетъ безсиліе одной печати среди общаго мрака, пьетъ съ горя и всю желчь огорченнаго сердца изливаетъ на интеллигенцію, которая въ его глазахъ является козломъ отпущенія за общіе грѣхи. Въ изображеніи г. Горькаго—Ежовъ въ общемъ довольно комическій персонажъ, и авторъ не жалѣетъ красокъ вездѣ, гдѣ можно представить его въ смѣшномъ видѣ. Такова, напр., сценка, гдѣ Ежовъ вмѣстѣ съ компаніей наборщиковъ устраиваютъ товарищескій пикникъ, на которомъ онъ пробуетъ сближаться съ наборщиками и въ концѣ-концовъ напивается до зеленаго змія. Въ послѣдней части романа этотъ изломанный и полубольной человѣкъ высказываетъ свое завѣтнѣйшее желаніе, которое заключается въ слѣдующемъ.

„—Вотъ, еслибы мнѣ освободиться отъ необходимости пить водку и ѣсть хлѣбъ!

„Ежовъ вскочилъ на ноги и, ставъ противъ Ѳомы, сталъ говорить высокимъ голосомъ и точно декламируя:

„—Я собралъ бы остатки моей истерзанной души и вмѣстѣ съ кровью сердца плюнулъ бы въ рожи нашей интеллигенціи, чор-ртъ ее побери! Я-бъ имъ сказалъ: букашки! вы, лучшій сокъ моей страны! Фактъ вашего бытія оплаченъ кровью и слезами десятковъ поколѣній русскихъ людей, о! гниды! Какъ вы дорого стоите своей странѣ! Что же вы дѣлаете для нея? Превратили ли вы слезы прошлаго въ перлы? Что дали вы жизни? Что сдѣлали? Позволили побѣдить себя... Что дѣлаете? Позволяете издѣваться надъ собой...

„Онъ въ ярости затопалъ ногами и, сцѣпивъ зубы, смотрѣлъ на Ѳому горящимъ злымъ взглядомъ, похожій на освирѣпѣвшее хищное животное.

„—Я сказалъ бы имъ: вы! Вы слишкомъ много разсуждаете, но вы мало умны и совершенно безсильны и—трусы вы всѣ! Ваше сердце набито моралью и добрыми намѣреніями, но оно мягко и тепло, какъ перина, духъ творчества спокойно и крѣпко спитъ въ немъ, и оно не бьется у васъ, а медленно покачивается, какъ люлька. Окунувъ перстъ въ кровь сердца моего, я бы намазалъ на ихъ лбахъ клейма моихъ упрековъ а они, нищіе духомъ, несчастные въ своемъ самодовольствѣ, страдали бы...“

Этотъ-то полусумасшедшій народникъ является въ романѣ *единственнымъ* представителемъ интеллигенціи, съ которымъ приходитъ въ соприкосновеніе Ѳома, какъ бы затѣмъ, чтобы дать ему почувствовать грубое ничтожество интеллигенціи вообще. Для г. Горькаго это очень характерная черточка—его нескрываемое пренебреженіе именно къ интеллигенціи. Черточка эта проявляется у него вездѣ, въ другихъ его разсказахъ и очеркахъ, гдѣ всегда интеллигенція фигурируетъ въ образѣ Ежовыхъ или имъ подобныхъ изломанныхъ людей. Такое же отношеніе къ злополучной интеллигенціи проявляетъ и Ѳома, хотя, кромѣ Ежова, онъ никого не знаетъ.

Ежовъ такимъ образомъ фигурируетъ въ романѣ какъ показатель того, что Ѳомѣ нечего искать выхода въ сторону интеллигентнаго труда, потому что самъ по себѣ этотъ трудъ—ничто, ничего и никому не даетъ, ничему не научитъ и никакихъ задачъ не разрѣшаетъ. Мало того, авторъ изображаетъ интеллигентнаго купца Смолина, побывавшаго въ Европѣ, изучившаго тамъ производство, и такъ изображаетъ, что самъ Маякинъ передъ нимъ пасуетъ. И выводъ отсюда ясенъ,—нѣтъ толку въ интеллигенціи. Она или на откупу у купца, или ни къ чему негодна, какъ этотъ спившійся Ежовъ съ его народническимъ сумбуромъ въ башкѣ.

При такомъ отношеніи къ умственной работѣ и ея представителямъ, Ѳомѣ дѣйствительно остается или кабакъ и сумасшедшій домъ, что ему предоставляетъ великодушно авторъ; это его авторское право, конечно, но насколько это жизненно—вопросъ особый. Мы думаемъ,

что нужно совсѣмъ закрыть глаза на текущую жизнь, чтобы придти къ такому выводу, какъ г. Горькій. „Книги?—ворчитъ его Ѳома угрюмо на предложеніе поучиться:—Если люди помочь мнѣ въ моихъ мысляхъ не могутъ—книги и подавно“. Въ этихъ словахъ звучитъ какъ бы отголосокъ самого автора, что и безъ знаній, въ которыхъ больше всего нуждается его Ѳома, можно однимъ „нутромъ“ рѣшить всѣ загадки жизни и устроить ту гармонію, при которой всякій будетъ знать, „зачѣмъ живешь“, о чемъ такъ тоскуетъ Ѳома.

И описательная сторона въ этой части не блещетъ обычной яркостью, и главная центральная сцена, когда Ѳома выступаетъ въ роли обличителя, мало художественна. Превосходенъ только Маякинъ, рѣчь котораго къ именитому купечеству своего рода шедевръ, до того она близка къ рѣчамъ, какія мы привыкли слышать отъ „всероссійскаго купечества“. Маякинъ—безспорный типъ, которому по праву принадлежитъ мѣсто на ряду съ другими типами изъ той же купеческой среды, выведенными Островскимъ. Его поговорки, которыми онъ закрѣпляетъ свою купеческую мудрость, образная и смѣлая рѣчь, цѣльность и незыблемость вѣры, что онъ—соль земли русской, презрительное отношеніе ко всему, что не даетъ ценегъ,—дѣлаетъ его удивительно яркимъ представителемъ цѣлаго сословія. Въ романѣ это наиболѣе удавшееся автору лицо, и по немъ можно судить, какимъ большимъ художникомъ можетъ быть г. Горькій. Если Ѳома, какъ типъ, не удался автору, то это—обычный результатъ попытокъ нашихъ художниковъ создать положительный типъ. Въ этомъ случаѣ г. Горькій раздѣляетъ участь величайшихъ нашихъ художниковъ, терпѣвшихъ подобное же фіаско, и не ихъ вина, если русская жизнь до сихъ поръ не дала матеріала для положительныхъ типовъ. Какъ и въ жизни, въ Ѳомѣ Гордѣевѣ есть зачатки, изъ которыхъ при иныхъ условіяхъ могъ бы развиться положительный типъ, быть можетъ, рѣдкой красоты и силы.

А. Б.



Критика 1900-го года.

Въ погонѣ за смысломъ жизни.

I.

Одинъ изъ молодыхъ нашихъ писателей назвалъ современную намъ русскую литературу—„литературой мертвецовъ“. Отзывъ этотъ, можетъ быть, слишкомъ строгій, примыкаетъ всецѣло къ тѣмъ жалобамъ на сѣренькое время, переживаемое литературой, которыя за послѣдніе годы сдѣлались довольно заурядным явленіемъ и успѣли даже превратиться въ общее мѣсто. Многими, конечно, жалобы эти повторяются уже по инерціи, по традиціи, но очень многіе высказываютъ ихъ вполнѣ сознательно и не безъ основанія.

Дѣйствительно, если всмотрѣться въ причины этихъ жалобъ, то прежде всего придется сказать, что кроются онѣ не въ *количественномъ* оскудѣніи, а въ качественномъ. Въ самомъ дѣлѣ, достаточно просмотрѣть наши ежемѣсячные журналы, каталоги книжныхъ магазиновъ и газеты для того, чтобы убѣдиться, что количество беллетристическихъ произведеній не только не уменьшается, но, наоборотъ, съ каждымъ годомъ все возрастаетъ и возрастаетъ въ удивительной прогрессіи. Но этотъ же просмотръ покажетъ и причины, вызывающія жалобы на оскудѣніе. Перелистывая журналъ за журналомъ, вы поневолѣ обратите вниманіе на такое, напримѣръ, явленіе, что большая часть всей массы литературныхъ произведеній принадлежитъ всего лишь двумъ-тремъ авторамъ. Не опасаясь впасть въ ошибку, можно сказать, что въ половинѣ журналовъ вы встрѣтите романы или повѣсть Потапенко, Боборыкина, Немировича-Данченко и еще двухъ-трехъ. При этомъ неизбѣжно бросится вамъ въ глаза и то обстоятельство, что одинъ и тотъ же писатель, хотя бы, напримѣръ, Потапенко, печаталъ два-три романа въ нѣсколькихъ журналахъ *одновременно*.

Нисколько, поэтому, не удивительно, если при такой необычайной плодовитости наши беллетристы создаютъ нѣчто сѣренькое, крайне однообразное, написанное по одному, разъ уже принятому шаблону. Какихъ-либо новыхъ, самостоятельно продуманныхъ „идей“, конечно, здѣсь нечего ждать. Арсеналъ у всѣхъ у нихъ старый, взятый у другихъ. Никто изъ нихъ не скажетъ вамъ чего-нибудь новаго, своего. Они или фотографируютъ, съ точностью этнографа, окружающую ихъ жизнь, или же проповѣдуютъ старыя истины, чуть ли не прописную мораль. Возьмите хотя бы одинъ изъ первыхъ романовъ Потапенко „На дѣйствительной

службѣ", который главнымъ образомъ и доставилъ романисту имя. Развѣ это не прописная мораль? Герой этого романа, священникъ, передъ которымъ открывалась блестящая карьера, уѣзжаетъ въ деревню и здѣсь, благодаря *совершенно исключительнымъ* условіямъ, старается быть безкорыстнымъ, отказывается отъ платы за требы и т. д. и т. д. Развѣ не этнографическій характеръ носятъ разсказы гг. Тана, Сѣрошевскаго или Мамина-Сибиряка?

Но это еще въ лучшемъ случаѣ. А обыкновенно всѣ эти огромные романы представляютъ собою не что иное, какъ простое, часто механическое, чередованіе „разговоровъ" съ „описаніями" и наоборотъ. Авторы этихъ „сочиненій" въ беллетристическомъ родѣ, принимаясь за перо, обыкновенно не задаются вопросомъ о томъ, чѣмъ они закончатъ свои романы, и нерѣдки случаи, что подчасъ, какъ это извѣстно за редакціонными кулисами, забываютъ имена своихъ героевъ, похоронивъ—воскрешаютъ ихъ и т. д. Присущій этимъ беллетристамъ, хотя и не особенно крупный, но все таки талантъ, дѣлаетъ эти произведенія удобочитаемыми. Проникнутые тонкимъ юморомъ разсказы г. Потапенки, особенно изъ духовнаго и студенческаго быта, имѣютъ довольно обширный кругъ читателей и дѣйствительно иной разъ не лишены занимательности и интереса.

Но вѣдь дѣло не въ занимательности того или иного произведенія. Одна занимательность теперь читателя удовлетворять не можетъ. Какъ совершенно справедливо замѣтилъ графъ Л. Н. Толстой, въ настоящее время, „что бы ни изображалъ художникъ,—во всемъ мы ищемъ душу художника"... И чѣмъ ярче сказывается эта душа, чѣмъ индивидуальнѣе и субъективнѣе авторъ, тѣмъ болѣе мы его любимъ, даже если онъ не разсказываетъ намъ никакихъ занимательныхъ исторій.

Лучшимъ примѣромъ можетъ служить Антонъ Чеховъ. Въ нѣсколькихъ томикахъ его сочиненій вы не найдете крупныхъ романовъ или обширныхъ повѣстей. Все это художественно отдѣланные миніатюры, разсказы о самыхъ обыденныхъ эпизодахъ изъ повседневной жизни самыхъ обыкновенныхъ людей. И между тѣмъ, съ какимъ живымъ интересомъ набрасываетесь вы на всѣ, даже небольшіе разсказики, подписанные именемъ этого писателя. Вы съ увлеченіемъ читаете ихъ, потому что за каждымъ его словомъ слышите его тоскующую душу, видите его страдающій въ пошлой обыденной обстановкѣ образъ. Безъ громкихъ фразъ и жалкихъ словъ, цѣлымъ рядомъ конкретныхъ образовъ, Чеховъ такъ искренно говоритъ о своей скукѣ, о тоскѣ, которую возбуждаютъ въ немъ окружающіе люди и вся вообще жизнь, что вы охотно прощаете ему отсутствіе новыхъ словъ, отсутствіе конечныхъ выводовъ. Ново уже то, что все старое его нисколько не воодушевляетъ, что оно наводитъ на него тоску, что тоска эта выражается у него такъ художественно-просто, такъ искренно.

II.

Чеховъ, впрочемъ, очень многихъ подкупаетъ своимъ выдающимся художественнымъ талантомъ. Но вотъ другой, еще молодой, писатель, у котораго, можно сказать, таланта почти нѣтъ и который тѣмъ не менѣе пользуется теперь большой популярностью, исключительно благодаря искреннему признанію въ своемъ недовольствѣ „старыми словами“, благодаря тому, что онъ искренно ищетъ смысла жизни. Вы, можетъ быть, догадываетесь, что я говорю о г. Вересаевѣ. На немъ я позволю себѣ остановиться нѣсколько подробнѣе, такъ какъ во-первыхъ о немъ говорили сравнительно немногіе, а во-вторыхъ потому, что, несмотря на это, разсказы г. Вересаева, благодаря ихъ внутреннимъ качествамъ, получаютъ съ каждымъ днемъ все большую популярность, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствуетъ хотя бы второе изданіе томика его разсказовъ.

Нужно сознаться, что разсказы эти не производятъ особенно яркаго впечатлѣнія. Вересаевъ по свойству своего таланта—не художникъ. Онъ пользуется беллетристической формой какъ средствомъ пропаганды или просто изложенія разнаго рода ученій и теорій. Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ собой, напримѣръ, его разсказъ „Повѣтріе“, самый большой очеркъ „Безъ дороги“ или разсказъ „На мертвой дорогѣ“? „Повѣтріе“ написано на старую тему Тургеневскихъ отцовъ и дѣтей. Отцы г. Вересаева выступаютъ въ роли докторовъ и устроителей артелей, а дѣти—конечно въ роли марксистовъ. Съ точки зрѣнія исторической перспективы, если хотите, это вполнѣ вѣрно. Вѣдь, Базаровъ, „дитя“ временъ Тургенева, теперь, еслибы не умеръ, навѣрное, былъ бы „отцомъ“ и служилъ бы въ земствѣ врачемъ.

Между представителями этихъ двухъ лагерей происходитъ обмѣнъ мнѣній въ такой формѣ, что васъ все время мучитъ вопросъ, не переложилъ ли г. Вересаевъ въ разсказъ отчеты о засѣданіяхъ въ вольно-экономическомъ обществѣ?!

Послушайте, напримѣръ, какъ говоритъ студентъ Даевъ. „Иванъ Ивановичъ!“—обращается этотъ представитель марксизма къ устроителю артелей: „Какъ бы вы ни смотрѣли на фабрику, но во всякомъ случаѣ вамъ слѣдовало бы хоть сколько-нибудь соблюдать перспективу: вы говорите о „гибели“ кустаря такимъ тономъ, какъ будто рѣчь идетъ о крушеніи какого-то очень большого благополучія. Но вѣдь это же совершенно невѣрно: возьмите любой земскій сборникъ, и онъ развернетъ передъ вами такія картины „благополучія“ нашего кустаря, что волосы станутъ дыбомъ. Знаете ли вы, напримѣръ, что наши деревенскія ткачихи, работая восемнадцать часовъ въ сутки, вырабатываютъ по одной копейкѣ въ часъ?.. Скажите, пожалуйста, какая фабрика можетъ погубить такую ткачиху?“

Или въ другомъ мѣстѣ. „Заказали, напр. во Владимірской губерніи воскресенской артели столы для школъ; заказъ большой и выгодный; артельщики и приняли себѣ въ помощь десять столяровъ. Въ Вятской губерніи смолу гонятъ артелями; если дѣла идутъ хорошо, артельщики принимаютъ рабочихъ. Артели ножевщиковъ въ с. Павловѣ имѣютъ собственные керосиновые двигатели“ и т. д. и т. д.

Курсистка Наташа говоритъ совершенно въ такомъ же родѣ, а старики „отцы“ только возмущаются и негодуютъ.

Большой разсказъ „Безъ дороги“, написанный въ формѣ дневника доктора, представляетъ собою какъ бы живо изложенную корреспонденцію „изъ неблагополучныхъ по холерѣ“ мѣстностей. Изъ этого разсказа мы прежде всего узнаемъ о ненормальной постановкѣ въ нашихъ земствахъ медицинской помощи, о томъ, какъ одинъ докторъ отправился „на холеру“ и какъ, несмотря на успѣшное и разумное веденіе дѣла, въ концѣ-концовъ палъ жертвою нашей темной толпы, избившей его до полусмерти. Вообще говоря, разсказы г. Вересаева изобилуютъ „фактами“ и разсужденіями на обличительныя темы. Кто только и съ какой только точки зрѣнія у него не обличаетъ. Больше всего говорятъ марксисты, затѣмъ высказываются народники, выступаетъ съ горячей рѣчью толстовецъ, рисуется народное міровоззрѣніе. Представители всѣхъ этихъ ученій говорятъ много, часто вступаютъ между собой, какъ выразился въ одномъ мѣстѣ самъ г. Вересаевъ, „въ утомительно-безплодные споры“, послѣ которыхъ уходятъ другъ друга не убѣдившими, каждый при своемъ мнѣніи.

Ну, а самъ г. Вересаевъ? Какъ онъ относится ко всему тому, о чемъ повѣствуетъ? Увы, никакъ. Сочувствуй онъ той или иной теоріи, это отразилось бы непремѣнно и въ его разсказахъ. Его увлеченія, его горе и радости передавались бы и намъ, его читателямъ. Вы можете не сочувствовать ученію Толстого, но читать изложеніе этого ученія безъ увлеченія вы не можете. Живое слово всегда скажется. И г. Вересаевъ это прекрасно понимаетъ самъ. Одинъ изъ его героевъ (докторъ, котораго убиваютъ) чувствуетъ угрызеніе совѣсти послѣ того, какъ онъ наговорилъ много хорошихъ и высокихъ „словъ“ о долгѣ, силѣ которыхъ самъ онъ уже пересталъ вѣрить.

Самъ г. Вересаевъ не принадлежитъ, повидимому, ни къ одной изъ существующихъ партій, живетъ „безъ дороги“, ищетъ этой дороги. Это его больное мѣсто, и тѣ разсказы, гдѣ онъ бередитъ эту рану, производятъ безусловно правдивое и сильное впечатлѣніе. Разсказъ „Товарищи“, написанный на эту тему, является поэтому лучшимъ разсказомъ г. Вересаева. Товарищи—все люди, имѣвшіе когда-то идеалы. По выходѣ изъ университета, они превратились въ чиновниковъ, забрались въ глушь, и вотъ теперь собираются вмѣстѣ, говорятъ о пустякахъ, пьютъ пиво и даже боятся вспомнить о томъ, что когда-то у нихъ были

свои убѣжденія, были идеалы. Всѣмъ имъ до боли жалко свѣтлаго прошлаго, но высказать это чувство никто изъ нихъ не рѣшается. „Всѣ,—поясняетъ г. Вересаевъ,—были несчастны,—да, но никто изъ нихъ не уважалъ своего горя, да и не стоило оно уваженія. . . Горе ихъ —горе дряблое, бездѣятельное—ему нѣтъ оправданія; стыдиться его нужно, а не нести въ люди“. Еще прямѣе высказывается докторъ въ разсказѣ: „Безъ дороги“. „Она, думаетъ онъ о подругѣ своего дѣтства Наташѣ, хочетъ знать, какъ я смотрю на общину, какое значеніе придаю сектанству, считаю ли возможнымъ развитіе капитализма въ Россіи. И въ разспросахъ ея сказывается мысль, что я непремѣнно долженъ интересоваться всѣмъ этимъ. Что-же? Я вѣдь дѣйствительно интересуюсь: однако, правду говоря, разговоры эти мнѣ крайне непріятны. Я съ величайшимъ удовольствіемъ прочту книгу, гдѣ говорится что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о немъ, но пусть для меня, какъ и для моего собесѣдника, вопросъ этотъ будетъ холоднымъ теоретическимъ вопросомъ, въ родѣ вопроса о правильности теоріи фагоцита или вѣрности гипотезы Альтмана“.

Слова „долгъ народа“, „дѣло“, „идея“, рѣжутъ ему ухо, какъ визгъ стекла подъ тупымъ шиломъ. А почему? Да просто потому, что докторъ этотъ ничему не вѣритъ, потому что, какъ самъ онъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ, все его „внутреннее содержаніе—лишь красивыя слова“, не болѣе того. Онъ боится заглянуть внутрь себя, боится, такъ какъ знаетъ, что за душой у него „ничего нѣтъ“. „Къ чему, говоритъ онъ, мнѣ мое честное и гордое міросозерцаніе, что оно мнѣ даетъ? Оно ужъ давно мертво. Это—не любимая женщина, съ которой я живу одной жизнью, а лишь ея трупъ; и я страстно обнимаю этотъ прекрасный трупъ и не могу, не хочу вѣрить, что онъ нѣмъ и безжизненно-холоденъ. Однако, обмануть себя я не въ состояніи“. . .

Человѣкъ съ сильной глубокой вѣрой во что бы то ни было, но съ вѣрой дѣйствительной, не напускной, является для героевъ г. Вересаева постояннымъ предметомъ зависти, вызываетъ въ нихъ чувство искренняго уваженія. Они завидуютъ толстовцу, несмотря на всѣ, вполнѣ понятныя имъ, несообразности этого ученія, завидуютъ простому мастеровому, который увѣровалъ въ возможность спасенія чуть ли не всего человѣчества при помощи изобрѣтенной имъ вентиляціи, завидуютъ даже простой наивной богомолкѣ, возвратившейся изъ Іерусалима. „Изъ своего долгаго путешествія, полнаго тяжелыхъ лишеній, она, поясняетъ alter ego г. Вересаева, вынесла въ душѣ своей нѣчто новое, безконечно для нея дорогое, что всю ея остальную жизнь заполнитъ тепломъ, счастьемъ и миромъ“. Героямъ г. Вересаева мучительно хочется найти идею, которая захватила бы ихъ цѣликомъ и упорно вела къ опредѣленной цѣли. „Ты хочешь, говоритъ докторъ Наташѣ, чтобы я вручилъ тебѣ знамя и сказалъ: вотъ тебѣ знамя,—борись

и умирай за него... Я больше тебя читалъ, больше видѣлъ жизни, но со мною то же, что съ тобой: *я не знаю*!—въ этомъ вся мука“.

Это отсутствіе всепоглощающей идеи, отсутствіе твердыхъ горячихъ убѣжденій, познанія смысла жизни г. Вересаевъ считаетъ явленіемъ, вполнѣ характеризующимъ наше время. Толстовцы, народники, марксисты—все это люди, унаслѣдовавшіе свои воззрѣнія, принявшіе ихъ въ совершенно готовомъ видѣ. Одни изъ нихъ постарались проникнуться этими воззрѣніями и прониклись, другіе и до сихъ поръ стараются сдѣлать это, но не могутъ, такъ какъ „постараться повѣрить“, если этой самой вѣры нѣтъ,—трудно, а сказать свое слово не могутъ. Г. Вересаевъ ясно видитъ безпомощность нашего „юнаго племени“, не могущаго сказать своего слова и въ то же время не удовлетворяющагося старыми авторитетами. „Все теперешнее поколѣніе, говоритъ отъ его лица докторъ, переживаетъ то же, что я: у него ничего нѣтъ,—въ этомъ его ужасъ и проклятіе. Безъ дороги, безъ путеводной звѣзды, оно гибнетъ невидно и безповоротно... Посмотрите на теперешнюю литературу: развѣ это не литература мертвецовъ, отъ которыхъ ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всѣхъ, и напрасны отчаянныя попытки выбиться изъ-подъ его власти“... Таково основное міросозерцаніе г. Вересаева. У него, какъ у всего нашего поколѣнія „девятидесятниковъ“, нѣтъ за душой ничего положительнаго, твердаго, нѣтъ знамени, нѣтъ идеи, которая наполнила бы все его существованіе и которую онъ стремился бы привить другимъ. Вотъ почему тѣ странички его разсказовъ, гдѣ онъ говоритъ не о своихъ страданіяхъ по поводу своего безвѣрія, а приводитъ вѣрованія другихъ и вообще разсказываетъ, носятъ характеръ протоколовъ, газетныхъ корреспонденцій, политико-экономическихъ трактатовъ, изложенныхъ для большей популярности въ діалогической формѣ.

Не будь въ разсказахъ г. Вересаева, кромѣ этихъ объективныхъ діалоговъ, ничего другого, на нихъ, конечно, не обратили бы половины того вниманія, которое имъ оказываютъ въ настоящее время. Если ихъ замѣтили и читаютъ, то лишь благодаря ихъ субъективизму, отразившемуся въ нихъ искреннему страданію автора, который, не будучи въ состояніи устоять на „мертвой дорогѣ“, предпочелъ остаться совершенно „безъ дороги“, не побоялся сказать объ этомъ громко и затѣмъ уже искать своего собственнаго пути, искать то новое, свое слово, которое дастъ удовлетвореніе его личности.

III.

Тоскливый тонъ, которымъ проникнуты разсказы Антона Чехова, а также и г. Вересаева, несомнѣнно очень характерное явленіе въ на-

шей литературѣ. Онъ ясно свидѣтельствуетъ о какомъ-то происходящемъ на нашихъ глазахъ процессѣ, который пока еще не принялъ сколько-нибудь опредѣленныхъ очертаній, но который со временемъ, быть можетъ, даже въ недалекомъ будущемъ, раскроетъ какіе-нибудь новые горизонты. Тонъ этотъ является несомнѣннымъ отзвукомъ внутренней работы индивидуальной человѣческой личности, постоянно и упорно стремящейся уяснить себѣ смыслъ жизни. Процессъ этой индивидуальной работы начался у насъ очень давно. Еще въ началѣ вѣка Баратынскій, Пушкинъ и цѣлый рядъ другихъ болѣе или менѣе крупныхъ писателей поставили индивидуальную личность человѣка на пьедесталъ, потребовали для нея большихъ правъ, чѣмъ она имѣла до того времени. Разъ начавшаяся борьба росла съ каждымъ часомъ все болѣе и болѣе, приносила свой плодъ въ видѣ тѣхъ или иныхъ философскихъ и теоретическихъ проблемъ, но главнымъ результатомъ ея было несомнѣнное и очевидное для всѣхъ торжество индивидуальной человѣческой личности. Сильнѣе всѣхъ провозгласили этотъ принципъ въ наше время декаденты. Ихъ, впрочемъ, я оставлю въ сторонѣ, такъ какъ наши русскіе декаденты не представляютъ собою ничего самостоятельнаго. Стоя на „мертвой дорогѣ", они съ радостью ухватились за провозглашаемое германскимъ философомъ Ницше ученіе о сверхъ-человѣкѣ и въ настоящее время не только не унываютъ, но даже наоборотъ ликуютъ, чувствуя себя достойными сверхъ-человѣческой высоты и потому имѣющими право гордо смотрѣть на обыкновенныхъ простыхъ смертныхъ. Тоскливый тонъ нашихъ беллетристовъ свидѣтельствуетъ о томъ, что индивидуальная личность уже не удовлетворяется болѣе тѣми рѣшеніями, которыя ей подсказываютъ и которыя признавали удовлетворительными лѣтъ двадцать тому назадъ. Не всѣ могутъ стать убѣжденными толстовцами или марксистами, но далеко также не всѣ могутъ и создать себѣ свое собственное міросозерцаніе. На этой почвѣ и вырабатывается то тоскливое отношеніе къ окружающей жизни, которое мы отмѣтили выше у Чехова и Вересаева. Оба эти писателя, однако, не идутъ дальше тоски. Протеста у нихъ мало. Они довольно пассивно относятся къ тому, что совершается вокругъ нихъ и ограничиваются почти исключительно отрицаніемъ.

Нѣсколько иначе относится къ вопросамъ этого рода недавно только выступившій на литературное поприще, но успѣвшій въ короткое время занять очень почетное мѣсто въ литературной средѣ, Максимъ Горькій. Индивидуализмъ нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ самаго ревностнаго проповѣдника, борца, который не только перомъ и словомъ, но всей своей жизнью, всѣмъ своимъ существомъ ополчился на защиту самой безграничной свободы личности. Біографія г. Горькаго устраняетъ всякое сомнѣніе въ возможности чего-либо искусственнаго и неискренняго въ его міросозерцаніи. Она, впрочемъ, настолько интересна и такъ важна для

пониманія произведеній Горькаго, что я позволю себѣ ее изложить въ самыхъ общихъ чертахъ, придерживаясь автобіографической замѣтки, напечатанной самимъ г. Горькимъ въ одномъ изъ малораспространенныхъ журналовъ. Біографія эта нагляднѣе всего покажетъ, съ какой оригинальной и самобытной личностью мы встрѣчаемся въ лицѣ г. Горькаго.

„Родился я, пишетъ Горькій,—14-го марта 1868 или 9-го года въ Нижнемъ, въ семьѣ красильщика Василія Васильевича Каширина, отъ дочери его Варвары и пермскаго мѣщанина Максима Савватіева Пѣшкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. Съ тѣхъ поръ съ честью и незапятнанно ношу званіе цехового малярнаго цеха". „Отецъ умеръ въ Астрахани, продолжаетъ г. Горькій,—когда мнѣ было 5 лѣтъ, мать—въ Канавинѣ - слободѣ. По смерти матери дѣдушка отдалъ меня въ магазинъ обуви; въ ту пору имѣлъ я 9 лѣтъ отъ роду и былъ дѣдомъ обученъ грамотѣ по псалтыри и часослову. Изъ „мальчиковъ" сбѣжалъ и поступилъ въ ученики къ чертежнику,—бѣжалъ и поступилъ въ иконописную мастерскую, потомъ на пароходъ въ поварята, потомъ въ помощники садовника. Въ сихъ занятіяхъ прожилъ до 15 лѣтъ, все время занимаясь усердно чтеніемъ классическихъ произведеній неизвѣстныхъ авторовъ, какъ-то: „Гуакъ, или непреоборимая вѣрность", „Андрей Безстрашный", „Япанча", „Яшка Смертенскій" и т. п. На пароходѣ, когда былъ поваренкомъ, на образованіе мое сильно вліялъ поваръ Смурый, который заставлялъ меня читать житія святыхъ, Эккартгаузена, Гоголя, Глѣба Успенскаго, Дюма-отца и многія книжки франкъ-масоновъ. До повара—терпѣть не могъ книгъ, всякой печатной бумаги, до паспорта включительно. Послѣ 15 лѣтъ возымѣлъ я свирѣпое желаніе учиться, съ какой цѣлью поѣхалъ въ Казань, предполагая, что науки желающимъ даромъ преподаются. Оказалось, что оное не принято, вслѣдствіе чего я поступилъ въ крендельное заведеніе, по 3 руб. въ мѣсяцъ. Это—самая тяжелая работа изъ всѣхъ опробованныхъ мной." Въ Казани г. Горькій потомъ торговалъ яблоками. „Работалъ на Устьѣ, пилилъ дрова, таскалъ грузы." Какъ жилось въ этотъ періодъ Горькому, можно судить по тому, что въ 1888 г. онъ покушался на самоубійство.

Послѣ Казани Горькій пробуетъ счастья въ Царицынѣ, гдѣ занимаетъ должность жел.-дор. сторожа, а затѣмъ опять появляется, по случаю призыва, въ Нижнемъ. Въ солдаты, однако, Горькій не попадаетъ,—„дырявыхъ не берутъ", а дѣлается продавцомъ баварскаго кваса. Наконецъ, многострадальный членъ „малярнаго цеха" какими-то судьбами пристраивается письмоводителемъ у присяжнаго повѣреннаго А. И. Ланина. Ланинъ принялъ въ Горькомъ участіе. Однако, бродячая жизнь Горькаго не прекратилась. Скитанія привели тогда Горькаго въ Тифлисъ, гдѣ онъ работалъ въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ и гдѣ, въ газетѣ „Кавказъ", напечаталъ свой первый разсказъ. Вернувшись

затѣмъ въ родные края, Горькій началъ помѣщать свои очерки въ поволжскихъ газетахъ. Въ Нижнемъ Горькій познакомился съ В. Г. Короленко, который и имѣлъ рѣшающее вліяніе на его литературную карьеру.

Послѣ Николая Полевого, г. Горькій едва ли не второй дѣйствительно замѣчательный русскій самородокъ. *) При чтеніи его разсказовъ никому, конечно, и въ голову не придетъ, что онъ прошелъ такую школу. Привыкнувъ считать способными къ литературной работѣ лишь людей, прошедшихъ всѣ степени нашей школы, мы не можемъ себѣ представить, чтобы литераторъ могъ выработаться изъ пекаря, крендельщика и т. д. А вѣдь, кто его знаетъ, далъ ли бы намъ г. Горькій то, что онъ далъ, еслибы онъ прошелъ нашу всѣхъ и вся нивеллирующую школу, получилъ гимназическое образованіе, всецѣло направленное къ обезличенію и обезцвѣченію всякой индивидуальности.

Вѣроятнѣе всего, что—нѣтъ. Я, конечно, не хочу этимъ сказать, что школа превратила бы его безусловно даровитую натуру—въ нѣчто бездарное. Этого, конечно, не случилось бы. Но, навѣрное, школа, заставляющая дѣтей цѣлыми днями просиживать въ четырехъ стѣнахъ за латинской грамматикой, не столько думать, сколько „зубрить", лишила бы г. Горькаго того, что онъ вынесъ изъ жизни своей на лонѣ природы, изъ своихъ постоянныхъ наблюденій надъ природою и людьми, надъ дѣйствительною жизнью, во всей ея совокупности. Читая разсказы г. Горькаго, вы чувствуете, что „съ природой одною онъ жизнью дышалъ", что онъ любитъ эту природу, знаетъ ее и потому даетъ замѣчательныя по своей художественности и правдивости описанія. У г. Горькаго сочная кисть и свѣжія краски. Пишетъ онъ мазками, безъ лишнихъ словъ, безъ всякой реторики. Всего двумя-тремя штрихами онъ передаетъ цѣлую и вполнѣ реальную картину. Особенно любитъ онъ море, которое у него столь же разнообразно, какъ и у Айвазовскаго. Его кипучая, нервная натура никогда не пресыщается созерцаніемъ этой темной опаловой широты, безкрайной, свободной и мощной. Море у него смѣется, улыбается, спитъ, играетъ маленькими волнами, рождая ихъ, украшая бахромой пѣны, сталкивая эти волны другъ съ другомъ и разбивая въ мелкую пыль. На одной страницѣ передъ вами „игривое море, все изрытое бѣгающими стаями волнъ, кое-гдѣ уже убранныхъ пышной и бѣлой бахромой пѣны", на другой море это ходитъ грозными волнами, съ шумомъ разбивающимися одна о другую.

Разносторонность художественнаго дарованія г. Горькаго сказывается, между прочимъ, въ томъ, что онъ съ такимъ же успѣхомъ, какъ

*) Кн. В. Барятинскій сопоставлялъ его въ одной изъ своихъ статей въ „Сѣв. Кур." съ Ломоносовымъ, но такое сопоставленіе врядъ ли возможно. Ломоносовъ прошелъ все-таки систематическую школу до заграничной командировки включительно.

и пейзажи, рисуетъ жанровыя картинки, пишетъ вполнѣ живые портреты. Для доказательства вполнѣ достаточно развернуть любую страницу изъ его разсказовъ, но я позволю себѣ обратить ваше вниманіе на его описаніе пѣнія и пѣвцовъ и сравнить этого рода картинки, не разъ встрѣчающіяся у г. Горькаго, съ картинкой „Пѣвцы" такого замѣчательнаго художника, какъ И. С. Тургеневъ. Это сравненіе покажетъ вамъ лучше всего, что вы имѣете дѣло съ дѣйствительно замѣчательнымъ художникомъ, разбирающимся не только въ краскахъ, но также и въ звукахъ, и въ тончайшихъ психологическихъ настроеніяхъ. Вотъ, напримѣръ, въ какихъ выраженіяхъ онъ даетъ описаніе дуэта, пропѣтаго двумя женщинами.

„... Ея сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высокимъ контральто застонала:

„Эхъ-у ме-ня-у-крас-ной-дѣ-ѣви-цы"...

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами крикнула:

„Какъ былинка, сердце высохло-о-о!"

Два голоса обнялись и поплыли надъ водой, красивымъ, сочнымъ, дрожащимъ отъ избытка силы, звукомъ. Одинъ жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядомъ жалобы своей,—рыдалъ съ унылой и безсильной скорбью, рыдалъ, слезами заливая огонь своихъ мученій. Другой—болѣе низкій и мужественный—могуче текъ въ воздухъ, полный чувства, кровной обиды и готовности мстить. Ясно выговаривая слова, онъ рвался изъ груди густою струей, и отъ каждаго слова пахло кипящей кровью, возмущенной оскорбленіемъ, отравленной обидой и мощно требовавшей мести.

„Ужъ я ему это выплачу"...—жалобно пѣла Васса, закрывъ глаза.

„За-озноблю его, по-овысушу"...—увѣренно и грозно обѣщала Саша, бросая въ воздухъ крѣпкіе, сильные звуки, похожіе на удары"...

....

....

Читая эти строки, вы положительно слышите пѣніе, проникаетесь настроеніемъ пѣвцовъ и слушателей г. Горькаго.

Впрочемъ, о томъ, что г. Горкій—несомнѣнно крупный художникъ, какъ я сказалъ уже выше, свидѣтельствуетъ каждая страничка его разсказовъ, а потому подробно останавливаться на этой сторонѣ его таланта, полагаю, будетъ излишнимъ.

IV.

Перейдемъ къ его сути, къ той „душѣ", которой мы, по справедливому замѣчанію Толстого, всегда ищемъ въ произведеніяхъ писателя. У г. Горькаго искать ее, впрочемъ, не придется долго. Она такъ ярко выразилась въ главнѣйшихъ типахъ его разсказовъ, что бросается сразу же всякому въ глаза. Скажу больше. Всѣ лучшіе разсказы г. Горькаго,

не исключая и самой большой по объему его повѣсти „Ѳома Гордѣевъ“, написаны на одну и ту же тему, во всѣхъ ихъ главную роль играетъ одна и та же фигура „безпокойнаго“ человѣка, стремящагося къ абсолютной свободѣ и свѣту и отражающая въ себѣ самого г. Горькаго.

Всѣ герои его поэтому довольно однообразны. Имъ скучно на бѣломъ свѣтѣ, всѣ они въ большинствѣ случаевъ неудачники, обладающіе огромнымъ запасомъ силъ, но не умѣющіе приложить эти силы къ дѣлу, или вѣрнѣе не могущіе найти себѣ такого дѣла, которое бы ихъ втянуло, удовлетворило вполнѣ. Говоря словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ г. Горькаго, всѣ они „безпокойные люди“, которые мечутся изъ стороны въ сторону, тревожно „ищутъ своей точки“ и, убѣдившись въ собственномъ безсиліи, низко и больно падаютъ. Это своего рода Рудины, „лишніе люди“, вышедшіе изъ среды, въ душу которой до сего времени мало кто заглядывалъ. Во времена Тургенева среда эта, стонавшая подъ тяжкимъ игомъ крѣпостного права, слишкомъ была еще придавлена. Теперь она начинаетъ развиваться, въ ней просыпаются умственные запросы, умъ начинаетъ работать надъ старыми для другихъ вопросами о смыслѣ жизни и, какъ естественное слѣдствіе этой работы, являются свои собственные Рудины, свои собственные Чулкатурины, Раскольниковы.

Что же представляютъ собой безпокойные герои Горькаго, къ чему они стремятся, каковы у нихъ идеалы? Прежде всего—все это люди, стоящіе неизмѣримо выше окружающей ихъ среды. Сытое „мѣщанское счастье“ имъ претитъ. Они вѣчно ищутъ чего-то высшаго, ищутъ какой-то своей собственной „точки“.

—„Почему я не могу быть спокоенъ“,—спрашиваетъ Коноваловъ, типичный представитель этого настроенія у г. Горькаго.—А? Почему люди живутъ и ничего себѣ, занимаются своимъ дѣломъ, имѣютъ женъ, дѣтей и все прочее... И всегда у нихъ есть охота дѣлать то, другое. А я—не могу. Тошно. Почему мнѣ тошно?“ Другой рефлектикъ, сапожникъ Орловъ, особенно ярко отражаетъ это пессимистическое настроеніе. Такъ же, какъ и Коноваловъ, онъ родился „съ безпокойствомъ въ сердцѣ“.

Онъ—сапожникъ. Почему? „Али, кромѣ меня—философствуетъ онъ,—мало сапожниковъ? Какое въ этомъ для меня удовольствіе? Сижу въ ямѣ и шью... Потомъ помру. Вотъ, говорятъ, холера... Ну и что же? Жилъ Григорій Орловъ, шилъ сапоги—и померъ отъ холеры. Въ чемъ же тутъ сила? и зачѣмъ это нужно, чтобы я жилъ, шилъ и померъ, а?“ Дѣдъ Архипъ также пессимистически смотритъ на міръ. „Правильно ты сказалъ,—говоритъ онъ своему внуку,—пыль все... и города, и люди, и мы съ тобой—пыль одна“.

Къ такимъ пессимистическимъ выводамъ приходятъ герои г. Горькаго исключительно потому, что не находятъ себѣ надлежащаго мѣста

между людей, не находятъ себѣ дѣла, которое считали бы достойнымъ своей работы и потому чувствуютъ себя лишними. Ѳома Гордѣевъ, этотъ представитель безпокойнаго человѣка изъ класса купцовъ-милліонеровъ, смотритъ съ завистью на кипящую вокругъ него работу людей не думающихъ и потому легко примиряющихся съ окружающей ихъ пошлостью. „Они, думалъ Гордѣевъ,—нужны, а я. . . ни къ чему. . . Мы живемъ безъ сравненія. . . и безъ оправданія, совсѣмъ зря. . . И совсѣмъ не нужно насъ. . . Мы всѣ—лопнемъ. . . ей Богу! А отчего лопнемъ? Оттого что. . . лишнее все въ насъ. . . въ душѣ лишнее. . . и вся наша жизнь лишняя“. . .

Если хотите, то философія эта, высказываемая и другими героями г. Горькаго, напоминаетъ собой нѣсколько „кладбищенство“ Помяловскаго. Но только напоминаетъ. Между „кладбищенствомъ“, съ его холодноравнодушнымъ отношеніемъ къ суетѣ житейской и недовольствомъ г. Горькаго очень существенная разница.

Не меньшая разница также существуетъ между „лишними людьми“ Тургенева и считающими себя „лишними“ героями г. Горькаго. Люди, зараженные „кладбищенствомъ“, смотрятъ на жизнь холодно-мрачнымъ взглядомъ, постоянно твердятъ о суетности всего живого. „Лишніе люди“ Тургенева ясно видятъ пошлость окружающей ихъ жизни, сначала смотрятъ на эту жизнь свысока, затѣмъ мало-по-малу снисходятъ, смиряются и превращаются въ Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда или Чулкатуриныхъ и успокаиваютъ себя извѣстнымъ софизмомъ о заѣвшей ихъ средѣ.

Герои г. Горькаго, хотя и считаютъ себя „лишними людьми“, однако никогда не смиряются. Безпокойство духа, присущее всѣмъ имъ, не позволяетъ мириться съ пошлой обстановкой или же принимать въ ней участіе безъ всякаго протеста. Въ то же время сильная вѣра въ себя, въ свои силы мѣшаетъ имъ взвалить всю вину за свои мученія на окружающее ихъ общество, на пресловутую „среду“.

„Каждый человѣкъ, говоритъ Коноваловъ, самъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ не виновенъ, ежели я подлецъ есть“. „. . .Жизнь плохая, возмущается Ѳома Гордѣевъ. И что вы все на жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь? Человѣкъ—жизнь и кромѣ человѣка никакой еще жизни нѣтъ“. . .

Коноваловъ подробно излагаетъ свой взглядъ по этому поводу.

„Кто виноватъ, говоритъ онъ, что я пью? Павелка, братъ мой, не пьетъ,—въ Перми у него своя пекарня. А я вотъ работаю не хуже его,—однако, бродяга и пьяница, и больше нѣтъ мнѣ ни званія ни доли. . . А вѣдь мы одной матери дѣти. Онъ еще моложе меня. Выходитъ, что во мнѣ самомъ что-то неладно. . . *Не такъ я, значитъ, родился,* какъ человѣку это слѣдуетъ. Самъ же ты говоришь, что всѣ люди одинаковые:—родился, пожилъ, сколько назначено, и помри! А

я на особой стезѣ... И не одинъ я—много насъ этакихъ. Особливые мы будемъ люди... и ни въ какой порядокъ не включаемся. Особый намъ счетъ нуженъ... и законы особые... очень строгіе законы—чтобы насъ искоренять изъ жизни! Потому пользы отъ насъ нѣтъ, а мѣсто мы въ ней занимаемъ и у другихъ на тропѣ стоимъ... Кто передъ нами виноватъ? Сами мы предъ собой и жизнью виноваты... Потому у насъ охоты къ жизни нѣтъ и къ себѣ самимъ мы чувствъ не имѣемъ... Матери наши не въ урочные часы зачали насъ—вотъ въ чемъ сила"...

Тургеневскій „лишній человѣкъ" Чулкатуринъ также жалуется на то, что мать имъ „обремизилась", что въ теченіе всей своей жизни онъ не находилъ себѣ мѣста и т. д., но какая огромная разница между этими жалобами! Какими жалкими и дряблыми выглядятъ всѣ эти Чулкатурины и Гамлеты Щигровскаго уѣзда передъ Коноваловыми, Гордѣевыми, Орловыми и другими „безпокойными", ищущими своей точки „босяками" г. Горькаго!..

Въ чемъ же кроется причина этого различія двухъ совершенно одинаковыхъ по своей сущности типовъ? Причина эта лежитъ въ нравственной мощи „лишнихъ людей" г. Горькаго. Гамлеты Щигровскаго уѣзда сознаютъ и чувствуютъ, что сила человѣка лежитъ въ его индивидуализмѣ. „Что мнѣ въ томъ, что у тебя голова велика и умѣстительна, говорятъ они... Ты будь хоть глупъ, да по своему! Запахъ свой имѣй—свой собственный запахъ, вотъ что!"... Но дальше словъ не идутъ и сейчасъ же „смиряются". Для протеста у нихъ не хватаетъ необходимаго количества силы воли.

Это не то, что, напримѣръ, Ѳома Гордѣевъ. Войдя въ купеческую среду, онъ сразу же почувствовалъ, что здѣсь онъ лишній, но совсѣмъ не потому, чтобы онъ былъ хуже другихъ, а скорѣе потому, что вся окружающая среда казалась ему и пошлой, и глупой, и фальшивой. „Ему оттого плохо среди нихъ, поясняетъ г. Горькій, что онъ не понимаетъ, чего они хотятъ, не вѣритъ въ ихъ слова и чувствуетъ, что они и сами не вѣрятъ себѣ и ничего не понимаютъ". Тоскливое настроеніе, возбужденное пребываніемъ въ этой средѣ, приводитъ его къ кутежамъ, нелѣпѣйшимъ поступкамъ и дебошамъ. Цѣлыми мѣсяцами онъ проводитъ время въ обществѣ пьяныхъ людей, бьетъ людей, самоуправствуетъ и все-таки ни на минуту не можетъ усыпить гложущаго его червя недовольства всей этой жизнью, окружающей его пошлостью. Онъ не смиряется, а мучится и протестуетъ, высказываетъ свое недовольство при каждомъ удобномъ случаѣ. Просятъ рабочіе на водку—онъ хочетъ убѣдить ихъ въ безполезности ихъ работы. Приходитъ на освященіе парохода и на самоувѣренныя рѣчи о всемогуществѣ и величіи русскаго купечества отвѣчаетъ рѣзкими обличеніями его представителей, называетъ настоящимъ именемъ всѣ дѣйствительные подвиги этихъ устроителей

земли русской. Не разъ выступаетъ онъ въ роли Чацкаго, въ роли обличителя. Но это обличенiе не цѣль его жизни. Онъ обличаетъ, потому что не можетъ не обличать. Происходитъ это у него само собой при всякомъ случаѣ столкновенiя съ проявленiемъ пошлости или фальши. Обличенiе не даетъ ему внутренняго удовлетворенiя, не составляетъ еще той „точки", которой ищетъ Ѳома Гордѣевъ съ такимъ же энергичнымъ безпокойствомъ, какъ и Коноваловы, Орловы, и вообще всѣ другiе „безпокойные" люди.

Въ чемъ, однако, заключается эта „точка" или, если ее нельзя опредѣлить вполнѣ точно, то, по крайней мѣрѣ, въ какомъ направленiи ее ищутъ. Исходнымъ пунктомъ всѣхъ безпокойныхъ людей г. Горькаго является общее благо, но благо дѣйствительное, а не воображаемое. Типъ такого безпокойнаго человѣка, совершенно въ стилѣ г. Горькаго, далъ между прочимъ Тургеневъ. Я имѣю въ виду Михаила Полтева въ разсказѣ „Отчаянный". На вопросъ о томъ, какой злой духъ заставляетъ его пить запоемъ, рисковать жизнью и т. п.—у него всегда былъ одинъ отвѣтъ: тоска.

—Да отчего—тоска?

—Какъ же, помилуйте! Придешь, этакимъ образомъ, въ себя, очувствуешься, станешь размышлять о бѣдности, о несправедливости, о Россiи. . . Ну—и кончено! Сейчасъ тоска—хоть пулю въ лобъ! Закутишь поневолѣ!

—Россiю-то ты зачѣмъ сюда приплелъ? Все это у тебя отъ бездѣйствiя.

—Да не умѣю я ничего дѣлать, дяденька родной! . . Вы вотъ поучите меня, что мнѣ дѣлать, жизнью изъ-за чего рискнуть? я—сiю минуту. . .

Герои г. Горькаго проповѣдуютъ въ такомъ же стилѣ. Они прямо заявляютъ, что готовы „на сто ножей броситься . . . лишь бы съ пользой, чтобы изъ этого облегченiе вышло людямъ".

„Нужно такую работу дѣлать, внушалъ Ѳома Гордѣевъ своимъ рабочимъ, чтобы и тысячу лѣтъ спустя люди сказали: вотъ это богородскiе мужики дѣлали".

Всѣ безпокойные люди не мирятся, однако, съ обыденной, хотя бы даже и полезной работой, а жаждутъ подвиговъ, жаждутъ чего-то необычайнаго и никогда ни на чемъ успокоиться не могутъ, такъ какъ считаютъ себя существами неизмѣримо болѣе высокими, нежели всѣ остальные люди. Г. Горькiй, вложившiй основное свое мiросозерцанiе въ уста своихъ героевъ, самъ сознается, вполнѣ откровенно, что онъ „всегда считалъ себя лучше другихъ и успѣшно продолжаетъ заниматься этимъ до сего дня". Такъ же, конечно, думаетъ и Ѳома Гордѣевъ, и Коноваловъ, и другiе. Вполнѣ поэтому естественно, что доволь-

ствоваться малымъ, что удовлетворило бы всякаго другого—они не могутъ, отчасти изъ чувства высокаго понятія о своемъ достоинствѣ, отчасти изъ удивительной наклонности къ рефлексіи, благодаря способности находить въ каждомъ предметѣ его темную сторону.

Сапожникъ Орловъ бросаетъ свою яму, поступаетъ на службу въ холерный баракъ, имѣетъ очень хорошій заработокъ, добивается того, что его признаютъ „нужнымъ человѣкомъ"; онъ возрождается и, по собственному признанію, „прозрѣваетъ на счетъ жизни". Казалось бы, цѣль достигнута. Безпокойство однако тутъ какъ тутъ. Орловъ начинаетъ сомнѣваться въ значеніи своего труда. Онъ помогаетъ больнымъ отъ холеры. Но развѣ это важно? Холерныхъ окружаютъ заботами, уходомъ, а сколько людей остается внѣ барака, людей въ тысячу разъ болѣе несчастныхъ, нежели эти холерные, и остающихся тѣмъ не менѣе безъ всякаго призрѣнія. „Живешь на землѣ,—философствуетъ онъ,—ни одинъ чортъ даже и плюнуть на тебя не хочетъ. А какъ начнешь умирать—не только не позволяютъ, но даже въ изъянъ себя вводятъ. Бараки . . . вино . . . шесть съ половиной бутылка!" Человѣкъ выздоравливаетъ, и доктора радуются, а онъ и хотѣлъ бы раздѣлить эту радость, да не можетъ, такъ какъ прекрасно знаетъ, что за порогомъ барака этого больного ждетъ жизнь „хуже холерной судороги".

И вотъ опять пьянство, запой, бродяжничество, до тѣхъ поръ, пока опять счастливая случайность снова подыметъ „безпокойнаго" надъ землей. Ни обезпеченное положеніе, ни сытая жизнь не успокаиваютъ „безпокойныхъ" людей. Большинство изъ нихъ—люди очень способные, имѣютъ полную возможность жить въ свое удовольствіе, иной разъ даже безъ всякой работы, но врожденный духъ безпокойства не позволяетъ имъ примириться съ пошлымъ и сытымъ существованіемъ будничной жизни, толкаетъ ихъ все впередъ и впередъ.

Было бы, однако, большой ошибкой думать, что безпокойные люди г. Горькаго имѣютъ какіе-нибудь особенно высокіе и опредѣленные идеалы. Еслибы спросили кого-нибудь изъ нихъ, что, собственно говоря, имъ нужно, то они не сумѣли бы вамъ точно формулировать свои стремленія. Иной разъ имъ хочется приносить пользу, быть „нужными" людьми, а въ общемъ хочется „проявить себя какимъ бы то ни было способомъ". „Раздробить бы всю землю въ пыль, мечтаетъ Орловъ, или собрать шайку товарищей и жидовъ перебить. . . всѣхъ до одного! Или вообще *что-нибудь этакое*, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты и сказать имъ: ахъ, вы, гады! Зачѣмъ живете? Какъ живете? Жулье вы лицемѣрное, и больше ничего! Н-да-а! Чортъ же возьми . . . скучно. И, ахъ, какъ скучно и тѣсно мнѣ жить"! . . Въ такомъ родѣ мечтаютъ почти всѣ герои г. Горькаго. Это избытокъ силъ, которыхъ некуда направить, жажда чего-то смутнаго, стремленіе къ чему-то такому, что еще не успѣло вылиться въ опредѣленную

формулу, воплотиться въ какомъ-нибудь ясно сознанномъ образѣ. Это своего рода романтизмъ.

Если, однако, разобраться во всѣхъ этихъ порывахъ, во всѣхъ этихъ недоговоренныхъ стремленіяхъ, нерѣдко имѣющихъ крайне дикій характеръ, то можно найти въ нихъ и нѣчто общее. Общее это можно назвать стремленіемъ сознавшей свою индивидуальность человѣческой личности освободить себя отъ всѣхъ общепринятыхъ условностей соціальной и нравственной морали упорнымъ исканіемъ смысла жизни.

Абсолютная свобода личности прежде всего... Первое дѣло,— формулируетъ свою философію Коноваловъ,—человѣкъ. Понялъ? Ну, и больше никакихъ... По твоему выходитъ, что, пока тамъ все это передѣлается, человѣкъ все такъ же долженъ оставаться, какъ теперь... Нѣтъ, ты его сначала перестрой... Чтобы ему было свѣтло и не тѣсно на землѣ, вотъ чего добивайся для человѣка. *Научи его находить свою тропу*"...

Болѣе обстоятельно и подробно развиваетъ эту же тему учитель въ прекрасномъ разсказѣ „Ошибка":

„Ты, говоритъ онъ, знаешь людей въ плѣну у жизни? Это тѣ люди, которые хотѣли быть героями, а стали статистиками и учителями. Они нѣкогда боролись съ жизнью, но были побѣждены ею и взяты въ плѣнъ ея мелочами. Вотъ о нихъ-то говорю я и это ихъ хочу спасти... Ты понялъ? Они погибаютъ, ибо—гонимы, ибо всѣ смотрятъ на нихъ, какъ на враговъ, а сами они враги себѣ. Разсѣянные повсюду, они погибаютъ отъ сомнѣнія и тоски... и отъ невозможности свободно ходить и думать... И вотъ ихъ я соберу воедино и выведу вонъ изъ жизни въ пустыню и тамъ устрою имъ будку всеобщаго спасенія. Ты видишь—будка, а не коммуна, не фаланстеръ—это легально, не правда ли? А я одинъ стану надъ всѣми ими и научу ихъ всему, что знаю. Я знаю много, больше, чѣмъ есть предметовъ для знанія, ибо я знаю всѣхъ ихъ, плюсъ—мое знаніе!.. Мы источимъ по каплѣ соки наши на песокъ пустыни и оживимъ ее, застроивъ зданіями счастья! Среди насъ будетъ возвышаться надъ всѣми будка всеобщаго спасенія, и на вершинѣ ея, подъ стекляннымъ колпакомъ, буду вѣчно вращаться я самъ и смотрѣть за порядкомъ среди тѣхъ, что вручены мнѣ судьбой. Я буду строгъ, но не по-человѣчески справедливъ. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всѣхъ *одну обязанность—творить. Твори, ибо ты человѣкъ!*—прикажу я каждому. Это будетъ грандіозно! И когда мы создадимъ свое царство, въ которомъ все будетъ гармонія, то созовемъ всѣхъ шпіоновъ и всѣхъ сильныхъ земли и всѣ глупые народы созовемъ и скажемъ имъ: „Вотъ вы гнали насъ, а мы создали вамъ вѣчный образецъ жизни! Вотъ вамъ онъ—слѣдуйте ему! Мы же, возрожденные изъ пепла, идемъ творить, вѣчно творить... Вотъ наша задача". И мы, бывшіе бѣдняки, уйдемъ, обогативъ быв-

шихъ крезовъ богатствомъ духа и силы жить. Побѣда!.. Тогда я скажу всему міру: „Люди, одѣньтесь въ свѣтлое, ибо ночь исчезла и не придетъ больше“. Вотъ какую идею родилъ я изъ несчастій и мукъ моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный собой и уязвленный язвой желанія быть творцомъ жизни. Ты хочешь быть?—твори новое! Дай что-нибудь людямъ, дай имъ, ибо они жалки и бѣдны!“

Творить, однако, герои г. Горькаго совершенно не способны. Для этого, при ихъ чрезмѣрно развитомъ индивидуализмѣ, у нихъ не хватаетъ достаточнаго количества любви къ человѣческимъ массамъ, не хватаетъ альтруизма, во-первыхъ, а, во-вторыхъ, нѣтъ у нихъ „духа строительнаго“. Крестный отецъ Ѳомы Гордѣева, положительный типъ умнаго, изворотливаго купца, знающаго, что и какъ ему нужно дѣлать, вѣрящаго въ мощь русскаго купечества, Маякинъ, прекрасно характеризуетъ эту безпомощность безпокойныхъ людей г. Горькаго. „Дайте, говоритъ онъ, людямъ полную свободу“. Тогда, по его словамъ, воспослѣдуетъ такая комедія. „Почуявъ, что узда съ него снята,—зарвется человѣкъ выше своихъ ушей и перомъ полетитъ и туда, и сюда... Чудотворцемъ себя возомнитъ, и начнетъ онъ тогда духъ свой испущать... А духа этого строительнаго со-овсѣмъ въ немъ малая толика! Попыжится это онъ день-другой, потопорщится во всѣ стороны и—въ скорости ослабнетъ, бѣдненькій! Сердцевина-то гнилая въ немъ... хе-хе-хе! Ту-утъ его,—хе-хе-хе!—голубчика и поймаютъ настоящіе, достойные люди, тѣ настоящіе люди, которые могутъ... дѣйствительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будутъ жизнью править не палкой, не перомъ, а пальцемъ да умомъ. Что, скажутъ, устали, господа? Что, скажутъ, не терпитъ селезенка настоящаго-то жару? Та-акъ-съ...—Ну, такъ теперь вы, такіе-сякіе,—молчать и не пищать! А то, какъ червей съ дерева, стряхнемъ васъ съ земли! Цыцъ, голубчики“...

V.

Въ такомъ случаѣ, однако, что же въ концѣ концовъ дѣлать „безпокойнымъ“ людямъ? Творить они не могутъ да, повидимому, и сами не особенно сильно стремятся къ этому; ожидать, когда разнаго рода Маякины, болѣе сильные, стряхнутъ ихъ „какъ червей съ земли“, скажутъ имъ „цыцъ“ и заставятъ смириться, тоже не соотвѣтствуетъ свободолюбивому характеру безпокойныхъ людей. Смиреніе совершенно не въ ихъ характерѣ. Итакъ, что же дѣлать?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ всѣ „безпокойные люди“ почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ, а именно: необходимо освободить себя отъ всякихъ путъ, отъ всѣхъ условностей, которыя такъ или иначе тѣснятъ свободу личности. Конечная цѣль всѣхъ стремленій всѣхъ безпокойныхъ людей г. Горькаго, это—абсолютная, ничѣмъ не стѣсняемая

свобода. „Пріятно, говоритъ одинъ изъ героевъ г. Горькаго, чувствовать себя свободнымъ отъ обязанностей, отъ разныхъ маленькихъ веревочекъ, связывающихъ твое существованіе среди людей. . . отъ всякихъ мелочишекъ, до того облѣпляющихъ твою жизнь, что она уже становится не удовольствіемъ, а скучной ношей. . . тяжелымъ лукошкомъ обязанностей. . . въ родѣ обязанности одѣваться прилично, говорить прилично и все дѣлать такъ, какъ принято, а не такъ, какъ тебѣ хочется".

Безпокойнымъ людямъ, проникнутымъ такими свободолюбивыми мечтами, удовлетворяетъ только бродяжья жизнь. Она нравится имъ потому, что это „птичья жизнь", потому что въ ней нѣтъ обязанностей и нѣтъ законовъ, потому что въ ней все позволено. . . Ѳома Гордѣевъ мечется изъ стороны въ сторону, ищетъ своей „точки", до тѣхъ поръ, пока случайно встрѣтившій его странникъ не указываетъ ему, какъ на выходъ изъ его положенія, на вольную жизнь бродяги.

И посмотрите, съ какимъ восторгомъ, съ какою любовью, даже энтузіазмомъ, говорятъ безпокойные люди объ этой вольной жизни. Странникъ, убѣждающій Ѳому Гордѣева бросить пошлую будничную жизнь, развертываетъ передъ его глазами замѣчательную по своей поэтичности и задушевному тону картину вольной жизни.

—Выдь-ка ты, говоритъ онъ, на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы . . . выдь да посмотри на міръ съ воли, издали. . . Зашумятъ вокругъ тебя лѣса дремучіе сладкими голосами о мудрости Господа; запоютъ тебѣ птички Божіи о святой славѣ Его, а степныя травы курятъ ладономъ Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ. . . Смотришь въ небо, лежа гдѣ-нибудь подъ кустикомъ, а оно все къ тебѣ опускается, какъ обнять тебя хочетъ. . . На душѣ тепло и тихо—радостно, ничего-то тебѣ не хочется, ничему не завидно. . . Такъ вотъ и кажется, что на всей землѣ только ты да Богъ". . .

„. . .Люблю я, другъ, говоритъ другой герой Горькаго, Лакутинъ, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень. Нѣтъ надъ тобой никакого начальства . . . самъ ты своей жизни хозяинъ. . . Звѣзды мигаютъ мнѣ, ровно говорятъ: ничего, Лакутинъ, ходи, знай, по землѣ и никому не поддавайся". . . Коноваловъ, послѣ многихъ мучившихъ его сомнѣній о безполезности своего существованія, успокаивается на томъ, что рѣшаетъ „ходить по землѣ въ разныя стороны". „Это, говоритъ онъ, всего лучше—идешь и все видишь новое, и ни о чемъ не думается". . .

Чисто внѣшнія неудобства вольнаго существованія мало смущаютъ свободолюбивыхъ героевъ г. Горькаго. „Шесть лѣтъ, говоритъ самъ о себѣ одинъ изъ этихъ проповѣдниковъ индивидуализма, я путешествую и, ничего себѣ, не жалуюсь Богу моему на судьбу. Объ этомъ времени я не буду разсказывать, ибо оно слишкомъ однообразно . . . и разнообразно. Въ общемъ это веселая птичка—жизнь. Только зеренъ не хва-

таетъ . . . но не надо быть слишкомъ требовательнымъ, памятуя, что даже лица, на тронахъ сидящія, не одни только удовольствія испытываютъ. Въ такой жизни, какъ эта, нѣтъ обязанностей—это первое хорошее, и нѣтъ законовъ, кромѣ законовъ природы—это второе. Конечно, господа урядники иногда безпокоятъ . . . но и въ хорошихъ гостиницахъ блохи водятся. . . Зато вы можете итти направо, налѣво, впередъ, всюду, куда васъ влечетъ; а если не влечетъ никуда, запасись отъ мужика хлѣбомъ—онъ добръ и всегда дастъ—запасись хлѣбомъ и лежи, дондеже тебя не потянетъ куда-нибудь“. . .

Вотъ конечный пунктъ, до котораго доходятъ всѣ „безпокойные люди“, то направленіе, въ которомъ они предполагаютъ найти свою точку. Самъ г. Горькій вполнѣ раздѣляетъ ихъ взглядъ въ этомъ отношеніи. „Нужно, говоритъ онъ уже отъ себя, родиться въ культурномъ обществѣ для того, чтобы найти въ себѣ терпѣніе жить всю жизнь среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь изъ сферы всѣхъ этихъ тяжелыхъ условностей, узаконенныхъ обычаемъ малыхъ ядовитыхъ лжей, изъ сферы болѣзненныхъ самолюбій—однимъ словомъ, изъ всей этой охлаждающей чувство и развращающей умъ суеты суетъ, въ общемъ *далеко невѣрно и неточно называемой—культурой.* Я родился и воспитывался внѣ этого общества и, по сей пріятной для меня причинѣ, не могу принимать его культуру большими дозами безъ того, чтобы, спустя нѣкоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти изъ ея рамокъ. . . Всего лучше отправиться въ трущобы городовъ, гдѣ хотя все и грязно, но все такъ просто и искренно, или итти гулять по полямъ и дорогамъ родины, *что* весьма любопытно, очень *освѣжаетъ* и не требуетъ *никакихъ средствъ*, кромѣ пары хорошихъ выносливыхъ ногъ“.

До г. Горькаго никто еще не выступалъ съ такой смѣлой, энергичной проповѣдью самаго безграничнаго индивидуализма. Не удивительно поэтому, что и проповѣдь эта встрѣчена далеко не всѣми одинаково. Въ то время, какъ у однихъ „безпокойные люди“ г. Горькаго отчасти вызвали, отчасти лишь усилили врожденное имъ безпокойство, въ то же самое время другіе люди, болѣе уравновѣшенные, отнеслись къ этимъ свободолюбивымъ босякамъ даже недружелюбно. Еще на дняхъ попала мнѣ въ руки книжка „Русской Мысли“, гдѣ не безызвѣстный критикъ г. Протопоповъ, прилаживающій ко всѣмъ вопросамъ свою старую, покрытую плѣсенью трафаретку, относится очень скептически ко всѣмъ порывамъ въ высь „безпокойныхъ“ героевъ г. Горькаго и даже пытается, неизвѣстно зачѣмъ, доказать, что не всѣ могутъ достичь полной свободы, что нельзя не считаться съ нѣкоторыми принятыми уже въ культурныхъ обществахъ препонами и т. д.

Споръ съ такого рода оппонентами, ведущійся вездѣ и всюду въ настоящее время, споръ, конечно, совершенно безплодный. Ни та, ни

другая сторона не понимаетъ, да и не можетъ понять другъ друга. Если вы меня спросите—почему, я отвѣчу ссылкой на прекрасный по своей художественности поэтическій разсказъ г. Горькаго „Пѣсня о соколѣ“. Пѣсня это содержитъ въ себѣ небольшой діалогъ между раненымъ соколомъ и ужомъ. Ужъ рѣшительно не понимаетъ свободолюбиваго стремленія птицъ къ небу. Послѣ разговора съ соколомъ, съ восторгомъ говорившимъ на эту тему, онъ свертывается клубочкомъ, подпрыгиваетъ и сейчасъ же падаетъ.

„Такъ вотъ въ чемъ прелесть полетовъ въ небо, говоритъ ужъ. Она—въ паденьи. Смѣшныя птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, онѣ стремятся высоко въ небо и ищутъ жизни въ пустынѣ знойной. Тамъ много свѣта, но нѣтъ тамъ пищи и нѣтъ опоры живому тѣлу“. . .

„*Рожденный ползать*, морализируетъ по этому поводу разсказчикъ, *летать не можетъ*“.

Вотъ простой, но ясный отвѣтъ на вопросъ о причинѣ постоянныхъ споровъ между людьми спокойными и людьми безпокойными. Самъ г. Горькій не заблуждается относительно конечныхъ результатовъ постояннаго стремленія въ высь людей безпокойныхъ. Онъ знаетъ, что для большинства, если не для всѣхъ, полеты эти оканчиваются паденіемъ, что паденіе это сопровождается ужасными страданіями, часто смертью. Раненый соколъ, желая послѣдній разъ насладиться ощущеніемъ свободнаго смѣлаго полета, бросился съ утеса въ пропасть и разбился. Онъ погибъ, но это не важно, а важно то, что свою жизнь провелъ онъ свободно, а по смерти сталъ „живымъ примѣромъ, призывомъ гордымъ къ свободѣ, къ свѣту“. Неважно также, что многіе будутъ искать свѣта не тамъ, гдѣ онъ на самомъ дѣлѣ, и въ концѣ концовъ погибнутъ. Пускай, говоритъ alter ego г. Горькаго, не нужно имъ мѣшать, не стоитъ ихъ жалѣть—людей много! Важно стремленіе, важно желаніе души найти Бога, и если въ жизни будутъ души, охваченныя стремленіемъ къ Богу, Онъ будетъ съ ними и оживитъ ихъ, ибо Онъ есть безконечное стремленіе къ совершенству.

Одни могутъ, конечно, раздѣлять эти порывы въ большей степени, другіе въ меньшей, но, я думаю, нисколько не ошибусь, если скажу, что всѣ мы, закрывая небольшой сѣренькій томикъ разсказовъ г. Горькаго, не разъ повторяли себѣ слова Лежнева о Рудинѣ. „Въ немъ есть энтузіазмъ, а это—самое драгоцѣнное качество въ наше время. Мы всѣ стали невыносимо разсудительны, равнодушны и вялы. Мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ“.

Вл. Боцяновскій.



Красивый цинизмъ.

М. Горькій, разсказы, т. I, II, III, IV Спб. 1900.

„Времена перемѣнчивы... а люди скоты. Впрочемъ, все держится въ своихъ законахъ, и человѣкъ на землѣ не болѣе, какъ ничтожная гнида“ . . .

(М. Горькій. „Тоска“).

I.

Изъ глубинъ народныхъ пришелъ даровитый писатель и сразу покорилъ себѣ всю читающую Россію. Вы догадываетесь, что рѣчь идетъ о г. Горькомъ: именно его книги расходятся съ неслыханною у насъ быстротою, его имя передается изъ устъ въ уста въ милліонахъ уголковъ, гдѣ только еще теплится интеллигентная жизнь. Куда бы вдаль вы ни поѣхали, отъ Петербурга до Тифлиса и отъ Варшавы до Владивостока, вы непремѣнно встрѣтите восторженныхъ поклонниковъ этого новаго таланта,—рѣже—хулителей его. О г. Горькомъ говорятъ, о немъ ведутъ горячіе споры...

Что же такое этотъ г. Горькій? Внезапный шумъ, съ которымъ пронеслось его имя по Россіи, загадоченъ; онъ скорѣе тревоженъ для писателя. Истинный талантъ обыкновенно открывается не столь стремительно. Слишкомъ неожиданная слава выпадаетъ на долю не самыхъ тонкихъ художниковъ. Къ ихъ необычному творчеству толпѣ приходится привыкать, какъ людямъ грубаго вкуса—къ дорогому вину. Внезапный шумъ около какого-нибудь имени побуждаетъ думать, что причина его не талантъ только, а иногда вовсе не талантъ. Нужно кромѣ таланта что-нибудь особенное, поражающее вниманіе публики: та яркая точка, которая гипнотизируетъ. Въ исторіи писателей мы постоянно видимъ, какъ иной разъ совсѣмъ постороннее литературѣ обстоятельство—иногда ничтожное само по себѣ—чрезвычайно укрѣпляло славу автора. Нѣкоторые писатели, напримѣръ, были не слишкомъ даровиты, но носили громкій титулъ; ихъ печатали и они тотчасъ становились весьма извѣстными. Наоборотъ, цѣлый рядъ писателей только тѣмъ и пріобрѣли нѣкоторую извѣстность, что вышли изъ крестьянъ. Молодой писатель былъ солдатомъ и четыре дня пролежалъ въ полѣ раненымъ, описалъ это недурно, съ искренностью и простотой—и тотчасъ имя его загремѣло по всей Россіи. Задумчивый поэтъ захворалъ неизлѣчимой болѣзнью и умеръ на расцвѣтѣ своего таланта. Большой успѣхъ выросъ

въ необычайный. Нѣкоторые писатели страшно выиграли тѣмъ, что побывали въ ссылкѣ въ Сибири... Почти всѣ они, безспорно, были даровиты, у всѣхъ чувствовалось благородное, отзывчивое сердце, но въ шумѣ славы ихъ слишкомъ замѣтно участіе какой-нибудь романической черты, у каждаго своей. Иногда, при нѣкоторомъ талантѣ, писателю достаточно красивой наружности, чтобы составить себѣ „имя“,—достаточно даже эффектной шевелюры... Правда, одна, хотя бы роскошная шевелюра, еще не дастъ славы, но, какъ ноль при единицѣ, подобная мелочь иногда замѣтно поддерживаетъ извѣстность. Талантъ, конечно, всегда составляетъ сердце хорошей славы, но *вообще* для славы нужны и менѣе благородные органы.

II.

Нѣтъ сомнѣнія, что быстрой извѣстностью своей г. Горкій обязанъ прежде всего своему дарованію, но не только ему, и это жаль. Слишкомъ скоро обнаружилось, что г. Горькій вышелъ „изъ босяковъ“, что онъ и по рожденію, и по образованію—„самородокъ“, долгіе годы валявшійся въ грязи, человѣкъ, самолично видѣвшій и переживщій всѣ ужасы нищеты, безработицы, бродяжничества, грубаго труда и грубой праздности простонародья. Самъ г. Горькій объ этомъ говоритъ во многихъ своихъ разсказахъ, и даже въ особой автобіографіи. Чѣмъ-чѣмъ ему не приходилось быть въ жизни! Внукъ красильщика, сынъ обойщика, г. Горькій еще девятилѣтнимъ мальчикомъ былъ отданъ въ ученье къ сапожнику. Бѣжалъ отъ него и поступилъ къ чертежнику. Бѣжалъ отъ него и поступилъ къ богомазу. Затѣмъ очутился поваренкомъ на пароходѣ. Потомъ работалъ у садовника. Потомъ былъ пекаремъ, пекъ крендели за 3 руб. въ мѣсяцъ, Торговалъ яблоками. Пилилъ дрова. Таскалъ грузы... Послѣ неудачнаго покушенія на самоубійство—былъ желѣзно-дорожнымъ сторожемъ. Продавалъ квасъ баварскій. Былъ писцомъ. Работалъ въ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ и пр. и пр. Какой разнообразный и пестрый курсъ „самообразованія“! Сколько впечатлѣній острыхъ, подчасъ трагическихъ! Подобно Гаршину, который дѣйствительно былъ солдатомъ и дѣйствительно лежалъ раненымъ среди разлагающихся труповъ, на полѣ битвы,—г. Горькій былъ на самомъ дѣлѣ бродягой, на самомъ дѣлѣ израненъ тысячами язвъ великаго поля жизни... Этотъ необыкновенный жизненный опытъ страшно всѣхъ заинтересовалъ. Такіе люди, какъ путешественники, ѣдущіе изъ неизвѣстныхъ странъ, встрѣчаются съ жаднымъ вниманьемъ; они уже знамениты до появленія своего на каѳедрѣ. Вѣдь, міръ отверженныхъ всегда чужой намъ міръ. Мы, счастливые, тщательно сторонимся отъ него и можемъ прожить десятки лѣтъ въ среднихъ этажахъ своего дома, десятки разъ съѣздить въ

Италію, Египетъ, Шотландію. Норвегію—ни разу не спустившись въ подвалъ, не заглянувъ въ сосѣдній ночлежный домъ и тому подобныя „трущобы“. Темный, огромный, страшный міръ, изъ котораго на нашихъ бульварахъ лишь изрѣдка показываются выходцы, одѣтые въ рубище, съ багровыми синяками или блѣдными, землистыми лицами. Они протягиваютъ руки, и мы спѣшимъ какою-нибудь мелкою монетой поскорѣе оттолкнуть отъ себя гноящагося Лазаря...

Представьте-же себѣ изумленіе всѣхъ, такъ называемыхъ, „порядочныхъ людей“, „людей изъ общества“, когда смердящій Лазарь вдругъ начинаетъ говорить съ ними мужественно, языкомъ не только образованнаго человѣка, но языкомъ поэта! Уличный бродяга—и вмѣсто уничтоженной мольбы—гордые и гнѣвные укоры, трагическая исповѣдь за себя и за безчисленный классъ несчастныхъ. Это явленіе болѣе чѣмъ литературное, оно поразило публику не литературною своею стороною. Нижегородскій мѣщанинъ Пѣшковъ, цеховой малярнаго цеха, заговорилъ въ журналахъ, „какъ власть имѣющій“, заговорилъ съ художественною увлекательностью, раскрывая съ страшною откровенностью скандальную сторону нашей общественности. Вѣдь съ обычной, буржуазной точки зрѣнія сословіе босяковъ—это сплошной скандалъ, это какъ-бы присяжные нарушители общественной тишины и порядка. И вотъ, является писатель, который вводитъ съ собою въ приличныя гостиныя цѣлое полчище этихъ скандалистовъ, заставляетъ ихъ показать публикѣ ихъ рубище и синяки, показать пьяныя оргіи, драки, воровство, убійство, распутство, ихъ душевное ожесточеніе, ихъ алкоголическій бредъ. Является писатель и разсказываетъ, какъ онъ однажды осенью безъ квартиры и куска хлѣба, „выбивалъ зубами трели въ честь голода и холода“, какъ въ тщетныхъ поискахъ съѣстного, въ окрестностяхъ города, нашелъ голодную проститутку, подкапывавшуюся подъ одну лавченку, чтобы украсть хлѣба,—разсказываетъ, какъ онъ помогалъ ей воровать, какъ сломалъ замокъ, какъ они, поѣвши хлѣба, спрятались подъ дырявой опрокинутой лодкой, подъ дождемъ и осеннимъ вѣтромъ, и какъ эта избитая любовникомъ проститутка отогрѣвала нашего мерзнущаго автора своими объятіями, своимъ теплымъ сердцемъ . . . Разсказываетъ, какъ втроемъ съ какими-то бродягами онъ умиралъ отъ голода въ крымской степи, какъ они ночью напали на встрѣчнаго больного рабочаго и отняли у него хлѣбъ, одинъ изъ его товарищей задушилъ рабочаго, ограбилъ и убѣжалъ . . . Разсказываетъ, какъ онъ пѣшкомъ брелъ отъ Одессы до Тифлиса, вдвоемъ съ грузинскимъ княземъ, питаясь подаяніемъ, среди тысячи самыхъ рискованныхъ приключеній, среди пустынь и грозъ. Разсказываетъ, какъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, какъ ночевалъ осенней ночью подъ амбарами, среди воровъ, сутенеровъ, неисправимыхъ пьяницъ, широкихъ натуръ разбойничьяго склада. Заставляетъ своихъ героевъ разсказывать цѣлыя поэмы преступной и грязной жизни, которая вся—протестъ, вся—ненависть

противъ общества, вся—предсмертный стонъ. . . Этотъ внезапно явившійся художникъ „малярнаго цеха“ развертываетъ передъ воспитанными людьми въ лицѣ своихъ героевъ циническую философію,—и мало того—циническую поэзію, нѣкое горькое очарованье, противиться которому не легко. . .

III.

Можете себѣ представить, какой—послѣ нѣкотораго оцѣпенѣнія—неописуемый скандалъ почувствовался въ нашемъ благополучномъ обществѣ, въ нашей выметенной и прибранной литературѣ! Уже одного этого скандала было бы достаточно для самой оглушительной славы. Но были и другія важныя причины, способствовавшія извѣстности г. Горькаго. Хотя „мужикъ сиволапый“—нерѣдкій гость въ журналахъ, но послѣднія 15—20 лѣтъ его уже не пускали дальше людской; Акулины и Софроны давно смѣнились княжнами Кэтъ и баронами Коко, чистенькими, блестящими, какъ новенькія куклы. Мы почти уже отвыкли отъ грязныхъ двуногихъ, мы уже почти повѣрили, что родъ человѣческій выдѣлывается изъ фарфора и папье-маше, и вдругъ является г. Горькій съ своимъ ужаснымъ человѣческимъ товаромъ, и вдобавокъ—*живымъ*. . .

Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ г. Горькій былъ бы, мнѣ кажется, невозможенъ. Тогда его, можетъ быть, задержали бы на литературныхъ заставахъ, въ редакціяхъ; тогда, можетъ быть, онъ и самъ описывалъ бы міръ не босяковъ, а графовъ и бароновъ. Мода, какъ извѣстно, тиранъ. Но теперь, въ послѣднія лѣтъ пять-шесть, г. Горькій пришелъ какъ разъ во-время, и это тоже одна изъ тайнъ его шумной славы. Онъ пришелъ вмѣстѣ съ новою умственною волною въ русскомъ обществѣ, въ разгаръ ожесточенныхъ битвъ народниковъ и марксистовъ, въ разгаръ обостреннаго вниманія именно къ пролетаріату. Обоимъ лагерямъ, и народникамъ и марксистамъ, самъ Богъ послалъ г. Горькаго: оба лагеря берутъ его на разрывъ. За него же въ послѣднее время ухватился и третій лагерь, представляемый „Гражданиномъ“ и „Московскими Вѣдомостями“. Всѣмъ понятно, до какихъ забавныхъ преувеличеній въ похвалахъ г. Горькому дошла марксистская критика Долго не разсуждая, нашъ авторъ былъ вознесенъ ею превыше первостепенныхъ талантовъ, провозглашенъ вождемъ эпохи. Можетъ быть, тутъ былъ кое-какой журнальный расчетъ, а, можетъ быть, и обычная наша искренность, похожая на истерію. Но марксистамъ не грѣхъ сказать лишнее о своемъ сотрудникѣ, если вотъ что пишутъ о г. Горькомъ въ „Гражданинѣ“:

„М. Горькій является единственнымъ и неузнаннымъ пока на Руси, въ образѣ художника, *апостоломъ человѣколюбія*, и это его возвышенное призваніе, конечно, вмѣнится ему рано или поздно въ заслугу, какъ великаго двигателя русскаго духовнаго прозрѣнія и оздоро-

вленія... Для такого подвижника писательства, какъ М. Горькій, недостаетъ подобающаго скульптора-критика, который, увѣнчавъ его чело лаврами, поставилъ бы его всенародно на подобающемъ пьедесталѣ, создавъ заживо достойный памятникъ ему, сильному и свѣтлому русскому работнику изящной словесности". Вотъ какъ въ *княжескомъ* органѣ отзывается нѣкій *графъ* о „цеховомъ малярнаго цеха".

IV.

Можетъ быть, въ похвалахъ г. Горькому со стороны феодальной печати есть доля коварства, но несомнѣнно то, что и эта печать можетъ извлечь изъ нашего автора большія выгоды. Для всѣхъ лагерей, какъ правдивый художникъ, г. Горькій служитъ иллюстраторомъ ихъ теорій; онъ всѣмъ нуженъ, всѣ зовутъ его въ свидѣтели, какъ человѣка видѣвшаго предметъ спора—народъ, и всѣ ступени его упадка. Народники, которые, кажется, первые открыли въ Нижнемъ этого писателя-босяка, говорятъ:—Поглядите, какъ капиталистическій режимъ уродуетъ жизнь народную! Поглядите, во что превращается свѣжій сынъ земли, оторванный отъ родной почвы! Вчера еще пахарь и хозяинъ на землѣ, орошенной потомъ его предковъ,—сегодня бродяга, не имѣющій ни кола, ни двора, потерявшій даже потребность имѣть ихъ. Вчера еще человѣкъ крѣпко сплоченнаго общества, вся жизнь котораго управлялась нравственнымъ началомъ взаимопомощи,—сегодня онъ уже внѣ общества и закона, хищникъ, не принадлежащій ни къ какой организаціи и во всѣ вносящій только разрушенье. Вчера мужикъ обладалъ, при всей бѣдности, душевнымъ равновѣсіемъ, какое даетъ всякая культура, сегодня онъ—при всемъ случайномъ богатствѣ—одержимъ страшной злобой. Вчера—и душевно, и тѣлесно человѣкъ здоровый, сегодня въ образѣ бродяги онъ и душевно, и тѣлесно больной; онъ одержимъ пороками и психозами, онъ истощенъ и расшатанъ во всемъ организмѣ. Вотъ къ чему ведетъ оторванность человѣка отъ земли, отъ родного деревенскаго союза, отъ условій, слагавшихся втеченіе тысячелѣтій.

Таково, мнѣ кажется, отношеніе народниковъ къ г. Горькому. Но не успѣли они оглянуться, какъ нашимъ авторомъ завладѣла молодая партія—марксисты. Съ энергіей, свойственной молодости, они пустили этотъ свалившійся къ нимъ крупный капиталъ въ очень быстрый оборотъ. Они прикрѣпили бѣднаго писателя къ журналу и закричали о немъ на весь свѣтъ, съ трубами и литаврами провозгласили его геніемъ, первымъ писателемъ современности, затмившимъ не только г. Короленку и Чехова, но превзошедшимъ Гоголя... Для г. Горькаго устраивались въ Петербургѣ литературные вечера, его всюду возили, выставляли, снимали портреты съ него, рекламировали, издавали... Былъ моментъ, когда отъ г. Горькаго не было проходу, и отъ излишняго усердія друзей онъ угрожалъ даже прогоркнуть для публики...

Упоеніе Горькимъ со стороны марксистовъ имѣетъ свои, очень вѣскія причины. Этотъ писатель вывелъ на сцену тотъ самый общественный классъ, который долженъ въ концѣ концовъ, въ отдаленномъ, можетъ быть, будущемъ, осуществить мечты марксизма. Г. Горькій вывелъ человѣка, какъ послѣдній продуктъ капиталистическаго строя, вывелъ пролетарія, т. е. сырого, вышедшаго изъ природы мужика, обработаннаго, такъ сказать, азотною кислотою капиталистической эксплоатаціи. Правда, герои г. Горькаго не дисциплинированные рабочіе фабрикъ, не люди съ твердымъ сознаніемъ своихъ правъ, но все-же это рабочіе,—не деревенскіе мужики. Г. Горькій впервые показалъ огромное и темное сословіе людей, хоть и пьяныхъ и истеричныхъ, но страшно озлобленныхъ своею долей, людей тоскующихъ, несговорчивыхъ, капризныхъ, выше всего ставящихъ свободу, готовыхъ на вѣчную борьбу съ буржуазнымъ обществомъ и уже ведущихъ эту борьбу.—Поглядите, могутъ сказать марксисты,—поглядите, какъ капиталистическій режимъ перерабатываетъ глупаго сына деревни, какъ онъ стираетъ съ него патріархальную покорность судьбѣ и воловью готовность лѣзть въ ярмо! Что за молодцы эти Макаръ Чудра, Емельянъ Пиляй, Артемъ, Пляшинога, Челкашъ! Съ какимъ презрѣніемъ они говорятъ о деревенскомъ рабствѣ, о рабствѣ земельнаго труда, и сколько мысли вносятъ въ душу народную! Пролетарій—не рабъ, это человѣкъ великаго дѣйствія, хоть и не наступившаго. Надо желать, чтобы весь народъ прошелъ эту страшную школу и воспитался въ ней, окрѣпъ въ свободныхъ инстинктахъ. . . Пиляй, Челкашъ, пекарь Коноваловъ, сапожникъ Орловъ—все это продукты капитализма, и послѣдній необходимо развивать, какъ исполинскую машину, перерабатывающую косную массу народную—въ армію вольныхъ рабочихъ, не связанныхъ землей, сознавшихъ свое центральное положеніе въ обществѣ. . .

Въ такомъ родѣ, мнѣ кажется, должны разсуждать марксисты. Г. Горькій является для нихъ какъ бы Гомеромъ будущаго, пѣвцомъ героевъ, еще не пришедшихъ, но уже выступившихъ въ походъ.

Такъ называемые реакціонеры, романтики крѣпостного строя, въ свою очередь осчастливлены появленіемъ г. Горькаго.—Поглядите, могутъ сказать они:—вотъ къ чему ведетъ вашъ хваленый прогрессъ! Вотъ во что претворяется нѣкогда сильный и свѣжій сынъ деревни, освобожденный отъ древнихъ связей, отъ установленій аристократическихъ и религіозныхъ. Поглядите, до какой степени потеряно старинное смиреніе народное, довольство своею судьбою, чувство уваженія къ чему-то высшему. Каждый босякъ г. Горькаго озлобленъ на весь міръ; онъ— будучи варваромъ, невѣжественнымъ и пьянымъ, дышетъ почти байроновскимъ отрицаньемъ. Опасенъ Геростратъ, но тутъ цѣлая армія Геростратовъ, готовыхъ сжечь священный, строившійся вѣками, храмъ общественности . . Спасибо г. Горькому, наконецъ-то онъ изобразилъ про-

летарія безъ либеральныхъ прикрасъ, во всемъ цинизмѣ этого типа. Вотъ оно пятое сословіе, вотъ онѣ тощія фараоновы коровы, которыя пожрутъ жирныхъ!...

V.

Если всѣ партіи удовлетворены писателемъ, то понятенъ стремительный ростъ его извѣстности. Я увѣренъ, что для самого г. Горькаго его слава является неожиданной и, вѣроятно, стѣснительной. Онъ не можетъ не чувствовать, что во вниманіи къ нему общества слишкомъ много моды, его легко можетъ постичь столь же быстрое забвеніе. Развѣ не забыты не менѣе даровитые беллетристы—Слѣпцовъ, Н. Успенскій, Новодворскій, Кущевскій и др.? Кто читаетъ нынче Рѣшетникова и даже Помяловскаго? Для забвенія въ публикѣ не нужна даже физическая смерть: можно, обладая нѣкоторымъ талантомъ, здравствовать и писать, писать многочисленные романы, но ихъ не будутъ замѣчать. Не станемъ называть именъ,—но развѣ не всѣмъ ясно, что еще дѣйствующіе не старые беллетристы, г.г. X, У, Z... уже забыты въ публикѣ, хоть еще пишутъ неимовѣрно много. Они, какъ писатели, въ сущности уже умерли. Ихъ читаютъ, можетъ быть, но уже какъ мертвыхъ, отъ нихъ ничего больше не ждутъ, *о нихъ не говорятъ*. Только истиннымъ, большимъ талантамъ удается избѣжать этой смерти заживо, удается привязать къ своей душѣ вниманіе толпы невѣрной... Сказать кстати,—даже геніямъ не подъ силу удерживать во власти своей подъ рядъ болѣе одного, двухъ поколѣній. Но истинный талантъ, даже забытый, все же имѣетъ то утѣшеніе, что онъ по природѣ своей независимъ отъ толпы. Современники могутъ быть ему покорны или нѣтъ—онъ найдетъ себѣ читателей въ потомствѣ; если онъ закатывается, какъ солнце, для одной эпохи, то какъ солнце же встаетъ для другой. Есть избранники судьбы, отъ времени до времени воскресающіе въ памяти человѣчества, всегда въ прежней свѣжести, доказывая тѣмъ, что вѣчное—всегда современно. Люди, отмѣченные геніемъ, видны въ безграничной дали, какъ свѣтила, и для нихъ забвеніе не страшно. Г. Горькому, пока геніальность его еще спорна, чрезмѣрная слава можетъ принести глубокое разочарованіе. Но—съ одной стороны—не затѣмъ же даровитый писатель несетъ свое сердце въ міръ, чтобы покичиться имъ, и г. Горькій достаточно искрененъ, чтобы оцѣнить рыночную цѣну „славы“,—съ другой—отъ него вѣдь самого зависитъ остаться достойнымъ „вѣчной памяти“, если не всѣхъ, то хоть немногихъ избранныхъ... Быть достойнымъ хорошей славы—лучше, чѣмъ обладать ею. Посмотримъ же, что такое г. Горькій, если судить о немъ спокойно.

Г. Горькій написалъ уже четыре тома,—все почти маленькіе разсказы, но между ними есть одна большая повѣсть—„Ѳома Гордѣевъ“.

Казалось бы, багажъ достаточный, чтобы судить о творческой состоятельности автора, но сдѣлать рѣшительную оцѣнку ему, мнѣ кажется, еще трудно. Въ прежнее, болѣе строгое время, по первымъ четыремъ томамъ г. Горькаго, пожалуй, сказали бы, что это „еще одинъ даровитый неудачникъ",—теперь этого сказать нельзя. Прежде, талантъ вродѣ г. Горькаго не вышелъ бы изъ среды народной; съ тѣмъ же впечатлительнымъ умомъ, съ тою же жаждою жизни, поэзіи, страсти г. Горькій оставался бы пекаремъ въ какой-нибудь булочной Нижняго или крючникомъ въ Одессѣ. Если же онъ родился бы въ семьѣ богатой и просвѣщенной, онъ не написалъ бы въ такое короткое время четырехъ томовъ,—т. е. не напечаталъ бы ихъ, и мы не увидали бы многихъ безспорно плохихъ вещей („Макаръ Чудра, „Старуха Изергиль", „Ошибка" „Пѣсня о соколѣ", „Ханъ и его сынъ", „Читатель", „О чортѣ", „Еще о чортѣ" и др.).—Остались бы сжатыя на два тома только удачныя вещи, и ихъ было бы достаточно, чтобы предсказать автору блестящее будущее. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторые разсказы г. Горькаго, особенно нѣкоторыя страницы въ нихъ, обнаруживаютъ сильный талантъ, и работай онъ сплошь съ такимъ одушевленьемъ и чувствомъ правды, мы имѣли бы въ немъ первостепеннаго писателя. Въ прежнее время г. Горькій такъ и писалъ бы; можно было поручиться, что обезпеченность, аристократизмъ вкуса, отвращеніе къ плохой работѣ не позволили бы автору выпустить ни одной не вполнѣ удачной вещи. Нынче—дѣло другое. Матеріальная нужда, соблазнъ популярности, назойливость издателей, невысокая внутренняя самооцѣнка,—скажемъ грубо—недостатокъ вкуса, который требуетъ особаго воспитанія,—все это толкаетъ молодые таланты къ спѣшной и неразборчивой работѣ. Г. Горькій, повидимому, не исключеніе. Онъ далъ доказательство того, что можетъ писать и хорошо, и плохо, и вотъ это „плохо" можетъ возобладать, заглушить немногое прекрасное, на что онъ способенъ. Нашъ авторъ на верху славы—но еще въ началѣ поприща; онъ на распутьи, и именно теперь рѣшается роковой для него вопросъ—выйдетъ изъ него большой писатель или нѣтъ. Вмѣсто чрезмѣрныхъ, прямо нелѣпыхъ похвалъ, вмѣсто ожесточенной брани, невыяснившееся крупное дарованіе г. Горькаго нуждается въ тепломъ къ нему участіи, въ критикѣ строгой, но снисходительной. Писательскій талантъ, какъ и всякій, требуетъ долгой школы; лучшею школою является жизнь, если она сколько-нибудь содержательна. Г. Горькій еще молодъ, ему просто нужно еще пожить, чтобы вполнѣ развернуться. Посмотримъ, что онъ дастъ въ сорокъ лѣтъ, въ возрастѣ г. Чехова. Посмотримъ, что онъ дастъ въ пятьдесятъ лѣтъ. . . Дѣло общества и литературы—привѣтствовать всякій, сколько-нибудь искренній таланъ и постараться оберечь его. Для этого менѣе всего пригодно идолопоклонство. Оно ложь, а талантъ, душа котораго есть правда, расцвѣтаетъ только въ атмосферѣ правды.

VI.

Талантъ подобенъ золоту: даже ржавчина его имѣетъ цѣну. Даже недостатки талантливаго художника бываютъ привлекательны, и часто для читателя они милѣе достоинствъ. Г. Горькаго кто-то назвалъ „размашистымъ импрессіонистомъ“, и эта характеристика такъ и осталась за нимъ. Импрессіонизмъ—и достоинство, и крупный недостатокъ нашего автора. Вообще это манера опасная, она доступна лишь великимъ мастерамъ. Тайна искусства—мѣра вещей, а импрессіонизмъ есть необузданность, стремленіе вырваться изъ границъ. Тутъ природа изображается въ моментъ проникновенія ея въ чувство художника, и какъ химическія in statu nascendi, отличается страшной энергіей. И чѣмъ эта энергія сильнѣе, тѣмъ необходимѣе обуздывать хаосъ ея, вводить ее въ закономѣрныя, прекрасныя формы, не лишая, сколько возможно, движенія. Задача необыкновенно трудная, и на ней происходитъ крушеніе неопытныхъ, не сильныхъ дарованій. Художника тянетъ къ преувеличенію; онъ начинаетъ изображать небывалыя страсти, могучія тѣла и души, кипучіе темпераменты, необычайно-широкія, или наоборотъ—чрезмѣрно замкнутыя, демоническія натуры и т. п. Припомните Марлинскаго въ прозѣ и Бендиктова въ поэзіи. При извѣстномъ дарованіи получается облагороженная ложь, приподнятая дѣйствительность, каррикатурныя черты которой скрыты феерическимъ освѣщеніемъ. Какъ все яркое, такія картины останавливаютъ; отдѣльные моменты ихъ поражаютъ, производятъ впечатлѣніе, хоть и очень грубое. Толпѣ феерія нравятся, за отсутствіемъ болѣе тонкихъ зрѣлищъ. Но это не искусство, природа здѣсь искажена. Какъ нѣкогда Богъ открывался пророку не въ громахъ и буряхъ, а въ тихомъ дуновеніи вѣтра, природа открывается истинному таланту въ тишинѣ и холодной ясности созерцанія. Живой темпераментъ г. Горькаго придаетъ его разсказамъ характеръ страстный, яркій, сочный, колоритный, и это, конечно, достоинство, но *мѣра* его, къ сожалѣнію не всегда выдержана, и нашъ авторъ впадаетъ кое-гдѣ въ вычурность, въ крикливую, холодную жестикуляцію словъ. Таковы его подражательныя, явно подсказанныя плохимъ чтеніемъ вещи—„Макаръ Чудра“, „Старуха Изергиль“, „Ханъ и его сынъ“, или еще болѣе натянутыя—„О чортѣ“, „Еще о чортѣ“, „Читатель“. Въ первыхъ разсказахъ г. Горькій злоупотребляетъ экономіей чувствъ, во вторыхъ—экономіей мысли. Возьмите хоть первый же разсказъ перваго тома—„Макаръ Чудра“. Вотъ превосходный образецъ талантливой, но насквозь фальшивой работы. Фальшь ея въ чрезмѣрности, которую авторъ считаетъ за мѣру, фальшь въ кричащей яркости, напоминающей лубочное искусство. У г. Горькаго если ужъ выводится цыганъ, то непремѣнно съ „волосатой бронзовой грудью“, которую „безжалостно бьютъ

холодныя волны вѣтра“. Макаръ Чудра „полулежалъ въ красивой, свободной и сильной позѣ . . . методически потягивалъ изъ своей громадной трубки, выпускалъ изо рта и носа густые клубы дыма“. . .

Эти „густые клубы дыма изо рта и носа“ —мелочь, но забавная и характерная: она тотчасъ доказываетъ читателю, что авторъ или плохо наблюдалъ или ужъ черезчуръ щедро прикрасилъ картину. Послушайте, какимъ страшнымъ языкомъ философствуетъ этотъ цыганъ. „Смѣшные они, тѣ твои люди. Сбирались въ кучу и давятъ другъ друга, а мѣста на землѣ вонъ сколько,—онъ широко повелъ рукой на степь.—И все работаютъ. Зачѣмъ? Кому? Никто не знаетъ. Видишь, какъ человѣкъ пашетъ, и думаешь: вотъ онъ по каплѣ съ потомъ силы свои источитъ на землю, а потомъ ляжетъ въ нее и сгніетъ въ ней. Ничего по немъ не останется, ничего онъ не видитъ съ своего поля, и умираетъ, какъ родился, дуракомъ. Что же, онъ родился затѣмъ, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успѣвъ даже могилы самому себѣ выковырять? (?) Вѣдома ему воля? Ширь степная понятна? Говоръ морской волны веселитъ ему сердце?“

VII.

Воля ваша, такъ наши цыгане, кочующіе у Чернаго моря, не разговариваютъ. Если они говорятъ по-русски, то какъ-то иначе, да, вѣроятно, иначе и думаютъ. Вы чувствуете, что Макаръ Чудра не цыганъ, а человѣкъ, читавшій и „Алеко“ Пушкина, и „Тараса Бульбу“, и статьи г. Петра Струве и М. И. Туганъ-Барановскаго. Г. Горькій все же художникъ; видимо, его самого коробитъ журнальный языкъ дикихъ цыганъ, и онъ старается пересыпать его междометіями: „Эге!“, „ого!“ „хе!“ „эхъ“, „э-э-э“ и пр. Это должно, видите ли, придавать рѣчи характеръ дикій и народный. Погрѣшность въ языкѣ для писателя—смертный грѣхъ, это все равно, что погрѣшность въ рисункѣ для художника-живописца. Но изъ приведенныхъ строкъ разсказа читатель можетъ почувствовать, кромѣ вычурности слога, и обыкновенно сопутствующую послѣдней неправду мысли.

Макаръ Чудра разсказываетъ невѣроятно-страшную исторію о томъ, какъ цыганъ Зобаръ (совершенно оперное имя) влюбился въ красавицу Радду.

„Былъ на свѣтѣ Зобаръ, молодой цыганъ, Лойко Зобаръ. Вся Венгрія, и Чехія, и Славонія и все, что кругомъ моря, знало его—удалый былъ малый! Не было по тѣмъ краямъ деревни, въ которой бы пятокъ-другой изъ жителей не давалъ Богу клятвы убить Лойко, а онъ себѣ жилъ, и ужъ коли ему понравится конь, такъ хоть полкъ солдатъ поставь сторожить того коня—все равно Зобаръ на немъ гарцовать станетъ! Эге! развѣ онъ кого боялся? Да приди къ нему сатана

со всей своей свитой, такъ онъ бы, коли бъ не пустилъ въ него ножа, то навѣрно бы крѣпко поругался, а что чертямъ подарилъ бы по пинку въ рыло—это ужъ какъ разъ!..“

Такимъ языкомъ ведется разсказъ; совсѣмъ клише тысячи подобныхъ же размашистыхъ разсказовъ въ старомъ романтическомъ жанрѣ. Чувствуется, что авторъ сочинялъ своихъ цыганъ по Марлинскому, по малороссійскимъ разсказамъ Гоголя, можетъ быть, даже по Далю или Марко-Вовчку. „На Моравѣ одинъ магнатъ, старый, чубатый, увидалъ ее (Радду) и остолбенѣлъ. Сидитъ на конѣ и смотритъ, дрожа, какъ въ огневицѣ. Красивъ онъ былъ, какъ чортъ въ праздникъ, жупанъ шитъ золотомъ, на боку сабля, какъ молнія сверкаетъ; чуть конь ногой топнетъ... вся эта сабля въ камняхъ драгоцѣнныхъ и голубой бархатъ на шапкѣ, точно неба кусокъ“.

Магнатъ сватаетъ цыганку:

„Горитъ весь и, какъ ковылъ подъ вѣтромъ, качается на сѣдлѣ. Мы задумались.

—А ну-ка, дочь, говори! сказалъ себѣ въ усы Данила.

—Кабы орлица къ ворону въ гнѣздо по своей волѣ вошла, чѣмъ бы она стала? спросила насъ Радда.

Засмѣялся Данила и всѣ мы съ нимъ.

—Славно, дочка! Слышалъ, господарь? Голубокъ ищи, тѣ податливѣй!..

А тотъ господарь схватилъ шапку, бросилъ о земь и поскакалъ, поскакалъ такъ, что земля задрожала. Вотъ какова была Радда, соколъ!“.

Скажите, похоже это на правду? Но слушайте дальше.

Появляется Зобаръ. „Усы легли на плечи (!) и смѣшались съ кудрями вороненой стали, очи, какъ ясная звѣзда, горятъ, а улыбка—цѣлое солнце, ей Богу! Точно его кова́ли ковали́ изъ одного куска желѣза съ конемъ. Стоитъ весь, какъ въ крови, въ огнѣ костра и сверкаетъ зубами, смѣясь.—Эге, будь я проклятъ“ и пр.

Опять-таки, говоря по совѣсти, развѣ тутъ не переложено чего-то лишняго? Напримѣръ усы, легшіе на плечи, или солнце вмѣсто улыбки? Герой г. Горькаго ѣдетъ ночью въ степи на конѣ и одновременно играетъ на скрипкѣ, и до того плѣнительно, что цыганамъ захотѣлось быть „царями надъ всей землей“. Радда спрашиваетъ, что это за скрипка,—Зобаръ отвѣчаетъ: „Я самъ дѣлалъ. И сдѣлалъ не изъ дерева, а изъ груди молодой дѣвушки, которую любилъ крѣпко, а струны изъ ея сердца мной свиты“. Это, видите-ли, живые люди такъ выражаются, въ особенности цыгане, люди простые. Скучно пересказывать невѣроятно-кровавую, вычурную до безсмыслицы исторію, какъ Зобаръ и Радда полюбили другъ друга, но Радда больше всего на свѣтѣ любила волю, и хоть и согласилась итти въ жены Зобару, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ призналъ ее за мужчину, за старшаго товарища, поклонился

ей въ ноги передъ таборомъ и пр. Въ концѣ концовъ кривой ножъ Зобара очутился въ груди Радды. „А Радда вырвала ножъ, бросила его въ сторону и, зажавъ рану прядью своихъ черныхъ волосъ, улыбаясь, сказала громко и внятно:

—Прощай, Лойко! Я знала, что ты такъ сдѣлаешь! . .—да и умерла. . .

—Эхъ! да и поклонюсь же я тебѣ въ ноги, королева гордая!—на всю степь гаркнулъ Лойко, да бросившись на земь, прильнулъ устами къ ногамъ мертвой Радды". Чепуха этой исторіи тѣмъ не кончилась,—умеръ и Зобаръ подъ ножомъ Данилы.

VIII.

Читатель видитъ, какъ плохъ бываетъ г. Горькій, до какой фальши онъ способенъ упасть въ своей работѣ. Такихъ сочиненныхъ, лубочныхъ разсказовъ у него нѣсколько. Что еще тревожнѣе,—даже въ самыхъ сильныхъ своихъ вещахъ онъ нѣтъ-нѣтъ да и собьется на романтическую ложь, нѣтъ-нѣтъ да и пуститъ „густые клубы дыма изо рта и носа". Г. Горькій еще молодъ, нѣкоторая подражательность ему была бы простительна,—и Пушкинъ, и Лермонтовъ невольно подражали въ ранніе годы. Но они подражали не Марлинскому, не Бенедиктову, а Байрону, и именно за то, что онъ подражалъ природѣ. Въ работѣ Байрона они чувствовали правду самой природы, и ихъ подражаніе не было измѣной послѣдней.

Я долженъ оговориться, что приведенный разсказъ г. Горькаго—самый плохой у него. Еслибы и всѣ были въ этомъ родѣ, не стоило бы даже говорить объ этомъ авторѣ, его нельзя было бы считать писателемъ. Къ счастью, г. Горькій далъ цѣлый рядъ вещей иного качества, гдѣ описываетъ дѣйствительно то, что наблюдалъ. Здѣсь онъ выростаетъ по временамъ въ искренняго и крупнаго художника. Если вспомнить неудачные дебюты Гоголя или Тургенева, тоже подражательные, хромающіе сочинительствомъ, то рядъ плохихъ вещичекъ у г. Горькаго нельзя поставить ему въ укоръ. Талантъ его видимо еще ищетъ свою дорогу . . .

Кромѣ неуравновѣшенности чувства, для дарованія г. Горькаго есть и другая опасность, несравненно болѣе серьезная. Это неуравновѣшенность мысли, его наклонность къ рефлексіи, къ безплодной умственной суматохѣ такъ называемыхъ интеллигентныхъ людей, оторванныхъ отъ органическаго быта. Уже въ первыхъ, и плохихъ, и хорошихъ вещахъ г. Горькаго чувствуется тенденція; уже въ нихъ художнику видимо мало рисунка и красокъ и хочется пера, чтобы подписать „мораль", хочется отвести душу въ проповѣди, въ спорѣ съ читателемъ. Въ послѣднихъ-же своихъ разсказахъ—„Читатель", „О чортѣ", „Еще о

чортѣ“, „Мужикъ“—г. Горькій прямо выступаетъ публицистомъ и разливается въ безбрежномъ и скучномъ резонерствѣ. Прекрасный народный языкъ, которымъ владѣетъ г. Горькій, тотчасъ блекнетъ, какъ только онъ начинаетъ разсуждать, тотчасъ начинаются прозаизмы, рѣжущій ухо журнальный жаргонъ. . . Прочтите, напримѣръ, такой період: „Въ дѣлѣ познаванія нами души ближняго есть какая-то странная торопливость,—мы всегда спѣшимъ опредѣлить человѣка какъ можно скорѣе. Поспѣшность эта въ большинствѣ случаевъ ведетъ къ тому, что тонкія черты и оттѣнки характера не замѣчаются нами, а, можетъ быть, даже и намѣренно не замѣчаются, потому что, не укладываясь ни въ одну изъ нашихъ мѣрокъ, мѣшаютъ намъ скорѣй покончить съ опредѣленіемъ человѣка“ и пр. и пр. Можетъ быть, это и вѣрная мысль, но какъ въ то же время она плоско выражена! Совсѣмъ проза, а между тѣмъ это отрывокъ изъ первой страницы послѣдняго художественнаго очерка г. Горькаго—„Мужикъ“. И такою прозой пересыпаны всѣ сцены и разговоры очерка. Вообще, даже въ лучшихъ своихъ вещахъ г. Горькій не въ силахъ скрыть того, что онъ человѣкъ образованный,—въ плохихъ-же его начитанность, его „интеллигентность“ такъ и претъ въ глаза, нагоняя тоску. Герои и героини, если это изъ образованнаго класса, то все архи-интеллигентные. „По спеціальности акушерка, она (героиня) училась еще и заграницей, привезла оттуда дипломъ на званіе врача, но какъ врачъ не практиковала. Однако, дипломъ этотъ далъ ей возможность читать курсъ гигіены въ мѣстной женской гимназіи и въ воскресной школѣ“ и пр. Другая героиня—„Татьяна Николаевна завѣдывала воскресной школой и любила свое дѣло всей силой сердца. . . Школа была для нея какъ бы храмомъ, и она неустанно служила въ немъ, полная священнаго трепета и непоколебимой вѣры въ свое дѣло“. Или: „Онъ вообще былъ въ этой средѣ человѣкомъ полезнымъ, и видимо, по мѣрѣ силъ, вліялъ на нее. Благодаря именно его иниціативѣ и помощи, при ремесленной управѣ открыли очень порядочную библіотеку и читальню“. Совсѣмъ будто изъ некролога. И разговариваетъ эта архи-интеллигентная интеллигенція прямо сверхъ-интеллигентнымъ языкомъ.

—„Всѣ мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на стражѣ лучшихъ завѣтовъ, святыхъ завѣтовъ прошлаго, должны охранять наслѣдіе эпохи великихъ реформъ. . .

Или:—„Не ново, согласенъ. Новое, я думаю, начнется съ того времени, какъ вырастутъ зерна насущнаго хлѣба жизни. . .

Или:—„Вамъ бы, милостивый государь, долженъ быть извѣстенъ фактъ, что на нѣкоей высотѣ интеллектуальнаго развитія человѣкъ утрачиваетъ типическія черты своего класса. . . Степень высоты самосознанія у мѣщанина, какъ жителя города, какъ человѣка болѣе культурнаго, чѣмъ мужикъ съ его первобытнымъ міросозерцаніемъ, обусловливаетъ и болѣе острую самокритику. . .“

Такъ выражается провинціальный докторъ, а вотъ какъ выражается архитекторъ:

„. . .Навѣрное, и всѣ согласятся съ тѣмъ, что чрезмѣрно развитой интеллектъ всегда ослабляетъ непосредственное чувство. Даже больше—часто онъ подтачиваетъ и самый инстинктъ жизни. . . Развиваясь на почвѣ инстинкта, онъ питается его соками, и хотя онъ не чужеядное, а коренится въ чувствѣ бытія, съ нимъ родственно объединенъ и является необходимо присущимъ человѣку стремленіемъ къ самосознанію, однако роду его должно бы полагать нѣкоторую границу“ и пр. и пр.

Или:

„. . .Жизнь хочетъ гармоничнаго человѣка, въ которомъ интеллектъ и инстинктъ сливались бы въ стройное цѣлое. Нуженъ человѣкъ, всѣ способности котораго были бы приведены въ строй равномѣрный, и одна другую оттѣняя, всегда всѣ и всегда гармонически откликались бы на каждое впечатлѣніе бытія“ и пр. и пр.

IX.

Вотъ какъ почитаешь страницъ тридцать такихъ разсужденій, то покажется, что ихъ довольно. Покажется, что это не люди разговариваютъ, а передовыя статейки или фельетоны, наряженные людьми. У г. Горькаго видимо такая страстная потребность думать и говорить, что онъ свое художественное созерцаніе—капиталъ крупный—тотчасъ размѣниваетъ на журнальные пятаки и сыплетъ ими безъ счета въ „умныхъ разговорахъ“. Скучно это. Оставилъ бы г. Горькій этотъ неподходящій для него родъ писаній. Лучше бы ему оставить вовсе въ сторонѣ образованное общество: оно имѣетъ своихъ бытописателей. У г. Горькаго есть свой огромный міръ, котораго онъ *едва* коснулся, который заслуживаетъ несравненно болѣе широкаго обслѣдованія. Одинъ изъ героевъ г. Горькаго (помянутый выше архитекторъ) говоритъ: „Я пришелъ снизу, со дна жизни, оттуда, гдѣ грязь и тьма. . . Я есть правдивый голосъ жизни, грубый крикъ тѣхъ, которые остались тамъ, внизу, отпустивъ меня для свидѣтельства о страданіяхъ ихъ“. Вѣдь и самъ г. Горькій можетъ сказать то же самое про себя. Онъ отпущенъ снизу, для большого дѣла,—какъ посолъ огромнаго непризнаннаго царства, воюющаго съ обществомъ. Онъ могъ бы сказать отъ имени разстроеннаго народа давно ожидаемое, давно нужное слово правды. . „Придти оттуда (говоритъ другое лицо, санитарный врачъ), отъ тысячъ живыхъ, погибающихъ во мракѣ людей. . . взойти на верхъ жизни и сказать о чувствахъ, о думахъ, желаніяхъ этихъ людей. . . и потрясти сердца до ужаса, до отчаянія, которое перерождается въ безумную храбрость. . . въ страстное стремленіе на помощь имъ. . . Вѣдь для этого нужно имѣть языкъ пророка Исаіи. . . Вѣдь это. . . чрезмѣрно для человѣка!“

Чрезмѣрно,—но г. Горькій именно передъ такой задачей. Онъ что-то долженъ сказать новое, большое. . .

X.

То громкое слово, которое несетъ изъ глубинъ народныхъ г. Горькій, не всегда, къ сожалѣнію, является народнымъ. Часто оно кажется даже не русскимъ. Читаешь иногда и чувствуешь, что это слово взято авторомъ не изъ жизни, а вычитано изъ книгъ, и даже какъ будто переводныхъ. Это слово—не Богъ вѣсть какое новое. Это—эгоизмъ, или модная разновидность его—эготизмъ, обожествленіе своей плоти, своей личности и матеріальнаго счастья. Лѣтъ тридцать тому назадъ то же слово называлось нигилизмомъ, затѣмъ разбилось на разные оттѣнки декадентства. Апостоломъ новаго слова на Западѣ явился Ницше, циническій философъ. Съ чудесной стремительностью, совсѣмъ по-русски, нижегородскій беллетристъ „малярнаго цеха“ принялъ евангеліе базельскаго мудреца, и, можетъ быть, безсознательно несетъ его, какъ „новое слово“. Босячество и Ницше,—казалось бы—что общаго? На дѣлѣ оказалось все общее. Черезъ всѣ четыре тома г. Горькаго проходитъ нравственное настроеніе цинизма, столь теперь модное, столь посильное для истеричнаго нашего времени. Позвольте привести нѣкоторыя, хоть и бѣглыя доказательства.

Уже въ первомъ разсказѣ 1-го тома, восемь лѣтъ тому назадъ, герой его—Макаръ Чудра проповѣдуетъ: „которые умнѣе, тѣ берутъ, что есть, которые поглупѣе—тѣ ничего не получаютъ“, и презрительно осмѣиваетъ ученіе о томъ, что нужно жить по волѣ Божіей. Въ слѣдующемъ разсказѣ Емельянъ Пиляй доказываетъ, что „брюхо въ человѣкѣ—главное дѣло. . . какъ брюхо покойно, значитъ и душа жива“. —„Права! Вотъ они, права!“—говоритъ онъ, поднося къ носу собесѣдника жилистый кулакъ. „Клюнуть денежнаго человѣка по башкѣ—что ни говори, пріятно, особенно ежели умѣючи дѣло обставить“. . . Но Емельянъ Пиляй—только теоретикъ насилія, спасовавшій, когда дѣло дошло до убійства, и презирающій себя за это. Слѣдующій герой—Челкашъ—не размышляетъ, а злодѣйствуетъ безъ тѣни колебаній, и держитъ себя необыкновенно гордо. Одно лицо изъ „Ошибки“, разсуждая, можно ли убить безнадежно больного, рѣшаетъ: „Морально это или не морально? Во всякомъ случаѣ это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо“. Герой трагическаго разсказа „Однажды осенью“ трижды проклинаетъ себя за слабость, за то, что вѣровалъ въ силу, мечталъ о переворотахъ—и очутился въ подонкахъ общества. . . Въ интересномъ разсказѣ (1896 г.) „Мой спутникъ“ опять выводится безсовѣстная натура—въ лицѣ князя Шакро. Это—добродушное, сильное животное, хищникъ потомственный, не знающій иного нравственнаго закона, кромѣ того, чтобы пользоваться чужимъ,

гдѣ можно. Проведена тонкая параллель между альтруистомъ и эгоистомъ, причемъ первый—просвѣщенный и гуманный—оказывается въ глупомъ положенiи работника у человѣка дикаго и тупого, но твердо убѣжденнаго въ своемъ правѣ быть бариномъ. „Кто силенъ, тотъ самъ себѣ законъ“, говоритъ кавказскiй князь. Дикiй и жестокiй, онъ вызывалъ подчасъ ненависть къ себѣ, но, говоритъ авторъ,—„онъ умѣлъ быть вѣрнымъ самому себѣ. Это возбуждало во мнѣ уваженiе къ нему“... „Въ этомъ требованiи (службы ему) былъ характеръ, была сила. Онъ меня порабощалъ, я ему поддавался“. Авторъ раздумываетъ „о великомъ несчастiи тѣхъ людей, которые, вооружившись новой моралью (христiанской), новыми желанiями, одиноко ушли впередъ и потерялись въ жизни и встрѣчаютъ на дорогѣ своей спутниковъ, чуждыхъ имъ, неспособныхъ ихъ понимать. Тяжела жизнь такихъ одинокихъ. Безвольно (?) носятся они въ воздухѣ, какъ сѣмена добрыхъ злаковъ, хотя и рѣдко сгниваютъ въ почвѣ плодотворной“. Послѣ четырехмѣсячной рабской службы своему спутнику разсказчикъ былъ обманутъ и брошенъ имъ самымъ мошенническимъ образомъ, но онъ не сердится. „Я часто вспоминаю о немъ съ добрымъ чувствомъ и веселымъ смѣхомъ. Онъ научилъ меня многому, чего не найдешь въ толстыхъ фолiантахъ, написанныхъ мудрецами, ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнѣе мудрости людей“.

Чему же, однако, научилъ автора этотъ грузинскiй баринъ? Повидимому, только тому, какъ глупо быть добрымъ, какъ глупо приносить жертвы ближнему. Это, видите ли—„старая мораль“, *мудрость жизни*, въ противоположность „новой“, записанной будто только въ фолiантахъ, морали узкой и неглубокой. Въ противоположность писателямъ-народникамъ шестидесятыхъ годовъ, которые искали человѣка въ звѣрѣ, г. Горькiй тщательно ищетъ звѣря въ человѣкѣ и, найдя его, странно какъ-то и грустно торжествуетъ. Если звѣрь красивъ, силенъ, молодъ, безстрастенъ—всѣ симпатiи автора на его сторонѣ. Видимо, самъ г. Горькiй сердцемъ еще привязанъ къ морали новой, къ завѣтамъ Христа, но уже готовъ считать ихъ заблужденiемъ, книжнымъ отрицанiемъ закона, болѣе жестокаго, но дѣйствительнаго.

Въ слѣдующемъ разсказѣ—„Дѣло съ застежками“—опять выводятся двѣ морали, и представитель старой морали—воръ Семка—съ великолѣпнымъ презрѣнiемъ, одной фразой уничтожаетъ представителя христiанской совѣсти, Мишку, который нарочно ставится авторомъ въ смѣшное положенiе.—„Умри ты лучше, пень милый. А то завтра тебя съ такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съѣдятъ“...

XI.

Г. Горькому мало было въ рядѣ разсказовъ вылить „старую“ свою вѣру,—ему потребовалась для этого особая поэма—„Пѣсня о

соколѣ". Она написана стихами, почему-то разложенными въ строку; автору хотѣлось, видимо, „воспѣть" то, что особенно ему дорого. „Пѣсня о соколѣ" опять выводитъ двѣ мудрости, двѣ морали—въ лицѣ Сокола и Ужа.

„Въ ущелье, гдѣ Ужъ свернулся, палъ съ неба Соколъ съ разбитой грудью". Ужъ—представитель, видите ли, мирнаго прозябанія, Соколъ—представитель борьбы, борьбы кровавой и безпощадной. Ужъ, прячущійся въ ущельяхъ, бѣгущій отъ зла, выставленъ, такъ сказать, подлецомъ, Соколъ—героемъ.

—„Да, умираю!—отвѣтилъ Соколъ, вздохнувъ глубоко.—Я славно пожилъ! . . Я знаю счастье! . . Я храбро бился! . . Я видѣлъ небо. . . Ты не увидишь его такъ близко! Эхъ, ты, бѣдняга!

—Ну, что же небо?—пустое мѣсто. . . Какъ мнѣ тамъ ползать? Мнѣ здѣсь прекрасно. . . Тепло и сыро".

Такъ отвѣчаетъ Ужъ, смѣясь надъ вольной птицей.—И крикнулъ Соколъ съ тоской и болью, собравъ всѣ силы:—О, еслибъ въ небо хоть разъ подняться. *Врага прижалъ бы я. . . къ ранамъ груди. . . и захлебнулся бъ моей онъ кровью! О, счастье битвы! . ."*

Это—предсмертное завѣщаніе Сокола, и будто вся природа подтвердила его своимъ „Amen". Гремѣли волны. „Въ ихъ львиномъ ревѣ гремѣла пѣсня о гордой птицѣ, дрожали скалы отъ ихъ ударовъ, дрожало небо отъ грозной пѣсни:

„Безумству храбрыхъ поемъ мы славу! *Безумство храбрыхъ—вотъ мудрость жизни!* О, смѣлый соколъ! Въ бою съ врагами истекъ ты кровью. . . Но будетъ время—и капли крови твоей горячей, какъ искры, вспыхнутъ во мракѣ жизни и много смѣлыхъ сердецъ зажгутъ безумной жаждой свободы, свѣта! . ."

Такова она—*старая* мораль, вновь воспѣтая г. Горькимъ. „Безумство храбрыхъ—вотъ мудрость жизни", говоритъ онъ,—при этомъ храбрость понимается не иная какая-нибудь, а боевая, кровавая. Бой долженъ быть смертельнымъ, съ тою сатанинской злобой, когда хочется, чтобы врагъ захлебнулся вашей кровью, если нельзя умертвить его иначе. . .

Эта „Пѣсня о соколѣ" очень многимъ нравится, многіе изъ молодежи отъ нея въ восторгѣ. Но мнѣ эта вещь кажется необыкновенно фальшивой и слабой. Не говоря о томъ, что она плохо написана, кричащими красками,—она насквозь фальшива по нравственному замыслу. Хороша аллегорія—летѣть къ *небу*, чтобы тамъ подраться, раскровянить и себя, и врага, повыщипать перья другъ у друга, поломать крылья! Прежніе поэты небу давали другое употребленіе. Вспомните: „По небу полуночи ангелъ летѣлъ и тихую пѣсню онъ пѣлъ". Та, старая пѣсня была не о Соколѣ или другой птицѣ, а о „Богѣ великомъ. . ." Маленькая разница! Современный поэтъ замѣняетъ ангела хищной птицей и поетъ

„безумство храбрыхъ“. Но даже и съ птичьей-то точки зрѣнія—въ чемъ же *храбрость* безумнаго сокола? Какъ извѣстно, соколы нападаютъ не Богъ вѣсть на какихъ страшныхъ враговъ—всего лишь на дикихъ утокъ, гусей, куропатокъ и т. п. По аллегоріи г. Горькаго выходитъ, что утки и куропатки тиранятъ соколовъ, и тѣмъ приходится отстаивать свою свободу и „жажду къ свѣту“. Забавно это очень. Но публика и молодежь не замѣчаютъ комическихъ чертъ „Пѣсни“ и бѣшено аплодируютъ ей, когда слышатъ со сцены. Тутъ, видите ли, „борьба“, а ужъ если борьба, то все равно, для какой цѣли и какими средствами—отъ одного звука „борьба“ въ кое-какихъ слояхъ принято приходить въ восторгъ. Наше интеллигентное общество, сплошь состоящее на жалованьи, наша молодежь, поголовно стремящаяся попасть на казенные хлѣба—все-таки любятъ пощекотать свои нервы этимъ стариннымъ словцомъ... Какъ типическій интеллигентъ-пролетарій, въ которомъ духъ народный совсѣмъ выдохся, г. Горькій со своею „старой мудростью“ попалъ какъ разъ въ тонъ своему времени, въ тонъ обществу, гдѣ читаютъ Ницше. Борьба... Мнѣ вспоминается бѣдный, кроткій Надсонъ, который не только мухи никогда не убилъ, но которому самая мысль о *кровавой* борьбѣ казалась ужасной. Въ дружеской бесѣдѣ онъ отвергалъ всякій терроризмъ, а въ стихахъ у него „борьба“ разсыпана чуть не въ каждомъ стихотвореніи, иногда по нѣскольку разъ. И нѣтъ сомнѣнія, эта „борьба“, для публики звучавшая иначе, была одною изъ главныхъ пружинъ неслыханнаго успѣха Надсона. Нѣчто подобное повторяется съ г. Горькимъ, и это жаль. Еще болѣе жаль, если „безумство храбрыхъ“ для г. Горькаго не красивая только фраза, а дѣйствительное убѣжденіе...

XII.

Прослѣдимъ дальше, страница за страницей, нравственную вѣру автора. Слѣдующій разсказъ (1896 г.) „На плотахъ“. Волга, ночь, плоты; на рулѣ—хилый Митя, сынъ сплавщика, и Сергѣй, рыжій работникъ. На переднемъ концѣ—самъ сплавщикъ, мощный старикъ, съ женою Мити. Опять двѣ мудрости, двѣ морали. Христіанская изображена въ видѣ хилаго, дряблаго праведника, языческая—въ видѣ здороваго, могучаго человѣка-звѣря. Старикъ, на глазахъ сына и работника, живетъ со снохою, и спокоенъ, и счастливъ. Это по г. Горькому—„человѣкъ здоровый, энергичный, довольный собой, человѣкъ съ большой и ясно сознанной имъ жизнеспособностью“. Совершенно—Соколъ, съ „жаждой свободы, свѣта“. Въ чемъ же жизнеспособность? А въ томъ, чтобы отнять у больного сына красивую его бабу, переступить всякій законъ, всякую совѣсть. Г. Горькій не можетъ вдосталь налюбоваться на своего героя: „Герой у тебя отецъ-отъ, говоритъ работникъ,

который весь на сторонѣ старика.—Смотри-ка, 52 ему, а онъ какую кралечку милуетъ! Сокъ одинъ баба!“ Работникъ поддразниваетъ бѣднаго Митю, смѣясь надъ его чистотой и „мудростью“, надъ его моралью. „На томъ концѣ плота жили и его возбуждали къ жизни“, говоритъ г. Горькій, не замѣчая, что вся „жизнь“ заключалась лишь въ томъ, что здоровый старикъ обнималъ чужую бабу. „Думы! Ха!.. издѣвается работникъ:—Вонъ, глянь-ко, отецъ-то твой не мудритъ—живетъ. Милуетъ твою жену, да подсмѣивается надъ тобой, дуракомъ мудрымъ“... Этотъ преступный человѣкъ, который „не мудритъ—живетъ“, смѣясь надъ страданіями сына—изображенъ какимъ-то титаномъ. Имя ему—Силанъ,—намекъ на силу его,—онъ стоитъ „въ широкой красной рубахѣ, съ разстегнутымъ воротомъ, обнажавшимъ его могучую шею и волосатую, прочную, какъ наковальня, грудь“ и пр. Г. Горькій могъ бы, конечно, подмѣтить, что снохачи въ народѣ—не все богатыри, а часто совсѣмъ лядащіе стариченки, но тутъ, видите ли, нужно показать сверхчеловѣка, чувствуется страстное желаніе опоэтизировать его, оправдать. Силанъ—красавецъ и силачъ, онъ переполненъ „жизнью“, и ему въ уста влагаются такія рѣчи: „Пускай видятъ! Пускай всѣ видятъ! Плюю на всѣхъ. Грѣхъ дѣлаю, точно. Знаю. Ну-къ что-жъ? Подержу отвѣтъ Господу... Грѣхъ! Все знаю! И все преступилъ. Потому—стоитъ! Одинъ разъ на свѣтѣ то живутъ“... Когда Митя проситъ отца бросить этотъ грѣхъ, сверхчеловѣкъ отвѣчаетъ совсѣмъ по Ницше:

„Сынъ мой милый, отойди прочь, коли живъ быть хошь! Разорву въ куски, какъ тряпищу гнилую. Ничего отъ твоей добродѣтели не останется. На муку себѣ я родилъ тебя, выродка! . .“ Когда сынъ говоритъ—али я виноватъ? Отецъ отвѣчаетъ: „Виноватъ, комаръ пискливый! Потому—камень ты на моей дорогѣ. Виноватъ, молъ, потому постоять за себя не умѣешь. . . Мертвечина, молъ, ты, стерва тухлая. Кабы ты здоровъ былъ, хоть бы убить тебя можно было“. . . Силанъ еще не убилъ сына, но мечтаетъ о его смерти. Остатки совѣсти еще гдѣ-то шевелятся въ старикѣ: „Жаль тебя, кикимору несчастную“,—но сверхчеловѣкъ презираетъ въ себѣ эту жалость: „Эхъ, Марья! Плохи люди стали! Другой бы —э-эх-ма! Выбился бы изъ петли-то скоро. А мы—въ ней! Да, можетъ быть, такъ и затянемъ другъ друга“. Помечтавъ о смерти сына, почтенный старикъ, по словамъ г. Горькаго, чувствуетъ „мощный приливъ энергіи и бодрости въ своей широкой груди“.

Въ слѣдующемъ большомъ разсказѣ „Тоска“ опять выводятся двѣ мудрости—добродѣтельный учитель, умирающій отъ чахотки, и здоровый рабочій Кузьма Косякъ, красавецъ и прелюбодѣй. Учитель строчитъ корреспонденціи и задыхается въ нищетѣ, а сверхчеловѣкъ живетъ въ свое удовольствіе, соблазняетъ походя дѣвокъ и бабъ, и бросаетъ съ великолѣпнымъ, невозмутимымъ спокойствіемъ сытаго звѣря. Стра-

ницы прощанія Кузьмы съ Матреной превосходны; видимо, г. Горькій глубоко перечувствовалъ психологію и мораль подобныхъ героевъ.

—А меня-то? Кузя, меня-то? (говоритъ съ отчаяніемъ дѣвушка). Я-то куда дѣнусь отъ тебя? Подумай-ка? Али ты меня не любишь ужъ? Али ты меня не жалѣешь?

—Тебя-то, тебя-то... А тебя я здѣсь оставлю... За вдоваго Чекмарева замужъ выйдешь... Сошлись мы съ тобой по-любу, ну, и пришло вотъ время разойтись. Жить надо и такъ и этакъ—во всю чтобы! А ты нюнишь! Дурашка!..

Этотъ веселый звѣрь, губящій дѣвокъ и прижитыхъ ребятъ, даетъ какъ бы откровеніе затосковавшему въ благополучіи своему хозяину—мельнику. Тотъ ѣдетъ въ городъ, развратничать и кутить,—какъ бы въ пику чахоточному учителю съ его „стопудовой добродѣтелью“. Это называется—„возобновился человѣкъ“.

XIII.

Таково нравственное настроеніе г. Горькаго въ первомъ томѣ. Не будемъ пересматривать слѣдующіе. Хотя съ каждымъ годомъ талантъ нашего автора крѣпнетъ, хотя къ босякамъ начинается менѣе пристрастное отношеніе, но мораль и „мудрость жизни“ остаются прежними. Физическая сила, красота, сладострастіе, разгулъ безбрежный, свобода отъ „стопудовой добродѣтели“—вотъ что представлено, какъ радость жизни, и пророки этой старой вѣры все богатыри, сверхчеловѣки. Припомните красавицу Мальву на рыбныхъ промыслахъ, свободную, гордую, распутную, или колоссальнаго красавца Артема, живущаго на содержаніи у купчихъ и торговокъ, или красавца-солдата изъ „Двадцать шесть и одна“. Даже, изображая отчаянныхъ мерзавцевъ, вродѣ Васьки Краснаго, палача при публичномъ домѣ, или дворянина Промтова („Проходимецъ“), г. Горькій придаетъ ихъ силѣ и хитрости какой-то сочный, почти красивый оттѣнокъ, а душевная чистота и кротость почти неизмѣнно воплощаются въ безобразныхъ и хилыхъ людей. Таковъ жалкій Каинъ, затравленный еврей, таковъ воръ Уповающій („Дружки“), человѣкъ жалостливый—и поэтому авторъ изображаетъ его въ послѣднемъ градусѣ чахотки. Говоря, что волки лучше приспособлены къ борьбѣ за жизнь, чѣмъ иные люди, г. Горькій морализируетъ: „хотя ихъ убиваютъ, но ихъ боятся: у нихъ есть когти и зубы для самозащиты, а главное—сердца ихъ ничѣмъ не смягчены. Послѣднее очень важно, ибо для того, чтобы побѣждать въ борьбѣ за существованіе, человѣкъ долженъ имѣть или много ума или сердце звѣря“. Въ разсказѣ „Читатель“ (1898 г.) нѣкій читатель и чортъ, имъ прикинувшійся, говоритъ автору: „Пойми, твое право проповѣдовать должно имѣть достаточное основаніе въ твоей способности возбуждать

въ людяхъ искреннія чувства, которыми, какъ молотками, однѣ формы жизни должны быть разбиты и разрушены для того, чтобы создать другія, болѣе свободныя, на мѣсто тѣсныхъ. *Гнѣвъ, ненависть, мужество, стыдъ, отвращеніе и, наконецъ, злое отчаяніе*—вотъ рычаги, которыми можно разрушить все на землѣ".

Какъ видите, г. Горькій не изъ тѣхъ писателей, которые стремятся возбуждать „чувства добрыя". Гнѣвъ, ненависть, отвращеніе, *злое* отчаяніе. . . А отчаяніе, хотя бы злое, должно, какъ мы видѣли выше перебродиться „въ безумную храбрость . . . въ страстное стремленіе на помощь (несчастнымъ)". . . Какимъ образомъ злое чувство можетъ быть источникомъ добрыхъ поступковъ—это секретъ нашего автора. Это совсѣмъ новая психологія: чтобы возбудить состраданіе, нужно покончить съ совѣстью. Походъ противъ совѣсти тянется во всѣхъ четырехъ томахъ г. Горькаго—параллельно съ нескрываемымъ сочувствіемъ къ жертвамъ безсовѣстности. Видимо, талантъ выручаетъ автора изъ нравственной его ошибки. Талантъ даетъ правдивую картину, которая дѣйствуетъ совсѣмъ наоборотъ „морали", подписываемой авторомъ.

Самое крупное произведеніе г. Горькаго—„Ѳома Гордѣевъ", написанное въ 1899-мъ году, продолжаетъ ту же проповѣдь. Это цѣлый романъ и заслуживаетъ особой бесѣды, теперь же припомните суть его. Отецъ Гордѣева—Игнатъ—рисуется въ своемъ родѣ какъ „сверхчеловѣкъ". Онъ изъ рабочаго водолива сдѣлался милліонеромъ. „Богатырски-сложенный, красивый и неглупый, онъ (по словамъ г. Горькаго) былъ однимъ изъ тѣхъ людей, которымъ всегда и во всемъ сопутствуетъ удача—не потому, что они талантлилы и трудолюбивы, а скорѣе потому, что, обладая огромнымъ запасомъ энергіи, они по пути къ своимъ цѣлямъ не умѣютъ, даже не могутъ задумываться надъ выборомъ средствъ и помимо своего желанія не знаютъ иного закона. Иногда они со страхомъ говорятъ о своей совѣсти, порою искренно мучаются въ борьбѣ съ нею, но *совѣсть—это сила непобѣдимая лишь для слабыхъ духомъ* *); сильные же быстро овладѣваютъ ею и порабощаютъ ее своимъ желаніямъ, ибо они безсознательно чувствуютъ, что если дать ей просторъ и свободу, то она изломаетъ жизнь. Они приносятъ ей въ жертву дни; если же случится, что она одолѣетъ ихъ души, то они, побѣжденные ею, никогда не бываютъ разбиты и такъ же здорово и сильно живутъ подъ ея началомъ, какъ жили и безъ нея". . .

Тщетно ищешь хоть оттѣнка ироніи въ этихъ страшныхъ словахъ: „совѣсть—сила непобѣдимая лишь для слабыхъ духомъ". Нашъ авторъ, видимо, искренно исповѣдуетъ то, что пишетъ, и весь романъ является иллюстраціей къ этой формулѣ. Богатырю Игнату Гордѣеву, человѣку

*) Курсивъ мой.

хищному и распутному—попадаетъ благочестивая жена изъ уральскихъ молоканокъ. Рождается сынъ Ѳома, человѣкъ потерянный, пьяница и резонеръ. Въ немъ унаслѣдованное отъ матери чувство совѣсти не переродило породу отца, а только испортило ее. Въ то время, какъ люди съ пониженной совѣстью двигаютъ жизнь, создаютъ новый культурный строй, вводятъ новыя начала—а главное живутъ гордые своимъ хищничествомъ, счастливые,—молодой милліонеръ, отравленный совѣстью, ничего не можетъ придумать иного, кромѣ безплодныхъ угрызеній, безсильной ненависти противъ своего общества и пьянаго распутства, будто бы отъ „тоски". Люди „сильные духомъ"—Маякины, отецъ и сынъ, Смолинъ и другіе свободные отъ „стопудовой добродѣтели", текутъ въ романѣ могучею струею къ весьма опредѣленной цѣли—къ богатству, власти, почету, наслажденію,—люди же съ безпокойной совѣстью—и милліонеръ и пролетаріи (вродѣ журналиста Ежова) мутно плывутъ у береговъ, останавливаясь и кружась въ какомъ-то водоворотѣ мысли, и себѣ, и людямъ на горе.

Чтобы оттѣнить трагическое положеніе зараженнаго совѣстью и потому полоумнаго, несчастнаго Ѳомы Гордѣева, г. Горькій выдвинулъ титаническую фигуру Якова Маякина, поволжскаго милліонера. Это неукротимый хищникъ, но безсовѣстность его не только не мучитъ его, но представлена, какъ настроеніе свѣжее, ясное, счастливое. Въ уста Маякина г. Горькій влагаетъ сильныя, умныя, трезвыя рѣчи, глубоконародный языкъ и ясную до жестокости мораль. Вы безъ труда поймете, что это тоже сверхчеловѣкъ, и что симпатіи г. Горькаго—на его сторонѣ. Вотъ какое предсмертное завѣщаніе сочиняетъ для него авторъ: „Ну, ребята, живите богато! Поѣлъ Яковъ всякихъ злаковъ, значитъ, Якову пора и со двора... Видите, умираю, и не унываю... И это мнѣ Господь зачтетъ... Я его, Всеблагого, только шутками безпокоилъ, а стономъ и жалобами—никогда! Охъ! Господи! Радъ я, что умѣючи пожилъ... по милости Твоей! Живите дружно... и не мудрствуйте очень-то. Знайте, не тотъ святъ, что отъ грѣха прячется да спокойненько лежитъ... А кто хочетъ отъ жизни толку добиться, тотъ грѣха не боится... Ошибку Господь ему проститъ"...

XIV

„Не бойтесь грѣха"—вотъ то громкое слово, которое несетъ съ собою г. Горькій. Другое попутное,—призывъ къ помощи тѣмъ, кто гибнетъ на днѣ жизни—звучитъ около перваго холодной фразой...

Г. Горькій имѣетъ свое особенное преимущество предъ другими беллетристами. Не пройдя никакой школы, онъ въ нѣкоторомъ важномъ отношеніи образованнѣе ихъ всѣхъ. Онъ прошелъ курсъ *простонародной* жизни, они—нѣтъ. Въ то время какъ писатели изъ другихъ классовъ

общества изучали латинскія спряженія, г. Горькій изучалъ живой народный языкъ. Они изучали то, что когда-то было или никогда не было, онъ—то, что есть. Они изучали институты Гайя, догмы и энциклопедіи правъ, а онъ изучалъ голодъ. Постепенно, методически онъ проходилъ отчаяніе, изучалъ злобу, изслѣдовалъ сладострастіе, пьянство, ужасъ одиночества въ пустынѣ, упоеніе этимъ одиночествомъ. Онъ проходилъ многолѣтній курсъ труда сверхсильнаго, онъ знаетъ, что такое усталость, знаетъ ощущеніе отдыха, радость и горе милліоновъ человѣческихъ существъ, составляющихъ правило въ человѣчествѣ, а не исключеніе. Г. Горькій видѣлъ собственными глазами океанъ народа и, такъ сказать, плавалъ въ немъ среди тысячи чудесъ этой подводной жизни, интеллигентному человѣку недоступной. Г. Горькій собственными руками перещупалъ матерію во всѣхъ ея видахъ, какъ маляръ, сапожникъ, садовникъ, чертежникъ, поваръ, булочникъ, крючникъ и пр. и пр. Онъ собственными ногами перещупалъ земную поверхность на огромномъ пространствѣ отъ Волги до Бессарабіи и до Тифлиса. Г. Горькій дышалъ воздухомъ степей и горъ, онъ много странствовалъ по берегамъ морей и рѣкъ,—природа открывала ему свои нѣмыя тайны. Наконецъ, переживъ цѣлыя десятилѣтія суровой нужды, нашъ авторъ прошелъ великую школу страданія, которая образовываетъ одаренную душу лучше всякихъ фоліантовъ. Поистинѣ, г. Горькій можетъ гордиться своимъ знаніемъ, и именно тѣмъ, которое инымъ путемъ нельзя нажить. Подобно тому, какъ читая Тургенева и Толстого, чувствуешь безспорно, что эти авторы изучили свой міръ и самолично пережили, перечувствовали въ себѣ своихъ изящныхъ героевъ и героинь, такъ читая г. Горькаго, всегда убѣжденъ, что онъ видѣлъ то, что описываетъ, самолично пережилъ въ себѣ самомъ душу своихъ бродягъ, воровъ, проститутокъ и чернорабочихъ, что онъ вмѣстилъ въ себя ихъ природу...

Но, вы скажете, все-таки жаль, что сверхъ того даровитый авторъ не получилъ обыкновеннаго образованія. На это я замѣчу, что онъ, къ сожалѣнію, получилъ и обыкновенное образованіе, т. е. путемъ безпрерывнаго чтенія книгъ пріобрѣлъ все, такъ называемое „развитіе“, отличающее интеллигенцію отъ народа. Читаешь г. Горькаго и убѣждаешься, что онъ вполнѣ на уровнѣ своего вѣка и совсѣмъ законченный „интеллигентъ“. Ему всѣ „проклятые вопросы“ такъ же близко извѣстны, какъ любому акцизному чиновнику съ университетскимъ дипломомъ или уѣздному врачу. Кромѣ „проклятыхъ“, ему извѣстенъ и милліонъ глупыхъ вопросовъ, которыми наполняется наша праздность, и это поистинѣ жаль. Книжное развитіе не усиливаетъ таланта, оно замѣтно истощаетъ свѣжесть его и оригинальность. На человѣка чаще всего книга дѣйствуетъ, какъ на сорванный цвѣтокъ: между ея страницами живое существо сплющивается, засыхаетъ, изъ трехъ измѣреній теряетъ, по крайней мѣрѣ, одно. Всѣ мы, такъ называемые люди интелли-

гентные, существа какъ бы двухъ измѣреній, и отсюда наша неудовлетворенность жизнью, неизвѣстная предкамъ. Г. Горькій едвали много пріобрѣлъ, читая книги и журналы, но потерялъ много. Читая его, во многихъ мѣстахъ чувствуешь, какъ связываетъ его книжное внушеніе, какъ свѣжій и сильный талантъ бьется въ сѣткѣ общепринятыхъ и модныхъ предразсудковъ. Босяки, бродяги, дѣти земли у него подчасъ разсуждаютъ совсѣмъ, какъ будто только что начитались переводныхъ книжекъ и журналовъ. Можетъ быть, какъ я скажу ниже, имъ и по природѣ свойственно такъ разсуждать, но очень многое, видимо, авторъ имъ навязываетъ и отъ себя. Голосъ г. Горькаго, къ сожалѣнію, вовсе не есть голосъ народный; въ лучшемъ случаѣ это—голосъ отбросовъ народныхъ—босяковъ.

XV.

Сказать кстати, это черта почти всѣхъ писателей, выходящихъ изъ народа. Какъ бабочка, вылетѣвшая изъ кризалиды, крестьянинъ-писатель совсѣмъ уже не напоминаетъ крестьянина, и хотя носитъ иногда, изъ кокетства, полушубокъ и валенки,—душой своей вполнѣ „интеллигентъ", т. е. человѣкъ съ книжными мыслями, журнальными мечтами, съ бумажнымъ отношеніемъ къ міру. Нынче довольно много писателей изъ народа; нѣкоторые изъ нихъ пишутъ на деревенскія темы (если это поэты, то безбожно обкрадывая Кольцова и Никитина). Читая ихъ, вы чувствуете, что это люди чужіе деревнѣ, что они хорошо *знаютъ* деревню, но уже *не понимаютъ* ея. Кровные мужики, они хуже понимаютъ душу мужицкую, нежели понимали ее нѣкоторые писатели-аристократы, вродѣ Тургенева или Толстого. Конечно, тутъ много значитъ и размѣръ таланта: крестьяне-писатели обыкновенно недаровиты. Народные таланты, какъ извѣстно, стремятся чаще всего въ купцы, промышленники, техники, наконецъ—въ чиновники, наполняя собою безпрерывно вырождающуюся интеллигенцію. Прямо отъ сохи не являлось ни одного генія. Множество дарованій, тонкихъ и артистическихъ, роковымъ образомъ гибнутъ то за прилавкомъ, то по заводскимъ и конторскимъ угламъ. Можетъ быть, загадочный разгулъ купеческій иногда не что иное, какъ конвульсіи таланта, задыхающагося въ слишкомъ узкомъ ремеслѣ. Что-то мѣшаетъ даровитымъ крестьянамъ тотчасъ занимать свое настоящее мѣсто въ обществѣ, и вовсе не недоступность образованія. Почти треть населенія уже грамотна, такъ что можно считать, что въ Россіи, наряду съ безграмотнымъ, уже есть какъ бы сорока-милліонное государство вполнѣ грамотное: почему же оно не выдвигаетъ новые ряды талантовъ? Я. думаю, препятствуетъ этому не недоступность образованія, а, какъ это ни странно, скорѣе обратная причина. Именно, образованность, встрѣчая выходящій изъ народа та-

лантъ, часто обезличиваетъ его до посредственности, отнимая самую соль таланта—оригинальность. Вы подумайте только, какой грузъ понятій, совсѣмъ чуждыхъ, наваливается на свѣжую душу народную, лишь только она распахнется для цивилизаціи. На тонкую работу цѣлыхъ поколѣній деревенской культуры, на замкнутую въ себѣ организацію чувствъ и мыслей накладывается милліонъ штемпелей, милліонъ представленій самыхъ сложныхъ и неожиданныхъ—съ общимъ покоряющимъ внушеніемъ, что это-то и есть настоящее, что это-то и даетъ „образъ" человѣку. Первое поколѣніе, выходящее изъ народа, бываетъ энергично и даровито лишь въ той средѣ, гдѣ образованность близка къ прежней: въ средѣ купеческой; входя же въ интеллигенцію, мужикъ бываетъ обыкновенно ошеломленъ, подавленъ и несомнѣнно пониженъ въ своей душевной силѣ. Таковъ даже Ломоносовъ, который не сдѣлался геніальнымъ, можетъ быть, только потому, что слишкомъ былъ пришибленъ европейской школой. Нуженъ рядъ поколѣній, прошедшихъ новую умственную культуру, чтобы геній народный выпрямился и проявилъ себя свободно, но тогда писатель оказывается уже вышедшимъ не изъ народа. Прадѣдъ—крестьянинъ, дѣдъ—купецъ или священникъ, отецъ—чиновникъ и дворяннинъ; вотъ генеалогія многихъ талантливыхъ писателей, вышедшихъ не изъ народа. На г. Горькомъ замѣтно дѣйствіе этого закона. Онъ вышелъ не изъ деревни, а изъ городскихъ мѣщанъ—слоя уже нѣсколько оцивилизованнаго, хотя бы безъ посредства школы. Уже дѣдъ г. Горькаго—грамотный, какъ видно изъ его автобіографіи. Городскія вліянія исподволь ложились на эту породу. Но быстрый выходъ нашего автора изъ рабочихъ въ люди образованные все же не прошелъ ему даромъ.

XVI.

Вчитывайтесь внимательно—вы замѣтите, что всѣ достоинства свои г. Горькій принесъ съ собой, всѣ недостатки—пріобрѣлъ въ образованномъ кругу. Глубокое чувство природы, страстное влеченіе къ ея красотѣ,—это вынесено г. Горькимъ не изъ книгъ. Удивительно богатый, образный, звучный, цвѣтной языкъ народный—очевидно заимствованъ у народа, а не изъ книгъ, знаніе жизни отверженныхъ, ихъ психологіи и философіи—почерпнуто не изъ книгъ. Но лже-романтизмъ, наклонность къ вычурной размашистости—вліяніе явно книжное. Народъ правдивѣе и строже въ языкѣ, онъ никогда не употребляетъ гиперболъ, по крайней мѣрѣ, въ серьезной рѣчи. Затѣмъ этотъ разлагающій живое чувство анализъ, эта неугомонная рефлексія, въ которую впадаетъ часто г. Горькій, это „психологическое ковырянье"—все это, увы! давно знакомые намъ неврозы интеллигентной образованности. Видимо могучаго природнаго сложенія, душа автора все-таки сильно расшатана столкновеніями и борьбою съ міросозерцаніями, ей слишкомъ новыми, образо-

ванность книжная отразилась на немъ какой-то умственной неврастеніей— состояніемъ острымъ и тонкимъ, но болѣзненнымъ. Г. Горькій „интеллигентъ“ и даже въ высшей степени, но такихъ у насъ великое множество, и вовсе не „интеллигентъ“ намъ нуженъ. Мы ждемъ отъ него голоса души народной, а вовсе не варіацій на журнальные мотивы. Мы ждемъ отъ него голоса самой природы, и онъ иногда въ состояніи говорить отъ ея имени, но не всегда. Сильный талантъ его видимо все еще не довѣряетъ себѣ, все еще во власти постороннихъ внушеній. Это рабство предъ „образованностью“, предъ мнимымъ свѣтомъ школы и книги— самая серьезная опасность для г. Горькаго, и пока—главная причина его недостатковъ. Во что бы ни стало, онъ долженъ одолѣть въ себѣ власть книги и вернуться къ прирожденному самодержавію таланта. Онъ изъ тѣхъ немногихъ, которые призваны изучать не оттиски жизни на бумагѣ, а самое жизнь, во всей ея сырой непосредственности. Сама же жизнь не только ярче и истиннѣе книжныхъ изображеній, но и спокойнѣе ихъ. Она менѣе истерична, въ ней больше вѣчной мудрости, спасающей отъ лжи. И вотъ я думаю, что вовсе не жизнь подсказала г. Горькому его нравственное міросозерцаніе, тотъ цинизмъ, о которомъ мы говорили выше. Это міросозерцаніе вовсе не *народное*. Мнѣ кажется, въ немъ много книжнаго, можетъ быть, невольно заимствованнаго со стороны. Народъ, органически сложившійся на землѣ и правильно растущій на ней, какъ строевой лѣсъ, держится вовсе не борьбою за существованіе, а взаимопомощью, и инстинкты звѣриной борьбы въ немъ скованы инстинктами мира. Идеалы насилія, захвата, торжества, свободы похоти— идеалы вовсе не крестьянскіе. Здоровый народъ всегда религіозенъ въ хорошемъ, христіанскомъ смыслѣ этого слова. Нутромъ своимъ мужикъ чувствуетъ нравственный законъ, какъ условіе блага, и на уклоненіе отъ этого закона смотритъ, какъ на зло, ведущее къ смерти. Здоровый народъ боится грѣха и презираетъ его, не давая себѣ въ томъ отчета. Какъ безсознательно выработалось у насъ отвращеніе къ нѣкоторымъ насѣкомымъ и гадамъ, въ народѣ въ теченіе вѣковъ выработалось безотчетное отвращеніе къ нѣкоторымъ поступкамъ, и только этою безотчетною нравственностью, основанною на глубокомъ признаніи закона жизни, послѣдняя и держится. Ни въ какой странѣ народъ не можетъ разсуждать, какъ Ницше, не можетъ додуматься до *злого сверхчеловѣка*. Такой человѣкъ всюду понимается какъ „негодяй“, т. е. человѣкъ негодный къ жизни. Это—разбойникъ, его боятся, какъ гада, и всюду истребляютъ. Напротивъ, всѣ народы, начиная съ глубокой древности, додумались до *добраго сверхчеловѣка*, будетъ ли это народный заступникъ отъ внѣшнихъ бѣдъ вродѣ Геркулеса, Самсона или Ильи Муромца,—или такой же заступникъ отъ зла внутренняго—человѣкъ праведный, вродѣ Іова или христіанскихъ подвижниковъ. Народъ въ своей массѣ изъ вѣка въ вѣкъ тянется къ благочестію, къ чистотѣ, къ

смиренію и незлобивости, и все противоположное считаетъ грѣхомъ. Народу несвойственно уважать то, что разрушаетъ жизнь,—онъ безсознательно чтитъ лишь то, что ее строитъ.

XVII.

Отъ г. Горькаго нельзя ждать голоса народнаго уже потому, что онъ описываетъ не народъ въ строгомъ смыслѣ. Его герои не пахари, а бродяги, не столько труженики, сколько люди праздные. Это классъ, столь же далекій отъ народа, какъ и интеллигенція. Г. Горькій ничуть не скрываетъ, что это классъ озлобленный до волчьей злости, классъ распущенный, развратный. Въ этомъ разнородномъ слоѣ, развязанномъ отъ всѣхъ узъ гражданственности, циническое міросозерцаніе не только возможно, но даже естественно. Г. Горькому, скажете вы, нечего было учиться у Ницше; принципъ—„падающаго толкни"—общепринятъ въ средѣ гибнущихъ. Бродяги—циники по самой натурѣ, и не книга научила г. Горькаго цинизму, а сама жизнь. . .

Пусть будетъ такъ, соглашусь я. Но книга *оправдала* это жизненное явленіе для г. Горькаго. Въ народной средѣ, на изломахъ ея, среди человѣческаго мусора возникаютъ всѣ заблужденія, которыя мы встрѣчаемъ въ книгахъ, всѣ безумныя теоріи и взгляды, но стихія народная все же относится къ нимъ, какъ къ ошибкѣ. „Борьба за существованіе" въ ея грубомъ видѣ народу извѣстна, но не пользуется почетомъ. Циники во сколько-нибудь здоровой мѣстности въ народѣ играютъ ту же роль, какую Діогенъ въ Аѳинахъ: они вовсе не даютъ тона обществу и далеко не выражаютъ собою духа народнаго. Циники въ народѣ—типъ вѣчный, но они теряются обыкновенно среди столь же вѣчныхъ, но болѣе достойныхъ стоиковъ, платониковъ, эпикурейцевъ, христіанъ. Въ простомъ народѣ г. Горькій не могъ бы найти санкціи для „безумства храбрыхъ". Но въ образованномъ кругу именно въ наше время такая санкція сама напрашивалась. Во вѣкъ нигилизма, дарвинизма, эстетизма, ницшеанства, марксизма—да чтобы не найти оправданія зла! Существуютъ десятки теорій, его оправдывающихъ,—берите любую!.. И совершенно наоборотъ тому, какъ онѣ принимаются въ народѣ, эти теоріи несравненно болѣе властны въ нашемъ обществѣ, нежели вѣчныя идеи стоиковъ чистыхъ эпикурейцевъ, христіанъ. Наше образованное общество—будемте откровенны—испытываетъ неизъяснимое влеченіе къ цинической морали, къ свободѣ—не только духа, но и тѣла, къ свободѣ отъ того нравственнаго „гнета", который такъ дорогъ стоикамъ и христіанамъ. И это не только у насъ: то же вы видите въ западной буржуазіи, въ западной аристократіи, всюду, гдѣ образуется слой населенія, органически оторванный отъ народной почвы.

Г. Горькій со своею голью, можетъ быть, потому такъ стремительно принятъ и усыновленъ интеллигенціей, что онъ и въ самомъ

дѣлѣ родственъ ей—по интимной сущности духа. Циническое міросозерцаніе голи—оно намъ родно, оно наше. Всмотритесь въ этотъ загадочный классъ—въ пролетаріатъ народный—вы увидите подъ внѣшней грязью совсѣмъ знакомыя, совсѣмъ свои черты. Менѣе прекрасная, чѣмъ Нарцисъ, интеллигенція, наклонившаяся надъ пролетаріатомъ, видитъ въ ней свой же образъ, хотя и опрокинутый. Въ самомъ дѣлѣ, что такое босяки? Они—оторванный отъ народа классъ, но и мы—оторванный; мы—сверху, они—снизу. Они потеряли связь съ землею и живутъ случайными отхожими промыслами,—и мы также. Они не хозяева и всегда наемники, и мы также. Они бродятъ по всей странѣ изъ конца въ конецъ, отъ Либавы до Самарканда, отъ Одессы до Владивостока—и мы также: наша чиновничья интеллигенція съ безпрерывными переводами, перемѣщеніями бродитъ не менѣе золоторотцевъ, хоть и получая за это прогоны. Даже въ тѣхъ случаяхъ, если мы сидимъ прочно на мѣстѣ, насъ, какъ босяковъ, начинаетъ мучить тоска, невыносимая скука, и мы должны бѣжать куда-нибудь хоть на время—за-границы, на Кавказъ, въ Крымъ (куда бѣгутъ и босяки). Бродяги постоянно мѣняютъ свои квартиры—мы тоже. У многихъ ли у насъ есть дома? Огромная разница, скажете вы: мы сыты, босяки голодны. Однако, всѣ ли мы сыты и всегда ли? И всѣ ли босяки голодны? Питаясь въ студенческіе годы по кухмистерскимъ, а въ поздніе—обремененные семьей,—много ли лучше босяковъ мы питаемся, по крайней мѣрѣ, въ значительной массѣ? Босяки—народъ пьяный и разгульный,—но наша низшая и средняя интеллиигенція развѣ менѣе пьяна и разгульна? Вы скажете—есть-же и трезвые интеллигенты. О, да,—но есть-же вполнѣ трезвые босяки, почти или вовсе не пьющіе (напримѣръ, дворянинъ Промтовъ изъ „Проходимца"). Съ внутренней стороны параллель между интеллигенціей и босяками, пожалуй, еще резче. Босяки не такъ начитаны, какъ мы, но почти всѣ они интеллигенты—всѣ мыслятъ, всѣ имѣютъ свою философію, и буквально ту, какъ двойникъ ея наверху. Всѣ они недовольны порядкомъ вещей и держатся за этотъ порядокъ, кормятся отъ него. Всѣ они скептики и матеріалисты, свободные мыслители, отрицающіе культурные предразсудки. Съ величайшей легкостью они доходятъ до такихъ „завоеваній науки", какъ происхожденіе человѣка отъ скота со всѣми вытекающими отсюда послѣдствіями. „Всѣ мы ни въ чемъ не виноваты и всѣ мы скоты", говоритъ герой одного изъ лучшихъ разсказовъ г. Горькаго („Въ степи"). То, что человѣкъ скотъ и „не болѣе, какъ ничтожная гнида" („Тоска", стр. 311) повторяется очень часто у г. Горькаго; это одинъ изъ основныхъ пунктовъ босяческой философіи. Но вѣдь это же убѣжденіе составляетъ сердце интеллигентнаго пессимизма всѣхъ временъ, отъ Екклезіаста до Мопассана. Оторванные отъ народа классы иначе думать не могутъ, но самъ народъ, пока онъ организованъ, такъ не думаетъ. Его органическая связь съ землей и

стихіями даетъ ему самочувствіе вѣчной жизни, а такая жизнь есть состояніе священное. Человѣкъ народной, органической культуры склоненъ чувствовать себя не „ничтожной гнидой“, а сыномъ Божіимъ и одинаково—въ языческую или христіанскую эпоху. Вотъ эта потеря чувства родства съ божествомъ, чувства первородства своего въ мірѣ, составляетъ грустную черту обоихъ оторвавшихся сословій. Нисколько не удивительно, что голь напоминаетъ интеллигенцію, а интеллигенція—голь. Міросозерцаніе у нихъ общее и должно быть такимъ, съ оттѣнками чисто внѣшними. У интеллигенціи побольше книжнаго знанія, у голи—знанія дѣйствительной жизни. Замѣтьте, что сословіе босяковъ и само по себѣ не лишено образованія: тутъ почти всѣ безъ исключенія грамотны и начитаны хотя бы только въ дешевой прессѣ. Среди босяковъ огромный процентъ „бывшихъ“ людей, т. е. образованныхъ, но спившихся или просто опустившихся на дно жизни. Этотъ классъ имѣетъ своихъ офицеровъ, учителей, чиновниковъ, писателей... Эти „бывшіе люди“ (см. „Бывшіе люди“), опускаясь въ отбросы народные, несутъ туда свой книжный нигилизмъ, который встрѣчаетъ внизу вполнѣ родственныя настроенія...

Что же такое г. Горькій? Это перебѣжавшая яркая искра между двумя интеллигенціями, верхней и нижней,—соединяющая ихъ въ грозовое „безумство храбрыхъ“. Это выходецъ не изъ народа, и голосъ его не народный. Но онъ заслуживаетъ того, чтобы къ нему прислушаться.

М. Меньшиковъ.



„Двадцать шесть и одна“.

Поэма М. Горькаго.

По поводу послѣднихъ произведенiй г. Горькаго и, въ томъ числѣ, изданiя 3-го т. его сочиненiй въ печати появилось нѣсколько удивительныхъ, чтобы не сказать—преждевременныхъ и несправедливыхъ, отзывовъ критики. Не говоря уже о многихъ неодобренiяхъ конца „Ѳомы Гордѣева“, который (конецъ) считается неестественнымъ и мало художественнымъ,—это дѣло вкуса, а о вкусахъ не спорятъ,—одни полагаютъ, что г. Горькiй ударился въ разработку „вычурныхъ мотивовъ“, другiе находятъ, что этотъ писатель, вообще, уклоняется отъ своего призванiя и отъ изображенiя сферы его компетенцiи, причемъ снисходительно прибавляютъ, что-де время его еще впереди и что онъ можетъ еще исправиться. (Въ этомъ родѣ отзывъ „Р. М.“, 1899 г.—12, по поводу выхода 3-го тома соч. г. Горькаго). У насъ нѣтъ времени остановиться здѣсь долѣе, чтобы показать всю неосновательность этихъ нареканiй и скептическихъ прорицанiй, а также неумѣстную легковѣсность отношенiя такихъ критическихъ замѣтокъ, которыя исчерпываются нѣсколькими мало говорящими строчками въ отношенiи къ цѣлому сборнику произведенiй, требующихъ глубокаго, вдумчиваго и солиднаго изученiя: оригинальное творчество г. Горькаго слишкомъ мало изучено, и содержанiе его произведенiй, въ сущности, еще меньше объяснено и истолковано, несмотря на всю массу замѣтокъ и рецензiй.

Лучшимъ опроверженiемъ мрачныхъ сомнѣнiй является только что напечатанная въ „Жизни“ поэма „Двадцать шесть и одна“. И прежде всего, опровергнуто ходячее мнѣнiе, будто оригинальность таланта г. Горькаго заключается въ искусномъ изображенiи „босяковъ“, „бывшихъ людей“ и вообще городской „шпаны“. Правда, въ изображенiи этихъ типовъ, ихъ жизни и психологiи онъ не имѣетъ себѣ равнаго, и еслибы онъ не написалъ ничего другого, то слава большого писателя все же осталась бы за нимъ. Но намъ всегда казалось,—и въ этомъ насъ убѣждали нѣкоторые отдѣльные его очерки,—что эти типы и картины служатъ, такъ сказать, переходными этапами по пути широкаго воспроизведенiя трудовой жизни—вообще, не только ея отбросовъ и осколковъ, но и главнаго ея русла, въ массѣ ея представителей, съ ея обстановкой, психикой и воздѣйствiемъ на окружающее. Насъ убѣждали въ этомъ не только всѣмъ извѣстная бiографiя писателя, изучившаго горькимъ опытомъ подноготную быта и условiй трудовой массы, но и отдѣльные типы въ разныхъ его очеркахъ (напр. типографскiй рабо-

чій—герой очерка „Озорникъ“ или бѣглые наброски цѣлыхъ группъ (напр., тѣхъ же типографщиковъ въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“).

Оригинальность творчества г. Горькаго, главнымъ образомъ, заключается въ томъ,—и въ этомъ, по нашему, главная его общественная заслуга,—что онъ, давая намъ новые, совершенно или мало извѣстные типы, извлекая ихъ на свѣтъ Божій изъ мрака общественнаго подполья, показывая въ нихъ загрязненную и закопченную „душу живу“, въ то же самое время ярко освѣщаетъ намъ и тотъ подпольный адъ, и тѣ подземныя трущобы, въ которыхъ водятся эти рѣдкости, живутъ, множатся и умираютъ, и надъ которыми мы живемъ по-иному, не подозрѣвая, что живемъ на вулканѣ... Всѣ эти Челкаши, Мальвы, супруги Орловы, Артемы и т. п.—все это отчасти „бывшіе люди“, отчасти настоящіе люди, т. е. живые, дѣятельные члены общества, психологія которыхъ тѣсно связана съ атмосферой труда и обстановкой, въ которыхъ протекаетъ ихъ жизненное русло. Въ воздѣйствіи этихъ условій и въ связи этого вліянія съ психикой и проявленіями ея заключается вся соль и поучительность твореній нашего писателя. Лучшимъ образчикомъ этого рода представляется намъ очеркъ „Супруги Орловы“.

Нельзя сказать, чтобы въ этомъ направленіи мы не могли ожидать отъ г. Горькаго ничего больше и ничего болѣе крупнаго, но, во всякомъ случаѣ, индивидуальная психологія городского пролетарія много разъ разработана въ его произведеніяхъ. Нельзя сказать того-же о психологіи толпы, о массовой психикѣ, какъ она проявляется въ трудѣ мастерской, дома и на улицѣ. Это составляетъ, такъ сказать, непочатый уголъ творчества г. Горькаго. Правда, мы имѣемъ великолѣпныя страницы съ описаніями массовой работы и ея условій въ гавани, на пристани, на пароходѣ и даже отчасти въ мастерской; мы имѣемъ чудныя картины труда, гармонія и красота котораго заразительно дѣйствуетъ на посторонняго наблюдателя (напр., картины работы на пароходѣ или пристани въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“); мы имѣемъ также и другія картины чисто каторжнаго труда, одуряющаго, притупляющаго и доводящаго человѣка до положенія животнаго и раба. Но все это—или описанія внѣшняго характера, или картины, въ которыхъ на первый планъ выступаютъ наиболѣе оригинальные типы съ ихъ индивидуальной и рѣзко выступающей психикой.

Только въ „Двадцать шесть и одна“ мы впервые находимъ полную картину труда, въ которой описаніе работы дано не съ внѣшней стороны или съ точки зрѣнія ея вліянія на отдѣльнаго работника, а въ связи съ душевнымъ состояніемъ всѣхъ ея участниковъ. Впервые намъ изображена мастерская (булочная), въ которой мы видимъ „двадцать шесть“ не только работающими изо дня въ день при однихъ и тѣхъ же утомительныхъ, изнурительныхъ и опустошающихъ душу условіяхъ, но и одинаково чувствующими, думающими и одинаково поступающими.

Мы видимъ жизнь мучительную, поистинѣ каторжную, и въ ней людей, хватающихся за каждое упованіе, надежду, даже иллюзію, которая можетъ заполнить опустошенное содержаніе этой жизни. Они, эти несчастные, безсрочные каторжные, создали себѣ кумиръ и усердно поклонялись ему, питали иллюзію, которую лелѣяли, но каторжная жизнь разбила ихъ кумиръ, отняла у нихъ послѣднюю мечту...

„Насъ было двадцать шесть человѣкъ—двадцать шесть живыхъ машинъ, запертыхъ въ сыромъ подвалѣ, гдѣ мы съ утра до вечера мѣсили тѣсто, дѣлая крендели и сушки",—такъ начинается разсказъ. Они жили въ сыромъ, грязномъ и тѣсномъ подвалѣ съ низкими потолками, куда не проникалъ воздухъ и свѣтъ (окна были забиты желѣзомъ, чтобы они не могли подавать нищимъ хозяйскій хлѣбъ). Въ 5 часовъ они вставали—„тупые и равнодушные",—въ шесть уже садились за столъ дѣлать крендели, и цѣлый день до десяти часовъ вечера они работали,—одни разсучивали руками упругое тѣсто, другіе мѣсили муку съ водой. „Изо дня въ день въ мучной пыли, въ грязи, натасканной нашими ногами со двора, въ густой, пахучей духотѣ, мы разсучивали тѣсто и дѣлали крендели, смачивая ихъ нашимъ потомъ, и мы ненавидѣли нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ѣли того, что выходило изъ-подъ нашихъ рукъ, предпочитая кренделямъ черный хлѣбъ. Сидя за длиннымъ столомъ другъ противъ друга,—девять противъ девяти,—мы въ продолженіе длинныхъ часовъ механически двигали руками и пальцами и такъ привыкли къ своей работѣ, что никогда уже не слѣдили за движеніями своими. И мы до того присмотрѣлись другъ къ другу, что каждый изъ насъ зналъ всѣ морщины на лицахъ товарищей".

Имъ нечего и не о чемъ было говорить между собою, и молчаніе не тяготило ихъ. Даже ругались они рѣдко, ибо „въ чемъ можетъ быть виновенъ человѣкъ, если онъ полумертвъ, если онъ—какъ истуканъ, если всѣ чувства его подавлены тяжестью труда?" Но иногда они пѣли. Сначала кто-нибудь вдругъ вздохнетъ „тяжелымъ вздохомъ усталой лошади", потомъ затянетъ одну изъ заунывныхъ пѣсенъ, которыя такъ облегчаютъ замученную душу. Всѣ слушаютъ и только постепенно, другъ за другомъ, поддерживаютъ его. „И вдругъ сразу нѣсколько голосовъ подхватятъ пѣсню,—она вскипаетъ, какъ волна, становится сильнѣе, громче и точно раздвигаетъ сырыя, тяжелыя стѣны нашей каменной тюрьмы... Поютъ всѣ двадцать шесть"...

Пѣніе являлось единственнымъ общимъ проявленіемъ ихъ духовной жизни, ихъ общенія между собою, ихъ развлеченіемъ и утѣшеніемъ. Но душа ихъ жаждала ласки и привѣта, участія и привязанности, согрѣвающаго луча свѣта и одухотворяющей путеводной нити. Всѣ „двадцать шесть" жаждали утѣшенія и ободренія, хотя они и не говорили объ этомъ, и всѣ они нашли его, точно сговорились, въ „одной" и эта „одна" была шестнадцатилѣтняя горничная Таня.

Это была маленькая фигурка съ розовымъ личикомъ, голубыми веселыми глазами и звонкимъ, ласковымъ голоскомъ. Каждое утро она показывалась у окошечка дверей въ мастерскую и черезъ него кричала: „Арестантики, дайте кренделечковъ!“ „Мы всѣ поворачивались на этотъ знакомый намъ ясный звукъ и радостно, добродушно смотрѣли на чистое дѣвичье лицо, славно улыбавшееся намъ. Мы бросались открыть ей дверь, толкая другъ друга, и—вотъ она, веселая такая, милая, входитъ къ намъ, подставляя свой передникъ, стоитъ передъ нами, склонивъ немного на бокъ свою головку, стоитъ и все улыбается. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотримъ на нее снизу вверхъ,—порогъ двери выше пола на четыре ступеньки,—мы смотримъ на нее, поднявъ головы кверху, и поздравляемъ ее съ добрымъ утромъ, говоримъ ей какія-то особыя слова,—они находятся у насъ только для нея. У насъ въ разговорѣ съ ней и голоса мягче, и шутки легче. У насъ для нея—все особое“.

И послѣ ея ухода „двадцать шесть“ все говорятъ объ „одной“ и все въ томъ же „особомъ“ родѣ. Ни одной грубости, пошлости, ни одной циничной выходки при ней или по поводу ея никогда не срывалось у нихъ. Они оказывали ей разныя услуги,—таскали и рубили за нее дрова, открывали предупредительно тяжелую дверь и т. п.,—давали ей разные совѣты,—беречься, теплѣе одѣваться,—словомъ, угождали ей всячески и на-перебой выказывали ей свое обожаніе и привязанность. Иногда кто-нибудь спроситъ: „И что это мы балуемъ дѣвочку? Что въ ней такого?“, но его тотчасъ же укрощали: „Намъ нужно было что-нибудь любить: мы нашли себѣ это и любимъ, а то, что любимъ мы, двадцать шесть, должно быть незыблемо для каждаго, какъ наша святыня, и всякій, кто идетъ противъ насъ въ этомъ,—врагъ нашъ“. Они обожали въ „дѣвчонкѣ“ красоту, чистоту и нѣчто безотчетно-идеальное, она стала ихъ кумиромъ, предметомъ поклоненія. Тѣмъ хуже и грубѣе было ихъ разочарованіе. . .

Въ томъ же дворѣ у того же хозяина была булочная, инстанція высшаго разряда, недоступная жалкимъ „двадцати шести“ паріямъ. Старый булочникъ расчитался, и на его мѣсто поступилъ бравый солдатъ съ лихими усами, атласной жилеткой съ золотой цѣпочкой при часахъ. По типу онъ напоминаетъ Артема въ разсказѣ „Каинъ и Артемъ“. Онъ тотчасъ же сталъ кумиромъ всѣхъ бѣлошвеекъ и вообще женскаго персонала большого рабочаго дома. Своими успѣхами у женщинъ онъ гордился, какъ единственнымъ своимъ достоинствомъ и часто захвалился ими передъ заморенными и неудалыми „двадцатью шестью“. Когда однажды онъ такимъ образомъ расписывалъ свои подвиги, пекарь не выдержалъ и сталъ дразнить его недоступностью „одной“. Солдатъ пришелъ въ ярость и далъ клятвенное обѣщаніе доказать имъ всѣмъ „двадцати шести“,—что передъ нимъ никто не устоитъ.

Никто, повидимому, не боялся за исходъ спора, хотя каждый въ душѣ испытывалъ боязнь, но не смѣлъ ее высказать. Всѣ до такой степени обожали своего божка, что не рѣшались принять какихъ-либо ограждающихъ мѣръ. Въ волненіи и величайшемъ напряженіи ждали стихійно исхода паріи. Ровно черезъ двѣ недѣли торжествующій солдатъ вошелъ въ мастерскую и пригласилъ ихъ всѣхъ „двадцать шесть“ сквозь щели забора посмотрѣть и убѣдиться, какъ онъ и ихъ „одна“ пойдутъ на условное свиданіе. Они уже знали о паденіи ихъ кумира, но не могли устоять отъ искушенія видѣть это своими глазами. Они увидѣли весь позоръ своего божества и весь ужасъ его постыднаго паденія.

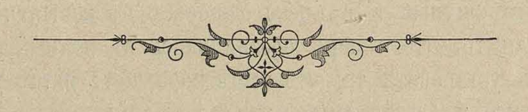
„Мы не могли перенести этого спокойно. Всѣ сразу мы бросились къ двери, выскочили на дворъ и—засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико. Она вздрогнула, увидавъ насъ, и встала, какъ вкопанная, въ грязь, подъ ея ногами. Мы окружили ее и злорадно, безъ удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей безстыдныя вещи. . . Краска сошла съ ея лица. Ея голубые глаза, за минуту передъ этимъ счастливые, широко раскрылись, грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали. А мы, окруживъ ее, мстили ей, ибо она ограбила насъ. Она принадлежала намъ, мы на нее расходовали наше лучшее, и хотя это лучшее—крохи нищихъ, но насъ—двадцать шесть, она—одна, и поэтому нѣтъ ей муки отъ насъ, достойной вины ея! Какъ мы ее оскорбляли! . . Она все молчала, все смотрѣла на насъ дикими глазами, всю ее била дрожь... Кто-то дернулъ Таню за рукавъ кофты. Вдругъ глаза ея сверкнули; она, не торопясь, подняла руки къ головѣ и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо въ лицо намъ. . .

„Ахъ вы, арестанты несчастные!“... И она пошла прямо на насъ, такъ просто пошла, какъ будто насъ и не было передъ ней, точно мы не преграждали ей дороги. Поэтому никого изъ насъ дѣйствительно не оказалось на ея пути. А выйдя изъ нашего круга, она, не оборачиваясь къ намъ, такъ же громко и съ неописуемымъ пренебреженіемъ еще сказала: „Ахъ—вы сво-олочь... га-ады...“ И—ушла. Мы же остались среди двора, въ грязи, подъ дождемъ и сырымъ небомъ безъ солнца. Потомъ и мы молча ушли въ свою сырую каменную яму. Какъ раньше—солнце никогда не заглядывало къ намъ въ окно, и Таня не приходила больше никогда!

Такъ печально кончилась исторія этой маленькой иллюзіи этихъ маленькихъ людей, которыхъ солнце никогда не грѣло и которые хотѣли согрѣться косымъ и отраженнымъ лучемъ его. Они разступились передъ „одной“ и остались уничтоженными словами, потому что она не „обворовала“ ихъ, ибо совсѣмъ не „принадлежала“ имъ и не могла дать имъ ничего: она сама искала свѣта и тепла, и скоро, быть можетъ, сама пойметъ, что нашла призракъ счастья, обманъ и

разочарованіе. Но пока судьба и горькій опытъ соединятъ ихъ въ одно цѣлое, „двадцать шесть“ будутъ опять гоняться за свѣтлыми и согрѣвающими иллюзіями, и будутъ пламенѣть пылкими надеждами и предаваться неистовымъ разочарованіямъ, подниматься и падать, и до тѣхъ поръ, пока не найдутъ твердую и сильную опору внутри себя и въ своей средѣ, въ своемъ самосознаніи и въ пониманіи лучшаго идеала...

Н. Геккеръ.



О „Мужикѣ“ г. Горькаго.

(„Жизнь“, 1900—3).

Намъ очень жаль, непоправимо жаль, что мы на-дняхъ выступили въ защиту г. Горькаго, не дождавшись его перваго очерка „Мужикъ“. И не потому жаль, что въ немъ мы нашли опроверженіе своего взгляда, даже совсѣмъ напротивъ, и въ этомъ „напротивъ“ лежитъ причина нашего сожалѣнія: мы упредили событія не во всемъ объемѣ ихъ огромнаго значенія; ходили ощупью и съ осторожностью въ невыясненной области; блѣдно намѣчали то, что теперь обозначилось въ полный размѣръ величины; пытались установить то, что нынѣ поражаетъ нашъ умъ и чувство красотой образовъ и богатствомъ ихъ содержанія.

Намъ кажется крупнымъ событіемъ въ литературѣ нашихъ дней—появленіе теперь „Мужика“ г. Горькаго. Всякій, кто уже прочелъ это начало и кому еще придется прочесть его, безъ сомнѣнія раздѣлитъ съ нами знакомое всѣмъ чувство *захватывающаго* интереса, когда оно не есть фигуральное выраженіе, а обозначаетъ чтеніе, захватывающее духъ, когда читаешь и перечитываешь нѣсколько разъ каждое мѣсто, упиваясь его прелестью и опасаясь извлечь изъ него все его значеніе. Намъ рѣдко приходится испытывать это чувство, и нѣчто подобное, только болѣе напряженное, мы пережили, читая 3-ю часть „Воскресенія“ Толстого.

Интересъ же новаго произведенія заключается въ изображеніи мужика новой разновидности, мужика-интеллигента, представителя рабочей интеллигенціи, въ выясненіи основъ того міросозерцанія, настроенія и той психологіи, которыя до сихъ поръ составляли предметъ различныхъ толкованій и давали поводъ относить „беллетристовъ новѣйшей формаціи“ чуть ли не къ лагерю декадентовъ. Мужикъ-интеллигентъ, конечно, не новость въ жизни и даже въ литературѣ, но онъ былъ одинокъ и исключителенъ, а, главное, не сознавалъ своей органической связи съ жизнью и народомъ и своихъ отношеній къ остальной интеллигенціи.

Новый пришлецъ—рѣдкій положительный типъ въ нашей литературѣ. Это не Челкашъ, Орловъ или одинъ изъ „бывшихъ людей“, потому что онъ и по положенію въ обществѣ, и по образованію, и по силѣ своей созидательной общественной роли ничѣмъ не ниже лучшей части интеллигенціи, но онъ и не изъ самоотверженныхъ героевъ, положившихъ душу за други своя изъ великодушныхъ порывовъ альтруизма. Его прошлое прозаично: онъ прошелъ суровую школу жизни, кормилъ

свиней, получилъ „сорокъ семь занозъ въ спину“, добылъ свое образованіе самъ, а, главное, никогда никакого покаяннаго настроенія не знавалъ, ни надъ чѣмъ не нылъ, не сушилъ своихъ мозговъ и души надъ проклятыми вопросами, а приступилъ къ рѣшенію ихъ съ яснымъ сознаніемъ и впечатлительнымъ сердцемъ, взявши быка за рога, т. е. приступивъ прямо къ дѣлу. Самъ онъ не идеализируетъ себя и героемъ себя не считаетъ, новыхъ словъ онъ не провозвѣщаетъ и новыхъ задачъ не изобрѣтаетъ, но долго копаться въ нихъ не желаетъ и въ выполненіи на другихъ не полагается. Своей духовной родословной и преемственной связи съ предшественниками онъ не отрицаетъ, ихъ заслуги цѣнитъ и уроками ихъ пользуется, но все таки свои отношенія къ нимъ формулируетъ въ слѣдующей исторической справкѣ: „Былъ у насъ интеллигентъ-дворянинъ. Онъ на своихъ плечахъ внесъ на родину культуру запада, создалъ огромныя, вѣчныя цѣнности и—все таки отцвѣлъ. . . На смѣну его явился интеллигентъ-разночинецъ. Этотъ дешево стоилъ странѣ: онъ явился въ жизнь ея какъ-то сразу и своей огромной силой поднялъ страшный грузъ. Онъ надорвался въ трудѣ и нынѣ тоже отцвѣтаетъ. . . Думается мнѣ, что дворянинъ и разночинецъ потому такъ скоро . . . устали жить, что одиноки были, родни въ жизни у нихъ не было, работали они для человѣчества и народа, а это—величины мало реальныя, неосязательныя. . . На смѣну ему идетъ мужикъ, рабочій-интеллигентъ, и въ то же время растетъ буржуа—купецъ-интеллигентъ. . . Посмотримъ, что сдѣлаетъ мужикъ“. . .

Это цѣлая схема, изъ которой не выбросишь ни слова и въ которую можно внести одну только поправку, что „смѣны“ совершаются и совершались не съ такой полнотой, какъ указано въ схемѣ, и что дворянина не совсѣмъ „смѣнилъ“ разночинецъ, а только смѣшался съ нимъ, припрягся во одну съ нимъ упряжку, точно также и теперь еще вопросъ, окончательно ли „смѣнилъ“ ихъ обоихъ мужикъ и не пристегнулся ли и онъ къ тройкѣ. Но не въ этомъ дѣло пока, а въ томъ „посмотримъ, что сдѣлаетъ мужикъ“ и въ пониманіи имъ своей задачи. Онъ говоритъ: „Первая его задача (т. е. мужика)—расширять дорогу къ свѣту для своего брата-мужика—для брата по крови, оставшагося внизу и позади. Свой братъ—это ужъ реальность“. Изъ дальнѣйшаго повѣствованія мы узнаемъ, какъ онъ справляется съ своей задачей и къ какимъ пріемамъ онъ прибѣгаетъ при этомъ (намеки на нихъ уже даны и въ первомъ очеркѣ). Достаточно пока знать первые его шаги на пути его общественной дѣятельности—первымъ дѣломъ „расширять дорогу къ свѣту для своего брата-мужика“. Посмотримъ на источники его вдохновенія и на условія расцвѣта его.

Новый интеллигентъ живетъ обычными интересами интеллигенціи, ея умственными запросами и вопросами, ея живыми треволненіями и сомнѣніями, но только съ той разницей, что онъ много не мудритъ и

не копается въ нихъ и на все имѣетъ опредѣленныя рѣшенія, довольствуется тѣмъ малымъ, что можетъ дать жизнь въ отвѣтъ на нихъ и въ ихъ удовлетвореніе. Какъ интеллигентъ, новый „мужикъ нуждается въ интеллигентномъ обществѣ и, дѣйствительно, живетъ въ немъ, примыкая къ лучшему кружку интеллигенціи провинціальнаго города, но не замыкаясь въ немъ и не увеличивая собою число сектантовъ и нытиковъ маленькаго муравейника. Это небольшое общество только отчасти напоминаетъ собою интеллигенцію, которую пытался изобразить г. Чириковъ въ его „Инвалидахъ“ и „Чужестранцахъ“, потому что эти послѣдніе интеллигенты имѣли за собою прошлое и нѣкогда проявляли бодрость духа, сознаніе своей жизнеспособности, а между тѣмъ данный кружокъ представляетъ всѣ характерныя черты новѣйшихъ поколѣній и вполнѣ заслуживаетъ ядовитой и рѣзкой критики одного изъ членовъ этого кружка, скептика и насмѣшника Суркова. Обозвавъ ихъ „лакеями своихъ идей“, Сурковъ при вступленіи въ кружокъ держитъ имъ такую рѣчь: „Господа! Въ городѣ этомъ,—я хотѣлъ сказать: въ этомъ вмѣстилищѣ идіотовъ и мошенниковъ,—вы—самые порядочные и интересные люди. . . Но и вы тоже довольно-таки безцвѣтные люди, и никакихъ новыхъ тропинокъ въ жизни вамъ не проторить, увѣряю васъ. Всю вашу жизнь вы будете шагать по старымъ дорогамъ, потихоньку, гуськомъ другъ за другомъ, какъ слѣпые“. . . Эта рѣчь и вообще задираніе Суркова очень напоминаютъ страстныя филиппики Ежова въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“, когда, распалившись подъ хмелькомъ, онъ начиналъ громить высшіе классы и интеллигенцію, эти „гниды цивилизаціи“. (Нужно тутъ же замѣтить, что въ число интеллигентовъ кружка входятъ профессіоналы всякаго рода, начиная отъ доктора и санитарнаго врача до пѣвчаго въ архіерейскомъ хорѣ; по своему происхожденію они также разнокалиберны и въ большинствѣ разночинцы, включая и мѣщанъ ремесленнаго сословія). Но разница между этими рѣчами (Суркова и Ежова) неизмѣрима. Въ томъ и другомъ случаѣ это былъ голосъ самокритики и самосужденія, голосъ изъ самой разночинной интеллигенціи, но въ одномъ случаѣ это былъ грубый призывъ (и пьяный, къ тому же) къ пересмотру въ другомъ, т. е., въ нашемъ случаѣ—явный симптомъ кризиса и открытой постановки вопроса о роли и задачахъ интеллигенціи.

Архитекторъ изъ мужиковъ и герой нашъ, Акимъ Андреевичъ Шебуевъ, совершенно раздѣляетъ взглядъ Суркова на интеллигенцію, какъ на „дворовыхъ людей россійскаго свободомыслія“, но онъ не высказываетъ его прямо. Явился онъ сюда не для критики и бичеванія и не для отрицанія интеллигенціи по существу во славу опрощенія, а для того, чтобы безъ лишнихъ словъ упразднить ее за негодностью, вѣрнѣе, „смѣнить“ ее и самому стать на ея мѣсто. Причины ея надорванности, дряблости, вялости и общественной лимфатичности онъ

видитъ въ чрезмѣрномъ развитіи интеллекта на счетъ непосредственнаго чувства, въ преобладаніи рефлекса надъ впечатлительностью, въ нарушеніи равновѣсія и гармоніи человѣческаго существа, въ подавленности личнаго начала и свободной индивидуальности. „Человѣкъ долженъ быть всестороненъ,—говоритъ онъ,—и лишь тогда онъ будетъ жизнеспособенъ и жизнедѣятеленъ, т. е., будетъ умѣть не только примѣняться къ жизни. но и измѣнять ея условія сообразно росту своего я"... А самая главная причина заключается въ отсутствіи „вкуса" и аппетита къ жизни „Что для насъ жизнь?—спрашиваетъ онъ.—Пиръ? Нѣтъ. Трудъ? Нѣтъ. Битва? О, нѣтъ!.. Жизнь для насъ что-то скучное, тягучее, сѣрое, какая-то обуза. Мы несемъ ее, вздыхая отъ усталости и жалуясь на тяжесть ноши. Любимъ ли мы жить? Мы любимъ читать, спорить, мы любимъ наши мечты о будущемъ... впрочемъ, платонической любовью любимъ ихъ, безплодной любовью"...

Интеллигенту изъ народа незнакомы ни раздвоенность ума и чувства, ни мрачный пессимизмъ съ его тяжелыми сомнѣніями и опасеніями, ни упадокъ духа съ безплоднымъ раздумьемъ, ни покаянное настроеніе съ его отвращеніемъ къ благамъ жизни и ея наслажденіямъ. Жизнь для него—это „прекрасный процессъ созиданія идей, накопленія красоты и мудрости, неустаннаго творчества новыхъ формъ, процессъ таинственный, глубоко интересный и радостный, да! радостный"! Настроеніе его бодрое, живое и жизнерадостное, несмотря на всѣ бѣды и невзгоды или, можетъ быть, именно благодаря имъ, этимъ бѣдствіямъ, которыя онъ непосредственно и сильно чувствуетъ и которыя жадно и неуклонно онъ стремится устранить. Поэтому и идеалъ его не умственный и не мертворожденный, а живой, дѣятельный, стремительный и всегда готовый къ воплощенію тутъ же, сейчасъ и на мѣстѣ. „Любовь къ идеалу,—говоритъ Шебуевъ,—чувство дѣятельное и страстно-склонное къ жертвѣ"... И жертва эта приносится и будетъ принесена не ради сознанія долга, не для искупленія своихъ или чьихъ-то грѣховъ, не по велѣнію разума и совѣсти и не въ видѣ героическаго подвига, а въ самомъ процессѣ жизни, въ непосредственной связи своихъ личныхъ и кровныхъ интересовъ съ нуждами общими и задачами времени...

Но мужикъ нашъ и не оптимистъ. Онъ далеко не идеализируетъ условій существованія, ибо самъ онъ „пришелъ снизу, со дна жизни, оттуда, гдѣ грязь и тьма, гдѣ человѣкъ еще полу-звѣрь, гдѣ вся жизнь—только трудъ ради хлѣба". Онъ испыталъ на себѣ всѣ терніи жизни и всѣ ея колючки, и однакоже всѣмъ существомъ своимъ кричитъ намъ: „жизнь—все-таки прекрасна"! Онъ собственными локтями пробился на верхи бытія, прошелъ всѣ стадіи страданій и униженій и и все-таки не потерялъ вѣры въ людей и въ добро. Онъ не преувеличиваетъ и не сантиментальничаетъ по наслышкѣ, а изъ собственнаго горькаго опыта утверждаетъ, гремитъ на весь міръ, дабы его услышали:

„Но и *тамъ* сверкаютъ на солнцѣ неоцѣнимые алмазы великодушія, ума, героизма, и тамъ есть любовь, и красота—всюду, гдѣ есть человѣкъ, есть и хорошее!“

Пришедшій „на смѣну“ интеллигентъ не принесъ съ собою никакихъ „новыхъ словъ“ и не имѣетъ въ запасѣ ни одной „новой“ идеи. Свое признаніе онъ также не считаетъ новой исторической миссіей. Его задачи и методы выполненія, если и отличаются нѣкоторымъ разнообразіемъ, то въ примѣненіи въ текущей дѣйствительности. Его міросозерцаніе не отличается особенностями, отграничивающими его отъ основныхъ взглядовъ остальной интеллигенціи. Онъ является прямымъ и сознательнымъ продолжателемъ предыдущихъ поколѣній и своихъ предшественниковъ, впавшихъ не въ банкротство мысли, а въ обнищаніе духа, въ оскудѣніе источниковъ вдохновенія. „Мужикъ“ принесъ не новую мудрость и не новую программу, а новое *настроеніе*, доброе, свѣжее, энергичное и жизнерадостное. Не новыя понятія и не новый взглядъ на нашу жизнь принесъ онъ съ собою, а новыя *чувства*, новое *отношеніе* къ жизни. Усталымъ, разбитымъ и разочарованнымъ, а также всѣмъ падшимъ духомъ и мудрствующимъ лукаво онъ говоритъ: „Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что въ ней только язвы да стоны, горе и слезы! Даже въ ея мрачномъ есть благодарное и красивое. Среди ея язвъ есть благородныя раны, полученныя въ битвахъ за права людей, за расширеніе для нихъ пути къ свѣту и свободѣ! Среди ея стоновъ звучатъ благородныя проклятія побѣжденныхъ героевъ, звучатъ и призываютъ къ мести!“.

Эти боевыя слова, это бодрое и сильное чувство, это жизнедѣятельное настроеніе вытекаютъ не изъ особаго склада ума или направленія мыслей, а только изъ жизненной вѣры, что „жизнь—прекрасна, жизнь—величественное и неукротимое движеніе ко всеобщему счастью и радости“... Вѣра эта обусловливается не героизмомъ или фанатизмомъ пришлаго интеллигента, а тѣмъ неизсякаемымъ родникомъ свѣжаго духа, который онъ принесъ съ собою оттуда, „снизу“. Сурковъ сказалъ Шебуеву: „У васъ есть свой запахъ“. Сознаніе своей кровной связи со всѣмъ, что осталось тамъ внизу, и составляетъ всю его силу, новизну и оригинальность, порождаетъ его настроеніе. Его близость къ жизни и тѣсная связь съ нею поддерживаютъ въ немъ не только сознаніе своего живого долга по отношенію къ другимъ, но и то тонкое чутье и ту впечатлительность, которыя дѣлаютъ изъ него не созерцателя жизни и философа, не сторонняго наблюдателя и не участливаго соболѣзнователя, а непосредственнаго участника ея, бойца и протестанта.

Повторяемъ, пришлый интеллигентъ—не большая новость и, если хотите, совсѣмъ даже не новость въ нашей жизни и даже литературѣ. Въ жизни онъ извѣстенъ со времени Ломоносова. Онъ поднимался „снизу“ и приходилъ наверхъ почти непрерывно и занималъ тутъ всегда выда-

ющееся и значительное мѣсто. Но онъ являлся случайно, эпизодически и оставался одинокимъ. Добравшись до „верховъ“, онъ сливался съ общей массой интеллигенціи и ея настроеніемъ, пристегиваясь то къ исторической миссіи“ дворянина-интеллигента“, то къ здачамъ „разночинца-интеллигента“. Нужно было, чтобы завершилась вполнѣ указанная выше эволюція, чтобы новый интеллигентъ пришелъ „на смѣну“ или, по крайней мѣрѣ, понялъ свою неслужебную и непроизводную роль.

Въ литературѣ онъ нашъ старый знакомый, хотя мы и не знаемъ его,—до того измѣнилъ онъ свою внѣшность и преобразился въ общественномъ своемъ обликѣ. Это тотъ же босякъ, только одѣтый „въ длинный сюртукъ, застегнутый наглухо вплоть до ворота и похожій на военный мундиръ“; это тотъ-же Артемъ, Орловъ и Коноваловъ, только трезвый и выдержанный, образованный и достигшій наивысшаго, гармоническаго сочетанія интеллекта и чувства. И тѣмъ не менѣе, онъ—новое явленіе и въ литературѣ и въ жизни. Въ послѣднюю онъ вноситъ не новые пріемы и методы дѣйствія и не новые горизонты онъ открываетъ, а вноситъ въ нее новое настроеніе и свѣжую струю дѣловитаго воодушевленія. Въ литературѣ онъ является типомъ законченнымъ и яркимъ, постепенно и медленно развивавшимся и нынѣ достигшимъ своей послѣдней фазы эволюціи, выросшимъ изъ ничтожества и достигшимъ величія: онъ былъ въ числѣ „бывшихъ людей“, прошелъ всѣ стадіи отверженныхъ и затоптанныхъ въ грязь Челкашей и сдѣлался представителемъ этихъ „низовъ“, сталъ въ первыхъ рядахъ интеллигенціи.

Какъ литературный типъ, „мужикъ“ представляетъ высшій актъ творчества г. Горькаго, образный синтезъ всѣхъ крупныхъ, хотя разбросанныхъ, чертъ и особенностей, отмѣченныхъ въ оригинальной коллекціи персонажей этого писателя. На протяженіи всей его литературной дѣятельности и во всѣхъ его произведеніяхъ повторяются варіанты одной и той-же темы, разработанной въ различныхъ олицетвореніяхъ, будь то олицетвореніе босяка и пропойцы или интеллигента изъ народа. Тема эта—жажда жизни, любовь къ свободѣ, протестъ противъ всего, что ее угнетаетъ, борьба за свою индивидуальность. Въ большинствѣ героевъ его появленія этихъ чувствъ стихійны, полусознательны, почти безобразны; въ „мужикѣ“ они получили свою очищенную, сознательную и высшую форму. Пусть этимъ „мужикомъ“ будетъ архитекторъ Акимъ Андреевичъ Шебуевъ или писатель-художникъ Максимъ Горькій,—все равно онъ имѣетъ право вѣрить въ свой идеалъ и въ то, что человѣкъ, „гдѣ бы и чѣмъ бы ни былъ, онъ останется человѣкомъ и есть лучшее на землѣ!“ Онъ заслужилъ свое право на любовъ къ людямъ и жизни. Онъ вправѣ сказать намъ: „Право мое вѣрить такъ я дорого купилъ, да!—но зато я имѣю это право на всю жизнь!“.

Конечно, и тутъ можно увидѣть значительную долю идеализаціи, въ которой иногда упрекаютъ г. Горькаго. Но, во всякомъ случаѣ, эти

смѣлыя и ясныя рѣчи отнимаютъ всякую возможность подозрѣвать его въ пессимизмѣ или безпринципности, причислять его къ различнымъ грубо матеріалистическимъ школамъ, сдѣлать изъ него истолкователя и проповѣдника узко-классовыхъ и „имморальныхъ“ тенденцій.

Мы должны быть благодарны г. Горькому, что онъ впервые раскрылъ свои карты и лишилъ насъ безполезныхъ поводовъ къ безполезнымъ спорамъ, а главное за то, что онъ далъ намъ возможность заглянуть во внутренній міръ пришельца оттуда, „снизу“, трезво и ясно сознающаго и пройденный путь, и путь грядущій. . .

Н. Геккеръ.



Еще о „Мужикѣ“.

Говоря о „Мужикѣ“ г. Горькаго, мы нарочно умолчали о послѣднихъ 2—3 страницахъ этого очерка: не хотѣлось портить цѣльности впечатлѣнія, полученнаго отъ его чтенія, непріятно было нарушать законченность и закругленность того пониманія его, которое мы вынесли изъ него и предложили читателю. Но, вѣдь, изъ пѣсни слова не выкинешь, изъ сказки дѣйствія не выпустишь, изъ разсказа цѣлыхъ страницъ не вычеркнешь, разъ онѣ напечатаны. И если не сказать о нихъ сейчасъ, придется, быть можетъ, объ этомъ пожалѣть и говорить о нихъ больше, чѣмъ онѣ заслуживаютъ. Сейчасъ ихъ значеніе темно и неопредѣленно, и наводятъ онѣ на унылыя размышленія. Зловѣщія страницы! Онѣ не только угрожаютъ намъ разочарованіемъ въ будущемъ, но и значительно искажаютъ черты героическаго образа, представленнаго на предыдущихъ страницахъ. Подумайте только! Онъ пришелъ къ намъ изъ такого далека, оттуда, „снизу“, онъ принесъ новый духъ и новое настроеніе, принесъ бодрость, энергію, любовь къ жизни и къ живому дѣлу; онъ поразилъ наше воображеніе не новизной своихъ словъ, а многообѣщающимъ и плодотворнымъ запасомъ своихъ свѣжихъ и нерастраченныхъ душевныхъ силъ. И что-же? Мы узнаемъ, что герой нашъ опутываетъ извѣстнаго въ городѣ милліонера и скареда „Маркушку“ Чечевицына, извѣстнаго столько же своимъ богатствомъ, сколько и гнусными дѣлами. Впрочемъ, онъ извѣстенъ еще и своей благотворительностью, но только благодаря личнымъ связямъ и вліянію нашего героя онъ соглашается выстроить „Народный домъ“, а въ будущемъ есть надежда на постройку и народнаго театра съ библіотекой и читальней. Вотъ какую мышь родила гора.

Безъ сомнѣнія, и народный домъ, и библіотека съ читальней, и чайныя, и дешевыя столовыя, и народныя развлеченія—очень почтенныя и весьма полезныя учрежденія, но, устроенныя при помощи ловкаго обращенія архитектора Шебуева съ богобоязненнымъ купцомъ Чечевицынымъ, они далеко не представляютъ той широкой „дороги къ свѣту“, проложить которую для народа считаетъ своей задачей и своимъ призваніемъ интеллигентъ-мужикъ. Въ той же книжкѣ „Жизни“ есть продолженіе повѣсти г. Муринова и въ ней, хотя и не особенно складно и интересно, разсказывается, какъ группа интеллигентовъ (по терминологіи „мужика“—разночинцевъ) съ усердіемъ и рвеніемъ просвѣщаетъ народъ въ доступной для нихъ формѣ, въ воскресныхъ школахъ, вѣрнѣе, въ одной изображаемой тамъ воскресной школѣ. Они дѣлаютъ

свое маленькое дѣло безъ шума и крика, можно сказать, безмолвно и незамѣтно. На ихъ долю выпадаетъ рядъ непріятностей, которыя отражаются и на ходѣ дѣла, и на внутреннихъ между собою отношеніяхъ. Они прокладываютъ народу маленькія тропинки и дорожки „къ свѣту“ при помощи благотворительной и благожелательной Анны Петровны и не очень далеки отъ устроенія и „народнаго дома“, и библіотеки и пр. благодѣтельныхъ учрежденій этого рода. Но продѣлываютъ все они очень скромно, какъ будто давно выдуманное и старое, не предпосылая ни новыхъ программъ, ни широковѣщательныхъ обѣщаній. Интеллигентъ изъ мужиковъ выступаетъ съ большой помпой и, какъ мы уже видѣли, съ большими претензіями. Скептикъ и насмѣшникъ Сурковъ и къ затѣямъ его относится иронически и ядовито говоритъ о Шебуевѣ: „Американецъ! Посмотримъ, что будетъ дальше“. Да, и мы посмотримъ, что будетъ дальше, а пока насъ одолѣваютъ нѣкоторыя сомнѣнія.

Сомнѣніе—наше право, и не только потому, что приходится часто испытывать разочарованія въ „продолженіяхъ“ и „окончаніяхъ“, которыя „слѣдуютъ“, но и еще больше потому, что изображеніе въ нашей литературѣ положительныхъ типовъ было всегда дѣломъ весьма неблагодарнымъ, труднымъ и даже непреодолимымъ. На немъ сломано не одно перворазрядное перо, оно не разъ служило камнемъ преткновенія даже для очень крупныхъ дарованій, и причина этихъ затрудненій заключается столько же въ сложности изображаемыхъ лицъ, сколько и въ сложности внѣшнихъ условій самого изображенія. Текущая литература представляетъ достаточно примѣровъ всякаго рода и больше всего, конечно, случаевъ неудачъ, отнюдь не зависящихъ отъ внѣшнихъ условій. Такъ, интересъ, возбужденный въ насъ началомъ повѣсти г-жи Барвенковой „Раздолье“, все болѣе сводится на нѣтъ. Весь интересъ этого произведенія сосредоточивался въ оригинальности положенія и общественныхъ особенностяхъ цѣлой группы интеллигентныхъ лицъ, которыя должны были явиться живыми представителями различныхъ новѣйшихъ общественныхъ наслоеній. Изъ нихъ же самымъ любопытнымъ казался интеллигентъ-мужикъ, внукъ крѣпостной няньки, получившій высшее образованіе на средства своихъ господъ. И что-же? мы уже подходимъ къ концу повѣсти, а образъ этого новичка въ литературѣ и таинственнаго незнакомца остается попрежнему въ туманѣ и совершенно невыясненнымъ. Мы знаемъ вкратцѣ его запретный романъ съ барышней, его оппозиціонное настроеніе и сознаніе какихъ-то особыхъ его задачъ и предстоящаго ему труднаго дѣла, но на чемъ основана его оппозиція, въ чемъ заключается то дѣло, къ которому онъ призванъ, а главное, какъ будетъ онъ выполнять свою миссію,—мы пока не знаемъ и едва-ли узнаемъ вполнѣ изъ „окончанія“. Впрочемъ мы узнаемъ еще, что онъ также прокладываетъ „дорогу къ свѣту“ и съ этой цѣлью обучаетъ трехъ фабричныхъ ребятишекъ, но тогда зачѣмъ же было огородъ го-

родить и выводить намъ въ назиданіе новую созидательную силу? Непонятны намъ и всѣ стремленія, все поведеніе его невѣсты, которая раздѣляетъ настроеніе и планы жениха, остающіеся секретомъ для одного читателя. Остальныя лица все болѣе и болѣе запутываются въ мелочахъ романической интриги и теряютъ всякій интересъ психологической или общественной оригинальности. По мѣрѣ того, какъ дѣло идетъ къ развязкѣ, обозначенныя въ началѣ типическія черты сглаживаются все болѣе, лица расплываются, и все сливается на общемъ сѣренькомъ фонѣ мелкой драмы маленькаго захолустнаго муравейника. То, что прежде выкупало недостатки формы и исполненія, отступило на заданій планъ и потеряло свое обаяніе,—читалелю скучно и, пожалуй, грустно, грустно за несбывшіяся надежды.

Не нужно быть пророкомъ, чтобы и героямъ романа г-жи Дмитріевой („Червонный хуторъ“ въ „В. Е.“) предсказать, если не преждевременную смерть, то раннее захуданіе, дряблость, вялость и обычную для такихъ героевъ роковую обезцвѣченность до времени. Но пока эти герои въ полномъ цвѣту и развиваются на нашихъ глазахъ. Отрицатель и протестантъ Степанъ теряетъ свою демоничность и перестаетъ проявлять безпредметную раздражительность, являясь намъ въ новомъ свѣтѣ сознательнаго и опредѣленнаго критика окружающихъ условій жизни и довольно глубокаго цѣнителя тѣхъ общихъ причинъ, которыми обусловливается царящее вокругъ него зло. Правда, онъ не выходитъ пока изъ области словесной критики, изъ сферы сердитаго безсилія, но все-же мы видимъ, по крайней мѣрѣ, мотивированное настроеніе и соотвѣтствіе его съ окружающей средой. Къ тому-же онъ не провозвѣщаетъ широкихъ задачъ, отрицая въ корнѣ практику малыхъ дѣлъ. Мы не знаемъ въ точности, съ кѣмъ имѣемъ дѣло, и можно ли къ нему пристегнуть ярлыкъ бывшаго народника, а нынѣ марксиста или какого-нибудь другого „иста“, но въ немъ узнаемъ что-то давно намъ знакомое, еще не упраздненное и никѣмъ не „смѣненное“, что-то живое и еще не отжившее

Присмотримся къ нему ближе. Его обликъ раскрывается намъ въ его объясненіяхъ съ пріѣзжей учительницей Наташей, въ которую онъ влюбленъ тайно. Его скептицизмъ и невѣріе начались съ того времени, какъ онъ горькимъ опытомъ разочаровался въ настроеніи народа, настоящаго, заправскаго деревенскаго мужика. Жизнь его онъ изучилъ также по книжкамъ, и что же? „Ничего, наглядѣлся,—говоритъ Степанъ съ горечью,—а прежде тоже слюни распускалъ передъ мужикомъ. Думалъ, что стоитъ къ нему придти съ хорошей книжкой да протянуть ему по-братски руку—и онъ тебя приметъ съ распростертыми объятіями... Ничего этого нѣтъ, все вздоръ. Книжекъ нашихъ онъ не понимаетъ и не хочетъ, потому что ему нуженъ хлѣбъ“. Мало того: онъ убѣдился также и въ томъ, что и вообще трудно помочь ему чѣмъ-

либо. „Ну-ка, попробуйте,—говоритъ онъ Наташѣ,—суньтесь къ мужику съ своей благостыней,—что выйдетъ? А то, что по шапкѣ! Пробовалъ я и это, пробовалъ-съ! За это за самое здѣсь и сижу. . . такъ сказать, лишенъ столицы“. Пробовалъ онъ все и вездѣ совался—и училъ, и лѣчилъ, и даже пытался всякими артельными затѣями мужика изъ когтей кулака вырвать, и въ результатѣ одна горечь воспоминанія да убѣжденіе, что „все прошлое надо вычеркнуть и начинать съ другого конца“.

Безъ сомнѣнія, и рѣчи эти, и лицо, ихъ произносящее, отнюдь не выдуманы изъ головы автора, какъ не выдуманъ г. Горькимъ его герой изъ мужиковъ, архитекторъ Шебуевъ, съ его бурными рѣчами, и сопоставленіе ихъ напрашивается само собою. Оно тѣмъ болѣе любопытно, что оба они „начинаютъ съ другого конца“, оба разочарованы въ прежнихъ путяхъ и способахъ, оба видятъ новую эру, но только съ той разницей, что одинъ изъ нихъ не признаетъ „малыхъ дѣлъ“, а другой проповѣдуетъ „кто во что гораздъ“; одинъ является все-же продолжателемъ своихъ предшественниковъ,—другой окончательно упраздняетъ ихъ; одинъ стоитъ наверху и попробовалъ спуститься внизъ, другой пришелъ снизу и желаетъ водвориться наверху. Есть, конечно, и разница въ источникахъ настроенія, и въ тонѣ самого настроенія. Но особенно любопытно ихъ сопоставленіе въ виду того, что въ романѣ изображенъ также и тотъ „интеллигентъ-купецъ“, „интеллигентъ-промышленникъ“, который, по словамъ Шебуева, тоже „пришелъ“, пришелъ вмѣстѣ съ „интеллигентомъ-мужикомъ“. О миссіи его Шебуевъ ничего не говоритъ, но она сама собою понятна, отношенія ихъ выяснятся въ дальнѣйшемъ ходѣ разсказа, пока же Шебуевъ, обламывая купца по части народнаго дома, говоритъ о Чечевицынѣ, что онъ „процентъ съ капитала обществу уплачиваетъ“. Иныя отношенія складываются у интеллигента-разночинца Степана и интеллигента-промышленника Чекманаева въ романѣ „Червонный хуторъ“. Вѣрнѣе, между ними нѣтъ никакихъ отношеній, потому что Степанъ страстно ненавидитъ этого хищника, насильника и эксплуататора и ненависти своей даже не скрываетъ отъ него, отказываясь пожать его грязную, запачканную кровью руку, а Чекманаевъ просто брезгливо и презрительно игнорируетъ его. Этотъ новоявленный интеллигентъ съ толстой мошной и разжирѣвшимъ туловищемъ, съ огромнымъ тщеславіемъ и властолюбіемъ любитъ не однѣ только деньги и презираетъ не одного только сердитаго интеллигента и соперника. Онъ пренебрежительно относится рѣшительно ко всѣмъ, кто не имѣетъ того могучаго средства, которое въ наши дни одно даетъ власть и силу. Надъ дворяниномъ Воропаевымъ, который хвалится заслугами своего сословія передъ отечествомъ, онъ зло смѣется: „Э, какое тамъ отечество, Петръ Львовичъ! Не отечество, а карманъ, —вотъ что главное-то у всѣхъ“. „Отечество!“ „Патріотизмъ!“ А

когда стали лошадей въ армію набирать,—онъ первый (т. е. дворянинъ) такихъ одровъ представилъ, что и на водовозку не годились". Чекманаевъ не только смѣется надъ дворяниномъ и его безсиліемъ, но и развиваетъ свою историческую миссію, какъ онъ ее понимаетъ въ своемъ нѣкотораго рода классовомъ самосознаніи. „Мы—мы"!—дразнитъ онъ Воропаева.—Да что „мы"-то? Ваше времячко отошло... Теперь нашъ чередъ—и *мы* тоже не лаптемъ щи хлебаемъ..." И, разгорячаясь все болѣе и входя въ роль, новомодный купчина держитъ такую рѣчь: „Теперь *мы*—сила, вотъ что-съ! Вы поцарствовали—теперь *мы* поцарствуемъ, и не скоро насъ осилятъ. . . Крѣпко стоимъ и не качаемся. Кто теперь всѣми дѣлами ворочаетъ? Мы-съ! Кто университеты содержитъ, кто гимназіи строитъ, кто желѣзныя дороги проводитъ? Опять мы! Кто васъ всѣхъ поитъ и кормитъ, и одѣваетъ, и согрѣваетъ? Мы-же все". Такой самоувѣренный и убѣжденный представитель своего сословія идетъ и еще пойдетъ гораздо дальше купца Маякина въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ" г. Горькаго, и тѣмъ менѣе онъ пошелъ бы на приманки и уловки своего антипода, интеллигента-мужика, желающаго сорвать съ него „процентъ съ капитала". О, нѣтъ, этого воробья на мякинѣ не проведешь, потому что его безмѣрной дерзости и наглой самоувѣренности нѣтъ предѣла: онъ презираетъ рѣшительно всѣхъ, кромѣ самого себя, да еще другихъ такихъ-же толстосумовъ, которые всѣхъ будто-бы кормятъ, одѣваютъ и согрѣваютъ". Онъ всѣхъ презираетъ и никого не боится. Шебуевъ и Чекманаевъ—сверстники и дѣти одного времени, но разныхъ слоевъ одного общества. Вотъ, ихъ-то встрѣчу и взаимодѣйствіе любопытно было бы наблюсти.

II.

Съ понятнымъ нетерпѣніемъ ждали мы появленія продолженія „Мужика" г. Горькаго, и невольно вѣрилось въ тактъ художника и чутье писателя, что они выведутъ его на большую дорогу правды и заглушатъ прозвучавшія фальшивыя нотки. Но и тутъ, какъ въ музыкѣ, разъ невѣрно взятый тонъ портитъ всю пѣсню,—и тутъ, разъ допущенная фальшь извращаетъ всю правдивость, весь реализмъ дѣйствія, всю прелесть и красоту образовъ. „Мужикъ" взялъ сразу слишкомъ высокую ноту и еще далеко до конца, не дотянувши всю пѣсню, уже оборвался и, что называется, надрывается не своимъ голосомъ. Таково впечатлѣніе всего маленькаго „продолженія" этого интригующаго и, во всякомъ случаѣ, крайне любопытнаго разсказа. Фальшь и натянутость, искусственность въ рѣчахъ, надрывъ въ дѣйствіяхъ, загадочность въ афоризмахъ и загадочность въ отношеніяхъ къ людямъ,—все это имѣетъ цѣлью поставить героя на должную высоту, соотвѣтствующую значенію его первыхъ рѣчей, все это похоже на чрезмѣрное напряженіе

стать въ уровень съ непосильной задачей. Правда, мы все еще имѣемъ непочатое начало, но все же кое-что уже вполнѣ законченное и безповоротно направленное, и на этихъ-то чертахъ возможнаго истолкованія мы остановимся тутъ.

Къ сожалѣнію и даже къ огорченію нашему, мы должны забыть *пока*, а, быть можетъ, и навсегда чудныя и многообѣщающія рѣчи, слышанныя нами отъ „мужика“ въ самомъ началѣ разсказа. По крайней мѣрѣ, большую часть этой исповѣди мы должны оставить въ сторонѣ, такъ какъ она не вяжется со всѣмъ послѣдующимъ и не обязательно обусловливаетъ собою дальнѣйшій ходъ дѣла. Важно только знать и помнить, что „мужику“ нужны деньги и деньги, а деньги ему нужны, чтобы прокладывать „оставшимся тамъ, внизу“, дорогу къ свѣту. Не нужно только забывать, что „мужикъ“, онъ же архитекторъ Шебуевъ, для сей цѣли пользуется всякимъ для него подходящимъ случаемъ и всякой, даже, какъ увидимъ ниже, и неподходящей къ тому возможностью. Въ интересахъ его святого дѣла все возможно и все позволительно, и прежде всего эксплоатація стараго хищника-богача, котораго онъ и презираетъ, и ненавидитъ. Примѣры этого рода очень хорошо извѣстны въ исторіи нашего общественнаго движенія, но до такого цинизма отношеній едва-ли когда-либо доводили себя представители самодовлѣющихъ общественныхъ стремленій. Правда, Чечевицынъ говоритъ Шебуеву много комплиментовъ въ оправданіе своего благоволенія къ нему: „За жизнь твою нравишься... очень, братъ, тяжелая жизнь была у тебя... И за твердый умъ уважаю тебя... за умъ, да. „А первѣе всего въ тебѣ—правду ты любишь“... Но все-же онъ относится къ нему снисходительно и говоритъ ему „ты, братъ,“ получая взамѣнъ „вы“ и „Маркъ Ѳедоровичъ“. Деньги онъ даетъ также изъ-подъ палки, подъ вліяніемъ своеобразнаго гипноза и моральнаго со стороны Шебуева насилья. Послѣдній платитъ ему за глаза руганью и ненавистью, а дѣйствіе своего гипноза объясняетъ съ нескрываемой злобой въ бесѣдѣ съ Малининымъ: „Заглотался, подавился старый волкъ! Смерть чувствуетъ и—подло труситъ... га-адина!.. А я его все наталкиваю на мысль о ней... И, ей Богу, мнѣ *пріятно* видѣть, какъ онъ корчится отъ страха“... Шебуеву это пріятно, а у его пріятеля, санитарнаго врача Малинина, отъ одного этого разсказа морозъ по кожѣ подираетъ, что, впрочемъ, опять-таки служитъ къ потѣхѣ и насмѣхательству Шебуева, стоящаго выше всѣхъ подобныхъ мелочей и нѣжностей.

Для нашего мужика не только все позволительно, но и многое изъ того, что для другихъ достойно вниманія и обсужденія,—считается „мелочью“, „пустякомъ“, не стоящимъ колебаній и размышленій. Вотъ одинъ очень характерный примѣръ. Малининъ, съ обычной своей рабостью, поклонами и извиненіями передъ непогрѣшимымъ Шебуевымъ спрашиваетъ его, правда ли, что въ числѣ рабочихъ на постройкѣ на-

ходится его родной дядя-плотникъ, и возмущается отношеніемъ къ нему племянника, получающаго сотни и заставляющаго старика тянуть лямку за нѣсколько рублей въ мѣсяцъ. Шебуевъ соглашается, что онъ могъ бы „устроить безпечальную жизнь“ своему дядюшкѣ, но онъ не филантропъ и не для того онъ учился, а когда Малининъ, обезпокоенный его рѣзкимъ тономъ, начинаетъ опять извиняться, Шебуевъ окончательно успокаиваетъ его словами: „Дѣйствительно, обидно видѣть людей хорошихъ и честныхъ, когда они ставятъ себя въ зависимость отъ пустяковъ. Вѣдь что такое дядя-плотникъ? Пустякъ“!,.—„О, что это вы?—тихонько проговорилъ Малининъ. „Ну, да! Пустяки, мелочь!“,—подтвердилъ Шебуевъ. По сравненію же съ чѣмъ, съ какими иными крупными величинами является пустякомъ и мелочью отдѣльная личность дяди-плотника? Быть можетъ, въ виду коллективной личности всѣхъ плотниковъ, ихъ общаго блага, ихъ общихъ интересовъ, ихъ общихъ условій существованія, которыя должны быть измѣнены завтра, сейчасъ? Отвѣтъ на той же страницѣ. „Вы вотъ что, говоритъ Шебуевъ санитарному врачу—вы обнюхивайте мастерскія, обнюхивайте ихъ! И штрафуйте хозяевъ,—безпрестанно штрафуйте, высшей мѣрой штрафа! Бейте ихъ по карманамъ, сегодня, завтра, всегда! Бейте безъ пощады, жестоко разоряйте, если можно! А я зайду съ другой стороны! Я подъѣду съ проэктомъ дешевыхъ жилищъ для рабочихъ... вы понимаете? И ручаюсь вамъ, что въ пять лѣтъ рабочіе *въ городѣ* будутъ жить въ прекрасныхъ квартирахъ!“ Вотъ для какого бога приносится въ жертву такой „пустякъ“, какъ личность воспитателя-плотника: „проэктъ дешевыхъ жилищъ для рабочихъ... вы понимаете?“ Обратите вниманіе на подчеркнутое нами слово „въ городѣ“, и вамъ ясно станетъ, что рѣчь идетъ не болѣе, какъ о какомъ-нибудь думскомъ проэктѣ...

Итакъ, мы приближаемся къ благополучному выясненію конечныхъ идеаловъ великолѣпнаго героя изъ мужиковъ: земство и дума—вотъ куда его тянетъ общественный темпераментъ, вотъ гдѣ найдетъ себѣ приложеніе его несокрушимая и жизнедѣятельная энергія... А для этого,—сами знаете,—по нынѣшнимъ временамъ требуются деньги, и еще деньги. И „мужикъ“ думаетъ и денно, и нощно, думаетъ о деньгахъ. Это какая-то жажда денегъ, тоска по деньгамъ, культъ денегъ и не просто денегъ, сотенъ и тысячъ, а милліоновъ, обязательно милліоновъ, хоть четырехъ милліоновъ. Краснорѣчивымъ выразителемъ этого культа является въ разсказѣ „этотъ, какъ его? Чертъ его дери... противная рожа! Нагрѣшинъ“ (слова Шебуева), который вѣритъ, что „милліонъ можетъ переродить человѣка—можетъ“. Шебуевъ ругаетъ Нагрѣшина „противной рожей“ и увѣряетъ, что милліонъ ему нуженъ для „прикрытія наготы души“ своей, но все-же соглашается, что раздѣляетъ развиваемую имъ мысль, будто интеллигенціи мало одной моральной силы, что

съ одной ею она ничего не сдѣлаетъ и что поэтому ей нужно „вооружиться деньгами“. Весь остальной разсказъ написанъ какъ-бы въ подтвержденіе этой мысли, и впечатлѣніе это не покидаетъ насъ даже въ сравнительно красивой сценѣ посѣщенія Шебуевымъ Суркова въ его домѣ съ загадочнымъ и „умнѣйшимъ во всей Россіи старикономъ“. Весь разговоръ ихъ вращается около денегъ, и сцена кончается проэктомъ женитьбы на вдовѣ Лаптевой съ ея 4-мя милліонами.

Какъ ни почтительно и даже заискивающе относятся къ Шебуеву остальныя дѣйствующія лица разсказа, которыя, кстати сказать, и интереснѣе, и реальнѣе самого героя, но они не могутъ не видѣть нѣкоторыхъ его недочетовъ или, по крайней мѣрѣ, не выражать сомнѣній и опасеній на счетъ той несообразной высоты, на которую онъ взобрался и съ которой такъ легко полетѣть внизъ. Малининъ не только спрашиваетъ Шебуева, ясно-ли онъ представляетъ себѣ, для чего онъ учился и работалъ, но и сомнѣвается въ результатахъ его дѣятельности. Онъ говоритъ ему: „Сколько у васъ энергіи! И какъ жаль, что вамъ приходится тратить себя на мелочи. . . Это ужасно, знаете. Это даже трагично. Вы представьте себѣ ваше положеніе съ того момента, въ который для васъ станетъ ясно, что всю жизнь вы истратили на маленькія полезности и что всѣ они растворились въ жизни, но не обогатили ее, не облагородили человѣка. . . Какъ страшно станетъ вамъ тогда и какъ вы пожалѣете себя!“ Эти прекрасныя слова только раздражаютъ непреклоннаго архитектора, но примиряютъ насъ съ авторомъ, который творитъ не слѣпо и самъ понимаетъ проблематичность общественнаго типа, имѣющаго одно несомнѣнное достоинство, а именно, что „не похожъ на порядочнаго человѣка“, т. е. того либеральнаго „порядочнаго“ человѣка, портретъ котораго такъ живописно набросанъ ядовитымъ краснорѣчіемъ Суркова.

Это еще разъ даетъ намъ поводъ продолжить нашу параллель между образомъ „мужика“ и передового интеллигента не-мужика изъ романа г-жи Дмитріевой „Червонный хуторъ“, въ „В. Е.“ Параллель эта тѣмъ болѣе не лишняя, что она уясняетъ намъ рискованность и шаткость основной, исходной точки зрѣнія „мужика“, его исторической схемы о „смѣнѣ“ общественныхъ наслоеній, объ упраздненіи интеллигенціи и т. п. Интеллигентъ-отрицатель, интеллигентъ-идеологъ, интеллигентъ-протестантъ и реформаторъ не только остается на своемъ мѣстѣ, но и пріобрѣтаетъ особое значеніе при новыхъ народившихся условіяхъ. Они отнюдь не вытѣсняютъ его, и даже „пришедшій на смѣну“ говоритъ не-мужику: „штрафуйте, разоряйте, а я зайду съ другой стороны“. Въ романѣ г-жи Дмитріевой дѣло происходитъ болѣе обыденно и при условіяхъ усложнившейся крайне пестрой жизни юга съ расцвѣтомъ здѣсь капитализма. И однакоже Степанъ Павловичъ изъ „Червоннаго хутора“ никому не уступаетъ мѣста. . .

Переходимъ опять къ г. Горькому. Съ него начинать и имъ же кончать приходится, и не только потому, что онъ пишетъ, а еще и по той причинѣ, что о немъ пишутъ, много пишутъ. Это цѣлая литература, за которой услѣдить трудно,—книжная, журнальная, газетная литература. На-дняхъ только мы прочли въ одномъ изъ дальнихъ азіатскихъ изданій нашихъ корреспонденцію—статью изъ *Парижа,* излагающую рефератъ о Горькомъ, который былъ прочитанъ тамъ среди русскихъ однимъ проѣзжимъ писателемъ. И каждый, гдѣ бы и когда бы ни говорилъ о Горькомъ, находитъ въ немъ матеріалъ для своихъ умозаключеній, извлекаетъ изъ него что-нибудь, если и не новое, то оригинальное, достойное быть подчеркнутымъ. Интересны двѣ новыя статьи о Горькомъ: въ „В. Е.“—„Сцены изъ трехъ книгъ М. Горькаго“ г-жи Виницкой и въ „Жизни“—начало большой критической статьи г. Андреевича о босякахъ Горькаго, подъ названіемъ „Вольница“. Послѣдняя статья представляетъ серьезную попытку дать критическую оцѣнку какъ литературнымъ особенностямъ этого писателя, такъ и его героевъ. Въ ней мы уже нашли, хотя и разбросанными и не совсѣмъ развитыми, небезынтересныя и довольно новыя замѣчанія, а также старательное и вдумчивое отношеніе критика къ выдающимся чертамъ оригинальнаго творчества, занимающаго современные умы.

Вы помните, конечно, двѣ статьи Н. К. Михайловскаго о босякахъ Горькаго, напечатанныя года два назадъ, вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ двухъ первыхъ томиковъ г. Горькаго. Онъ называетъ босяковъ „чандалами“ русской культуры, характеризуетъ ихъ, какъ отверженцевъ и отбросы общества, способныхъ только „создать нарушеніе общественной тишины“, какъ Lumpenproletariat. Попутно отмѣчены были психологическія черты босяцкой „вольницы“, но задача критика была чисто общественная: показать, что Горькій не поэтъ четвертаго сословія и что его босяки не представляютъ собою особаго класса, на который могутъ быть возложены нѣкоторыя общественныя упованія. По обстоятельствамъ того времени, когда эти статьи были написаны, такой взглядъ и такое разъясненіе диктовались самой „смутой“ умовъ и возникавшими недоразумѣніями, но нынѣ этихъ объясненій недостаточно, и сама босяцкая психологія остается безъ достаточно вразумительныхъ комментаріевъ. Нѣкоторый пробѣлъ въ нихъ пополняется статьей г. Андреевича. „Босякъ—это тотъ человѣкъ, который *уйти* хочетъ, уйти отъ всего постояннаго, осѣдлаго, обязательнаго. Это самое главное, но этого недостаточно. . . Надо вглядѣться поближе въ эту удивительную жизнь. . . Что это? Меланхолическій темпераментъ, или водка, или злость, или исканіе подвига,—призывъ-ли свободы или просто жгучая, непримиримая ненависть къ рабству, дерзость мысли или ея растерзанность, борьба вольнаго чувства съ устоями и укладами жизни и презрѣніе къ нимъ, или же сознаніе своей неприспособленности и неудачли-

вости,—т. е. не борьба уже, а бѣгство, бѣгство въ кабакъ, трущобу, въ полную лѣнь и бездѣлье?“ Вопросы поставлены очень умно и, можно сказать, исчерпывающимъ образомъ, но отвѣты на нихъ даны неполные и, повторяемъ, отрывочные, не обработанные, какъ бы спѣшные и безпорядочные. Все же анализъ характеровъ Коновалова и Орлова приводитъ критика къ пониманію истинныхъ причинъ этой „вольницы“ и нѣкоторыхъ ея главныхъ пружинъ, какъ *тоска,* которая одинаково присуща героямъ Горькаго и Мельшина. Любопытна также характеристика того пріема, который нашли эти герои у нашей публики, и отношенія къ нимъ самого автора. Горькій, по мнѣнію автора, своеобразно идеализируетъ своихъ героевъ и любитъ ихъ, хотя не уменьшаетъ и не скрываетъ ихъ пороковъ и недостатковъ: онъ любитъ въ нихъ идею свободы и стремленія къ независимости, къ отрицанію обязательныхъ культурныхъ формъ, цѣпей общественныхъ условностей. „Мы оказываемся такимъ образомъ,—говоритъ онъ,—лицомъ къ лицу съ оригинальнымъ романтизмомъ, нѣсколько напоминающимъ старые разбойничьи романы, гдѣ молодецкая удаль и порывистая душевная щедрость замѣняли весь кодексъ общежитія и морали“. Характеризуя особенности этого романтизма въ отличіе отъ романтизма старыхъ романтиковъ, онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: „этотъ вѣчный романтизмъ—лучшій и главный источникъ міровой поэзіи. Конечно, онъ есть и у Горькаго; его даже очень много и въ частностяхъ, и въ общемъ настроеніи, сводящемся въ концѣ концовъ къ тому, что онъ поетъ славу „безумству храбрыхъ“. „Гордыня своего „я“, меланхолія, неизбѣжная при видѣ холопской и трусливой жизни, любовь къ природѣ и чуткое пониманіе ея—вотъ истинныя основанія того романтизма, о которомъ я говорю“. Это уже нѣкоторыя „основанія“ для истиннаго пониманія продуктовъ того вдохновенія, которое такъ много занимаетъ наше вниманіе.

Н. Геккеръ.



„Двадцать шесть и одна“.

Поэма М. Горькаго.

Этотъ разсказъ можно бы назвать „символистскимъ“, еслибы люди, выведенные въ немъ, не являлись глубоко и даже рѣзко реальными.

Символистическимъ же онъ можетъ назваться только потому, что идея, вложенная въ него, вынесена изъ гораздо болѣе широкаго круга явленій, и, благодаря этому, можетъ снова (будучи сознана по разсказу Горькаго) выступить изъ своей узкой рамки и явиться въ своемъ широкомъ и общемъ значеніи. Это-то я и попробою сдѣлать.

Авторъ разсказываетъ, что въ подвальномъ этажѣ большого дома была устроена хлѣбопекарня, въ которой работали двадцать шесть несчастныхъ пекарей; героиня разсказа, бѣлошвейка, назвала ихъ почему-то „арестантиками“. Жизнь этихъ пекарей была невыносимо тяжела: цѣлые дни они мѣсили и пекли хлѣбъ въ своемъ подвалѣ, почти не видя и не зная чистаго воздуха. Отъ этого они были вѣчно молчаливы, раздражены, грязны, оборваны. Изрѣдка кто-нибудь запѣвалъ пѣсню родины, и тогда всѣ немного оживлялись, подтягивая пѣвцу; иные задумывались глубоко, уходя всею мыслью въ прошлое.

Но были у нихъ и свѣтлыя мгновенія. На томъ же дворѣ находилась бѣлошвейная, и одна изъ дѣвушекъ ежедневно являлась къ нимъ,—живая, веселая, свѣжая и яркая, какъ лучъ весенняго солнца, какъ гостья изъ иного свѣтлаго міра. Она влетала на минуту и, подставляя свой фартукъ, говорила голосомъ, щебетавшимъ, какъ пѣніе птичекъ: „арестантики, дайте крендельковъ!“ И они давали, подвергаясь за это большой опасности отъ строгихъ хозяевъ. Такъ шло дѣло долго, очень долго. Они всѣ такъ привыкли къ посѣщеніямъ дѣвушки, такъ полюбили ее, что, казалось, еслибы ея не было, еслибы она, напримѣръ, умерла, то и ихъ жизнь не была бы возможна. И вотъ, однажды, въ другое отдѣленіе булочной,—отдѣленіе болѣе почетное,—поступилъ красавецъ-солдатъ. Впрочемъ, это вопросъ, былъ ли онъ красавцемъ, но у него была какая-то шелковая жилетка съ цвѣтами, на жилеткѣ блестѣла золотая цѣпочка, а на сапогахъ сверкали, какъ зеркало, лаки-

рованные отвороты. Этого было достаточно, чтобы всѣ бѣлошвейки сразу влюбились въ него, стали вѣшаться къ нему на шею, а разъ даже передрались и перещупались изъ-за него въ кровь.

Обо всемъ этомъ добродушный и словоохотливый солдатъ постоянно разсказываетъ пекарямъ-арестантикамъ, приходя въ ихъ подвалъ покалякать и похвастаться своими побѣдами.

Только одна дѣвушка не увлекалась солдатомъ, даже не обращала на него вниманія и относилась къ нему враждебно: это была та любимица обитателей подвала, о которой сказано выше.

И въ арестантикахъ назрѣла вѣра, что она никогда не увлечется солдатомъ, что она вѣрно останется той воплощенной чистотой, какую они знали. Эта вѣра была такъ сильна, что однажды, когда солдатъ пришелъ къ нимъ и сталъ описывать свои новыя побѣды, у главнаго пекаря сорвалось слово: „—Эка-молъ невидаль! Хорошъ ты, да не для всѣхъ!"

Солдатъ входитъ въ куражѣ: „Кто-жъ это можетъ устоять противъ его очарованія?"

Пекари, однако, не назвали имени. Но онъ догадывается самъ и предлагаетъ пари, что ровно черезъ двѣ недѣли дѣвушка будетъ принадлежать ему.

Наступаетъ томительное ожиданіе для „арестантиковъ" .Они вѣрятъ въ свою гостью изъ иного міра, но, вѣдь, и дьяволъ-солдатъ силенъ! Однако, вѣра у нихъ перевѣшиваетъ: они ждутъ терпѣливо, ничего не предпринимая. И вотъ, наступаетъ послѣдній день срока, назначеннаго солдатомъ. . . Подполье почти торжествуетъ побѣду: ихъ любимица во всѣ предыдущіе дни слетала къ нимъ такой же свѣтлой феей, какъ и раньше. . . Однако, въ этотъ день, ихъ ревнивые, вонзавшіеся въ ея душу взоры подмѣтили въ ней какую-то перемѣну. . . Ее встрѣтило гробовое молчаніе. . . Въ первый моментъ, она недоумѣваетъ:

—Что вы, арестантики, сегодня такіе? . .

—А ты сама какая?—слѣдуетъ вопросъ, вмѣсто отвѣта.

Она вся вздрогнула, вспыхнула, потомъ потемнѣла и упорхнула изъ ихъ подземелья, не взявъ крендельковъ.

А черезъ часъ вошелъ солдатъ и пригласилъ ихъ наблюдать черезъ щели ихъ крыльца, какъ дѣвушка пойдетъ на свиданіе съ нимъ въ укромное мѣстечко. . .

И они видѣли, какъ она шла. Видѣли, какъ она возвращалась счастливая, сіяющая. И тутъ-то послѣдовалъ потрясающій взрывъ ихъ поруганной вѣры въ нее. Они обступили дѣвушку, бранили ее ужасными словами; одинъ ужъ дернулъ ее за рукавъ, и дѣло могло кончиться дикой расправой,—быть можетъ, убійствомъ со стороны этой обезумѣвшей толпы. Но вдругъ дѣвушка гордо подняла голову и въ свою очередь бросила въ лицо толпы самыя тяжкія оскорбленія, какія только

нашлись въ ея сердцѣ, въ ея умѣ. . . Затѣмъ она гордо прошла среди разступавшейся толпы оскорбителей. . .

Они ужъ никогда не видали ее въ своемъ подвалѣ. . .

Чувствуете-ли вы глубокую мысль, заключенную въ этомъ простомъ, несложномъ разсказѣ?

Я ее понимаю такъ:

„Она“, это—идеалъ, это вѣра,—идеалъ и вѣра какіе бы то ни было, но, однако, такіе, которыми живо человѣчество, безъ которыхъ его жизнь была бы еще ужаснѣе, еще темнѣе, мертвеннѣе и постылѣе. . .

И вотъ, эта вѣра изрѣдка воплощается передъ забитыми, несчастными людьми: они видятъ ее среди себя во плоти, и счастливы. Но они такъ забиты, такъ лишены вѣры въ себя самихъ и чувство собственнаго достоинства, что взять это воплощеніе идеала, оставить его у себя, дать ему постоянную жизнь въ своей жизни,—имъ на умъ не приходитъ... Они только любуются имъ платонически въ извѣстныя мгновенія, когда онъ спускается въ ихъ подвалъ изъ другого міра, изъ другихъ этажей дома, гдѣ свѣтитъ солнце. Они умѣютъ только мечтать и вѣрить, что идеалъ придетъ самъ.

А въ это время, человѣкъ, увѣренный въ себѣ, смѣлый, рѣшительный, хотя и глубоко развращенный, овладѣваетъ этимъ идеаломъ, безъ любви къ нему, безъ сознанія его святости, его цѣны, его огромнаго значенія. . .

И тогда несчастные обитатели подвала проклинаютъ свой былой идеалъ, готовы растоптать его ногами, какъ будто онъ виноватъ въ томъ, что они его не взяли, не сберегли, не защитили, отдали на поруганіе первому смѣлому проходимцу! . .

Они вопятъ, что идеалъ обокралъ ихъ, укралъ у нихъ все самое дорогое, что привязывало ихъ къ жизни,—вѣру въ себя.

Но они никогда не поймутъ, что обокрали себя сами. . .

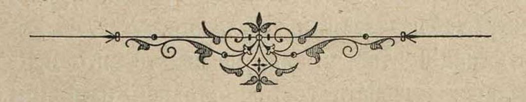
А идеалъ—поруганный, обезчещенный и даже ими самими затоптанный въ грязь, улетаетъ прочь, улетаетъ навсегда. . .

Хорошій разсказъ!

И нужно имѣть очень большой талантъ, чтобы сказать такъ много и такъ сильно въ такой формѣ и въ такомъ небольшомъ объемѣ. . .

Отъ г. Горькаго можно ожидать многаго.

Л. Е. Оболенскій.



Максимъ Горькій

и идеи его новыхъ героевъ.

(Критическій этюдъ).

I.

Немногимъ изъ писателей-беллетристовъ удавалось завоевать себѣ общественное вниманіе такъ быстро, какъ Максиму Горькому. Быть можетъ, онъ достигъ этого, приспособляясь ко вкусамъ толпы? Наоборотъ: все, что до сихъ поръ вышло изъ-подъ его пера, должно бы скорѣе отталкивать „большую публику", чѣмъ привлекать къ нему: въ его произведеніяхъ множество теоретическихъ разговоровъ, чего „большая публика" не любитъ; герои его первыхъ этюдовъ грязны, пьяны и принадлежатъ къ подонкамъ общества, неинтереснымъ „большой публикѣ", любящей, хотя бы въ воображеніи, пожить жизнью и сентиментами князей, графовъ... У Горькаго нѣтъ и мелочной изящной отдѣлки деталей, излюбленной „большой публикой", которая въ этомъ отношеніи избалована новѣйшими беллетристами. Наоборотъ, его художественные пріемы напоминаютъ отчасти пріемы Рѣпина въ живописи, съ тою, однако, разницей, что Рѣпинъ, бросая на свои картины и портреты огромные, аляповатые мазки, руководится (я смѣю это думать) больше теоріей, чѣмъ внутренней потребностью, а у Горькаго это—результатъ огромнаго внутренняго чувства, мучительнаго исканія „правды жизни", которое не даетъ ему задуматься ни на минуту о деталяхъ, о формѣ, о пріемахъ. Его краски, эпитеты, слова вырываются сами собою, безъ его вѣдома, изъ сердца, измученнаго „сутолокой и буреломомъ", безобразіями и „тѣснотой жизни",—какъ вырываются вопли изъ груди раненнаго. И въ этомъ ихъ страшная сила. Отнимите у нихъ эту непосредственность, эту желѣзную грубость и раскаленность, и у насъ былъ бы обыкновенный художникъ, а не Максимъ Горькій, бьющій по сердцу, какъ молотомъ, вызывающій бурю мыслей и настроеній.

Въ этомъ, т. е. въ *страстности его „исканій"*—его сила, его оригинальность и его власть надъ толпой,—конечно, не считая крупнаго таланта наблюдателя и психолога.

Для иллюстраціи этой мысли, позвольте мнѣ привести сдѣланное Горькимъ описаніе душевнаго состоянія одного изъ самыхъ интересныхъ его героевъ, Ѳомы Гордѣева. Это—молодой богачъ изъ купеческаго

сословія, съ огромнымъ умомъ и сердцемъ, но совершенно не культивированный. Когда онъ думалъ о жизни людей (а думалъ онъ о ней постоянно, неотступно, это была его idée fixe), эта жизнь представлялась ему въ видѣ „темной толпы людей, неисчислимо большой и даже страшной огромностью своей. Столпившаяся гдѣ-то въ котловинѣ, окруженной буграми и полной пыльнаго тумана, эта толпа въ смутномъ смятеніи толкалась на одномъ и томъ же мѣстѣ и была похожа на зерно въ ковшѣ мельницы. Какъ будто невидимый жерновъ, скрытый подъ ногами, мололъ ее, и люди волнообразно двигались надъ нимъ, не то стремясь внизъ, чтобы тамъ скорѣе быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверхъ, въ стремленіи избѣжать безжалостнаго жернова... Шумъ, вой, смѣхъ, пьяные крики, азартный споръ о копейкахъ, пѣсни и плачъ носятся надъ этой огромной, суетливой кучей живыхъ человѣческихъ тѣлъ, стѣсненныхъ въ ямѣ; они прыгаютъ, падаютъ, ползаютъ, давятъ другъ друга, вспрыгиваютъ на плечи другъ другу, суются всюду, какъ слѣпые, всюду наталкиваются на подобныхъ себѣ, борются и, падая, исчезаютъ изъ глазъ. Шелестятъ деньги, носятся, какъ летучія мыши, надъ головами людей, а люди жадно простираютъ къ нимъ руки“... и т. д., и т. д.

Когда жизнь представляется въ такомъ видѣ, то изъ груди сами собою рвутся вопли и крики у того, кто стоитъ вверху, въ сторонѣ, и видитъ все, и хочетъ, и не можетъ остановить эту свалку. Такъ и было съ Ѳомой Гордѣевымъ, и такъ, смѣю думать, чувствуетъ самъ авторъ.

„Въ груди его (Ѳомы) возникало что-то хаотическое, одно большое, неопредѣленное чувство, въ которое, какъ ручьи въ рѣку, вливались и страхъ, и возмущеніе, и жалость, и злоба, и еще многое. Все это *вскипало въ груди до напряженнаго желанія,* расширявшаго ее,—до желанія, отъ силы котораго онъ *задыхался,* на глазахъ его являлись слезы и ему хотѣлось *кричать, выть звѣремъ, испугать всѣхъ людей*—остановить ихъ безсмысленную возню, влить въ шумъ и суету ихъ жизни что-то новое, свое, сказать имъ какія-то громкія, *твердыя* слова (NB), направивъ ихъ всѣхъ въ одну сторону, а не другъ противъ друга. Ему хотѣлось *хватать ихъ руками за головы,* отрывавъ другъ отъ друга“... и т. д.

Но тутъ новая мука: „онъ чувствовалъ, что какъ бы громко и могуче ни крикнулъ имъ: „Какъ живете? Не стыдно-ли?“—они могутъ и должны отвѣтить вопросомъ: „А какъ нужно жить?“ Онъ прекрасно понималъ, что, послѣ такого вопроса, ему пришлось бы слетѣть съ высоты кувыркомъ, туда, подъ ноги къ людямъ, къ жернову. И смѣхомъ бы проводили они его гибель“.

И вотъ откуда возникаетъ это страстное, даже болѣе,—это „жадное“ исканіе „смысла жизни“, заставляющее Ѳому обращаться и къ

интеллигентамъ всевозможныхъ типовъ, и къ странникамъ, и, не получая нигдѣ отвѣта, бросаться въ пьянство, оргіи, дебоши, ненавистныя и отвратительныя ему больше, чѣмъ кому-либо изъ всѣхъ окружающихъ его и порицающихъ его жизнь.

И такое же страстное исканіе видимъ у Горькаго. Онъ также мечется и допрашивается правды у всѣхъ, существующихъ среди насъ, идей и направленій. И это доходитъ до того, что Н. К. Михайловскому, тщательно изучившему произведенія Горькаго, показалось возможнымъ воскликнуть въ концѣ своей статьи о немъ: „И неужели этой силѣ суждено зачахнуть въ какой-нибудь нашей „ямѣ“, или увѣровать въ тонкость и остроту „*декадентскихъ*“ иглъ?“ („Русск. Бог.“ 1898 г. 10, стр. 93).

Даже декадентскихъ!

Это было написано еще до появленія „Ѳомы Гордѣева“ и „Мужика“. Интересно изслѣдовать теперь, въ какую сторону направились исканія этого могучаго таланта, и можно ли ожидать, по этому направленію, что онъ „заглохнетъ въ ямѣ“ или дойдетъ до декадентства?

II.

Я не ошибусь, если скажу, что теперь Максима Горькаго охватило стремленіе—искать объясненія смысла жизни и своихъ типовъ въ *принадлежности ихъ къ тому или другому общественному классу*. Правда, еще рисуя своихъ босяковъ, авторъ уже задавался вопросомъ о необходимости отнести ихъ въ особый „классъ“ (пролетаріатъ?). Но онъ тогда не связалъ,—мнѣ думается,—ясной нитью ихъ частныя черты съ идеей пролетаріата. Передъ нимъ мелькало через-чуръ много типовъ, они были крайне разнообразны, иногда противоположны (протестующіе и созерцатели, жестокіе и кроткіе etc.). Наконецъ, они отличались особой сложностью, такъ какъ носили въ себѣ смѣсь чертъ своей бывшей принадлежности къ разнымъ классамъ съ чертами, вложенными въ нихъ общественной отверженностью: тутъ были—и бывшій ротмистръ, и дьяконъ, и учитель, и мастеровой... Наконецъ, общія черты, свойственныя имъ всѣмъ,—неудачничество, пьянство, развратъ,—вообще.

Только въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“ (1899 г.), мы видимъ отчетливую попытку свести къ „классовому“ объясненію цѣлый рядъ фигуръ, и именно фигуръ „интеллигентныхъ“. Почему только ихъ, это—вполнѣ понятно: вѣдь, отъ нихъ привыкли всѣ ожидать „направленія“ жизни, свѣта, отвѣтовъ на вопросы: „какъ же слѣдуетъ жить?“

Такимъ образомъ, нужно внести дополненіе въ мое первое опредѣленіе того курса, который взяли теперь исканія Максима Горькаго. Это—не просто объясненія типовъ принадлежностью къ классу, а объ-

ясненіе направленій, недостатковъ, неудовлетворительности существующихъ *типовъ русской интеллигенціи* классовыми причинами. Мы видимъ уже въ „Мужикѣ“, для чего это нужно Максиму Горькому: этимъ путемъ онъ надѣется намѣтить (и въ „Мужикѣ“ старается намѣтить) приходъ новыхъ типовъ „интеллигенціи“ изъ другихъ классовъ, еще не выступавшихъ въ исторіи. И вотъ, быть можетъ, они дадутъ, наконецъ, отвѣтъ Ѳомѣ Гордѣеву.

III.

Прежде, чѣмъ бросимъ взглядъ на эти попытки, замѣтимъ, что и до Максима Горькаго, въ нашей литературѣ возникали не разъ стремленія объяснить типы нашей интеллигенціи ихъ происхожденіемъ отъ разныхъ общественныхъ классовъ. Отсюда явилось, напр., представленіе о „кающемся дворянинѣ“. Если не ошибаюсь, Помяловскій пустилъ въ ходъ типъ „интеллигентнаго пролетарія“ и рядомъ съ нимъ типъ „*мѣщанскаго* счастья“. Глѣбъ Успенскій старался подмѣтить причины особенностей нашего крестьянства—въ занятіяхъ земледѣліемъ („Власть земли“); изъ критиковъ-публицистовъ г. Михайловскій старался объяснить, напр., философію Спенсера его принадлежностью къ буржуазному классу (см. его статьи о соч. Спенсера, „Изученіе соціологіи“ и др.)

М. Горькій стоитъ не особнякомъ въ нашей литературѣ, но онъ отличается отъ предшественниковъ силой, страстностью и глубиной захвата жизненныхъ фактовъ именно съ точки зрѣнія этой идеи.

Его пріемъ (конечно, непредумышленный, какъ я уже объяснилъ выше, а непосредственно-рвущійся изъ сердца, какъ продуктъ страстнаго исканія) состоитъ въ томъ, что онъ, наряду съ индивидуальными чертами героя, схватываетъ и семейныя, наслѣдственныя, сложившіяся подъ вліяніемъ профессіи (класса) и усиливаетъ эти послѣднія до такой яркости, что передъ нами встаетъ уже не обыденная фигура, которую въ жизни мы бы и не замѣтили, а полуреальное, полу-идеальное, почти символическое изваяніе, монументъ цѣлаго сословія въ его типичныхъ чертахъ.

Начнемъ съ типа молодого Маякина (въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“). Это—сынъ купца—умнаго, пронырливаго, почти геніальнаго хищника, изъ котораго Горькій сдѣлалъ тоже „монументъ“, символъ (но живой символъ) коммерціи,—этого царства Меркурія, съ крыльями на ногахъ. Маякинъ-отецъ—весь воплощенное движеніе, иногда просто ради движенія, а часто—изъ корысти, не освѣщенной никакой этикой, никакими проблесками совѣсти.

Сынъ есть новѣйшее развитіе этого типа: онъ началъ съ „идей“, за которыя былъ даже сосланъ, но мало-по-малу сбросилъ эту первую шкурку, и изъ него вышелъ интеллигентный „буржуа“, символъ

вѣры котораго таковъ: „Источникомъ неудовлетворенія (современныхъ интеллигентовъ русскихъ) является неумѣніе трудиться... недостатокъ уваженія къ труду. Человѣкъ долженъ себѣ избрать дѣло по силамъ и дѣлать его, какъ можно внимательнѣе. Нужно любить то, что дѣлаешь (а если нельзя любить? А другого дѣла нѣтъ?), и тогда трудъ, даже самый грубый, возвышается до творчества (это, напримѣръ, у кочегара на фабрикѣ—творчество?). Счастье есть возможно полное удовлетвореніе потребностей и обусловлено отношеніемъ человѣка къ его труду“ (IV, 338—339).

Здѣсь вся суть этики и философіи буржуазнаго типа, и положительно удивляешься автору, сумѣвшему въ десяткѣ словъ схватить эту суть.

Но онъ показываетъ намъ и болѣе глубокій, скрытый механизмъ души Маякина-сына: Ѳома Гордѣевъ пробуетъ возразить ему изъ своего протестующаго „нутра“ тѣмъ, что „работа еще не все для человѣка“: Это не вѣрно, что въ трудахъ оправданіе,—говоритъ онъ:—которые люди не работаютъ ничего всю жизнь, а живутъ они лучше трудящихъ... Это какъ? А трудящіе—они просто несчастныя лошади! На нихъ ѣдутъ, они терпятъ... и больше ничего... Но они имѣютъ передъ *Богомъ* оправданіе... Ихъ спросятъ: вы для чего жили, а? Тогда они скажутъ: намъ некогда было думать насчетъ этого... Мы всю жизнь работали... А я какое оправданіе имѣю? Полагаю, что непремѣнно *всѣмъ надо твердо знать, для чего живешь*“. (IV, 340).

На это Маякинъ-сынъ отвѣчаетъ не Ѳомѣ (съ которымъ-де и разговаривать не стоитъ), а своей сестрѣ, присутствующей при разговорѣ:

—Вотъ, Люба, обрати вниманіе: пессимизмъ совершенно чуждъ англо-саксонской расѣ... То, что называютъ пессимизмомъ у Свифта и Байрона,—только жгучій, ѣдкій протестъ противъ несовершенствъ жизни и человѣка... А холоднаго, разсудочнаго пессимизма у нихъ не встрѣтишь“. (IV, 341).

Вотъ механизмъ этой души, съ помощью котораго она отмахивается отъ голоса этики и совѣсти: подвелъ вопросъ подъ категорію такихъ вопросовъ, которые считаетъ отпѣтыми, потому что ихъ нѣтъ у англосаксонской расы, и свободенъ отъ него! А Ѳомѣ посовѣтовалъ *читать книжки*.

Въ этомъ совѣтѣ проглядываетъ мысль, къ которой Горькій возвращается не разъ (какъ увидимъ далѣе) о вредѣ „книжности“. И, въ самомъ дѣлѣ, на первый взглядъ оно какъ будто и такъ: Ѳома никогда ничего не читаетъ, и онъ полонъ чувства, въ немъ болитъ совѣсть. Маякинъ-сынъ прочелъ много книгъ и ими отмахивался отъ совѣсти, совѣтуя тотъ же пріемъ и Ѳомѣ.—Но вѣрно ли это? Въ книжкахъ ли дѣло? Въ одномъ мѣстѣ Горькій замѣчаетъ, что Ѳома Гордѣевъ—по женской линіи потомокъ суровыхъ старообрядцевъ-керженцевъ. Не вѣрнѣе ли объяснить его крайнюю противоположность Маякину именно тѣмъ,

что въ глубинѣ души, наслѣдственно, онъ—суровый этическій аскетъ? Но онъ сбитъ съ толку, съ одной стороны, старо-купеческими привычками къ кутежу, разгулу и „ндраву моему не препятствуй", а съ другой—новѣйшей цивилизаціей, съ ея безцѣльной сутолокой, огромной производительностью, не дающей никому счастья, но крутящей всѣхъ, какъ вихрь-ураганъ. . . Отсутствіе знанія—смерть для такого человѣка, такъ какъ онъ не можетъ безъ него разобраться въ противорѣчивыхъ словахъ, тянущихъ его въ разныя стороны.

А Маякинъ-сынъ отмахнулся бы отъ совѣсти и безъ книжекъ, какъ отмахивался его отецъ. Книжки дали ему только иные аргументы, чѣмъ у отца, который, впрочемъ, иногда тоже приводитъ славянскіе тексты изъ разныхъ книжекъ. Слѣдуетъ помнить, что книжка есть только фонарь, безъ котораго нельзя итти въ темнотѣ, но фонарь служитъ и святому, и разбойнику. Цѣль человѣка опредѣляется не книжкой, а его натурой, потребностями, чувствованіями, совѣстью. Книжки же только освѣщаютъ и указываютъ путь для достиженія цѣли, и вотъ для этого онѣ необходимы. Одинаковая бѣда и отъ того, что отрицаютъ книжку, и отъ того, что въ ней думаютъ отыскать цѣль жизни. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ источникъ ошибки одинъ: не понимаютъ назначенія книжки—служить свѣточемъ *для всѣхъ воль,* а не пересоздавать эти воли.

IV.

Еще болѣе интереснымъ типомъ въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ" является интеллигентъ изъ разночинцевъ, талантливый, озлобленный, страстно-идейный провинціальный фельетонистъ Ежовъ. Онъ—сынъ отставного солдата, выкарабкавшійся къ свѣту страшными усиліями и двѣнадцати-лѣтнимъ сидѣніемъ „надъ книжками". Въ этомъ онъ видитъ источникъ своего теперешняго безсилія, ничтожества передъ жизнью и ея зломъ, которое онъ можетъ только ненавидѣть, громить и проклинать въ своихъ фельетонахъ, а дальше—пить!

Позднѣе мы увидимъ изъ рѣчи Шебуева (интеллигента изъ мужиковъ), какъ объясняется имъ безсиліе Ежова съ классовой точки зрѣнія, а теперь я передамъ вамъ (къ сожалѣнію, для краткости, своими словами) одну сцену, весьма важную. Наборщики пригласили Ежова на загородную прогулку, по случаю устройства у нихъ артели (по иниціативѣ Ежова). Захватили на это торжество и Ѳому Гордѣева. И вотъ Ѳома замѣчаетъ, что Ежовъ сталъ совсѣмъ другой, чѣмъ обыкновенно: онъ—какой-то торжественный и даже какъ будто заискиваетъ у рабочихъ. Въ своемъ тостѣ онъ восклицаетъ: „Будущее принадлежитъ вамъ! Я вашъ по плоти и духу! Я—сынъ солдата!" Между тѣмъ, наборщики явно стѣсняются его, не уговариваютъ его остаться, а Ѳому Гордѣева оставляютъ: онъ имъ ближе, роднѣе. У нихъ свои разговоры не объ

отдаленномъ будущемъ, а о хлѣбѣ насущномъ: „какъ бы добиться у хозяина,—просятъ они Ежова,—чтобы штрафы за неявку брали только съ неявившихся по своей винѣ, а не по болѣзни“ и т. п.

Среди нихъ слышатся и такія рѣчи: „А вы, Николай Матвѣевичъ, судите не по книжкѣ, а по *живой* правдѣ... Вѣдь, за кусокъ-то хлѣба не по книжкѣ работаютъ, а по необходимости, и какъ Богъ на душу положитъ, а не какъ въ правилахъ вашихъ написано“...

Ежовъ чувствуетъ свою „чуждость“ въ этой средѣ, въ которой теоретически онъ привыкъ видѣть все: всѣ свои надежды, цѣли, свою пристань и родной домъ. И вотъ онъ ревнуетъ рабочихъ къ Ѳомѣ и, раздражаясь, говоритъ:

—Да, вѣдь, онъ изъ тѣхъ, которые пьютъ вашу кровь!—Рабочіе стараются деликатно замять эту рѣчь, становятся еще ласковѣе съ Ѳомой и уже почти не слушаютъ Ежова. Ѳома все это чувствуетъ и понимаетъ сердцемъ: онъ видитъ, что эти люди, долго задыхавшіеся въ свинцовой атмосферѣ, пришли сюда вздохнуть свѣжимъ воздухомъ, отдохнуть, повозиться, попѣть, а ихъ заставляютъ разсуждать объ ихъ „великомъ“ будущемъ. Онъ чувствуетъ и за Ежова, и жалѣетъ его, а когда тотъ, уходя домой, въ темную ночь, плачетъ, корчится въ нервномъ припадкѣ и кричитъ, что у него „нѣтъ дома“, Ѳома, „возмущенный страданіемъ человѣка, *измученнаго тѣснотой*, полный обиды за него, въ порывѣ злой тоски, зарычалъ громкимъ голосомъ, обратившись туда, гдѣ сверкали огни города:

—Анаѳемы! Будь вы прокляты! Погодите! И вы задохнетесь!“

V.

Прежде, чѣмъ мы сдѣлаемъ выводы изъ этой сцены, перейдемъ къ *интеллигенту-мужику* (онъ же и архитекторъ Шебуевъ) и прежде всего къ его объясненію неудачъ *интеллигента-разночинца* (очеркъ „Мужикъ“, „Жизнь“ за мартъ 1900 г.).

—У насъ былъ интеллигентъ-дворянинъ,—говоритъ Шебуевъ,—онъ на своихъ плечахъ внесъ на родину культуру Запада, создалъ огромныя, вѣчныя цѣнности и все-таки отцвѣлъ, не окупивъ и половины затратъ, которыя употребила страна на то, чтобы возростить его... На смѣну ему явился *интеллигентъ-разночинецъ*. Этотъ дешево стоилъ странѣ: онъ явился въ жизнь какъ-то сразу и своей огромной силой поднялъ страшный грузъ. Онъ *надорвался* въ трудѣ и нынѣ тоже отцвѣтаетъ (вспомните, читатель, Ежова). Можетъ быть, онъ возродится? Не знаю... не охотникъ я до гаданій... Думается мнѣ, что дворянинъ и розночинецъ потому такъ скоро устали жить, что *одиноки были. Родни въ жизни* у нихъ *не было*, работали они для *человѣчества и народа*, а это—величины *мало реальныя, не осязатель-*

ныя. . . На смѣну имъ идетъ *мужикъ, рабочій интеллигентъ*, и въ то же время растетъ буржуа, *купецъ-интеллигентъ*"...

Въ Шебуевѣ, именно, и выведенъ мужикъ-интеллигентъ. Въ чемъ же его отличіе отъ интеллигента-разночинца? Прежде всего, у него въ жизни есть „родня" (свой „классъ"), поэтому, его „первая задача— *расширить дорогу къ свѣту для своего брата-мужика, для брата по крови*, оставшагося внизу и позади... *свой братъ—это ужъ реальность*". . . Въ другомъ мѣстѣ онъ выражается опредѣленнѣе: „Я не вижу въ своей задачѣ ничего героическаго. . . Вѣдь, я въ сущности не сказалъ новаго слова. Что я сказалъ? Не надо забывать тѣхъ, кто остался сзади насъ, тѣмъ болѣе не надо, что мы сами только что явились оттуда. *Вы отмѣтьте—мы сами оттуда, это* очень важно! *Намъ не изъ состраданія, не изъ высшихъ соображеній*, а изъ простого расчета не слѣдуетъ забывать о нашихъ товарищахъ, живущихъ въ грязи въ то же время, какъ мы попали на лоно культуры. . . Насъ, демократовъ *по крови, еще не такъ много*, чтобы намъ не заботиться о судьбѣ нашихъ товарищей".

Дѣйствительно, большая разница должна быть въ результатахъ прогресса просвѣщенія оттого,—стараются ли люди за кровныхъ, или работаютъ во имя высшихъ соображеній и состраданія. Мотивъ, въ первомъ случаѣ, проще, общедоступнѣе, а потому онъ если и не интенсивнѣе, то большую массу людей способенъ двигать. Наоборотъ, героевъ отвлеченной идеи всегда не много *).

Итакъ, соглашаясь съ тѣмъ, что, чѣмъ больше будетъ притекать къ интеллигенціи мужиковъ-интеллигентовъ, тѣмъ дѣло свѣта для массы пойдетъ быстрѣе, я долженъ, однако, остановиться на обвиненіяхъ Шебуева, направленныхъ противъ современныхъ интеллигентовъ-разночинцевъ. Вотъ главныя изъ этихъ обвиненій: „они односторонне развившіеся люди, люди только ума, а жизнь требуетъ гармоническаго человѣка, который былъ бы не только уменъ, но и добръ: только тогда онъ будетъ жизнедѣятеленъ, т. е. будетъ умѣть не только примѣняться къ жизни, но и измѣнять ея условія, согласно роста своего „я". *Насъ очень много, господа!* И по *количеству мы давно ужъ сила*. У насъ много желаній—хорошихъ, честныхъ . . . затѣмъ у насъ *потоки рѣчей и ни крупицы дѣла!* Ну, пожалуй, крупицы есть,—всѣ эти журналы, романы, статьи, именно крупицы, не болѣе. . . Одни изъ насъ пишутъ, другіе читаютъ, прочитавъ спорятъ, поспоривъ, забываютъ прочитанное . . . а возъ нашихъ идеаловъ и нынѣ тамъ, если не подвинулся назадъ". . .

Откровенно говоря, въ этомъ очень, очень много правды. Но гдѣ же причина? Съ одной стороны, снова обвиняется (и, кажется, глав-

*) Самъ Шебуевъ признаетъ въ другомъ мѣстѣ, что героическое самоотверженіе вызывается борьбой за идеалъ жизни, а не за кровные интересы.

нымъ образомъ) наша „книжность“: „чувство наше покрылось книжной пылью, изъѣдено молью довольно пошлыхъ сомнѣній, которыми мы еще рисуемся. Послушайте нашихъ поэтовъ и писателей. . . Жизни мы не знаемъ,—съ дѣтства учимся грамотѣ, лѣтъ по десяти кряду, а потомъ живемъ въ углахъ на содержаніи нашего воображенія. Кормимся мы литературой, а здоровую пищу непосредственныхъ впечатлѣній нашъ мозгъ отказывается переваривать. Когда жизнь насмѣшливо броситъ намъ въ лицо однимъ изъ своихъ безчисленныхъ противорѣчій, мы тотчасъ бросаемся къ книгѣ, чтобы посмотрѣть: „а что тамъ написано“. . . „Между тѣмъ, любовь къ идеалу, это—чувство дѣятельное и страстно склонное къ жертвѣ. Жизнь, это—прекрасный процессъ созиданія идей, накопленія красоты и мудрости, неустанное *творичество новыхъ формъ*. Но жизнь-то мы и не любимъ (идутъ доказателства). Мы любимъ какую-то частность, что-то выдуманное нами, но только не идеалъ жизни“ (145).

Шебуевъ употребляетъ мѣстоименіе „мы“, но, въ концѣ 145 страницы, говоритъ, что „имѣлъ въ виду интеллигента-разночинца“. Себя онъ считаетъ новымъ типомъ „интеллигента-мужика“. Чѣмъ же, не на словахъ, а въ дѣйствіи онъ отличается отъ перваго? Пока не многимъ: . . . „они ходятъ въ гости только другъ къ другу, отчасти, какъ бы боясь растратить среди нечестивыхъ свои идеи,—что доказываетъ ихъ недостаточную увѣренность въ этихъ идеяхъ, отчасти же—потому, что имѣютъ преувеличенно-высокое мнѣніе о себѣ“. Шебуевъ же ходитъ всюду; ему знакомъ весь городъ. Въ результатѣ, ему удается подбить одного купца—выстроить „народный домъ“ съ аудиторіей, библіотекой etc.

Судя по тому, что, сообщая объ этой новости знакомымъ, Шебуевъ мраченъ, можно заключить, что онъ считаетъ эту побѣду неважной. Но тутъ разсказъ прерывается; что сдѣлаетъ Шебуевъ дальше,—скажетъ будущее. Пока же мы не видимъ, чтобы онъ дѣлалъ или собирался дѣлать что-нибудь, чего не дѣлали его предшественники (интеллигенты-разночинцы). И у нихъ главнымъ дѣломъ было—„вносить свѣтъ къ оставшимся тамъ, внизу“, и среди нихъ далеко не всѣ ходили только „къ своимъ“, чуждаясь остального общества. Но они дѣлали и больше, гораздо больше.

Возможность создавать что-нибудь *новое* въ жизни дается только предшествующей работой созиданія тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ можно создать это новое. Черезъ это не перескочишь! Какъ бы ни былъ великъ энтузіазмъ буровъ, но они не побѣдятъ англичанъ, пока у нихъ не будетъ больше войска. То же и относительно выступанія на сцену исторіи разныхъ группъ. Интеллигентъ-дворянинъ могъ высупить раньше разночинца и мужика, потому что даже юридическія нормы не допускали другого. Конечно, отдѣльные гиганты, какъ мужикъ - Ломоносовъ, или мѣщане—Никитинъ, Кольцовъ, или разночинецъ Бѣлинскій,—могли подняться и пробиться черезъ всякія нормы, но, вѣдь, такихъ два-три и

обчелся. Но вотъ естественно, что первой задачей всякой нарождавшейся интеллигенціи (будетъ ли она изъ дворянъ или изъ мужиковъ, какъ Ломоносовъ, или изъ мѣщанъ и разночинцевъ, какъ Никитинъ, Бѣлинскій), является одно: увеличить сперва свои кадры, и, конечно, вначалѣ—по линіи наименьшаго сопротивленія, т. е. въ своей ближайшей средѣ. Когда же кадры настолько достаточны, что можно уже вліять и на жизнь, на тѣ ея юридическія нормы, которыя мѣшаютъ свѣту проникнуть и ниже, а стоящему внизу—подняться вверхъ, тогда мы видимъ, что у насъ и интеллигентъ-дворянинъ, и интеллигентъ-разночинецъ (напр., лучшіе люди 60-хъ годовъ) добиваются освобожденія крестьянъ, созданія земства (а съ нимъ и десятка тысячъ школъ для народа), созданія печати, несомнѣнно болѣе свободной, чѣмъ она была ранѣе и т. д. и т. д.

Такимъ образомъ, расширился не только тотъ кругъ, на который могли падать теперь лучи свѣта, но и облегчился подъемъ снизу. И вотъ теперь оттуда уже идутъ не единичные гиганты Ломоносовы, а сотни и тысячи самыхъ обыкновенныхъ Шебуевыхъ. Кто же это сдѣлалъ для нихъ? А далѣе: изъ кого, какъ не изъ десятковъ тысячъ интеллигентовъ-разночинцевъ, подготовленныхъ другими интеллигентами—дворянами и разночинцами, создались народные учителя, земскіе врачи, женщины-врачи, фельдшерицы, вносившіе тотъ свѣтъ внизъ, который создалъ этихъ Шебуевыхъ, и ихъ мечту—подняться вверхъ?

Но почему-жъ теперь этотъ самый интеллигентъ-дворянинъ и интеллигентъ-разночинецъ (не только „поднявшіе“ огромный грузъ, но и сдѣлавшіе гигантское историческое дѣло въ какихъ-нибудь 50 лѣтъ) вдругъ „отцвѣтаютъ“? Почему имъ нѣтъ работы? Шебуевъ говоритъ, что, быть можетъ, они еще воскреснутъ, но его факты говорятъ другое, и онъ можетъ отвѣтить мнѣ: „вы согласились со мной, что моя картина бездѣйствія современной интеллигенціи вѣрна“.

Да, вѣрна, но объясненіе ея, по моему, невѣрно.

Прежде всего, я не согласенъ съ вами, что этой интеллигенціи „много, очень много,—что по количеству она уже сила“.

Ея едвали много даже для стараго дѣла, остающагося еще и теперь новымъ, т. е. для внесенія все большаго и большаго свѣта въ „низины и ямы“, гдѣ еще царитъ почти тьма, въ огромномъ большинствѣ. Но ея совсѣмъ мало вообще, для болѣе широкой дѣятельности. Посмотрите: вы сами, бесѣдуя передъ кружкомъ интеллигентовъ цѣлаго губернскаго города,—сколькихъ можете насчитать? Пять-шесть, да и среди нихъ борьба за слова,—за неимѣніемъ живого дѣла,—доходитъ до взаимной вражды, почти ненависти. А Ежовъ? Онъ совсѣмъ одинокъ на цѣлый губернскій городъ. Такъ не поэтому ли, г. Шебуевъ, интеллигенція *пока* ударилась въ книжную жизнь? Не поэтому ли у нея (какъ результатъ неупражненія) ослабѣли —и воля, и сила чувствованія, и сила дѣйствія? Не поэтому ли въ ея средѣ идетъ вражда за идеи

и слова,—вражда, которая при невольномъ бездѣльи принимается за факты и за самую жизнь.

Не ясно ли, что задача теперешней интеллигенціи фатально пока та же, какая была и у всѣхъ прежнихъ (да и вы сами провозглашаете ту же задачу), а именно—расширять, все еще расширять кругъ освѣщенныхъ, пополняя тѣмъ свои кадры. И невѣрно, что интеллигенція (хотя бы дворянская и разночинеческая) не имѣла и не имѣетъ „родни“ въ жизни. Она имѣетъ ее во всѣхъ, кто, просвѣщаясь, становится интеллигентомъ, потому что интеллигенція, эта—классъ, и ея борьба имѣетъ не фантастическій, а вполнѣ реальный объектъ: тьму, безправіе мысли и слова. И у нея не одни „высшія соображенія“ являются мотивами, но и самые кровные интересы существованія. Развѣ не ради самосохранія Ежовъ старается отыскать себѣ „родню“ въ наборщикахъ, и онъ терпитъ неудачу, конечно, не потому, что онъ сынъ солдата (разночинецъ) и много учился. Нѣтъ, эти типографщики сами, быть можетъ, дѣти солдатъ. Ихъ раздѣляетъ только то, что *они* еще *мало учились,*—что общій кругъ просвѣщенія еще очень не широкъ. И въ такое время говорить противъ книжности—ошибка. Конечно, книжка сама по себѣ ничего не создаетъ: создаютъ потребности, чувства, инстинкты. Но они для своей силы (которая въ единеніи съ другими) нуждаются въ сознаніи, а для своего шествія впередъ нуждаются въ знаніи путей,—значитъ,—въ свѣтѣ. Это зависитъ отъ интеллигенціи. А желанія и жажда лучшей жизни есть и безъ нея; о нихъ нечего заботиться. Не рано ли еще интеллигенціи дѣлиться по классамъ на враждующія группы? Это еще успѣется. . .

Л. Е. Оболенскій.



Талантъ Максима Горькаго.

Въ Петербургѣ (а, быть можетъ, и не въ одномъ Петербургѣ) теперь самымъ „моднымъ“ писателемъ является Максимъ Горькій.

Среди попытокъ охарактеризовать молодого автора выдѣляются замѣтки о немъ Н. К. Михайловскаго; гораздо слабѣе,—иногда до наивности (см. цитаты, приводимыя ниже)—статьи М. А. Протопопова, который почти всю суть идейнаго содержанія М. Горькаго свелъ къ тому, что тотъ будто бы защищаетъ и оправдываетъ пьянство.

Этому трудно повѣрить: вѣдь, почтенный М. А. Протопоповъ—критикъ талантливый; имъ писались и вещи положительно выдающіяся. Но... и „на старуху бываетъ проруха“,—говоритъ пословица. Опредѣлить талантъ начинающаго оригинальнаго художника—очень трудно.

Здѣсь требуется самостоятельная и столь-же оригинальная работа, какую мы находимъ и у самого автора, подвергавшагося нашему изслѣдованію. Подходить къ нему съ готовыми шаблонами и опредѣленіями, это значитъ—обрубать его по „прокрустову ложу“ тѣхъ требованій, которыя уже успѣли установиться при изученіи другихъ художниковъ. Такъ можно поступать съ талантами второстепенными, съ ремесленниками. Но сила „оригинальнаго“, крупнаго таланта именно въ томъ и состоитъ, что онъ не похожъ на другихъ, что къ нему не приложимы (уже поэтому) установившіяся мѣрки, а потому нужно выдумать для него новыя, и выдумать не „зря“, а отыскать въ его-же произведеніяхъ, въ его особенныхъ чертахъ и свойствахъ.

Это и пытался сдѣлать добросовѣстно Н. К. Михайловскій. И если,—какъ мнѣ кажется,—ему не удалось все-таки сказать ничего опредѣленнаго о Горькомъ, то это зависѣло отъ того, что самъ Горькій еще не опредѣлился. Тѣмъ не менѣе, работа критика не осталась безплодной: онъ намѣтилъ многія, существенныя особенности, если не самого Горькаго, то того интереснаго типа людей, которые имъ выведены.

Однако, любопытно опредѣлить и свойства таланта г. Горькаго. Чѣмъ онъ вызвалъ такую любовь къ себѣ публики? Нѣкоторыя изъ его свойствъ можно отнести къ общехудожественнымъ, другія къ спеціально принадлежащимъ г. Горькому.

Такъ, уже г. Михайловскій отмѣчаетъ замѣчательную способность молодого художника рисовать могучей и смѣлой кистью „картины“ моря, степи, промышленнаго города—напр., описаніе порта, очевидно, Одесскаго, помѣщенное въ самомъ началѣ изданія его очерковъ. Вы видите этотъ портъ передъ собой, вы живете его жизнью, вы переноситесь туда почти съ волшебной силой. . .

Но это—свойство „общехудожественное“, т. е. доказывающее, что мы имѣемъ передъ собой крупный описательный талантъ, безъ котораго не обходится ни одинъ крупный художникъ, за весьма рѣдкими исключеніями. Такимъ исключеніемъ былъ, напр., Достоевскій, почти игнорировавшій внѣшнюю природу, ибо онъ уходилъ весь въ изображеніе внутренней жизни—чувствованій, желаній, инстинктовъ, мимолетныхъ мыслей и даже безсознательныхъ процессовъ души. Повторяю, такія исключенія рѣдки.

Но и эта „общехудожественная“ способность Горькаго является у него своеобразной. Вѣдь, и Тургеневъ былъ мастеръ рисовать природу: его описанія считаются образцовыми. Превосходными описаніями природы славятся—и Пушкинъ, и Гоголь, и Гончаровъ, и многіе другіе.

Въ описаніяхъ Горькаго есть своеобразная черта: его картины не даютъ вамъ того „эстетическаго“, ласкающаго, элегически-чарующаго впечатлѣнія, какъ описанія Тургенева. Онѣ не охватываютъ вашу душу тѣмъ безпредметнымъ, почти пантеистическимъ восторгомъ, какой вы чувствуете, читая описанія у Пушкина или Гоголя, etc., etc. Картины г. Горькаго я позволилъ бы себѣ назвать „мучительными“: онѣ проникнуты „мучительной“ любовью къ природѣ, мучительной—вслѣдствіе своей ненасытимости, неудовлетворительности, вѣчнаго исканія, и вопросовъ, возбуждаемыхъ въ душѣ поэта. Природа для него не безстрастная „критика“, и не тихая меланхолическая грусть, а что-то напоминающее безумно-любимую женщину (именно безумно-любимую, а не просто любимую: тихое чувство любви можетъ дать и тихое наслажденіе). Лишь изрѣдка природа даетъ наслажденіе и г. Горькому, даетъ что-то въ родѣ умиротворенія. Но это—только на мгновенье. Прошло это мгновенье, и снова кипятъ вопросы, сомнѣнія, мука неудовлетворенности, загадки, снова тянетъ дальше и дальше—охватить, „вобрать“, въ себя новое и новое изъ этой загадочной, и чарующей, и мучащей красавицы.

Остановился я на этомъ не даромъ. Природа сама по себѣ—одинакова. Но она не одинаково отражается въ людяхъ. Кѣмъ-то давно сказано, что когда на природу смотритъ быкъ, онъ не видитъ въ ней ничего, кромѣ хорошаго или плохого сѣна.

Нигдѣ такъ не опредѣляется характеръ художника, какъ въ его отношеніи къ природѣ, къ внѣшнему міру. Даже въ изображеніи имъ людей мы можемъ ошибаться въ его характерѣ, потому что это отношеніе зависитъ часто отъ „временныхъ“ его теорій, отъ идей, которыми

онѣ увлеклись подъ вліяніемъ окружающихъ умственныхъ теченій и т. д., и т. д. Поясню больше эту мысль.

Напримѣръ, извѣстная черта Максима Горькаго, его отношеніе къ „босякамъ“, къ „бывшимъ людямъ“, т. е. къ людямъ, потерявшимъ всѣ нормальныя связи съ обществомъ, отношеніе, полное не только „сочувствія“ къ нимъ, но иногда и возвеличенія ихъ, идеализаціи ихъ,— не можетъ еще опредѣлять „характера“ этого художника. Это отношеніе могло зависѣть отъ многихъ причинъ, коренящихся не въ самой его „натурѣ“, а въ извѣстныхъ временныхъ условіяхъ жизни. Такъ, говорятъ, ему пришлось жить среди этихъ „отверженцевъ“ общества. Несомнѣнно, что, когда мы узнаемъ ближе извѣстный классъ людей, когда мы сами,—хотя и временно,—ставимся жизнью въ условія ихъ жизни,—мы получаемъ возможность разглядѣть въ нихъ и такія черты, которыя не видны остальному обществу. А какъ общество смотритъ на „босяковъ“? Это—не простое презрѣніе, не простое отношеніе свысока, какъ къ низшему классу. Нѣтъ, босякъ, въ глазахъ общества, это— нѣчто ужасающее и въ то же время отвратительное, какъ отвратителенъ и ужасенъ паукъ, жаба, крокодилъ. Люди свысока относятся къ животнымъ вообще, но могутъ и любить, и уважать ихъ: мы любимъ и уважаемъ лошадь, собаку, муравья, пчелу, льва, тигра, слона. . . Но есть животныя, къ которымъ не прикоснемся ни за что, которыя возбуждаютъ въ насъ однимъ видомъ своимъ трепетъ ужаса и отвращенія. . . И вотъ именно таково—отношеніе общества къ „босякамъ“.

И вотъ, представьте себѣ чувствованія человѣка, который, живя среди нихъ, былъ самъ чѣмъ-то въ родѣ одного изъ этихъ „отверженцевъ“, и узналъ, что и тутъ есть люди, и люди даже недюжинные, что и въ нихъ горитъ великая искра Божія.

Весьма естественно, что эти люди самой силою вещей являются весьма критической и пытливой породой умовъ: ихъ мученія и внѣшнія, и внутреннія (мученія разлада, униженія, и въ то же время гордости) толкаютъ ихъ—мыслить и вопрошать. Но на проклятые вопросы нѣтъ отвѣтовъ даже и не для такихъ мыслителей: вѣдь, у босяковъ, всѣ знанія ихъ состоятъ изъ десятка-другого фактовъ, вынесенныхъ изъ опыта скитаній и бѣдствій. И вотъ, вопросы упираются въ мертвую стѣну: они обращаютъ свои острыя жала, свои пытливые когти внутрь самого человѣка; однако, и тутъ нѣтъ отвѣта. И начинается тотъ внутренній адъ—тоски, смертной, отчаянной тоски, ненависти, вражды ко всему міру, который, порождая у многихъ изъ этого люда желаніе— или раздробить въ пыль всю землю, или уйти отъ людей далеко, далеко въ море, или очутиться на необитаемомъ островѣ, какъ Робинзонъ, чтобы ничто не нарушало одиночества.

Психологически неизбѣжно, что на этой почвѣ абсолютнаго, органическаго (а не философскаго) отрицанія должно вырастать все ужас-

ное, что только можетъ представить воображеніе, т. е. не только убійство, но и сладострастіе убійства (столь прославленное, между прочимъ, и философомъ Ницше, на сходство котораго съ героями Горькаго уже обратилъ вниманіе г. Михайловскій); тѣ же причины должны порождать у босяковъ и величайшій развратъ, и страстную жажду властвованія хоть надъ кѣмъ-нибудь, напр., надъ бабой, надъ простоватымъ, но жаднымъ деревенскимъ парнемъ (Гаврилой). Я не говорю уже о пьянствѣ, о воровствѣ, которое становится здѣсь (естественно) чѣмъ-то въ родѣ спорта, какъ извѣстная форма протеста или выраженія той ненависти, какая здѣсь должна чувствоваться къ собственности и ко всякому, имѣющему ее (вспомнимъ убійство босякомъ „студентомъ" прохожаго ремесленника, въ степи).

И вотъ, естественно, что когда человѣкъ талантливый и мыслящій, какъ Максимъ Горькій,—самъ проникъ въ этотъ „адъ", пережилъ моменты его духовнаго страданія и почувствовалъ въ собственномъ сердцѣ, какъ эти безысходныя страданія приводятъ роковымъ психическимъ процессомъ къ „органическому" протесту противъ всего міра, всего общества, всѣхъ его устоевъ, всѣхъ его формъ,—тогда у такого человѣка, послѣ того, какъ онъ выбрался изъ этого ада, является желаніе — непреодолимое, страстное, безпредѣльное — крикнуть всему міру: „Да, посмотрите себѣ подъ ноги! Кого вы топчете!? Вѣдь, это живые люди, живыя души! Вѣдь, въ нихъ горятъ искры Божіи часто ярче, чѣмъ въ васъ, сытыхъ, спокойныхъ, уравновѣшенныхъ, но потому спокойныхъ, что вы безсердечны и нерѣдко въ тысячу разъ безсердечнѣе этихъ несчастныхъ, у которыхъ сердце насильно вырвано вами же! Посмотрите, вы мучите, вы поѣдаете другъ друга просто „скуки-ради"! И г. Горькій даетъ потрясающую иллюстрацію такого безкровнаго людоѣдства, въ очеркѣ того же имени! Онъ какъ будто хочетъ сказать этимъ: „разница между вами и босяками та, что вы людоѣды отъ скуки, а они—отъ внутренней муки, устроенной имъ вами. И вы людоѣдствуете въ такихъ общепринятыхъ формахъ, что даже пользуетесь за это почетомъ, а они третируются вами хуже всякихъ гадовъ!"

И вотъ у автора, какъ протестъ, является невольная, неизбѣжная идеализація этихъ типовъ. Каждая искорка человѣчности, которая запомнилась изъ страшнаго путешествія въ адъ, выносится имъ передъ изумленнымъ міромъ „сытыхъ, ожирѣвшихъ, самодовольныхъ и безсердечныхъ". Художникъ раздуваетъ ее всѣми силами своего дыханія, своего таланта, своего терзающагося сердца, чтобы она ярко блеснула передъ толпой презирающихъ и топчущихъ. Не такъ ли когда-то Достоевскій, поживъ въ „Мертвомъ домѣ", среди каторжниковъ, старался освѣтить ихъ души, съ присущей имъ „искрой Божіей", передъ толпой, не вѣдающей, что она творитъ?

Эта наклонность идеализировать людей отверженныхъ, поруганныхъ обществомъ по неумѣнію заглянуть въ ихъ душу и въ причины ихъ паденій, эта наклонность, повторяю, не есть особенность г. Горькаго, а общій психологическій законъ, толкающій каждаго художника, который знакомится близко съ міромъ „misérables“.

Если тутъ у г. Горькаго и есть особенность, то развѣ только въ огромной его страстности, усиливающей идеализацію иногда до неестественности. При этомъ несчастные босяки являются у него иногда такими философами, какихъ трудно предположить въ этой средѣ,—несмотря на то, что пытливость ума, какъ я уже замѣтилъ, должна являться неизбѣжнымъ результатомъ ихъ исключительной position sociale. Благодаря этому же художникъ готовъ идеализировать даже пьянство своихъ героевъ, считая это зло единственнымъ выходомъ для нихъ, за что и получаетъ весьма наивное правоученіе отъ г. Протопопова:

„Герои-босяки г. Горькаго,—говоритъ онъ на стр. 188 „Русской Мысли“ за іюнь 1899 г.,—всѣ до единаго, никакой другой задачи въ жизни не усматриваютъ, кромѣ той, чтобы кутнуть и гульнуть во всю. Вино въ ихъ жизни играетъ роль не побочнаго и довольно случайнаго аксессуара, а является цѣлью, для достиженія которой тратятся всѣ силы ихъ ума, всѣ способности и вся энергія ихъ. Это—разница существенная...

...Этой мелкости и слабости своихъ героевъ г. Горькій не видитъ, потому что не видитъ въ пьянствѣ порока, а видитъ въ немъ какой-то серьезный протестъ“ (187).

„Идеализировать пьянство,—говоритъ онъ въ поученіе г. Горькому,—хуже, нежели идеализировать воровство“, и долго доказываетъ эту „новую“ истину, а въ заключеніе открываетъ и еще другую: „трудиться могутъ всѣ, за исключеніемъ дѣтей и инвалидовъ, и вотъ тотъ общій приказъ, съ которымъ можно обратиться къ людямъ: Трудись, человѣкъ! Ты хочешь быть (жить)? Создавай вещи, увеличивай сумму общаго богатства!“ Въ другомъ мѣстѣ, критикъ указываетъ, какъ на панацею, на „отысканіе себѣ труда по силамъ и способностямъ“. Какъ все это легко рѣшено! Читаешь и не вѣришь своимъ глазамъ! „Трудиться могутъ всѣ!“ Г. Протопоповъ какъ будто бы и не слыхивалъ, что бываетъ и „безработицы“, и „заминки“, что есть отношеніе между спросомъ и предложеніемъ труда.

„Создавай вещи, увеличивай сумму общаго богатства!“ Уже давно доказано, что это общее не всегда есть частное. А главное: какъ будто теперь такъ легко „создать вещь“! Хотя бы изъ ничего?! Безъ матеріаловъ и орудій производства!?

„Да,—позвольте,—скажутъ мнѣ защитники критика: это все „слова“, оправдывающія лѣнь! Каждый человѣкъ можетъ отыскать ра-

боту! Не дорожись только! Возьми за трудъ дешевле другихъ, и тебя сейчасъ-же примутъ".

—Ну а тотъ, кого замѣнили мною, куда пойдетъ?—спрашиваю я у критика...

„Ну, и тотъ пусть возьметъ дешевле"...

Хорошая перспектива! И такъ мы будемъ конкурировать другъ съ другомъ, пока отъ насъ „одни хвосты останутся", какъ разсказывается въ сказкѣ о двухъ голодныхъ львахъ, напавшихъ другъ на друга...

Но оставимъ эти наивности и возвратимся къ г. Горькому.

Итакъ, мы видѣли, что сочувствіе къ „босякамъ", идеализацію ихъ типовъ, нельзя приписывать натурѣ художника. Это—просто результатъ „пережитаго имъ" ряда наблюденій, которыхъ нѣтъ у многихъ другихъ художниковъ.

Мало этого: я думаю, что та идеализація крайняго „инвидуализма" босяковъ, которую мы находимъ въ его разсказахъ, идеализація, доходящая до того, что самъ онъ можетъ показаться проповѣдникомъ крайняго индивидуализма (на что есть намекъ у г. Михайловскаго) едва-ли составляетъ „сущность" его природы, его „духа", т. е. ума, характера. Въ его новомъ очеркѣ „Мужикъ", появляется среди кружка губернскихъ интеллигентовъ оригинальный человѣкъ,—архитекторъ, очень развитой, умный и краснорѣчивый, вышедшій собственными, страшными усиліями изъ крестьянской среды. Онъ громитъ нашу интеллигенцію за ея неспособность и неумѣніе „жить", работать, дѣйствовать для общаго блага. Причину этого онъ видитъ въ двухъ условіяхъ: во 1-хъ, мы живемъ только мыслью, а необходимо жить и мыслью, и инстинктомъ, т. е. чувствомъ. Мысль, одна чистая, теоретическая мысль еще не направляетъ воли. Волю направляетъ только чувство, а мысль является какъ-бы фонаремъ, освѣщающимъ путь. И эта разрозненность мысли отъ чувства сказывается у насъ во всемъ, а не только въ отсутствіи живого дѣла и настоящей жизни. Мы даже любить женщину не умѣемъ. Все наше дѣло есть крупицы дѣла; эти крупицы состоятъ въ томъ, что мы пишемъ статьи или романы, другіе читаютъ ихъ, спорятъ о нихъ, а потомъ забываютъ, и въ этомъ вся жизнь и дѣятельность интеллигенціи. Между тѣмъ, „возъ нашихъ идеаловъ стоитъ и нынѣ тамъ", гдѣ онъ стоялъ еще Богъ знаетъ когда!

Эту оторванность мысли отъ реальной жизни герой Горькаго, Шебуевъ (крестьянинъ), объясняетъ тѣмъ, что до сихъ поръ были у насъ только интеллигентъ-дворянинъ и интеллигентъ-разночинецъ, у которыхъ въ народной массѣ не было настоящей „родни". Поэтому, и идеалы этихъ интеллигентовъ были общечеловѣческіе и, конечно, не могли являться вполнѣ реальными: „благо человѣчества", „благо народа" было для нихъ чѣмъ-то отвлеченнымъ, а не своимъ, кровнымъ.

Но вотъ выходитъ интеллигентъ-мужикъ. Тамъ, внизу, гдѣ-то въ ямѣ, изъ которой онъ выбрался, остались его настоящіе, кровные братья. Работать для нихъ, ради извлеченія ихъ изъ ямы, ради пролитія къ нимъ, внизъ, свѣта и лучшей жизни,—для него уже не отвлеченный подвигъ, а кровное дѣло, его собственное, почти личное.

Я не знаю, что выйдетъ дальше изъ этого героя, такъ какъ очеркъ еще не оконченъ. Не думаю, чтобы М. Горькій сдѣлалъ его идеальнымъ, положительнымъ типомъ: противъ этого говоритъ и невозможность въ жизни вообще идеальныхъ типовъ, и неестественность такого типа, разъ онъ вышелъ изъ среды, всячески уродующей личность,—какъ объ этомъ разсказываетъ, съ ужасающими подробностями, самъ Шебуевъ. Но можно надѣяться, что въ лицѣ этого „интеллигентнаго мужика“ мы все-же увидимъ дальше живого работника общественнаго прогресса. А это-то и важнѣе всего.

Во всякомъ случаѣ, рѣчи Шебуева будятъ въ читателяхъ новыя мысли, а, стало быть, въ нихъ кое-что вложено и изъ мыслей самого художника. Между тѣмъ, Шебуевъ проповѣдуетъ не индивидуализмъ, а, наоборотъ, обыкновенную работу „для другихъ“, хотя, повидимому, онъ стремится найти примиреніе между мотивами эгоистическими и альтруистическими, между самоотверженіемъ и самосохраненіемъ, которое обращено не только лично на себя, но и на сохраненіе своихъ братьевъ по крови“.

Въ чемъ-же „натура“ г. Горькаго?

Я думаю, въ томъ, что мы ужъ видѣли въ отношеніяхъ его къ природѣ. Натура его въ страстномъ исканіи. Какъ, описывая природу, онъ мучится вопросами, сомнѣніями, хочетъ понять и захватить ее глубже и шире, такъ, обращаясь къ людямъ, къ обществу, рисуя ихъ, онъ ищетъ, страстно ищетъ отвѣтовъ на самые важные вопросы: какъ-же сдѣлать, чтобы не было этой „ямы“, этого болота, засасывающаго всѣхъ? Не было этого отвратительнаго страданія и паденія людей?

Но ошибается тотъ, кто подумаетъ, что для г. Горькаго этотъ вопросъ ограничивается отыскиваніемъ какихъ-нибудь экономическихъ панацей, имѣющихъ идеаломъ „сытое брюхо“ бѣдняка.

Такихъ искателей было много и до Горькаго. Онъ, кажется, наоборотъ, видитъ въ этомъ сытомъ брюхѣ паденіе, пожалуй, еще худшее, чѣмъ въ жизни „босяковъ“. И неужели мы скажемъ, что онъ не правъ? Неужели не вѣрна истина, давно сказанная міру: „Не о хлѣбѣ единомъ живъ человѣкъ“?

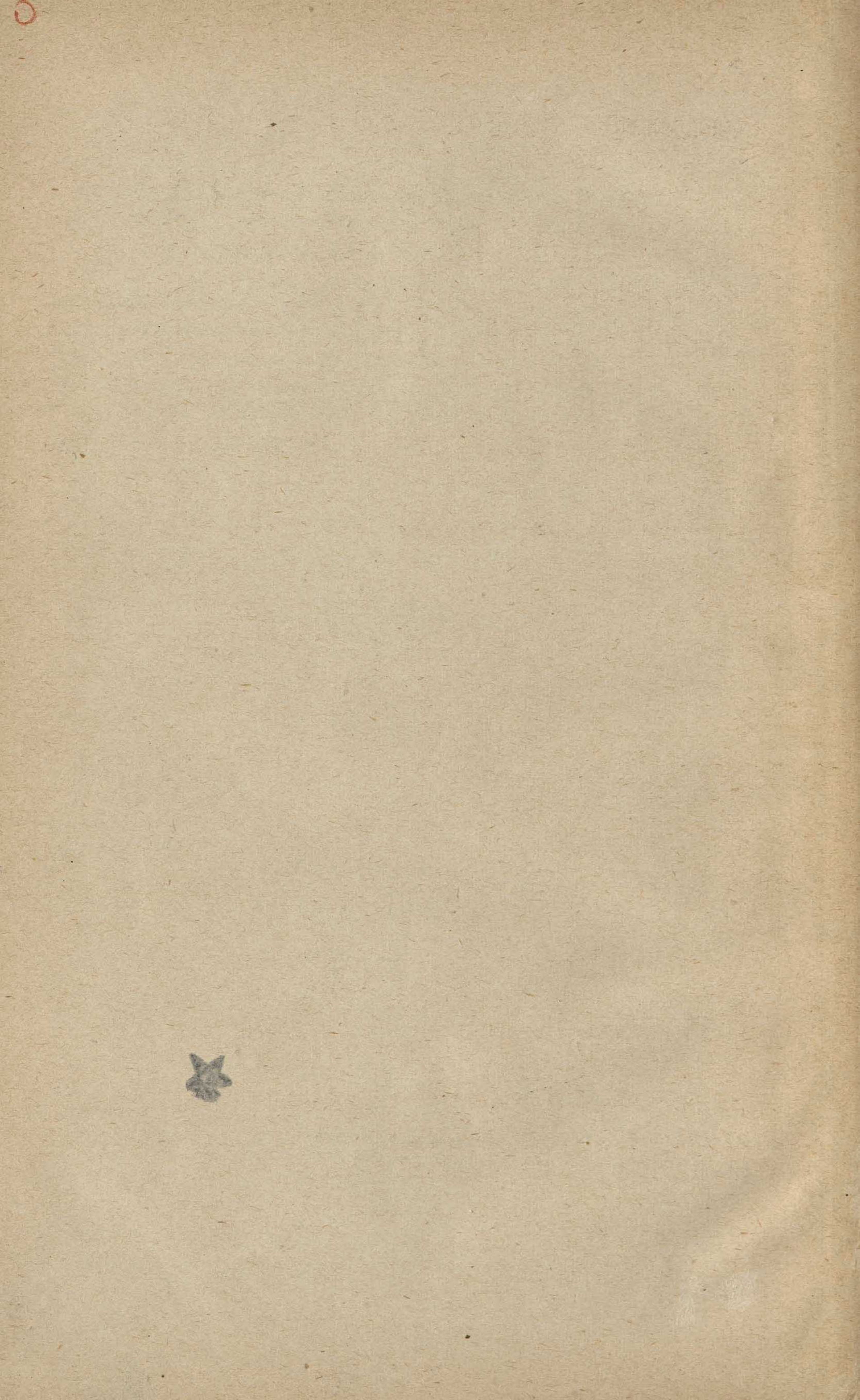
Мнѣ кажется, особенность г. Горькаго въ томъ и состоитъ, что онъ эту истину не только продумалъ, но онъ ее носитъ въ себѣ, въ каждой своей мышцѣ, въ каждомъ своемъ нервѣ, въ каждой частичкѣ своего мозга. И вотъ, эта-то истина кричитъ изъ каждой строки его произведеній, принимая самыя разнообразныя формы: въ одномъ мѣстѣ

онъ вопіетъ противъ „тупорылой свиньи, сытаго мужика“, въ другомъ— противъ сытаго-же мельника, или обытателей желѣзно-дорожной станціи, въ третьемъ она сверкаетъ въ формѣ идеализаціи „бродяжничества“, даже пьянства и разврата „босяковъ“, ихъ страстной жажды жизни (*жизни*, а не хлѣба), и т. д., и т. д.

Трудно еще сказать, какія формы приметъ эта истина, играя, какъ солнце играетъ въ граняхъ брилліанта,—въ новыхъ граняхъ таланта г. Горькаго (т. е. въ его новыхъ произведеніяхъ). Но мы должны признать одно, что человѣкъ, до такой степени проникнутый этой величайшей изъ истинъ, проникнутый всецѣло, до корня волосъ, можетъ сказать и не мало ошибочнаго (въ силу своей страстности), но не можетъ не сказать и многаго важнаго.

Л. Е. Оболенскій.






2018550802